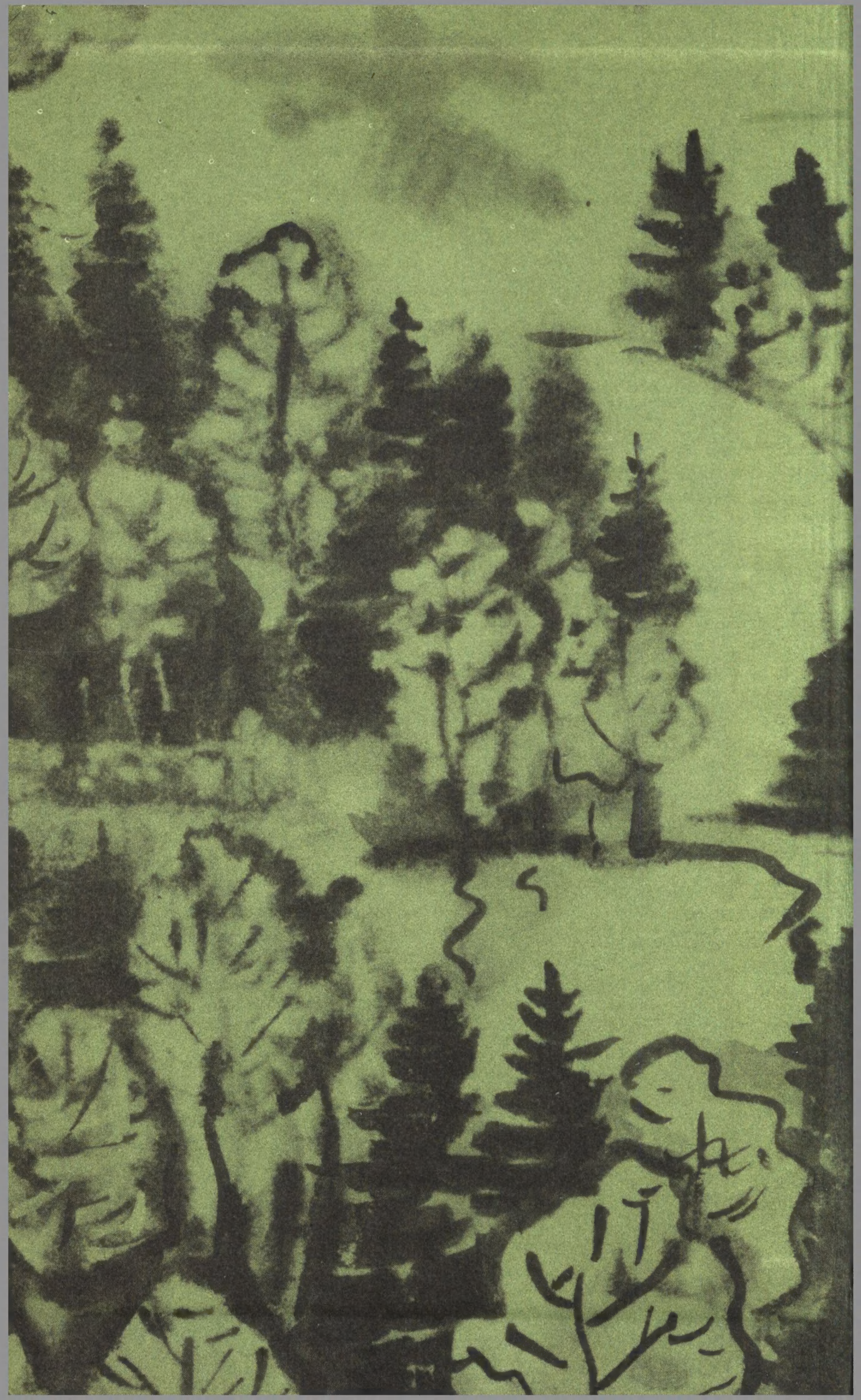
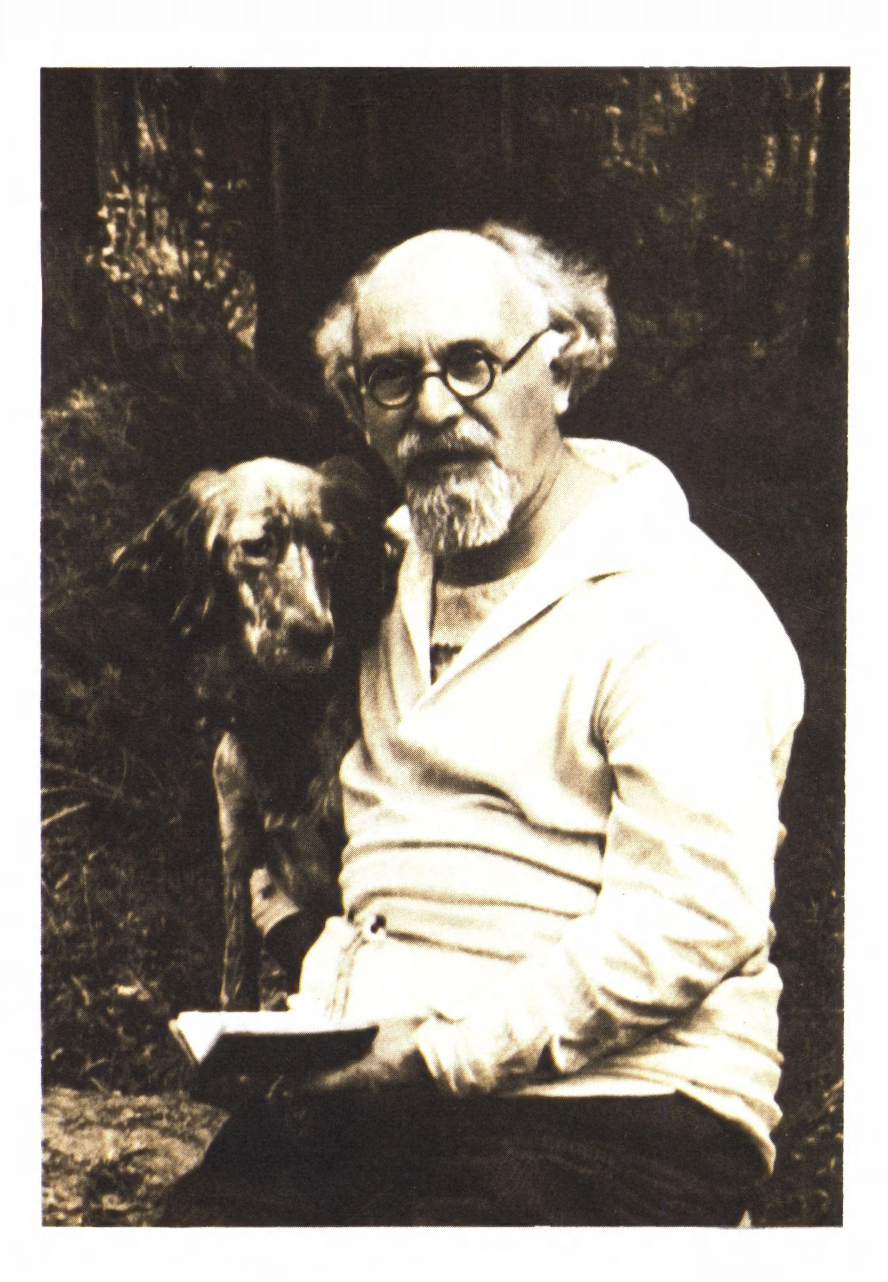

М. ПРИШВИН
ИЗБРАННОЕ





ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»



М. ПРИШВИН

ИЗБРАННОЕ

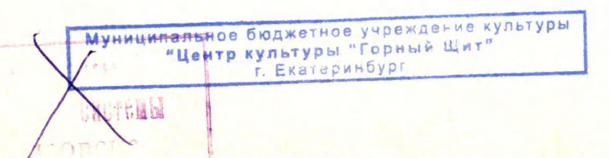
МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1977

Составление и вступительная статья
Ю. А. Козловского.

Иллюстрации художника
Г. Е. Никольского.

Тексты печатаются по изданию:

М. М. Пришвин. Собрание сочинений в 6 томах.
М., ГИХЛ, 1956—1957.



ПОЭЗИЯ ПРОЗЫ

Каждый талантливый художник создает свой мир,— вводя в него проблемы, которые его волнуют, свою боль и радость, освещая этот мир особым, только ему свойственным пониманием прекрасного.

Свой, светлый и радостный мир создал и автор этой книги. Мир этот необычен, и, хотя мы встретим в нем только то, что можем видеть вокруг себя каждый день, в него нужно вглядеться, вчитаться, вжиться, как нужно вглядеться и вжиться в окружающую нас действительность, чтобы понять ее неповторимость и красоту.

Книги Пришвина, несмотря на кажущуюся простоту того, о чем и как он пишет, иногда оказываются непривычными для восприятия читателей. В них часто нет сюжетной основы произведения — цепи взаимосвязанных событий, нет сюжета в том понимании, к которому мы так привыкли. Автор редко изображает человеческие отношения во всей их сложности и запутанности, в его книгах нечасты драматические ситуации и повороты, в изображении характеров писатель порой стремится к условности: видимо, не это было для него главным. Область жизни, подвластная таланту Пришвина,— это природа и человек в его взаимоотношениях с ней, а сюжет лучших его произведений — это движение внимательного взгляда автора, а следовательно, и читателя, в мире природы.

Именно как повествователь о жизни природы, о ее радостном бытии, как ее певец и вошел писатель в историю русской литературы.

1

Михаил Михайлович Пришвин (1873—1954) прожил долгую, интересную и своеобразную жизнь, которая с необычайной полнотой отразилась в его произведениях. Он работал агрономом и сельским учителем, ученым-природоведом и военным журналистом на фронтах первой мировой войны, был путешественником, охотником, фотографом; но главным делом в его жизни стала литература, которой писатель отдал почти полвека.

Пришвин родился в Елецком уезде Орловской губернии, в местах, где родились Тургенев и Бунин, Никитин и Кольцов. Раннее детство будущего писателя прошло в полуразоренном имении родителей, принадлежавших к купеческому званию; отец его рано умер, и вся забота о хозяйстве и воспитании детей легла на мать, любовь к которой Пришвин сохранил до самой своей смерти.

Гимназические дела Миши Пришвина шли неважно,— он оставался на второй год, ко времени его обучения в гимназии относится побег с товарищами на лодке «в Америку»; наконец, он был исключен из четвертого класса за дерзость учителю. Поэтому получилось так, что реальное училище будущий писатель заканчивает уже в Тюмени, где живет его дядя, крупный промышленник; затем он поступает в Рижский политехникум, на химико-агрономическое отделение.

Купеческое происхождение и родственные связи с российским капиталистом не помешали молодому Пришвину принять активное участие в работе революционного марксистского кружка, за что в 1897 году он был арестован и некоторое время провел в одиночной камере Митавской тюрьмы. (Об этом периоде своей жизни писатель подробно рассказывает в автобиографическом романе «Кащеева цепь».) Отбыв двухгодичную ссылку у себя на родине, он едет за границу, в Германию, где заканчивает агрономическое отделение философского факультета университета в Лейпциге. К этому времени относится важное событие в жизни писателя — его встреча с В. П. Измалковой, грустное и светлое воспоминание о любви к которой прошло через всю его жизнь. Возможно, именно любовь к этой девушке, стремление утвердиться в жизни, стать достойным любви явились толчком, побудившим Пришвина начать писать. Этому первому своему чувству писатель посвятил впоследствии поэму «Фацелия».

После возвращения в Россию Пришвин несколько лет служит земским агрономом, публикует работы по вопросам сельско-

го хозяйства. Хочется, забегая несколько вперед, отметить, что первая профессия Пришвина, характер полученного им образования, безусловно, проявились впоследствии в его творчестве,— в авторе произведений мы чувствуем не только художника, но и специалиста-фенолога. М. Горький, высоко ценивший творчество писателя, так отзывался об этой черте его произведений в одном из своих писем к Пришвину: «Ни у одного из русских писателей я не встречал, не чувствовал такого гармонического сочетания любви к Земле и знания о ней, как вижу и чувствую это у Вас» [1].

В литературу Пришвин пришел довольно поздно: когда было опубликовано первое произведение начинающего литератора, он был уже тридцатитрехлетним человеком, успевшим пройти большую жизненную школу. Для такого резкого перелома во всей жизни нужна была известная смелость и решительность, и, хотя дарование писателя было признано сравнительно быстро, Пришвину пришлось перенести немало трудностей, в том числе и материальных, прежде чем он занял прочное место в литературе.

Почти сразу его творчество оказалось связано с природой, любовь к которой провела Пришвина едва ли не по всей нашей стране; и каждое путешествие, каждое яркое впечатление, будучи художественно преломлено в мировосприятии автора, нашло отражение в его книгах. Так, о путешествии писателя на русский Север, по сохранившемуся почти в первозданном виде Выговскому краю мы узнаем из его первой книги «В краю непуганых птиц» (1907), еще носящей подчеркнуто документальный характер этнографического свидетельства, но в которой уже ясно видно и незаурядное литературное дарование автора, особенности его индивидуального стиля — точность и яркость языка, живость и достоверность созданных образов. Окрыленный успехом своего первого крупного произведения, Пришвин предпринимает новую экспедицию,— в Карелию и Норвегию,— в результате которой появляется книга «За волшебным колобком»; азиатским степям писатель посвящает свою повесть «Черный араб», Дальнему Востоку, на котором он побывал, будучи уже шестидесятилетним человеком,— повесть «Жень-шень».

И все-таки, как и большинству русских писателей, как его предшественникам в литературе,— Тургеневу и Аксакову, чьи традиции внимательного и сочувственного изображения природы он

---

[1] М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 24, М., ГИХЛ, 1953, с. 266.

продолжал,— дороже всего Пришвину была средняя Россия, в которой он прожил почти всю свою жизнь и которой посвящены такие известные его произведения, как повесть-сказка «Корабельная чаща», как «Неодетая весна», вошедшие в этот сборник «Календарь природы», «Лесная капель», «Кладовая солнца» и множество других повестей и рассказов. О симпатиях автора говорят сами названия тех мест, где он жил и о которых писал: Переславль-Залесский, Загорск, подмосковное Дунино; все это — самая сердцевина России. В зрелом возрасте Пришвина уже меньше привлекала экзотика; для него было характерно стремление к истинности, ясности, высокой сложности простоты; писатель по-прежнему нуждался в свежих, ярких впечатлениях, но с годами учился находить их в окружающей его повседневности.

2

Взгляд Пришвина на природу, на жизнь и творчество необычен. Созданный им поэтический мир полон света, он оптимистичен и радостен; трагическое как препятствие торжеству жизни было ему чуждо. Сам писатель отмечал в своем дневнике, что его творчество было как бы «удовлетворением ненасытному желанию жить»[1]. Горький писал о произведениях Пришвина: «Ни у кого <...> не находил я такой всеохватывающей, проницательной и ликующей любви к земле нашей, ко всему ее живому и — якобы — мертвому <...> И когда я читаю «фенологические» домыслы и рассуждения Ваши — улыбаюсь, смеюсь от радости,— до чего изумительно прелестно все у Вас! Не преувеличиваю, это мое истинное ощущение совершенно исключительной красоты, силою которой светлейшая душа Ваша освещает всю жизнь, придавая птицам, травам, зайцам, «богомерзким» бабам <...> какую-то необыкновенную значительность и оправданность»[2].

Радостное миреприятие — так хочется определить глубинный дух творчества писателя. Недаром в его произведениях мы так часто встречаем образ весны, даже множество весен — весну света, весну воды, весну первой зелени, весну человека. И еще один незримый образ есть в книгах Пришвина: образ любви, любви плодоносящей и вместе с тем целомудренной в

[1] М. Пришвин. Записи о творчестве. Сб. «Контекст 74». «Наука», М., 1975, с. 335.

[2] М. Горький. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 29, М., ГИХЛ, 1955, с. 476.

своей естественности и незамутненности, любви людей, зверей, птиц, растений; и далекая, радостная и грустная, несбывшаяся,— нет, сбывшаяся, но не разрешившаяся, и вечная в своей неразрешенности,— любовь автора к своей уже тоже далекой, утраченной Фацелии.

В книгах писателя есть одна черта, одна особенность, которую необходимо понять и о которой нужно помнить. Дело в том, что во многих произведениях Пришвина нет действующего лица-человека; более того, писатель не пытается очеловечить природу, уподобить ее жизнь жизни людей; значительное место в его книгах занимают описания, причем эти описания иногда сделаны вроде бы бесстрастной рукой, могут показаться протокольно-документальными, «фотографичными». (Кстати, Пришвин через всю свою жизнь пронес увлечение фотографией, причем стилистика сделанных им художественных фотоснимков очень близка к стилистике некоторых его литературных произведений; в этом читатель может убедиться, ознакомившись с фотографиями писателя, которыми иллюстрировано шеститомное собрание его сочинений.)

Эти черты стиля Пришвина и сейчас вызывают у некоторых читателей недоумение и разочарование, а при жизни писатель часто подвергался за них критике. Так, еще в начале творческого пути Пришвина обвиняли в авторской безликости, в отсутствии у него индивидуальности, своего авторского «я», в «бесчеловечности», как вспоминал впоследствии сам Пришвин. Зинаида Гиппиус еще в 1913 году назвала писателя «легконогим и ясным странником, с глазами вместо сердца» [1].

Так ли это? Разве мы не чувствуем отношения автора к изображаемой им жизни, радостного восхищения, порой — умиления перед ней? Ему, а вместе с писателем и нам, близко все в жизни природы, начиная с маленького паука, ткущего перед рассветом свои сети, с листьев, цветов, и кончая жизнью огромного леса, реки, озера. И именно этот дух оптимизма и жизнелюбия делает книги писателя нужными и привлекательными для людей.

Действительно, порой описания Пришвина кажутся нам непривычно, излишне бесстрастными, но происходит это не оттого, что его восприятие жизни «бесчеловечно», а оттого, что писатель не искал в природе похожести на жизнь людей, не пытался наделить ее человеческой духовностью, изображая ее

[1] Антон Крайний. О «Я» и «Что-то».— «Новая жизнь», СПб., 1913, № 2, с. 168.

такой, какова она есть, в ее собственном бытии. Сам Пришвин очень четко осознавал эту особенность своих произведений и считал ее принципиально важной чертой творческого метода. Об этом нам говорят его дневниковые записи на эту тему, а также то, что писатель и через двадцать лет не забыл отзыва Гиппиус о своих первых произведениях, и, анализируя собственное творчество, писал: «Свойство Пришвина исчезать в своем материале так, что сам материал, материя, земля, делается героем его повествования, было отмечено в самом начале одним удивленным критиком, назвавшим Пришвина *бесчеловечным* писателем. Этот, конечно, незаурядный критик, очевидно, имеющий в виду эллинский идеал искусства воссоздания человеческой личности, не мог себе представить равноценность воссоздания самой священной материи, в которой зарождается эта личность» [1].

В своем дневнике, в записи, посвященной той же теме, писатель отмечает: «Грубо говоря, человек творит мир по образу своему и подобию, но мир существует и без человека — это должен знать художник больше всех, и непременное условие его творчества — забывать-ся настолько, чтобы верилось в существование данного предмета живого или мертвого без себя, без человека» [2].

Проходит год, и, полемизируя со словами Горького, содержащимися в предисловии к его собранию сочинений, Пришвин вновь возвращается к этой мысли: «Горький увлекается мыслью, что человек — хозяин земли. Это хорошо. Но дальше, что без человека нет и мира, что финских камней нет без карела, и пустыни нет без араба,— это уж лучше бы не говорить. Да, как будто, если думать логически,— нет, но тоже логические люди говорили, что финская угрюмая природа определила душу карела, и пустыня сделала араба, эта пустыня через араба сказала нам свое слово» [3].

И сам писатель стремился к тому, чтобы не он говорил за природу, а как бы сама природа через него рассказала людям о себе; поэтому, наверное, наряду с художественным началом так сильно в его произведениях начало познавательное.

Мы видим, что за мнимой «бесчеловечностью» Пришвина стоит высшее уважение к природе, а то, что неопытный читатель

---

[1] М. М. Пришвин. Собрание сочинений в 6-ти томах. М., ГИХЛ, 1956—1957, т. 4, с. 11—12.
[2] «Контекст 74», с. 328—329.
[3] Там же, с. 333.

может принять за недостаток его произведений, есть сознательный художественный принцип автора.

Но, конечно, не следует думать, что природа интересовала писателя сама по себе, без связи с жизнью человека; тогда его произведения имели бы лишь познавательную ценность, ибо только наука изучает вещи в их собственной сущности: природа в произведениях Пришвина взаимодействует с человеческой душой и обладает нравственной ценностью.

«...Почему я все пишу о животных, о цветах, о лесах, о природе? Многие говорят, что я ограничиваю свой талант, выключая свое внимание к самому человеку.

Я думаю на основании долгих наблюдений, что талант отчасти — это и есть способность себя ограничить и в бесконечном мире наблюдений и чувств выделить вниманием сродное тебе, его выразить самобытно и тем самым установить свою связь с людьми.

Итак, я нашел для себя любимое дело: искать и открывать в природе прекрасные стороны души человека. Так я и понимаю природу, как зеркало души человека: и зверю, и птице, и траве, и облаку только человек дает свой образ и смысл» [1].

Произведения Пришвина глубоко поэтичны. О своей способности одухотворять, наполнять светом и радостью изображаемое Пришвин писал: «Благодарю свою судьбу, что вошел со своей поэзией в прозу, потому что поэзия может двигать не только прозу, но самую серую жизнь делать солнечной» [2]. В сущности, большинство заметок, из которых состоят лучшие произведения писателя,— это стихотворения в прозе, в чем-то родственные произведениям одноименного цикла И. С. Тургенева; в книгах Пришвина эти заметки, как мозаика, складываются в большую и яркую картину.

Возьмем, например, построенную таким образом «Лесную капель». Вот короткая заметка «Под снегом»: «Удалось услышать, как мышь под снегом грызет корешок». И все. Вроде бы документальное, чисто информативное и опять-таки «бесчеловечное» сообщение. Но вчитайтесь: в этой заметке говорится о гораздо большем, чем может показаться на первый взгляд,— о том, что в лесу стоит такая тишина, что слышно, как под толстым снежным покровом грызет корешок мышь; о том, что, несмотря на внешнюю свою безжизненность, лес полон жизни, но

---

[1] М. М. Пришвин. Собрание сочинений, т. 3, с. 761.

[2] Там же, т. 5, с. 379.

только нужно увидеть, суметь услышать звуки этой жизни. И еще в этой микроскопической заметке говорится о радости автора, которому *удалось* услышать то, что редко кому из людей суждено услышать, о его гордости тем, что он смог войти в природу таким образом, что она доверила ему одну из своих бесчисленных маленьких тайн. Разве мало сказано всего лишь в одной строчке, и разве не имеет эта строчка права занять свое место в повести о жизни русской природы?

Так Пришвин описывает будни природы; но в ее жизни бывают минуты, мгновения, когда она величественна, и тогда ее описание становится своего рода гимном жизни. Вот как изображает писатель один из весенних дней на Плещеевом озере:

«Я выбежал и увидел такое, что второй раз уже невозможно было увидеть, потому что в этот раз озеро отдало мне все свое лучшее и я свое лучшее отдал озеру. Весь небесный свод со своими градами и весями, лугами и пропилеями и простыми белыми барашками почивал там, в зеркальном озере, гостил так близко у нас, у людей...

<...> То был великий день весны, когда все вдруг объясняется, из-за чего мы переносили столько пасмурных, морозных, ветреных дней: все это было необходимо для творчества этого дня...» [1].

Необычайность темы, своеобразие мировосприятия позволили писателю найти свою, только его произведениям свойственную форму. Несмотря на то, что в творческом наследии Пришвина есть романы, повести, рассказы,— лучшие его произведения все-таки построены таким же образом, как «Лесная капель». И сам Пришвин с высоты восьмидесяти прожитых лет оглядывая собственное творчество, всю свою жизнь, писал в заключительных главах автобиографического романа «Кащеева цепь»: «Больше всего из написанного мною, как мне кажется, достигают единства со стороны литературной формы и моей жизни маленькие вещицы мои, попавшие и в детские хрестоматии.

Из-за того я их и пишу, что они пишутся скоро, и, пока пишешь, не успеешь надумать от себя чего-нибудь лишнего и неверного. Они чисты, как дети, и их читают и дети и взрослые, сохранившие в себе свое личное дитя» [2].

Не случайно художественные произведения писателя порой напоминают дневниковые записи, иногда, как мы это видели вы-

---

[1] М. М. Пришвин. Собрание сочинений, т. 3, с. 57, 58.
[2] Там же, т. 1, с. 525.

ше, очень короткие, а выдержки из дневников Пришвина часто включаются в его сборники наравне с художественными произведениями и даже составляют самостоятельную книгу «Глаза земли». Вот, например, строки из дневника, который Пришвин вел почти всю свою жизнь:

«Ранним утром сверкающие капельки росы на всходах овса, на таком молоденьком листочке, что удивляешься, как он не гнется под тяжестью тяжелой капли росы,— это удивление вдруг может дать радость труда и понимание его смысла» [1].

В этой короткой заметке, как и во многих своих произведениях, Пришвин в поэтической форме через малое пытается осмыслить большое, вывести из наблюдаемых им явлений универсальные законы природы, общие для всей жизни, начиная с «мельчайшей пылинки живого» и кончая человеком. Для писателя вообще было характерно стремление при помощи искусства познавать природу, внося в него черты научного метода. Мысли об этом читатель встретит в книге «Календарь природы». А в одном из своих дневников Пришвин отмечал: «Моя старинная мечта — заняться как-то особенно, по-своему, географией, вообще природоведением, одухотворить эти науки, насильно втиснутые в законы одной причинности» [2].

3

Пришвин любил не абстрактные представления о природе, а саму ее, каждое дерево, каждое животное и каждую птицу; поэтому, наверное, его любовь была активна и деятельна. Ему претило пошлое, поверхностное любование жизнью природы; людей, потребительски относящихся к ее духовному богатству, писатель презрительно называл «дачниками». Одним из первых Пришвин осознал, что бурное развитие промышленности, издержки урбанизации могут нанести природе непоправимый вред, и встал на ее защиту.

В его произведениях мы постоянно встречаемся с мыслью о необходимости бережного отношения к природе, вреде бездумной эксплуатации ее, о ее нравственной ценности, способности облагораживающе действовать на душу человека, формировать его нравственный мир.

Теперь это для нас уже не новость, а более или менее общие места в рассуждениях о роли природы в жизни человека.

---

[1] «Контекст 74», с. 346.
[2] Там же, с. 321—322.

Но не следует забывать, что творчество Пришвина приходится на годы стремительной индустриализации страны, когда нужна была известная писательская смелость, чтобы продолжать писать о своем восприятии природы, о своей любви к ней, призывать к тому, чтобы в процессе созидания новой жизни человек не утратил что-то очень важное и необходимое, хотя на первый взгляд только отвлекающее его от тех грандиозных жизненных перемен, которые совершались в стране.

Пришвин жил в сложную для отношений человека и природы эпоху, когда природа, сотни тысяч лет являвшая собой враждебную для человека среду, в которой он отвоевывал для себя право на существование, была за какие-нибудь 30—40 лет благодаря бурному развитию науки и техники значительно потеснена в своем единоборстве с людьми. Именно в этот период появился гордый лозунг: «Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее — наша задача». И писатель понял и громко заявил в своих произведениях о том, что с природой нельзя обращаться как с побежденной, бездумно и без меры брать ее богатства; к ней надо относиться как к другу, ибо гибель природы, каждой ее частицы является невосполнимой утратой и для самого человека. «Человек должен бороться с ней, и быть милостивым, и охранять природу, раз он является ее царем-победителем» [1].

Известно, как много сил потратил Пришвин для сохранения клавдофоры — водоросли, живущей лишь в одном водоеме нашей страны,— когда ей грозила гибель из-за осушения этого водоема. Каждое произведение природы неповторимо, будь то дерево, насекомое, птица, неповторимо как великое произведение искусства, и его потеря столь же невосполнима и горестна.

В книгах писателя мы встречаем мысли, принципы, которые являются основополагающими для бурно развивающейся сегодня науки экологии: в природе все взаимосвязано, все нужно, все важно; даже те животные, которых мы привыкли считать вредными, часто оказываются необходимым звеном в жизни природы и человека. Один такой пример мы находим в книге «Календарь природы»: юннаты предлагают истребить всех чаек на огромном озере на том основании, что они, питаясь рыбой, снижают улов; и Пришвин показывает, что эти же чайки уничтожают и сельскохозяйственных вредителей, и истребление птиц, помимо того, что погибло бы прекрасное создание природы, приве-

[1] М. М. Пришвин. Собрание сочинений, т. 5, с. 686.

дет к экономическому ущербу. Лиса, которая не прочь поохотиться за домашней птицей, в основном все же питается грызунами, приносящими человеку вред, и т. д. Природа вырабатывала свои законы в течение миллионов лет, и, как и всякие законы, их нельзя нарушать безнаказанно.

Есть у человека перед природой и еще один долг. Пришвин, страстный охотник, не устает повторять в своих произведениях, что бессмысленное, не вызванное необходимостью уничтожение любого живого существа глубоко безнравственно, как и всякое убийство.

В человеке писателя привлекает способность слышать и понимать голос природы, жить с ней одной жизнью; и герои произведений писателя обладают таким даром. Именно на примере этих людей мы понимаем смысл слов «нравственное воздействие природы на человека». Воспитывая человека, закаляя его, она снимает все лишнее, наносное, неглавное. Тот, кто вырос в окружении природы, не может не любить ее, для него она навсегда останется его родиной.

Пришвин с любовью и глубоким уважением вводит в свои произведения рыбаков северного края и Плещеева озера, сплавщиков леса, крестьян Выговского края, с невероятным трудом возделывающих свою скудную, холодную землю, почти сплошь занятую лесами и болотами. Он любовно изображает крестьянских детей, попа Филю, отказавшегося от богатого прихода, от благополучной и сытой жизни ради того, чтобы работать лодочником на Плещеевом озере, слиться с трудовым крестьянским народом и природой. Такое бытие, способность по-крестьянски просто и верно относиться к жизни, самое такое мировосприятие были, по-видимому, для писателя идеалом, к которому он стремился всю свою жизнь. В 1922 году, уже далеко не молодым человеком, он записывает: «Нужно нам учиться у мужика, и глазу его, как он смотрит на мир. Вот почему я толкусь всю жизнь среди наших крестьян...»[1]. У этих крестьян Пришвин учился и тому точному, меткому и красивому языку, которым написаны его произведения: «Любимые мной в русской литературе вещи всегда казались письменной реализацией безграничных запасов устной словесности многомиллионного неграмотного русского народа»[2]. «Я <...> думал, что словесные богатства русского на-

---

[1] «Контекст 74», с. 325.
[2] Там же, с. 350.

рода заключаются больше в устной словесности, чем в письменной. Еще я и так думал, что интересно слово не то, которое в книгах, а то, которое услышал сам из уст народа» [1].

Когда читаешь произведения писателя, невольно думаешь, что его можно назвать счастливым человеком. Пришвин писал о том, что беззаветно любил; поэтому его творчество стало как бы формой проявления его любви к окружающему миру, поэтому оно так напоено светом и радостью бытия. Это небольшое вступление к произведениям Михаила Михайловича Пришвина— писателя, путешественника, великого знатока русской природы — хочется закончить его словами из «Лесной капели», наиболее полно выражающими то чувство, которому мы обязаны появлением на свет его произведений:

«Я переполнен счастьем, мне хочется открыть всем глаза на возможности для человека жить прекрасно, дышать таким солнечно-морозным воздухом, смотреть и слушать лилии, угадывать их музыку...»

Юрий КОЗЛОВСКИЙ

---

[1] М. М. Пришвин. Собрание сочинений, т. 4, с. 525.

В КРАЮ НЕПУГАННЫХ ПТИЦ

Очерки Выговского края



НА УГОРЕ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Мох и мох, кочки, озерки, лужицы. В сапогах вода, свистят, как старые насосы, сил нет вытаскивать их из вязкого болота.

— Подожди, Мануйло, устал, не могу. Далеко ли до леса?

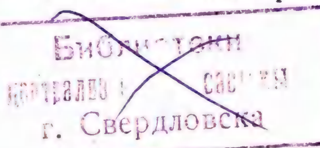
— Теперь недалеко, вон лес, смотри через сухую сосну. Видишь? Да вон там черная сосна, громом разбило. Там и лес.

Торчит деревцо, небольшое, ниже Мануйлы, и на всей моховине деревья ниже Мануйлы, он кажется огромным.

Остановились усталые. Лайка, тоже заморенная, так и пала на месте, тяжело дышит, высунула язык.

— И так всю жизнь,— говорит Мануйло,— всю жизнь по мхам да лесам. Идешь, идешь, да и свалишься в сырость и спишь. Собака, бедная, подбежит, завоет, думает — помер. А отлежишься и опять зашагаешь. С моховинки в лес, из леса на моховинку, с угора в низину, с низинки на угор. Так вот и живем. Ну, пойдем. Солнце садится...

И опять свистит сапог-насос. Навстречу нам лес посылает мелкие елочки, потом покрупнее, потом высокие сосны обступают со всех сторон. В лесу темнеет, хоть и коротка северная летняя ночь, а все же надо заснуть. Холодно, сыро. Мы раскачиваем сухое дерево, оно валится с треском, другое, третье. Тащим их



на угор, укладываем рядом. На середине деревьев зажигаем сухие сучья. Костер разгорается. Черные стволы сосен становятся вокруг нас, чуть перешептываются вершинами, по-своему рады гостям. Мануйло снимает шкурки с убитых белок, кормит их мясом собаку, что-то бормочет ей.

— Да купи ты себе собачку,— говорит он мне,— без собаки нельзя.

— На что мне она, я живу в городе.

— А веселее с собачкой, хлебца ей дашь, поговоришь...

И гладит свою собаку широкой, грубой ладонью, пригибая упругие, острые, чуткие ушки.

— Ну, спи. Спокойно спи. Звирь подойдет, собака услышит, проснемся. Ружье поближе к себе положи. Змей тут нету, место сухое, спи спокойно. Проснешься — увидишь, что середка прогорела, сдвинь деревà и ложись. Спи спокойно, место сухое.

Снится страна непуганых птиц. Полунощное солнце — красное, устало, не блестит, но светит, белые птицы рядами уселись на черных скалах и смотрят в воду. Все замерло в хрустальной прозрачности, только далеко сверкает серебристое крыло... И вдруг сыплются страшные красные искры, пламя, треск...

— Зверь! Мануйло, вставай, медведь, зверь! Скорее, скорее!

— Звирь? Где звирь?

— Трещит...

— Это дерево треснуло в костре. Надо сдвинуть. Да спи же спокойно, звирь нас не тронет. Господь его покорил человеку. Что тебе не спится, место сухое...

И насторожился... Что-то завозилось наверху, на ближайшей сосне у костра.

— Птица шевéлится. Верно, рябок подлетел. Ишь ты, не боится!..

Посмотрел на меня, сказал значительно, почти таинственно:

— В наших лесах много такой птицы, что и вовсе человека не знает.

— Непуганая птица?

— Нетрàщенная, много такой птицы, есть такая...

Мы опять засыпаем. Опять снится страна непуга-

ных птиц. Но кто-то, кажется, городской, хорошо одетый, маленький, спорит с Мануйлой.

— Нет такой птицы.

— Есть, есть,— спокойно твердит Мануйло.

— Да нет же, нет,— беспокоится маленький,— это только в сказках, может быть, и было, только давно. Да и не было вовсе, выдумки, сказки...

— Ну вот, поди ты говори с ним,— жалуется мне огромный Мануйло.— У нас этой птицы нет счету, видимо-невидимо, а он толкует, что нету. Обязательно есть такая птица. В нашем-то лесу да и не быть!

. . . .

— Ну, вставай, вставай, солнце взошло. Ишь угрелся. Вставай! Пока солнце росу не угнало, птица крепко сидит, смирёная...

Я встал. Мы затоптали костер, вскинули ружья и спустились с угора в низину, в лесную чащу, в топь.

ВСТУПЛЕНИЕ

ОТ ПЕТЕРБУРГА ДО ПОВЕНЦА

Прежде чем начать рассказывать о своем путешествии в «край непуганых птиц», мне хочется объяснить, почему мне вздумалось из центра умственной жизни нашей родины отправиться в такие дебри, где люди занимаются охотой, рыбной ловлей, верят в колдунов, в лесовую и водяную нечистую силу, сообщаются пешком по едва заметным тропинкам, освещаются лучиной,— словом, живут почти что первобытной жизнью. Чтобы сделать себя понятным, я начну издалека: я передам одно мое впечатление из Берлина.

Как известно, этот город окружен железной дорогой, по которой живущим в германской столице приходится постоянно ездить и наблюдать из окна уличную жизнь. Помню, меня очень удивили рассеянные всюду между домами и фабриками маленькие домики-беседки. Возле этих домиков на земле, площадью

иногда не более пола средней комнаты и окруженной живою изгородью, с лопатами в руках ковырялись люди. Странно было видеть этих земледельцев между высокими каменными стенами домов, среди дыма фабричных труб почти в центре Берлина. Меня заинтересовало, что бы это значило. Помню, один господин тут же в вагоне, снисходительно улыбаясь этим земледельцам, как улыбаются взрослые, глядя на детей, рассказал о них следующее. В столице между домами всегда остаются еще не застроенные, не закованные в асфальт и камень кусочки земли. Почти у каждого берлинского рабочего есть неудержимое стремление арендовать эти кусочки, с тем чтобы потом по воскресеньям, устроив предварительно беседку, возделывать на них картофель. Делается это, конечно, не из выгоды: много ли можно собрать овощей с таких смешных огородиков. Это дачи рабочих — «Arbeiter-kolonien». Осенью, при поспевании картофеля, рабочие на своих огородах устраивают пир «Kartoffelfest», который оканчивается неизменным в таких случаях «Fackelzug».

Так вот как отводят себе душу эти берлинские дачники. От смысла дачи — средства восстановления сил, отнятых городом, посредством общения с природой,— в этом случае остается почти лишь мечта. Немного лучше и с нашими дачниками из мелкого служащего люда, ютящегося летом на окраинах городов. Теперь читатели меня поймут, почему, имея в своем распоряжении два свободных месяца, я вздумал отвести свою душу так, чтобы уже не оставалось тени сомнений в окружающей меня природе, чтобы сами люди, эти опаснейшие враги природы, ничего не имели общего с городом, почти не знали о нем и не отличались от природы.

Где же найти такой край непуганых птиц? Конечно, на Севере, в Архангельской или Олонецкой губерниях, ближайших от Петербурга местах, не тронутых цивилизацией. Вместо того, чтобы употребить свое время на «путешествие» в полном смысле этого слова, то есть передвижение себя по этим обширным пространствам, мне казалось выгоднее поселиться где-нибудь в их характерном уголку и, изучив этот уголок,

составить себе более верное суждение о всем крае, чем при настоящем путешествии.

По опыту я знал, что в нашем отечестве теперь уже нет такого края непуганых птиц, где бы не было урядника. Вот почему я запасся от Академии наук и губернатора открытым листом: я ехал для собирания этнографического материала. Записывая сказки, былины, песни и причитания, мне и в самом деле удалось сделать кое-что полезное и вместе с тем за этим прекрасным и глубоко интересным занятием отдохнуть духовно на долгое время. Все, что мне казалось интересным, я фотографировал. Обладая теперь этим материалом, я, по возвращении в Петербург, решился попытаться дать в ряде небольших очерков если не картинку этого края, то дополненное красками его фотографическое изображение.

Занятые петербуржцы мало интересуются теми местами столицы, которые тесно связаны с памятью преобразователя России. Сколько тысяч людей ежедневно проходят мимо памятников величайшего исторического значения, проходят всю жизнь куда-нибудь на службу, фабрику и т. д., совершенно их не замечая. Да и неловко даже и присматриваться к памятникам, когда все кругом спешит по делу. Для этого нужно быть иностранцем или провинциалом.

Но вот вы выехали за город. Сначала скрылись дома и остался только лес фабричных труб. Потом исчезли и трубы, и дома, и дачи; позади остается только серое пятно. И тут-то начинаются разговоры о делах Петра Великого. Указывают полузасохшее дерево на берегу Невы и говорят, что это «красные сосны». Петр Великий будто бы взбирался на одно из бывших здесь деревьев и смотрел на бой... А вот и Ладожское озеро, и начало канала вокруг него. Кто-то сейчас же говорит: Петр Великий наказал этой канавой непокорное озеро... Тут же виднеется на островку белая крепость Шлиссельбург... Вот где, кажется, и вспомнить о делах Петра, и вообще подумать над судьбой родины: крепость, построенная новгородцами и названная ими Орешек, перешла потом к шве-

дам и стала называться Нотебург. В 1702 году, после знаменитого сражения, крепость достается снова русским и называется Шлиссельбург,— ключ, которым, по словам Петра, были открыты двери в Европу.

Но все почему-то молчат, когда смотрят на белую крепость: и батюшка, и гимназисты, и барышня, и господин с фотографическим аппаратом.

— Э-х-х-х, господи!..— бормочет батюшка.

Словно какие-то болезненные бледные призраки становятся на пути мысли к легким, приятным воспоминаниям о славных делах Петра...

И чем дальше, тем больше и больше указывают различных памятников пребывания Петра Великого в этих местах. Нет никакой возможности здесь передать все эти народные предания, указать на все памятники. Их так много, что не знаешь, с чего начать, как связать. Здесь нужен историк. Необходимо пополнить этот пробел в нашей литературе.

Солнце погрузилось в Ладожское озеро, но от этого нисколько не стало темнее. Просто не верится, что оно закатилось, скорее подходит сказать: солнце «село». Словно там, за водной гладью горизонта, оно притаилось, прячется, как страусы прячут от охотника голову в песок. Светло по-прежнему, но мало-помалу все становится призрачным.

Призрачным становится этот оранжевый, освещенный притаившимся солнцем дым... Это не дым, это длинная широкая дорога уходит вдаль, в небо. Призрачным кажется след на воде от парохода, почему-то не исчезающий, но все расширяющийся и расширяющийся туда дальше к исчезнувшему берегу. Призрачны все эти молчаливые люди, глядящие на водную и небесную дорогу... Это не полковник, батюшка, барышня и гимназист, а таинственные глубокие существа.

Легкая зыбь — «колышень» — рябит воду. Пароходом она не ощущается, но маленькое озерное судно «сойма» слегка покачивается. Немножко колышется и «лайда» — финское судно с картинно натянутыми

парусами. Вдали показывается белое пятно. Маяк это, церковь с того берега, который уходит в Ладогу, или парус какого-то большого судна? Пятно куда-то исчезает, но скоро показывается маяк, а на красном небе вырисовывается полногрудый силуэт большого озерного старинного судна — «галиота».

Я не помню, кто это из путешественников сказал: будьте осторожны, когда садитесь на русский пароход, осмотрите каюты, не каплет ли в них, не случалось ли чего с этим пароходом, например, не отваливалось ли дно и т. д. Все эти меры предосторожности я принял. Мы ехали на новом пароходе «Павел»; он совершал свой первый рейс от Петербурга в Петрозаводск — Повенец и был построен в Англии. Даже самое общество пароходовладельцев основалось на английский манер.

— Помилуйте,— говорил нам один из нескольких членов общества, маленький, кругленький петрозаводский купчик,— помилуйте, в Англии даже одно общество лакеев имеет свой собственный пароход, а мы, русские купцы, для своих товаров не можем завести собственных пароходов.

Я не знаю, бывали ли в России когда-нибудь такие общества. В нем объединялись мелкие и средние торговцы. Достаточно было внести пай, кажется, в двести рублей, чтобы сделаться членом этого общества, но с обязательством возить свои грузы лишь на собственных пароходах. Тут было немножко политики. Время было юное, бодрое, с розовыми надеждами... Раздавались неслыханные раньше голоса в Государственной думе.

— Вы знаете,— торопились новые борцы,— разве теперь время, чтобы сидеть сложа руки... А у нас по берегам Онего такие угодники сидят, что знать никого не хотят. Что ни место, то свой святой... А самолюбие! Такие самолюбивые, скажу вам, что газету из-за самолюбия читать не станут!

Все эти купчики, оживленные новыми перспективами, широкими горизонтами новых времен, сопровождая пароход при первом рейсе, разыгрывали из себя настоящих моряков. Один юркнет в машину и вернется с черным пятном на лбу и платком вытирает

масляное пятно на одежде, другой мешает капитану. Но больше всего их собралось на корме у аппарата, отсчитывающего узлы.

— Да не может быть! Шестьдесят узлов! Тридцать верст в час!

Узлы, секунды, курс... так и сыплются морские термины у моряков с брюшками. У одного даже очутился в руках компас...

Все дело в том, чтобы догнать пароход «Свирь», принадлежащий старому обществу. Пароход «Павел» делал на столько-то узлов больше в час, чем «Свирь», и должен был перегнать его на Ладожском озере. Об этом говорили даже публике, когда выдавали билеты. Вот почему и считали узлы и смотрели вдаль: не покажется ли дым.

И дым показался! Больше. Показалась труба. Узлы, секунды, курс — все было забыто. Еще полчаса, и на Ладожском озере европейцы-купцы готовы были торжествовать победу.

Вдруг в машине что-то заскрипело, затрещало, оттуда на палубу повалил дым. И все засуетились: и публика, и настоящие матросы, и матросы с брюшками. Кто-то направлял наконечник пожарной трубы в машину.

Через час все благополучно кончилось. Пароход снова пошел. Но с мыслью догнать «Свирь» пришлось расстаться навсегда.

— Ничего, ничего,— грустно утешались хозяева,— машина новая, оботрется...

Теперь, когда я пишу, оба парохода этого общества «Петр» и «Павел» грустно стоят на Неве без котлов, без колес. Оба потерпели аварии: один на Свирских порогах, другой на озере Онего. За все лето они совершили лишь по одному или по два рейса.

— И где им,— торжествовали «самолюбивые» купцы.— Собралась у них всякая мелкота. Да разве можно такие большие пароходы по нашим рекам и озерам пускать. Да и лоцмана были дрянные.

Не знаю, повысило ли теперь старое общество пассажирскую плату. Новое общество сбило было ее почти наполовину.

Едва справились с бедой, как стало покачивать, и, чем дальше, все сильней. Сначала поднялась с места задумчивая барышня и подошла к борту. Потом заболела девочка на руках у матери и сказала: «Мама, эта конка бя!» Наконец полковник-старичок сходил к борту и, вернувшись, словно извинялся: «Тысячу раз клялся не ездить по этому проклятому озеру». Ему было особенно неловко, потому что он только что рассказывал, как он ходил на медведей с рогатиной. Как бы там ни было, но все обрадовались, когда показалось наконец широкое устье Свири.

Река Свирь — прежде всего место для перевозки леса, муки. Она есть одно из тех устьев Мариинской водной системы, которая соединяет Петербург с Поволжьем. Я это говорю не для того, чтобы сделать очерк о промышленности, но только хочу отметить, что торговая жизнь здесь уж очень кладет свой отпечаток на все. Вот, например, большое торговое село с большими деревянными домами со множеством окон. Это, конечно, хорошо, но почему же возле этих удобных, светлых домов нет садика, деревца, огорода, вообще каких-нибудь признаков заботливости у своего жилища? Лучше всего это станет понятным, если прислушаться к разговору тверской няньки, едущей при господах, и олончанина из Шуньги. Нянька, как и я, недовольна видом этих домов.

— И зачем только едут господа? — говорила она, сильно окая.— Да где же у вас усадьбы, огороды, а где пашня, зачем изгороди косые?

Олончанин говорит, тоже окая, но не так сильно, как мне показалось, сравнительно с уроженкой Тверской губернии. Он говорит, что косые изгороди прочнее, а ковыряться в огородах по здешним местам невыгодно, есть другие промыслы. По его словам, лоцмана зарабатывают рублей триста в лето, и тут уж не до капусты.

Но у няньки своя логика, «женская», и потому она прерывает рассудительную речь олончанина:

— А у нас-то везде огороды, усадьбы, поля как скатерти верст на пятнадцать стелются, изгороди прямые. Что это? — презрительно восклицает она, показывая на берег.— Кусты, ямочки, горочки, камни...

Берега в самом деле какие-то невеселые. Хороши они, вероятно, были раньше, когда на них были вековые леса. И теперь лес тут всюду, только и слышишь слово «лес», но с прилагательными: пиленый, строевой, жаровой, дровяной и т. д. Этот лес тащат буксирные пароходы, он загромождает пристани, о нем говорят, около него хлопочут торговые деловые люди. Вся эта жизнь вокруг леса, баржей и т. д. кажется как-то не своей собственной: все это тяготит к Петербургу. И люди тут немножко американского типа. Вот, например, молодой человек в модном петербургском пальто, вообще вполне культурный человек. Он охотно, как это часто бывает у русских в дороге, рассказывает свою биографию. Родился на берегу Свири. Сын крестьянина-землепашца. Мальчиком раз был сильно болен. Родители, чтобы спасти его жизнь, затеплили свечку перед иконой, упали на колени и молились: «Поправь, святой угодник!» В свою очередь, они тут же и обещались угоднику отдать сына на год в Соловецкий монастырь. Угодник помог, и потому, когда мальчик стал восемнадцатилетним юношей, его отправили «годовиком по завещанию» в Соловецкий монастырь. Он пошел с большим религиозным подъемом духа. Но там остыл совершенно. Жизнь в монастыре оказалась почти такой же, как в миру, и даже хуже. «Был всякий грех, табак доходил до пятидесяти копеек за коробочку». Вернувшись домой, ему захотелось «жить». Но какая же это жизнь земледельца на Свири: рубить деревья, косым крюком удалять камни, «орать» первобытной сохой и сеять рожь, жито, репу, не рассчитывая даже прокормить себя этим год. Юноша пошел в Петербург искать счастья. Брался за все, но кончил портным и теперь возвращался щеголем в родную деревню, чтобы обшивать всех по-питерски.

Мне не хочется описывать здесь Подпорожье, Мятусово, Важины — все эти большие торговые села. Не хочется даже писать о Свирских порогах, потому что они опять-таки имеют отношение только к баржам. На вид же они незначительны и отличаются от всей остальной реки по беспокойству воды, по «вьюнам» и т. п. У Вознесенья, последнего села на Свири,

начинается по виду совершенно такой же канал, или канава, вокруг Онежского озера, как и около Ладожского.

Редко бывает совершенно спокойно бурное Онежское озеро. Но случилось так, что, когда мы ехали, не было ни малейшей зыби. Оно было необыкновенно красиво. Большие пышные облака гляделись в спокойную чистую воду или ложились фиолетовыми тенями на волнистые темно-зеленые берега. Острова словно поднимались над водой и висели в воздухе, как это кажется здесь в очень тихую теплую погоду.

Онежское озеро называется местными жителями просто и красиво «Онего», точно так же, как и Ладожское в старину называлось «Нево». Жаль, что эти прекрасные народные названия стираются казенными. Один молодой историк, здешний уроженец, большой патриот, с которым мне удалось познакомиться в Петрозаводске, очень возмущался этим. Он мне говорил, что администрация таким образом уничтожила массу прекрасных народных названий. И это не пустяки. В особенности это ясно, если познакомиться с местной народной поэзией, с причитаниями, песнями, верованиями. Там, в народной поэзии, постоянно поминается это «страшное Онего страховатое» и иногда даже «Онегушко»... Кто немного ознакомился с народной поэзией, все еще сохраняющейся на берегах этого «славного великого Онего», тому назвать его Онежским озером, ну... назвать, например, пушкинскую Татьяну, как это нехорошо делал Писарев, по отчеству... Онего в народном сознании является уже не озером, а морем. Так его иногда и называют. Онего огромно, как море, страшно в своих скалистых берегах. Скалы его берегов то голые с причудливыми формами, то украшенные зубчатой каймой хвойных лесов. На этих берегах до сих пор живут еще певцы былин, вопленицы, там шумят грандиозные водопады: Кивач, Порпор, Гирвас. Вообще Онего полно поэзии, и только случайно оно не было воспето каким-нибудь поэтом. «Жаль, что Пушкин не побывал на нем»,— сказал мне один патриот.

Недостаток художественного описания Онего я почувствовал особенно отчетливо потом, когда ознако-

мился с «Губернскими ведомостями», «Олонецким сборником» и «Памятной книжкой Олонецкой губернии». Сколько там рассеяно описаний различных местных литераторов, любящих Онего, но как-то с чересчур переполненной душой. Помню, один при описании Кивача, помянув, как водится, державинское «алмазна сыплется гора», восклицает вдохновенно: «И не знаешь, чему дивиться,— божественной ли красоте водопада или не менее божественным словам бывшего олонецкого губернатора, из которых каждое слово есть алмаз».

Таково Онего. Совсем другое Онежское озеро. Это просто северный «водоем», раскинувшийся на карте в виде громадного речного рака, с большой правой клешней и с маленькой левой. Водоем этот значительно меньше Ладожского озера (Ладожское — 16 922 квадратных версты, Онежское — 8569) и переливается в него рекой Свирью. На севере между клешнями рака заключен громадный, весь изрезанный заливами полуостров Заонежье. На левом его берегу, если смотреть на рака от хвоста к голове, расположился губернский город Олонецкой губернии Петрозаводск, недалеко от правого — Пудож, Вытегра, в самом северном уголку правой клешни — Повенец, где и «всему миру конец» и куда лежал мой путь.

Густая толпа народа, которая встречает каждый пароход, представляет из себя живой этнографический музей и уносит воображение в отдаленные времена колонизации этого края. Правда, тут в толпе непременно есть представители современности: урядник, ученики Петрозаводской духовной семинарии, иногда студент, сельская учительница. Но они теряются. Большинство собравшихся, конечно, из ближайших деревень; им просто любопытно посмотреть на проезжающих. И, вероятно, для них это любопытнее, чем для нас лекция, театр, путешествие. Это сказывается и на внешности молодежи. Неуклюжая кофточка, ленточка являются сначала результатом простого созерцания дам на пароходе, а потом, глядишь, появилась портниха и мало-помалу одела всех по-питерски.

Но среди модной современности виднеются и приехавшие из глуши совсем серые люди. И что это за экипажи, на которых они приехали! Прежде всего удивляют при летней обстановке сани, обыкновенные дровни. Очевидно, хозяин их приехал из какого-нибудь такого глухого местечка, где совершенно невозможны никакие колесные экипажи. Впрочем, тут же стоят и колесные экипажи, но что это за колеса! Это просто толстые большие отрезки дерева, иногда даже не совсем правильно округленные... Колес с шинами и спицами совершенно нет: такие колеса скоро бы разбились о каменистую дорогу и потому оказались бы дорогими. Вся масса людей носит серый тон: преобладает какой-то мелкий корявый тип с светлыми глазами, очевидно, потомки чуди белоглазой; но между ними попадаются такие молодцы, что вот одеть — и был бы настоящий Садко, богатый гость.

Эти два типа так различны, так бросаются в глаза своим контрастом, что на минуту забывается толпа, и с каменистого берега смотрят на пароход очи истории.

В этих местах существует много курганов и других самых разнообразных памятников когда-то упорной кровопролитной войны новгородских славян и финских племен, «белоглазой чуди», закончившейся в XI веке победой новгородцев. Дальше все шло обычным порядком: знатные новгородские люди здесь приобретали земли, леса, реки и озера и посылали сюда удалых добрых молодцев для управления своими угодьями и промыслами. Все эти земли, занимающие огромную площадь между Ладожским озером, рекой Онегой и Белым морем, составили Обонежскую *пятину* Великого Новгорода... Вся эта дикая лесная Обонежская страна в то время была бесконечно богата пушными товарами.

Тогда коренные жители были настоящими дикарями, жили в подземных норах и пещерах, питались рыбой и птицей и верили, согласно свидетельству историков, так: «Кто им когда чрево насытит, тогда и бога сопоставляще, а еще иногда каменем зверя убиет — камень почитали, а еще палицею поразят ловимое — палицу боготворят». Христианство начал здесь рас-

пространять князь Святополк еще в 1227 году, вместе с тем и новгородские промышленники во время поездок. Но особенно много потрудились здесь те бескорыстные пустынники, которых с величайшим благоговением, как святых, чтило все Обонежье. Это Корнилий Палеостровский, Александр Свирский, Герман, Зосима и Савватий Соловецкие и многие другие.

Я упоминаю здесь именно этих святых, потому что основанные ими монастыри (Александро-Свирский, Палеостровский, на острове того же названия, и Соловецкий) привлекают к себе до сих пор огромные массы богомольцев. И все, что нам известно об этих первых христианах, говорит о них как о людях удивительно чистых и хороших, сделавших массу добра для края. Жизнь их вдохновляла потом и следующих за ними колонизаторов края — раскольников. Многие из этих людей приближались вполне к жизни первых христиан. Да и до сих пор в глухих местах Архангельской губернии есть старцы, идеалом жизни которых служат жития этих святых.

Так мало-помалу, частью силой, частью подвигами этих старцев, финские племена приняли крещение и сжились с славянскими. Во время шведских походов карелы переходили то на шведскую, то на русскую сторону. А теперь финские племена, особенно карелы, так сжились с русскими, что отличить их можно только по отдельным ярким представителям.

На Онежском озере есть несколько старинных монастырей. Тут лежит путь богомольцев в Соловецкий монастырь. На берегах его до сих пор совершается борьба официального православия с его сгущенной формой — расколом. Наконец, здесь между религиозно настроенной толпой и монастырем можно постоянно видеть посредников. Все это кладет какой-то своеобразный паломнический отпечаток на плавание по Онежскому озеру. Тени святых обонежских пустынножителей словно живут и блуждают по этому озеру. Блуждают, потому что дело их сделано, язычников-финнов нет уже в каменных пещерах. Другие язычники появились теперь на Онежском озере, несравненно

более упорные и сильные, чем те, вооруженные палицами и пращами, финские племена. Старцам их следовало бы оставить совершенно, как это сделали старцы в других местах: труд бесполезный! Но по странному упорству они продолжают беспокоить всех проезжающих, даже самых закоренелых язычников.

Почему, например, капитан, который на Ладожском озере все время ел семгу, икру и кровавые бифштексы, теперь ведет в рубке религиозно-философский спор с почтенным господином? Он доказывает, глядя с верхней палубы на богомольцев, что все это пустяки и глупость, и отказывается понимать, как человек с высшим образованием может серьезно интересоваться такой чепухой. Почему так пришлось, что полковник именно на Онежском озере рассказывает, будто раз его собаки в лесу загнали на высокую сосну монаха и что при этом у монаха из кармана выскочили две бутылки водки? Почему господин с фотографическим аппаратом снимает теперь кривого монаха, который, опираясь о борт, улыбаясь и играя по-своему единственным глазом, что-то шепчет богомолке? Почему, наконец, и я, совершенно не имея этого в виду, попал в глухой Климентский монастырь, куда и пароход-то ходит всего один раз в год, да и то с благотворительной целью. Случилось это так. Раз в год те самые «самолюбивые» пароходовладельцы, о которых мне пришлось уже говорить, как люди русские и благочестивые, уступают на один день губернатору пароход в бесплатное пользование для организуемой им поездки в монастырь на Климентский остров. Этот остров, самый большой на Онежском озере, находится у конца полуострова Заонежья. На этом каменистом и бесплодном месте был основан монастырь еще в 1490 году Ионой Климентским, сыном богатого новгородского посадника. Случилось, что буря разбила все его суда около каменистого острова, сам он едва спасся от смерти. После этого Иона Климентский (в миру Иван Клементьев) порвал с миром, стал жить на этом острове и основал монастырь. В настоящее время этот монастырь, оставаясь в стороне от пароходного сообщения, пришел в упадок. Чтобы хоть сколько-нибудь

помочь монахам, и организовывались эти ежегодные поездки.

От Петрозаводска туда всего несколько часов езды. Мы выехали из Петрозаводской губы, миновав замыкающий ее Шуй-наволок и необитаемые Ивановские острова, пересекли почти половину «Большого Онега», то есть его широкой, лишенной островов части, и были у Климентского острова. Монахи в светлых ризах, с крестами и иконами, окруженные пришедшей с другой части острова толпой народа, встречали нас у самого берега. Потом, версту или две, мы шли по лесу, по каменистой лесной тропе, ежеминутно спотыкаясь. Несложная, угрюмая картина открылась нам, когда мы вышли из леса. Покосившийся крест в воде на том месте, где разбились суда, масса камней, каменная церковь, деревянная, две-три постройки и на фоне хвойный лес. Церкви по виду самые обыкновенные: деревянная выстроена недавно, каменная сохранилась с основания монастыря. Внутри каменной церкви стенная живопись изображает между прочим чертей в аду; сам Иона, сложив руки, молится под водой... После службы нам показывали в лесу жалкие поля, скот...

Что же делали здесь все эти люди столько столетий? Молились, трудились? Но где хоть малейшие следы этой вековой работы и молитвы? И эти вялые ответы, неодушевленные лица... Вся церемония походила на именины в провинции, когда хозяевам в этот год не удалось куда-нибудь уехать и пришлось их праздновать. Наконец, нас повели в трапезную закусить; здесь мы ели «рыбники», то есть пироги с рыбой, любимое кушанье олончан, и кое-как поддерживали разговор. Нужно знать, что в это время в Петрозаводске носился уже слушок, что в монастыре что-то неладно, что его пора бы закрыть и преобразовать в женский, как это делается всегда, когда хотят спасти разоряющийся мужской монастырь... Женщины всегда оказываются в этих случаях настойчивее и упорнее мужчин.

Один батюшка, приехавший вместе с нами из Петрозаводска, время от времени за трапезой делал ехид-

ные замечания и развлекал нас. Когда, например, настоятель нам сообщил, что у них тридцать шесть коров и двадцать монахов, то батюшка заметил вскользь:

— На шестнадцать больше...

— Чего? — тревожно спросил настоятель.

— А коров, отец настоятель,— сказал батюшка, сильно выделяя *о,*— коров, говорю, на шестнадцать больше.

Настоятель закусил губу и только сердито поглядел на врага. Но батюшка не унимался.

— Говорят, вы коровушек-то продаете, почем?

Это уже был явный, грубый намек на ликвидацию монастыря. Настоятель сейчас же оборвал:

— Если вам угодно ознакомиться с нашими делами, то я с удовольствием...

Батюшка даже выронил рыбник из рук от огорчения и тысячу раз извинился. Но, когда недоразумение было устранено, он поинтересовался судьбой монастырских актов. Настоятелю решительно не везло. Только что он обстоятельно изложил, как сгорели акты при пожаре, кто-то из публики сказал:

— Акты, отец настоятель, целы, они у Ивана Ивановича в Петрозаводске, целы и невредимы.

В это время богомольцы, успокоив свою грешную душу молитвой и, конечно, ничего не подозревая о таких тонких политических разговорах у отца настоятеля, сидели кучкой на камнях возле парохода у красивой бухточки с часовенкой и дожидались отхода парохода. Скоро и мы присоединились к ним и уехали в Петрозаводск.

На возвратном пути, через два месяца, мне сказали, что Климентский монастырь уже преобразовался в женский... Некоторые говорили, что будто бы монахи были ничего себе, а это дело рук хитрого игумена другого монастыря, которому хотелось сделаться вместе с тем и настоятелем женского Климентского монастыря. Другие же, напротив, утверждали, что игумен тут ни при чем, а виноваты сами монахи. Но я не буду разбирать этот сложный вопрос и беспокоить тени преподобных Корнилия, Зосимы и других святых старцев...

В Обонежском краю по пути мне удалось ознакомиться с двумя городами — Петрозаводском и Повенцом. Как их характеризовать? Отметить памятники старины, торговлю, промышленность? Все это есть в них понемножку, но не характерно. Помню, когда я гулял в Петрозаводске в ожидании парохода, мне почему-то казалось, что чистенький городок не живет, а тихо дремлет. Я не хочу этим словом обидеть городок; он дремлет не так, как наши провинциальные города центра, а как-то по-своему. В нем всегда тихо, и было бы нехорошо, если бы на берегу такого красивого озера, между холмами, что-нибудь сгущенное, человеческое шумело и коптело. Городок дремлет в тишине, и только время от времени что-то тяжело звякнет, стукнет или загудит снизу из котловинки в средине города. И вот этот-то звук чего-то упавшего железного в котловинке, очевидно, на Александровском пушечно-снарядном заводе, и объясняет теперь при воспоминании весь смысл городка. И в самом деле, вся история этого городка сложилась как-то возле неудачных попыток устроить здесь завод. Почин в этом деле принадлежит Петру Великому; раньше жил здесь лишь одинокий, выселившийся из соседней деревни мельник. Завод этот как-то плохо работал, закрылся, затем действовал некоторое время медно-плавильный, потом завод, открытый французской компанией, наконец и Александровский пушечно-снарядный завод, основанный Екатериной II. Последний существует и до сих пор: громадное красное здание в средине города в котловине. Говорят, что дела завода очень плохи, и только нерешительностью правительства прекратить невыгодное дело объясняется его еще до сих пор теплющаяся жизнь. Так что завод этот вполне невинный и нисколько не нарушает картины общего безмятежного спокойствия.

Памятники старины относятся, конечно, к пребыванию здесь Петра Великого. Тут есть деревянный собор Петра и Павла, устроенный так, чтобы с внешней его стороны можно было взбираться наверх. Говорят, что Петр Великий любил подниматься на этот собор и любоваться озером Онего.

Есть здесь также прекрасный парк, где Петр собственноручно сажал деревья и где был выстроен для него дворец. Есть тут монументы Петру Великому и Александру II, есть дом Державина и, конечно, как в губернском городе, много больших казенных зданий. Другой город, Повенец, уже относится к краю леса, воды и камня.

ЛЕС, ВОДА И КАМЕНЬ

Про Повенец говорят обыкновенно: он всему миру конец. Но, как я уже говорил, для меня с Повенца только и начинался самый любопытный мир.

И опять я задаю себе тот же вопрос: как характеризовать маленький городок в северном углу Онежского озера — Повенец? Я помню постоянный звук колокольчиков: это бродили коровы по улицам городка. Звук этих колокольчиков мне объясняет все. Повенча́н, так же как и петрозаводцев, я не хочу этим обидеть; не их вина в том, что старинное, существовавшее еще в XVI веке селение Повенцы потом было названо городом Повенцом. Если же считать его селением, то в присутствии коров на улицах нет ничего удивительного. И в самом деле, коренные жители этого «города» занимаются до сих пор земледелием; тут же за деревянными домиками и начинаются их поля. Другая, «лучшая» часть населения, в лучших домах — чиновники. Вот и все, что я могу сказать о Повенце.

Дальше: широкая дорога между непрерывными стенами угрюмого северного леса. То и дело вздрагивает повозка, наскакивая на разбросанные повсюду камни-валуны, или шипит по желтоватому крупнозернистому песку с мелкой галькой. А из леса сверкает чистая вода лесных озер, «белых ламбин»[1]. Время от времени шум экипажа пугает купающихся в разогре-

---

[1] Белыми ламбинами называются озера со светлой водой, черными ламбинами — с темной, от темного болотистого дна. *(Здесь и далее — прим. М. М. Пришвина.)*

том песке тетерок с цыплятами. Но мать не оставляет детей, а торопливо уводит их в лес, постоянно оглядываясь назад.

Повозка мчится все выше и выше, то спускаясь, то поднимаясь между террасами, холмами и скатами. Тихо ехать нельзя: *бармачи* (овода) замучат лошадей. Их целые полчища танцуют возле нас, и кажется — движение вперед им не стоит усилий.

В тринадцати верстах от Повенца, в деревне Волозеро переменили лошадей и снова понеслись вверх. Проехав еще верст пятнадцать, мы пересекли в косом направлении Масельгский хребет — высшую точку подъема. Этот хребет есть водораздел Балтийского и Беломорского бассейнов.

С этого места, если бы только можно было видеть так далеко, открылась бы грандиозная каменная терраса со ступенями назад, к Балтийскому морю, и вперед, к Белому. Величественные озера — ступени этой гигантской двойной лестницы — переливаются одно в другое шумящими реками и водопадами. Назади узкая лента Долгих озер переливается Повенчанкой в Онежское озеро. Многоводное Онего по Свири стекает в круглую Ладожскую котловину, по-старинному озеру Нево, а оно по коротенькой Неве спускается к Балтийскому морю. Впереди тоже ряд озер: Матк-озеро, Телекинское, Выг-озеро со множеством островов; последнее тремя живописными водопадами переливается в стремительный Выг и стекает к Белому морю. У подножья первого склона террасы — Петербург, а у другого — Ледовитый океан, полярная пустыня.

Так рисуется воображению географическая картина этих мест. Но и простым глазом видно то же самое, только на меньшем пространстве. В дымчатой синеве океана лесов тут сверкают террасы озер, рассеянных всюду между причудливо смыкающимися склонами.

— Лесом, водой и камнем мы богаты,— говорит ямщик.

И замирают слова человека. Безмолвие! Лес, вода и камень...

Творец будто только что произнес здесь: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша!»

И вода стала стекать к морям, а из-под нее — выступать камни.

В этих местах создалась такая карельская легенда:

«Вначале в мире ничего не было. Вода вечно волновалась и шумела. Этот шум несся к небу и беспокоил бога. Наконец разгневанный бог крикнул на волны, и они окаменели, превратились в горы, а отдельные брызги — в камни, рассеянные повсюду. Места между окаменелыми волнами наполнились водой, и так образовались моря, озера и реки».

В этом случае, как часто бывает, художественное творчество предупредило медленные поиски науки. Теперь и наука утверждает, что вначале здесь была только вода. Ледовитый океан в этом месте соединялся с Балтийским морем. Немногие такие мели, как вершина Масельгского хребта, выглядывали с поверхности ледникового моря. Громадные льдины Скандинавского ледника плавали по океану, задерживаясь только на этих мелях. Тут, на мелях, они таяли и оставляли всю массу камней, которую увлекли с собою, спускаясь с гор. Работою подземных сил из воды выдвигались все новые и новые мели, а льдины оставляли на них холмы ледникового наноса. Вот так и образовались здесь всюду раскинутые, вытянутые с ССЗ на ЮЮВ грядки кряжей: *сельги.* Низменные же места между сельгами остались наполненными водой. На каменных сельгах выросли хвойные леса, а в лесах люди «живяху, яко же и всякий зверь».

Название «Выговский край» не существует в географии. Этот край входит в общее название «Поморья». Но он своеобразен во всех отношениях и достоин отдельного названия. Он занимает всю ту местность, которая прилегает к берегам Выг-озера, впадающего в него с юго-запада Верхнего (южного) Выга и вытекающего из северного конца озера Нижнего (северного) Выга.

Мне казалось удобнее ознакомиться с этим краем, если поселиться где-нибудь в деревне в центре его и отсюда уже ездить на лодке на юг или на север. Как раз посредине длины Выг-озера, на одном из его

бесчисленных островов, есть деревенька Карельский остров. Вот ее-то я и избрал своим пристанищем. Этот план был одобрен и дедом рыбаком, у которого я ночевал перед поездкой по Выг-озеру.

— Женки едут на Карельский, они тебя и отвезут,— сказал мне старик.

— Вот наши женки, любы тебе? — рекомендовал он мне двух женщин с загорелыми, обветренными лицами, в сапогах, высоко подтянутых юбках и с веслами в руках.

Потом дед повернул свою седую большую голову по ветру и сказал «женкам»:

— На озеро вам хорошая поветерь будет, *шалонник* дует.

Слово «шалонник» означает SW — юго-западный ветер. Другие ветры, как я потом узнал, назывались: *летний* (S), *сток* (W), *побережник* (NW), *обедник* (SO), *полуночник* (NO), *торок* (вихрь) и *жаровой*, то есть — случайный летний ветер.

— Хороший, походный ветерок,— продолжал дед,— парус не забудьте.

— А мы не взяли, дедушка,— отвечали женки.

— Так дать, что ль?

— А бе есть, так и дай.

Дедушка одолжил нам парус, сшитый из мешков, и мы пошли к берегу. Там была вытащенная наполовину из воды простая небольшая лодка. На этой лодке и приходилось плыть по громадному, в семьдесят верст длины и до двадцати верст ширины, бурному Выгозеру. Ко всему этому я узнал, что лодка «без единого гвоздя сделана» и «сшита» вересковыми прутьями. Так оказывалось прочнее, проще и дешевле. Так, кажется, по преданию, строился и Ноев ковчег.

Немножко жутко было ехать в такой лодке, да еще с женками. Но это только с самого начала; потом же, как я убедился, женки, которые выросли на воде и начали плавать по озеру грудными младенцами, ничем не уступали мужчинам. Мужья сохранили только за собой право всегда сидеть на руле. Сначала кажется несправедливым, когда видишь, как женка гребет, а муж сидит на корме, чуть придерживая рулевое весло, а иногда еще при этом выпивая и закусывая рыбни-

ком. Но когда я присмотрелся, какое огромное напряжение сил требуется от рулевого в бурю и даже вообще при ветре на лодке с парусом, то понял, что тут ничего особенно несправедливого нет. Оно, может быть, и есть, но уж это везде и во всем пока так водится.

Итак, мы ехали по Выг-озеру с женками, на лодке без гвоздей, на Карельский остров. Вперед уходила на север бесконечная водная ширь, «большое озеро», свободное, без островов, а направо виднелся лес.

— Это острова?

— Нет, это *сузёмок*. Вон острова!

— А это?

— Это тоже острова. У нас их так много, что и не толкуем. Всего на озере их — сколько дней в году и еще три. Дальше еще кучнее пойдут. Острова да *салмы,* острова да салмы.

«Салмы» — значит проливы, слово карельское, как и все географические названия, сохранившие память о старых хозяевах этого озера.

— На веках тут у нас обязательно кареляк жил,— поясняют мне женки.

Дед, который сулил нам поветерь, не ошибся. Как только мы выбрались из лабиринта салм, подул сильный попутный ветер. Женки, довольные, стали устанавливать мачту, продевая конец ее через отверстие в лавочке и укрепляя в прибитой на дне лодки железной подкове.

— Как поветерь,— заговорили они оживленно,— тут уж поездка любая, тут сиди по́ла да посвистывай. Не здымай высоко! Со́рьвется! Поставь райно́[1] повыше! Погора́же отпусти, не пора́то натягивай, а то лодку опружит.

Женки наконец установили парус; одна обмотала снасть вокруг сапога, уперлась им в уступ на дне лодки, а обеими руками стала держать рулевое весло. Лодка понеслась как стрела. Закипели белые волны. Надвигалась туча.

— Ветер чернеет! Темень стават, божия милость,— крестятся гребцы.— Наше озеро свирипо; как повиют

---

[1] Р а й н о — рея.

ветры большие да забегают беляки, падет погодушка необъятная! Хоть вопи, а ехать надо. Забежит девятка [1], как хорома великая, и словно в могилушку опустит. Между девятками, как между хоромами, не видать лодки. Раз нас со старухой на остров выкинуло, так дня два зубами щелкали.

— Гляди, гляди, молвия маше! — восклицала другая женка.— Эк грянуло!

Туча прошла, и ветер стал стихать.

— Боком прошла божия милость. Ветер лосеет!

Заехали в салму, и стало вовсе тихо. Парус заколыхался. Над озером повисла радуга.

— Краса идет! Радуга! Надо парус ро́нить.

Стали присматриваться, куда падает конец радуги. Если на *сузёмок*, то дождя не будет, если на воду, то снова *темень* зайдет.

— Да теперь недалеко осталось. Вот салмочку проедем, обогнем коргу, там будет бе́режная сельга, потом комлевая, медвежий бор и Карельский остров.

Большие бури на Выг-озере бывают осенью, а летом оно часто совершенно спокойно и сверкает на солнце, как громадное зеркало. Налетит *торочек* — случайный ветерок (вихрь), и заблестит водная гладь миллионами искр. Но летом ветер быстро пролетает куда-то и исчезает бесследно; этот *жаровой* ветер не имеет никакого значения при поездке, и через пять — десять минут озеро остается таким же спокойным, как и раньше. Иногда солнце так греет, что становится и очень тепло. Но все как-то не доверяешь этому теплу. Словно за теплом и светом где-то притаился холодок и шепчет: «Это не лето, это только *межень*. Пройдет эта теплая пора, и здесь, на этом месте, будет лед и темная беспрерывная ночь».

На озере всюду разбросаны большие и маленькие острова. Большие не так интересны: их не охватываешь глазом, и они кажутся берегом. Но маленькие своеобразно красивы. Особенно хороши они в летнюю,

---

[1] Девяткой на Выг-озере называется всякая большая волна, но, конечно, не всегда «девятый вал».

совершенно тихую погоду. Из водной глади тогда всюду вырастают кучки угрюмых елей. Они тесно жмутся друг к другу и будто что-то скрывают между собою. Напоминают они немного беклинский «Остров смерти». Как известно, на знаменитой картине бросается в глаза сначала группа кипарисов, скрывающая загадку смерти, потустороннюю жизнь. Присмотревшись к картине, замечаешь, что между кипарисами продвигается лодка и кто-то в белом везет гроб, осыпанный розами...

Вот и тут так же что-то выдвигается белое. Что это? Семья лебедей. И вдруг над северным островом смерти раздается дикий хохот: га, га, га!.. Это летит гагара, падает на воду и исчезает.

Между островами, особенно у низких травянистых берегов, непременно плавают утки всяких пород: алейки, овсянки, крёх и другие; они смирные, непуганые и «в уме не дёржат», что человек их может обеспокоить.

Не всегда можно добраться до острова на лодке. Он окружен подводными камнями — *лудами*. А с двух сторон, обыкновенно с ССЗ и с ЮЮВ от него спускаются в озеро каменистые стрелки — *корги*. От этого кажется, что остров лежит на выдающемся из воды каменном пьедестале. Камни, окружающие остров, объясняют, что он не что иное, как размытая сельга. В середине его, на неразмытой части, где сохранились песок и галька, селились деревья, охватывая камни корнями, а размытые части образовали *корги*, то есть каменистые косы, и *луды* — подводные камни. Иногда вода совершенно размывала остров, и деревья не могли поселиться на голых камнях,— это мели, *сухие луды*. На лудах нерестится рыба, на сухих лудах любят собираться большими стадами чайки.

Все эти птицы — утки всех пород и лебеди — почти не боятся человека. Их не стреляют. «Зачем, скажут, их бить, когда для пищи определена «дичь», то есть лесная птица: рябчики, тетерева, мошники (глухари)». «Лебедь и утка, скажут, нам никакого вреда не приносят, самая безобидная птица». Про хорошего человека здесь говорят: «Степенный человек, самостоятельный, бога почитает и не то что лебедей, но и уток не трогает».

Вот почему лебеди не боятся человека, подплывают с детьми к деревням. А утки так непременно селятся в болотах, ближайших к селениям. Когда мне про это рассказывал один старичок, то прибавил: «Стало быть, и ей (утке) это нужно, понимает она».

Как-то раз мы плыли с этим старичком на лодке в узкой салме. Семья лебедей плыла впереди, стараясь уплыть от нас и не желая улетать и оставлять маленьких детей. Старику показалось, что я хочу их стрелять; он в страхе схватил меня за руку и сказал:

— Что ты, что ты, господь с тобой, это нельзя!

И рассказал мне по этому поводу такую историю:

— Молод я был, глуп. Пришла мне раз в голову такая дурь — убить лебедя. Ходил я полесовать, день проходил — хоть бы что. Настала ночь. И такая-то светлая, хоть баба шей! Озеро стоит тихое-тихое. Смотрю, посередине у камня быстерок (струйка) играет. Думаю — это не рыба быструет. Пригляделся и вижу: на камне среди озера выдра сидит, хвост свесила, оттого и вода колышется. Стал прилаживаться. Фырсь! носом и в воду. И взяла досада. Вижу, плывет пара лебедей. Сошлись близко головками. Я прицелился. Не успел сливить[1] — разошлись. А по одной стрелять я не посмел. Отошел саженей пять, смотрю, катит на меня олень — что стог сена, рога — что борона. Я его и свернул. А если бы я по лебедям стрелял, то верст на пять распугал бы всех оленей.

— Да вот покойник Иван Кузьмич,— сказал другой гребец,— убил лебедя весной, а к осени и помер, через год жена померла, дети, дядя, весь род повымер.

— Эх, а что тоски-то в нем! Попробуй одну убить. Полетит кверху, будет на воду падать и пары себе уж больше никогда не подберет.

Я долго старался добиться, почему именно лебедь нельзя стрелять, но мне не могли этого объяснить. «Грех» — последняя причина в сознании местных людей.

Трудно понять, откуда взялось это поверье. Как известно, в наших сказках царевна обращается в лебедь,

---

[1] Ливить — спустить курок, потянуть за ливку (собачку).

а в мифологии всех вообще арийских народов лебедь привозит и отвозит божества. Но если это поверье связано с древнеславянской мифологией, то почему же в былинах так часто «рушают» белую лебедь? Быть может, оно заимствовано от финнов? Или, быть может, связано с тем, что здесь, на Севере, староверы поддерживали законы Моисея, запрещающие употреблять в пищу лебедь? Как бы то ни было, но обычай прекрасен, и кажется, будто он непременно так и должен быть здесь, в этом краю непуганых птиц.

Вероятно, многие из необитаемых теперь выгозерских островов были когда-то заселены. Иногда увидишь врубленный в дерево восьмиконечный староверский крест, иногда попадаются сложенные в кучи, очевидно рукою человека, камни. Местные люди здесь находят котелки, монеты, стрелы. Есть много поверий о зарытых кладах. Острова кажутся могилами.

И в самом деле, в этом краю, как и во всем Обонежье, происходили когда-то постоянные столкновения шведов, финнов и славян. Это было время непрерывных войн и опасностей. Вот почему, вероятно, стариннейшие селения здесь и до сих пор находятся на островах или в едва проходимой глуши. Большинство обонежских курганов, *сопок,* относится к этим старым временам. Но здесь, в Выговском краю, мало осталось об этом преданий. «На веках жили», и больше ничего. А чьи эти котелки, монеты, стрелы, могилы? Кто зарыл в землю клады, о которых с такой уверенностью говорят старые люди? Здесь сейчас же ответят: это *паны.* Они тут жили, это всем известно.

— Вот тут жили, где кузнецова изба стоит,— сказал мне раз один старик, и так уверенно, словно сам лично видел этих панов.

— А вот на том месте их главный притон был,— рассказывал мне дальше старик о панах.

Остров, на котором жили паны, называется *Городовой* и, вероятно, потому, что там было *городище,* укрепленное место, вроде небольшой крепости. Отсюда, с этого острова, по преданию, паны приезжали в селения, грабили их, забирали с собой крестьян и за-

ставляли на себя работать. Но кто же были эти паны? Долго я не мог добиться, как объясняют себе местные люди появление панов в таком глухом краю. Наконец, одна старая, девяностолетняя женщина, знавшая всякие сказки, стихи и былины, рассказала о них следующее:

«Был царь Гришка-расстрига; он женился в другой земле и взял жену Марину. Стали возить Маринино приданое и возили три года.

Раз шел конь с приданым, да остановился, устал. А пономарь звонил на колокольне, увидал и спросил:

— Что везете?

— Везем Маринино приданое.

Пономарь взял да и разбил одну бочку с воза. А там, в бочке — два пана. Пономарь и объявил царю:

— Ваше царское величество, вот какое приданое возят с другой земли.

Пришла сила, повернула Маринину палату вверх дном. Марина же волшебница была, обернулась сорокой и улетела в окно. А паны разбежались по русской земле, вот и у нас жили и грабили».

Так объясняет народ появление панов в Выговском краю. На самом же деле вторжение панов относится к тому времени, когда разбитые в сердце России войска второго самозванца рассеялись по ее окраинам. Эти банды поляков, татар и казаков вторглись в Олонецкую губернию из Вологодского и Белозерского уездов. «Паны», по современным актам, оскверняли церкви божии, снимали с образов оклады, мучили и секли крестьян, отнимая у них деньги и другое имущество, выжигали гумна и клети, а хлеб увозили с собой в *остроги.* Эти остроги, или острожки, были укрепленные места и, вероятно, находились там, где теперь указывают панские *городки,* или *городища,* как, например, остров Городовой на Выг-озере.

Шайки грабителей бродили по Олонецкому краю более трех лет (до начала 1615 года). В конце 1614 года царь Михаил Федорович отправил на имя белозерского воеводы Чихачева грамоту с приказанием объявить казакам всепрощение и пригласить их на государеву службу против шведов с обещанием денежного жалованья. Казаки откликнулись и в январе 1615 года

явились в сборном пункте (село Мегра Вытегорского уезда) в количестве от тридцати до сорока тысяч человек при семидесяти четырех атаманах, желавших идти на государеву службу под Новгород, под Ладогу и под Орешек.

Так кончились эти тяжелые времена для Олонецкого края. Неизвестно, ушли ли в это же время и паны с острова Городового на Выг-озере, или, быть может, продолжали более или менее долгое время грабить окрестных жителей. А может быть, народ расправился с ними по-своему. Возможно и то и другое. Выгозерцы все, от старого до малого, рассказывают о конце панов такое предание:

Там, где теперь находится Койкинский погост (селение на острове в северо-западном большом заливе Выг-озера), жил крестьянин Койко с своей старухой. Раз, когда Койко уехал на лов, паны пришли к его старухе и стали требовать денег. Но старуха денег им не показала. Паны убили старуху. В это время приехал Койко и сказал, что он знает, где клад, и взялся доставить панов туда.

Паны согласились и легли в лодку спать. Старик прикрыл их парусом и повез к Воицким падунам (то есть в северный конец Выг-озера, к истоку реки Северный Выг). Как раз у того места, где находится *падь,* есть Еловый островок. У этого островка Койко бросил весла, ухватился за дерево и выскочил, а паны с лодкой полетели в пучину.

Я помню, что предания о панах мне рассказывали как раз в то время, когда я ехал на лодке осматривать Воицкие водопады. Говорят, что шум этих падунов бывает слышен еще в Дуброве, в десяти верстах от них. Но попутный нам ветерок уносил звук в другую сторону, и я ничего не слыхал, даже когда мы приехали в Надвоицы — селение на Выгу, почти у самых Воицких водопадов.

Те гребцы, которые привезли меня в Надвоицы и брались доставить к водопадам, говорили, что это опасно. Но тут, в Надвоицах, местные опытные люди сейчас же предложили свои услуги доставить меня на тот самый Еловый островок, возле которого падает вода и где потонули паны. Гребцы взялись меня до-

ставить на островок сверху, прямо над водопадами. Если бы я знал, как это опасно, то, конечно, уж предпочел бы ехать снизу, по обессилевшей уже воде падунов. Но я этого не знал и поехал.

Выг у селения Надвоицы еще не имеет вида обыкновенной горной, бурливой реки. Однако все-таки вода довольно сильно стремится куда-то, всюду всплескивает о камни, беспокоится, всюду виднеются *вьюны,* лодкой нужно только управлять. Впереди, посредине реки, виднеется кучка елей, с виду как раз такой же островок, как на Выг-озере.

По мере приближения к этому острову, хотя и не видно падунов, начинаешь понимать всю страшную опасность такой поездки. Становится очевидным, что вода низвергается возле самого островка по обеим его сторонам, а между водопадами только каменный мысок, к которому и нужно непременно пристать лодке, иначе она полетит вниз. Хотелось бы повернуть назад. Но уже поздно, у гребцов рассчитаны все движения; теперь даже и говорить неудобно: малейшая ошибка — и конец всему. Один правит, а другой держит наготове жердь, чтобы удержать лодку, когда она пристанет. Торопливо, с замирающим сердцем выскочил я на остров. А гребцы сказали, что приедут через час снизу, где они будут *поездовать,* то есть ловить рыбу сетью в клокочущей воде. Я остался один на каменной глыбе между елями, окруженный бушующей водой.

...Гул, хаос! Трудно сосредоточиться, немыслимо отдать себе отчет, что же я вижу? Но тянет и тянет смотреть, словно эта масса сцепленных частиц хочет захватить и увлечь с собою в бездну, испытать вместе все, что там случится.

Но, внимательно всматриваясь, замечаешь, что прыгающие брызги у темной скалы не всегда взлетают на одну и ту же высоту: в прошедшую секунду выше или ниже, в следующую не знаешь, как высоко они прыгнут.

Смотришь на столбики пены. Они вечно отходят в тихое местечко, под навес черной каменной глыбы, танцуют там на чуть колеблющейся воде. Но каждый из этих столбиков не такой, как другой. А дальше и

все различно, все не то в настоящую секунду, что в прошедшую, и ждешь неизвестной будущей секунды.

Очевидно, какие-то таинственные силы влияют на падение воды, и в каждый момент все частички иные: водопад живет какою-то бесконечно сложной собственной жизнью...

С Елового островка видны только два водопада: средний, самый большой и величественно-спокойный, падающий отвесно, и правый, если стать лицом к Выгозеру,— бурливый, беспокойный, брызжущий; он называется «Боковой». Третий водопад нужно смотреть с берега; его не видно с Елового островка за другим голым каменным островком, сзади которого он и падает. Он называется «Мельничный». Теперь мельница находится вблизи бокового водопада, но он все-таки по-старому называется Мельничный. По этому водопаду спускается лес при сплаве его в Сороку, потому что он значительно меньше, чем другие. Вода от всех трех водопадов собирается в небольшой котловине сзади Елового островка, который отсюда уже представляет довольно высокую скалу. В этой котловине разделенные натрое воды Выга встречаются и, словно радуясь встрече, бурлят, кипят, прыгают, вертятся, прижимаются к левому высокому скалистому берегу и уносятся, разливаясь вскоре широким Надвоицким озером.

В бурливой котловине, где встречаются воды, живописно разбросаны громадные валуны; кое-где на них сидят мальчики, удят рыбу. Тут же, на этой бурливой воде, поездуют с сеткой в руке ловцы, ловят хариусов и форель. А на верху высокой скалы, на сосне, ждет свою добычу всегда ненасытная скопа.

В Боковом падуне, хотя и чрезвычайно бурном, есть место, где вода падает по уступам,— вероятно, с высоты не более одной-полутора саженей; вот в этом-то месте и проходит беломорская семга в Выг-озеро. По словам местных рыбаков, семга, ударяя хвостом о воду, может прыгнуть до двух аршин над водой. Стремление этой рыбы пробраться в реку к местам нерестования так велико, что она решается перескочить и падун. Прыгая с уступа на уступ по *щельям*[1],

---

[1] Щельями на Севере называются скалы.

она попадает, наконец, в Выг и в Выг-озеро. Иногда она, не рассчитав расстояния, выпрыгивает на сухую скалу и тут же немедленно расклевывается скопой. Один местный попик, разведав ход семги, приспособил как-то у падуна ящик, так что в него попадала вся семга. Однако выгозерские рыбаки скоро потребовали от него, чтобы он убрал свой ящик.

Перебраться с Елового островка на берег не совсем безопасно и снизу; поэтому приходится переезжать через ослабленную, но все еще быструю струю Бокового падуна. Маленькая долбленая лодочка, *карбасик,* ставится кормщиком приблизительно под углом 45° к струе. Вода, ударяя в нос карбаса, старается перевернуть его, но вместе с тем и относит на другую сторону. Ловкий удар веслом вовремя окончательно переносит карбас из бурлящей воды в тихое место, к берегу.

За рекой Выгом находится довольно высокая скала из хлоритового сланца, она называется Летегорой; за ней следует моховое болото, дальше — снова гора, но уже из талькового сланца, и потом возвышается над всею местностью прилегающая к северному углу Выг-озера и Северному Выгу Серебряная гора.

Мне рассказывали, что где-то в пещерах этой горы течет струя чистого серебра, что место это знала одна старуха, но умерла, и теперь уже никто не может его найти.

Как ни фантастично это предание, но оно имеет основание; и по геологическому строению местности, и по тому, что недалеко, в окрестностях Сег-озера, уже найдены залежи серебряной руды, можно думать, что здесь она есть.

Местные жители убеждены, что где-то здесь есть серебро. Рассказывают, будто даниловские скитники добывали руду, делали из нее рубли, и эти рубли ходили по всему Северу несколько дешевле правительственных.

Жилы же с медной рудой и затем с золотом были открыты здесь еще в 1732 году одним крестьянином из деревни Надвоицы. На полуострове, образуемом с одной стороны заливом Выг-озера, с другой — Выгом, был основан Воицкий рудник в 1742 году. Сна-

чала в нем добывалась только медь, но с 1745 года стали добывать и золото. Кроме этих металлов, в рудоносной жиле находилась в большом количестве и железная руда. Но рудник потом был заброшен... Вообще все исследователи говорят о громадном запасе руд в нашем Северном краю и сулят ему блестящую будущность.

Кому же жить в этом мрачном краю леса, воды и камня, среди угрюмых елей и мертвых богатств золота и серебра?

Казалось бы, что тихие, молчаливые, невзрачные финны более других народов могли бы примириться с этой жестокой средой, приютиться где-нибудь между озерами, скалами, лесами и медленно, упорно, молчаливо приспособлять себя к природе и природу к себе.

Но финну жить здесь не пришлось, его место заняли славяне. Эти оказались слабы, неприспособлены; они и до сих пор прозябают здесь, из поколения в поколение передают грустные воспоминания о своей, когда-то жизнерадостной, разудалой жизни. Теперь они поют о соловьях, которых здесь никогда не видали, поют о зеленых дубравушках, окруженные соснами и елями, поют о широких чистых полях.

Нет, всякое обычное существование не удовлетворило бы этот край. Он не загорелся бы всею полнотою своей могучей внутренней силы.

Однако было же время, когда край встретился с равным, могучим и гордым противником. Восьмиконечный врубленный в дерево крест, полузаросшие мохом кладбища, полуразрушенные часовенки, предания о местах самосожжения — вот все, что осталось от этого времени борьбы и жизни в этом краю.

Историю этой борьбы старообрядцев с суровой природой я расскажу потом, когда мне придется говорить о скрытниках, или пустынниках, старающихся в нынешние времена воспроизвести жизнь первых, одушевленных религиозной идеей, борцов-раскольников. Но теперь я передам сначала все, что мне удалось узнать из жизни людей на Карельском острове и в других селениях Выговского края.

ВОПЛЕНИЦА

Кто никогда не бывал в не тронутых культурой уголках нашего Севера и знает родной народ только по представителям, например, черноземного района, того поразит жизнь северных людей. Поразят эти остатки чистой, не испорченной рабством народной души.

Сначала кажется, что вот наконец найдена эта страна непуганых птиц: так непривычна эта простота, прямота, ласковость, услужливость, милая, непосредственная. Душа отдыхает, встретив в жизни то, что давно уж забыто и разрушено, как иллюзия.

Хорошо быть таким путешественником, чтобы скользить по жизни и уносить с собою, не задумываясь, такие прекрасные, радостные настроения. Но я себе выбрал неудачную в этих целях систему наблюдения края посредством внимательного разглядывания одного маленького, но характерного его уголка. На месте не нужно задерживаться, а ехать и ехать; тогда непременно получится веселая и пестрая картина.

Задержавшись на месте, приживаешься, свыкаешься и понемногу уходишь в глубину человеческих, мелких, скрещенных интересов. Не успеешь оглянуться — исчезла иллюзия, исчезла страна непуганых птиц: живут себе люди, как люди.

Одна баба украла житную муку. Другая, хотя и «по тяжелой душе», но доказала. Воровку с мешком на шее и со сковородой на спине провели по деревне. В сковороду стучали, перед каждой избой заставляли женщину кланяться. А вот Акулина, у нее что-то неладно: муж в бурлаках, а она Максимку чаем поила. Собрались кумушки и постановили: «За Акулиной присматривать». Про Дашку и говорить нечего: эта «вольная», одна только и есть такая в деревне. Конечно, совсем худого за ней никто не знает ничего. Послужила она в Шуньге горничной и явилась не в сарафане, а в городском платье, с мужиками вертится, мужики ее вертят, что совестно смотреть. Да оно и понятно. Раз, главное, отец гулящий, худой был, на сплавах и на море загуливал, да и мать тоже... все знают, какая была. У всех на памяти, как из-за нее в Петров день вся деревня передралась. Лодочник Ко-

жин поспорил из-за лодки с заказчиком на улице. Стали ругаться крепче и крепче. Лодочник и скажи при народе: «Я не жена твоя, что даром с мужиков деньги берет». И поднялось! Откуда ни возьмись у бабы кол, колом она его по лбу. А за лодочника его бабы и ребята вступились, за ребятами матерые люди. Полетели камни, всю огороду на колья разобрали. И много-много всего увидишь и узнаешь, как обживешься. В деревне все на виду, каждый с удовольствием расскажет всю подноготную про своего соседа *порядового*. Слушаешь, слушаешь, наконец станет обидно за человека. «Да есть ли кто у вас, кого не коснулись эти людские пересуды?» — «Как же, как же, скажут, есть, есть такие». И так скажут это «есть», что успокоишься. Непременно *есть* в деревне такие люди.

Вот такой-то исключительный человек на Карельском острове — вопленица Степанида Максимовна.

— Максимовна — это особое дело. Максимовна у нас горюша, хлебнула она горя, бедная.

Но прежде чем рассказать о Степаниде Максимовне, я должен сообщить здесь то, что знаю о вопленицах и их назначении, потому что Максимовна — известная по всему Выг-озеру вопленица, плакальщица или подголосница.

На Севере, знакомясь с народными верованиями, надгробными плачами и похоронными обрядами, можно почувствовать себя вдруг среди славян-язычников. Множество признаков здесь говорит о них. Во многих, например, местах Архангельской и Олонецкой губерний в Ильин день перед церковью закалывают быка. Часто можно услыхать, как женщина, увидав бабочку, скажет: «Вот чья-то душка летает»; точно так же скажут иногда и про голубя, утку, про заюшку и горностаюшку,— несомненные следы верований в переселение душ в животных. Иногда почему-то кладбище представляет собой своеобразную картину: крестов на нем почти нет, но зато на каждой могиле лежит лопата и стоит обыкновенный печной горшок, возле горшка рассыпаны угли. Этот обычай, без сомнения, языческого происхождения и введен, вероятно, старообряд-

цами. Если же ознакомиться с надгробными плачами, то тут раскроется величайшая глубина и поэзия народной души. Правда, искренность, чистота сердечных движений при утрате близких родных несомненны, а потому и плачи дают богатый материал как для науки, так и вообще для понимания жизни народа.

В этих плачах разработана одна великая драма: борьба со смертью. И борьба не в каком-либо переносном значении, а настоящая борьба, потому что для язычника смерть не успокоение и радость, как для христианина, а величайший враг. Человек мог бы жить вечно, но вот является это чудовище и поражает его.

Прежде всего являются зловещие признаки приближения этого величайшего и непобедимого врага. На крышу избы садится птица — филин, ворон или сова — и укает по-звериному, свищет по-змеиному. Человек готов вступить с ними в борьбу, он готов отдать все свои силы, лишь бы избавить любимое существо от смерти. Но злодейка-душегубица идет, крадучись: по крылечку идет молодой женой, по сеням красной девушкой, или залетит птицею-вороном, или зайдет каликой перехожею. Перед вечным врагом бессильно опускаются руки. Остается умилостивить, вступить с нею в сделку. Чего-чего только не предлагается ей: и жемчужная подвесочка, и платочки левáнтеровы, и сбруя золочена, и золотая казна, и гулярно цветнó платьице, и любимая скотинушка. Но смерть, или *судина,* не только неумолима, но даже радуется страданиям, с наслаждением плещет в длани, водит ужасно голосом и поражает жертву смертельным ударом.

Человек умирает, вроде как «солнышко за облачком теряется, светел месяц поутру закатается или как меркнет звезда поднебесная».

Душа умершего человека селится в особом *домовище* или улетает в надзвездный мир, в царство вечного света, тепла. В этом мире души умерших парят, сходятся и расходятся легкие, свободные, как облака: «Стане облачко с облачком сходитися, може друг с другом на стрету постретаетесь».

Все эти изначальные народные верования сохраняются и до сих пор на Севере. «Из среды народа,—

говорит Барсов [1],— выступают личности, которые еще долго являются носителями древней погребальной причеты, известные под именем плакальщиц, или вопрениц; в данном случае они пользуются едва ли не священным уважением в народе; и долг в отношении умерших и тяжелое чувство дорогой потери, ищущее облегчения в ясно сознанных думах и слововыражениях, долгое время поддерживают еще их существование. Благодаря своим природным дарованиям вопленицы живо усвояют, сохраняют и преемственно передают друг другу формы и отчасти содержание древней священной причеты. Время и история мало-помалу стирают содержание плачей, но еще долго не могут осилить присущей им свежести и силы живых явлений природы и совсем уничтожить их воздействие на человеческую душу. Вопленица по преимуществу является истолковательницей семейного горя; она входит в положение осиротевших; она думает их думами и переживает их сердечные движения; чем богаче ее запас готовых оборотов и древних эпических образов, чем лучше она обрисовывает думы и чувства в животрепещущих явлениях природы, тем умильнее и складнее ее причитания, тем большим пользуется она влиянием и уважением среди народа. Отдать последний долг умершему собираются иногда целые селения, а потому мы не вполне определим значение вопленицы, если будем представлять ее истолковательницей чужого горя; влияние ее шире: она объявляет во всеуслышание нужды осиротевших и указывает окружающим на нравственный долг поддержки, она поведает нравственные правила жизни, открыто высказывает думы и чувства, симпатии и антипатии, вызываемые таким или другим положением семейной и общественной жизни».

С вопленицей Степанидой Максимовной я познакомился таким образом.

Раз ночью не спалось. Непривычному человеку трудно приспособиться нормально спать такою ночью, когда так светло, что далеко от окна можно свободно

[1] Е. Барсов. Причитания Северного края. Предисловием этой прекрасной книги мы здесь и пользуемся.

читать и писать. Помню, мне показалось, что на небе сверкают какие-то полосы, похожие на радугу. Меня очень заинтересовало это явление: ночью, в двенадцать часов — радуга! Я подошел к окну и стал разглядывать. Явление это для меня так и осталось неразгаданным, но дело не в том. Когда я разглядывал из окна яркие полосы, то до меня отчетливо доносился разговор снизу. Говорили две женщины.

— Раз и мне пришлось его видеть.

— Ну, какой же он из себя?

— Да на моего хозяина схож, тоже в красной рубашке показался, борода большая, сам маленький, лучинка в руке.

— А где же ты его видела?

— Да в хлеву.

— Ну, так это не домовой, это дворовой хозяин. Домовой не показывается: его только во сне можно видеть или если истомишься и забудешься. Вот мне пришлось его видеть, как муж помер. Ходила я тогда, матушка, вопеть на могилку. И так-то я порáто вопела, что задрожишь вся. Тут-то он мне и стал показываться. Стала я с лица спадать. Домашники замечают, а не знают отчего, думают — с тоски по мужу. Раз я так навопелась, подоила коровушку, да и вошла в избу. Темно, тихо, ребятишки спят, только слышно, как на печи старичок, странник захожий, кряхтит и стонет. Хотела я лучинку зажечь, да что-то нéможно стало, и прилегла на лавочку. И забылась. Сплю, не сплю, сама не знаю. Слышу, дверь отворилась... вошел... идет ближе, ближе... А шевельнуться не могу. Вижу, стоит... темно... разглядеть не могу, и так-то он гораздо и горячо дышит. Наклонился ко мне и за руку взял... Шерстно-ой!

— Шерстной, говоришь?!

— Шерстной, матушка, прешерстной. Кричу: «Дедушка, слезь с печи!» — «Что с тобой, баит, дитятко?» Заплакала я тут: «Не хочу, говорю, умирать». А потом и согрешила: «Дедушка, говорю, умри за меня!» — «Рад бы, говорит, душка дорогая, рад, да это дело божье».

Я взглянул в окно и посмотрел вниз, на говоривших; меня заметили и перестали разговаривать. На

другой день, когда старичок, мой хозяин, привел меня в дом Степаниды Максимовны, чтобы послушать ее *воп,* я узнал в хозяйке ночную рассказчицу. Небольшого роста, живая старушка, с ясными, чуть заволоченными дымкой грусти и горя голубыми глазами. Бесчисленное множество детей окружало ласковую старушку. Дети и на лавках и под лавками, на полу, дети держатся за юбку старушки, выглядывают из-за ее спины, дети пищат в трех зыбках. Кажется — все... но, смотришь, где-нибудь у печки копошится в золе совершенно голенький; оглянулся — там еще и еще...

— Вот, Максимовна, гостя тебе привел, хочет твой воп послушать,— сказал старик.

— Милости просим, милости просим, гость дорогой, только вопеть-то уж я как будто и стара.

Кое-как мы уломали Максимовну. Она села на лавочку и, уставившись в какую-то далекую точку, стала причитывать... И мне стало неловко... У старушки катились по щекам слезы, она обнажала свое горе искренне, просто и красиво.

Я оглянулся на старика — он плакал. Улыбаясь сквозь слезы стыдливо и виновато, он мне потихоньку сказал:

— Не могу я этого ихнего вопу слышать. Как услышу, так и сам завоплю. Дома, как завопят бабы, я гоню их вон чем попало... Не могу...

Все женщины в избе плакали. И даже молодой парень как-то уж очень неестественно повернул свое лицо в угол. Мне было неловко... Знал бы я, что даже в обыденной жизни надгробная песня может вызвать такое серьезное чувство, то, конечно, не стал бы просить Максимовну вопеть при людях. Но она все вопела и вопела...

Вслушиваясь в плач вдовы по мужу, я понял, что тоскливое чувство вызывала главным образом маленькая пауза в каждом стихе. Спев несколько слов, вопленица останавливалась, всхлипывала и продолжала. Но, конечно, много значили и слова.

Надгробные песни Степаниды Максимовны — образцовые произведения народной поэзии. Вот одна из них.

ПЛАЧ ВДОВЫ[1]

Уж как сесть горюше на белую брусовую на лавочку,
Уж ко своей-то милой, любимой семеюшке,
Ко своей-то милой венчальной державушке,
Ты послушай, моя милая, любимая семеюшка:
Уж по сегодняшнему господнему божьему денёчеку,
Как по раннему утру утреному
Вдруг заныло мое зяблое ретивое сердечушко,
Вдруг налетела малолетна мала птиченька,
Стрепенулась на крутом на складном сголовьице.
«Ты долго спишь, вдова, сирота бесприютная!
Как на раскат горе на высокой
Там рассажен сад, виноградье зеленое,
Там построено теплое витое гнездышко,
Там складены теплые кирпичные печеньки,
Там прорублено светлое косящато окошечко;
Там поставлены столы белодубовы,
Там скипячены самоварчики луженые,
Там налиты чашечки фарфоровы,
Там дожидает тебя милая любимая семеюшка».
Так уж будь проклята малолетна мала птиченька!
Обманула меня, бедну вдову, горе горькое.
Как на той на могилочке на умершей
Не поставлено дивно хоромно строеньице.
Там повыросла только белая березка кудрявая,
Там не дожидает меня милая венчальная державушка:
Видно, уж отпало желанье великое...

Да уж как я подумаю, вдова, сирота бесприютная:
Уж как порозо́льются быстрые, струистые реченьки,
Уж пробегут эти мелки, мелки ручееченьки,
Уж как порозо́льется славно широко озерушко,
Уж как повыйдут эти мелкие белые снежечеки,
Я проторю путь торну широку дороженьку
Я на раскат на гору на широкую
Да ко той-то милой умершей семеюшке.
Уж вы завийте, тонкие сильные ветрушки,
Уж разнесите эти мелкие желтые песочики,
Расколись и эта новая гробова доска,
Расколитесь, распахнитесь, белы саваны,
Уж покажись, моя милая любимая семеюшка!
Уж ты заговори со мной тайное единое словечушко,
Уж поразбавь, поразговори, самоцветный лазуревый камешек.
Уж как придет темная зимняя ноченька,
Уж я заберу моих милых сердечных детушек,
Уж как закутаю теплым собольим одеялышком.
Уж как погляжу на это умноженное стадо детиное —
Пуще злее досаждает, одоляет тоска-кручина великая.

---

[1] Записано со слов вопленицы Степаниды Максимовны. Выгозеро, Карельский остров.

Погляжу я в это светло косящато окошечко,
Как на эту раскатну гору на высокую:
Уж нейдет, не катится моя милая, любимая семеюшка,
Уж, видно, так мне проживать-коротать свою молодость,
Не порой пройдет да не времечком,
А пройдет молодость горючими слезьми.
. . . .

Вопленицей, истолковательницей чужого горя, Максимовна сделалась не сразу. Чтобы понимать чужое горе, нужно было выпить до дна полную чашу своего собственного. «Сама я,— говорит Максимовна,— от своего горя научилась. Пошло мне обидно, поколотно, несдачно, вот и научилась».

И все объяснение. Простой народ о своем таланте не станет кричать. Между тем Максимовна несомненный и в своем месте общепризнанный талант. В девушках она была первой «краснопевкой» на Выг-озере, в детстве знала и пела всякие байканья, укачивая в зыбке детей. Постепенно, шаг за шагом, жизнь изменяла невинные игривые детские песенки Степки Максимовой в девичьи песни краснопевки Степанидушки, потом в свадебные прощальные заплачки невесты, в надгробный плач вдовы по мужу и, наконец, в причитания плакальщицы Степаниды Максимовны. Вот почему жизнь ее достойна описания.

Родилась Степанида Максимовна вблизи Выгозерского погоста, на пожне. Мать ее при этом случае косила в сторонке от своих, бросила косу, ухватилась за сосновый сук и родила. Она завернула ребенка в юбку и принесла домой.

Из детства Максимовна помнит, как «по тихой красотушке» она ездила в праздник в лес за ягодами, как сопровождала мать на рыбную ловлю и выкачивала *плицей* набежавшую в худую лодку воду, помнит, как укачивала ребенка, когда мать уезжала на сенокос. На ней, пятилетней девочке, тогда оставалось все хозяйство. Сделает она, бывало, *штейницу,* кашку из житной муки, молока и воды, покормит ребенка и целый день качает его и поет байканья. Больше всего у ней осталось впечатлений от поездок в лес за морошкой. Эти поездки не забава, а серьезное дело, потому что морошка такая же пища, как и хлеб и рыба; в осо-

бенности, если ее набрать побольше и зарыть на болоте. Там она хорошо сохраняется до зимы. В лесу, когда собирали морошку, девочки старались не отходить далеко от матери, а то мало ли как может пошутить *Шишкó!* В этого Шишкó и вообще во всю лесовую силу Максимовна и теперь глубоко верит и не допускает малейшего сомнения в их существовании.

Раз был такой случай, рассказывает Максимовна. Теткины девочки уехали на Медвежий остров за ягодами да долго не возвращались. Вот тетка и скажи: «Черт вас не унесет, ягодницы!» А девочки в это время собрали по корзинке ягод и вышли на лядинку. Смотрят, дедушка старый стоит на той же лядинке и дожидается их. «Пойдемте, говорит, девицы, со мной». Они и пошли вслед. Вот он их повел по разным глухим местам, где на плечо вздымет, где спустит. Как только девочки сотворят молитву, он им сейчас: «Чего вы ругаетесь! Перестаньте!» И привел он их в свой дом, к своим ребятам: человек восемь семейство, ребята черные, худые, некрасивые.

Спохватились дома — нет девиц. Поискали, поискали и бросили; пошли на Лексу в скит к колдунье. Та отведать долго не могла; так они и выжили двенадцать дней у лесовика. И всего-то им там пищи было, что заячья да беличья говядина; истощали девки, краше в гроб кладут.

Когда колдунья лесовика «отведала», он и принес их на плечах к реке. Одну за ухо схватил и перекинул через речку, так что мочку на ухе оторвал, а другую, старшую, на доске отправил. Две недели девицы лежали, не могли ни есть, ни пить.

Много случаев помнит Максимовна, когда и ее пугал Шишкó, но всего не перескажешь.

В детском кругу Степку с десяти лет уж стали все называть «краснопевкой», то есть, по-городскому, редкой талантливой певицей. Бывало, как соберутся к празднику на погост, в Койкинцы, на Карельский остров или в другие деревни,— в каждой деревне свой праздник раз в год,— Степка всегда первая в хороводах, все песни она запевает: утошные, парками, шестерками, круговые. Да не такие песни, что теперь поют, частенькие да коротенькие, а настоящие *до*

сюльные, хорошие песни. Парочка подбиралась в величайшей тайне от всех. Но где тут укрыться! От деревни к деревне, от праздника к празднику идет слушок. И ему придают значение не только дети, но снисходительно прислушиваются и матери. Почему Гаврюшка и Степка рядом в церкви стоят, почему играют вместе? Дети стали укрываться от слушка. Разве только Гаврюшка с воза рукой махнет или передаст на пожнях конфетку. И так шло год за годом.

Степанидушка стала известной красавицей из зажиточного дома. Настало время, когда идеальная связь Гаврилы и Степаниды должна была получить жизненное испытание. Гаврило услыхал, что «Боровик губастый» послал к Степаниде сватов. Как услыхал, сейчас же сел на лодку — и на погост. Вечером подкараулил Степаниду. И как же плакала, бедняжка! Да еще бы не плакать: первая красавица, а жених немолодой, рябой, губастый, и прозвище «Боровик».

— Если ты мной не брезгаешь,— сказал Гаврило,— останься до весны: меня тогда обязательно женить будут, потому что у нас работать некому. Чем казачку (работницу) нанимать да платить, лучше уж свою взять, а так не уберутся.

— Не знаю,— сказала Степанида.— Если нам на этом остаться, мать не поверит... отдаст...

Задумался Гаврило.

А Степанида, как вернулась в избу, так и уперлась на своем: не пойду и не пойду.

— Знаю,— сказала мать,— на Гаврюшку надеешься. Понадеешься, да и будешь сидеть в вековухах. Что мне, в щах тебя варить, что ли? Ольгина мать тоже жарила, жарила Егору яичницу... зятек, зятек... а зятек другую взял. Вот и пошла Ольга за вдовца.

Но Степанида не сдавалась.

«Что я, враг, что ли, ей?» — подумала мать, надела шубу, да и на Карельский, к Радюшиным. Приплыла только вечером. Сидят па́ужинают.

— Хлеб да соль!

— Хлеба кушать! Милости просим. Садись, хвастай!

— Спасибо, я в лодке поела, не хочу.

— Ничего, хлеб на хлеб валится.

И села. А сама незаметно все на Гаврюшку поглядывала, да и махнула ему пальцем.

Смекнул Гаврюшка и вышел помочь ей кошель до лодки донести.

— Ты что же это мою Степку сбиваешь?.. Куй железо, пока горит, а девицу отдавай, пока сваты бьются... Знаешь Ольгу Егорову? Так нельзя. Хочешь взять, так помолились бы богу, что ли...

И опять задумался Гаврило. Сказать страшно. Не пил, не ел, стали домашники замечать. Раз ночью подошла мать.

— Ты чего не спишь?

— Да кусает, матушка.

— А чего же раньше не кусало? Знаю, знаю, по ком вздыхаешь. Сказать, что ль, отцу?

— Боюсь.

— Чего бояться? Мы нынче живы, а завтра бог знает. Вам жить, а не нам. Скажу.

Отец согласился. Степаниде Максимовне выпало счастье: пришлось выходить замуж по желанию.

Вот тут-то и началась церемония, о которой с величайшей готовностью во всех подробностях рассказала мне Степанида Максимовна.

Совершенно так же, как и в новгородскую старину, сватом сходил крестный отец. Хотя и *сяжно* было, но не сразу согласились невестины родители. «Позвольте,— сказали они,— думу подумать, вот родня соберется».

И другой раз сходил сват. На третий привезли жениха пить рукобитье.

Затянули столы скатертями, хлеб-соль положили, у иконы свечку затеплили, утиральник повесили. Помолились богу и выпили рукобитье.

В это время и научилась Степанида вопеть посвадебному, или «стихи водить». Ей казалось, что свадебные причитания сами собой пришли ей в голову, как понадобилось. Но на самом деле, незаметно для себя, она из года в год постигала эту премудрость, прислушиваясь к «голосу» других невест. Мно-

гое, конечно, создалось и так, как думает Степанида Максимовна, то есть непосредственно вылилось.

Сначала она вопела отцу:

Становилась подневольна косата голубушка
На одну мостиночку дубовую...
Уж не катитесь мои горькие слезы горючие,
По моему блеклу лицу, не румяному...

Вся в слезах, благодарила она отца и приносила ему покор, благодарность великую, что не жалел он для нее «казны собенной несчетной», покупал ей цветно платьице лазурево, «снаряжал и отправлял ее по честным владычным праздничкам». Теперь она просила его не пожалеть скорой скороступчатой лошадушки и собрать всю родню к последним столам белодубовым.

Почти целую неделю Степанида гостила и вопела у всех кумушек, сестреюшек и даже у соседей. Придет, бывало, к кому-нибудь, а уж там для нее самовар согрет, на столе тарелка с пряниками, со всем, что найдется. Посидят, побесёдуют, а на прощанье невеста вопит «лéгоньким вопом»:

Отпустите на мою слезну слезливу на свадебку,
Когда я буду расставаться с своей вольной волюшкой.

Всех обошла Степанида и вдруг вспомнила про свою любимую подруженьку, теперь покойницу:

Уж вы повийте, тонкие ветры холодные.
Из-под холодной из-под северной сторонушки...
Раскатитесь, пенья, колодья валючии,
И повыстань, моя красная красивая подруженька...

Но час-часочек коротается. От жениха стали приходить дружки, торопить. Бывало, придут:

— Бог помощь, живитé здорóво, Петр Герасимович, Марья Ивановна, Степанида Максимовна, вси крещеные. Как здорóво живете?

— Просим милости, пóдьте, пожалуйста, проходите, садитесь.

Посидят, отдохнут, отдадут жениховы гостинцы, да и скажут:

— Недосуг нам проживаться да прокармливаться, немощнó ли как поскорее?

— Ну, ладно,— отвечают им,— понoровите, дайте волю, мы вас дольше ждали.

Между тем в семье происходило прощанье невесты с отцом, с матерью, с братьями, с подруженьками и, наконец, с своей русой косой красовитою.

Утром подруженьки будили ее песней и мало хорошего ей сулили:

Ты чего спишь, глупая белая лебедушка,
Как в ногах стоит страшная гора страховитая,
А в головах стоит женское житье подначальное.

Проснувшись, она просила принести холодной свежей водушки с этого Выг-озера страховитого. Но эта вода оказывалась со мутом и ржавчиной. Подруженьки приносили со струистой быстрой реченьки, но и эта вода была бессчастной. Наконец водушка из темного леса из колодечка оказалась счастливой и могучей.

Тогда Степанида просила мать взять частозубчатый гребешок и расчесать дорогу́ вольну волюшку, свою косу красовитую по единому по русому по волосу и завязать семью шелковыми ленточками.

Это время самое интимное, самое священное для девушки: *красование.*

Тут отец, мать, братья, вся порода родительская. Невеста, разукрашенная, разодетая ходила «по одной дубовой мостиночке».

Благословите, жалки желанны родители,
Уж мне пойти ко теплому витому гнездышку,
Уж мне расстаться с моим дорогим привольным
девичеством.

Долго-долго причитывала невеста. Все спрашивала, куда бы положить свою вольную волюшку: обернуть заюшкой, водоплавной утушкой, повесить на липовой жердочке или у матери в виноградном зеленом саду? Но везде ее воле было не место и не местечко. Осталось разделить ее между подружками советными.

Утром в день венчания явились наконец поезжане: жених, его родители, тысяцкий, брюдьга. Их встретили подруженьки свадебными песнями.

Когда все расселись по порядку: ближняя родня повыше, дальняя пониже, тысяцкий постучал батожком по грядке и сказал, обращаясь к дружкам:

— Господи Иисусе Христе, а подайте нам, за чем мы пришли!

А дружки сходили к невесте и сказали:

— Есть в дороге, да па́ла погода, занесло дорогу пора́то.

Наконец появилась Степанида, поднесла «князю» на подносе платок, а он положил ей денег, мыло, зеркало и гребень. Началась церемония продажи невесты. За невесту просили денег, торговались, уверяли, что она им стоила дорого, что ее кормили, поили, одевали. Наконец Степаниду продали и пропили. Одним словом, разыграли комедию, взятую из старинных времен языческого славянского быта. После этого оставалось отдать долг и новейшим христианским временам — повенчаться в церкви.

Но не так легко язычникам стать христианами. Уже в то время как отец и мать благословляли Степаниду иконой, принимались всякие меры, чтобы враг не испортил молодых, не бросил бы чего между ними. Был приглашен специально для этого даже колдун с Химьих песков. Особенно стерегли молодых, когда сажали в сани. Усадивши, их хорошо закутали и отвезли в церковь.

После венчания поплыли на лодках, так же как и в Венеции, на Карельский остров к жениху. Там молодых обсыпали хлебными зернами, молились, здоровались, обходили столы. Тут собралось народу «лик ликом», было последнее столование. Пили «горько», клали деньги в рюмки. Наконец молодых увела проводница спать. На глазах ее молодая сняла у князя сапог, и он положил ей в него деньги...

Утром вытопили *байню,* и проводница сводила в нее молодых. Для посторонних тем дело и кончилось, но для молодых только началось.

Стали жить и поживать. За старшим сыном женили другого, и так — всех шестерых. Старика соседи укоряли, что девок по виду выбирал, а на природу

не смотрел. Между тем первое дело природа. С виду девка будто бы и хороша, а, глядишь, у свекрови над головой горшок разбила. Почему? Потому что вся ее природа была хитрая да воровитая. В девках все хороши, всякая жениха хочет и себя смиренницей ставит, поди ее раскуси. А вот как завязали рога на голове, так и скажет: «Теперь моя голова прикрыта, знать я никого не хочу».

Еще при жизни старика пошли несогласия между братьями из-за баб. «Напрасно старик большой дом выстроил,— говорили дальновидные люди,— не жить им вместе».

Помер старик. Словно предчувствуя беду, сильно убивалась старуха. Где уж ей теперь справиться, удержать вместе такую семью! Одна надежда оставалась теперь на Гаврилу, к которому переходила отцовская власть, и на большуху Степаниду.

Братья еще кое-как держались, но женки так и шипели: «Кончился лиходей наш, комом ему земля, не работал, а только распоряжался хозяйскими деньгами. Теперь хоть свет увидим. Вот когда бы только эта змея кончилась». Но старуха отлично понимала, что ей не справиться с ними, и передала хозяйство Степаниде. Еще на похоронах она вопела:

Уж ты у дверей будешь придверница,
У ворот будешь приворотница,
У замков будешь замочница,
Во дому будешь большухою.

Трудное дело большухи в таком доме, где все врозь лезет. Ко всей хозяйственной суете можно привыкнуть: пораньше вставать, хлопотать у печи, будить, распределять работу, вечно толкаться из стороны в сторону и не знать себе покоя. Но самое трудное дело — это ладить со всеми. На лов ли ехать, на пожни, к празднику, тут уж нельзя свой нос вперед совать. Нужно помалешеньку выведать, кто как думает, а потом и предложить на совет. Но человек — не машина: раз удалось, два удалось, а на третий и сорвалось. А тут меньшуха такая попалась, что раскопала всю семью. Всем-то она недовольна, дела не делает, а только и знает, что гнусит под палец. Она

всегда может уязвить большуху тем, что у той шесть человек детей, значит, шесть ложек, а у нее только две: она сама да муж. Наконец не стерпела Степанида:

— Ах ты, нищая, с голодухи мы тебя и в дом-то взяли!

— А я не просила,— ответила меньшуха,— у ворот не стояла. Я вот тут одна с мужем, а ты в шесть ложек ешь!

Меньшуха сказала, другие молчали, но словно стали коситься и замечать, что Степанида-большуха в шесть ложек ест. И день ото дня стало все хуже и хуже. Раз пришли на пожню. Взяла большуха, как водится, батожок, разделила на шесть полос, чтобы каждый свое дело знал. А меньшуха тоже взяла батожок, отделила шесть частей большухе, а одну — для себя.

— Вот,— сказала она,— тебе шесть частей, у тебя шесть ложек.

— Да как ты смеешь? Я тебя косой!

Но меньшуха как сказала, так и сделала: скосила свою часть, а потом легла на сено и пролежала так до вечера.

Тут уж все подумали: «Не жить вместе».

Пришли домой, сели па́ужинать молча. Словно гроза собиралась. Протянул было Мишутка большухин ложку к ухе, а меньшуха как его по руке ударит! Всех так и взорвало. Стали ругаться, кричать, собрались в кучу, не расходятся. У кого в руках кочерга, у кого скалка, у кого нож.

— Начинай!

— Нет, ты начинай!

— Ну, тронь!

— Тронь ты!

Стали по судам ездить, жалобы за жалобой. А раз чуть большака не убили.

Пошла Степанида коров посмотреть, слышит — в избе крик и шум. Прибежала назад к избе, а дверь заперта. Смекнула, в чем дело, бросилась к дровам, захватила охапку поленьев, стала швырять в окно поленьями и разогнала мужиков.

Бывало и так, что схватят двое-трое одного и тянут в разные стороны. Раз люльку с ребенком в окно вышвырнули, так что ребенок на всю жизнь остался с кривым ртом. И много было всякого греха.

Наконец решили делиться.

Разделили соленое лосиное мясо, рассыпали рожь, развесили муку, поделили скот, сено, солому, горшки,— все разделили. Неразделенным остался только дом, потому что зимой нельзя строиться. После этого стали жить в шесть семей в одной избе. В одном углу поместились Гавриловы, в другом — Семеновы, третий угол занят печью, четвертый красный. Остальные четыре семейства разместились на лавках, на кроватях. Один уголок парусом завесили. Решили так и коротать зиму.

С внешней стороны как будто бы и печальная, даже мрачная картина разрушения. Но это только на вид; с внутренней стороны в этой жизни было столько счастья, перспектив на будущее, что если бы знали даже самые предовольные соседушки, то уж, конечно, позавидовали бы или, самое меньшее, задумались о суете мирской, о ничтожестве всего земного.

Счастье так и блистало во время обеда, когда каждый из шестерых отцов, теперь сам большóй, поглаживая бороду, дожидался на кровати своего собственного горшка. Раньше, бывало, большуха истолчет вареное мясо и распустит в горшке, а теперь всякий ест, как хочет. И как довольна мать, когда, выделив косточку, подзовет своего любимого Мишеньку или Сереженьку поглодать.

Бывало, раньше кто-нибудь один нехотя погонит скотину к озеру на водопой. Теперь же всякая хозяйка у своего хвоста спешит с любовью и гордостью исполнить свои обязанности. Дивились соседи и смеялись.

Не без того, конечно, чтобы семейное счастье иногда не нарушалось. Сидят ребятишки на кровати, а под кроватью горшки наставлены, квашня. Вдруг влетает в избу поросенок из другого семейства — и под кровать: повалил горшки, попал в квашню. Прибежала женка, стала его хворостиной стегать, а хозяйка поросенка заступаться. Визг, крик, скандал.

А как теперь кур кормить? Птица, как известно, не сеет, не жнет и не признает чужой собственности. А сколько неприятностей у печи! Раньше ставилось в печь всего два больших чугуна, для каши и для ухи, и хозяйство вела одна большуха. А теперь в печи ежедневно грелось двенадцать горшков, а у печи шесть хозяек. Как же тут не зацепить, не повалить?

Но все эти неприятности пробегали легко, игриво, как случайные ветерки на озере в ясный и тихий день. Впереди весна, когда всякий заживет своей собственной, отдельной и довольной жизнью.

И весна пришла. Стали строиться. В одно лето на Карельском острове прибавилось пять новых дворов. Все стали жить по-своему, отдельно. Одни только лошади, по привычке, долго ходили на старый двор.

Вскоре после раздела, когда жизнь только начала налаживаться, на озере потонул Гаврило. Степанида Максимовна, еще молодая женщина, осталась одна «со умноженным со стадом со детиныим». С тех пор ее жизнь, вплоть до тех пор, пока ей не удалось вырастить детей, была сплошным испытанием.

По мужу она так вопела, что падала в судорогах, дрожала, хрипела. Ее поднимали, оттирали, отпаивали молоком, и она снова принималась вопеть. Наконец ее решили протащить под гробом мужа, что, по местным верованиям, помогает.

— И вот,— рассказывает теперь Максимовна,— когда меня волочили, я хребтом в гроб упиралась. Упрусь и шепчу: «Ходи ко мне, ходи!» А когда последний раз прощалась, так в голые губы поцеловала, холодные, и слезу на лицо ро́нила, а сама шептала: «Ходи ко мне, ходи». Он и стал ко мне ходить, да так часто, что и не прилюбилось. Навопелась раз я,— а я каждое воскресенье к нему на могилу вопеть ходила,— и надела мужнину шубу да в одевальницу закуталась, а то после вопу-то дрожь брала. Поехала за сеном. И только проехала сенной наволок, вдруг рапсонуло мне на воз. Гляжу — муж в жилецком платье, шепчет мне: «Пусти, пусти, не кричи, я не мертвый, я живой!» Думаю я, какой мне-ко разум пришел, и одурно стало, дрожь на́ сердце пала, и будто кожу сдирают. А уж

как гугай-то (филин) в лесу кричит, да собачка лает, да вся эта лесовая-то сила — страсть! А по снегу все кубани (тени), все кубани бегают! Кричу я сыну: «Микитушка, подь ко мне на воз!» Сидим на возу: я вижу, а он не видит. И сказать боюсь, парень пугаться будет. Думаю, дай-ко стану на воз, может, отстанет. Стала, да тут же и па́ла. Так без памяти и без языка сколько-то времени лежала. Снегом меня оттирали, чаем поили, на печь положили, отжила.

Так от собственного горя и научилась вопеть Степанида Максимовна. Стала ходить вопеть и по людям, подголосничать на свадьбах.

Такая же судьба, или приблизительно такая, бывает, вероятно, у всякой вопленицы. На Выг-озере я знал несколько воплениц, и все они были вдовицы, горюши, горе-горькое, как и Максимовна. Раз только меня удивила своим веселым, жизнерадостным видом здоровенная и хитренькая плакальщица бабушка Устинья. Чтобы вызвать в ней профессиональное соревнование, я принялся ей хвалить Максимовну.

— Так уж, верно, она тебе мужнин воп сказывала? — осведомилась она.— Ну, по мужу-то легко брюхо валить. Она повопела бы по детям да по родителям.

И веселая бабушка Устинья стала серьезной. Оказалось, что двадцать лет тому назад у нее умер любимый сын, и она по нем восемь лет вопела. Всякую причеть она передавала мне просто и довольно равнодушно: и по мужу, и по родителям, и по хорошей свекрови, и по плохой, но когда стала вопеть по сыну, расплакалась.

После, при встрече с Степанидой Максимовной, я передал ей разговор с Устиньей. Но бесконечно добрая, независтливая вопленица горячо поддержала Устинью.

— Всякие жены есть,— сказала она,— хоть по мужу-то и пора̀то повопишь, а по деточкам по желанию.

«Родна матушка плачет до гробовой доски, до могилушки.

А молода́ жена до нова́ мужа.

А родимая сестра плачет, как роса на траве».

ЛОВЦЫ

Рыбу ловят в Выговском краю все, и почти всякое селение расположено там возле озера или речки. Но настоящие ловцы — это выгозерцы. Рыбная ловля — их главное, основное занятие. Карельский остров в этом отношении самое типичное место. Беднота тут страшная. Вид угнетающий. На этом острове даже леса нет,— только вода да камень; у каменистого берега виднеется десятка два лодок, сушатся сети на козлах, и между ними копошится человек в лохмотьях; прибавить сюда группу почерневших от дождя и ветра изб, изгородей, кучку елей, скрывающих часовню,— вот и вся картина. Невольно приходит в голову: неужели и тут имущественное неравенство, зависть, злоба, самолюбие... Для уяснения себе этого местные люди рекомендуют... пересчитать бани. Если бань немного, значит, живут ладно, если много, то плохо: друг к другу не ходят в баню. Замечают также, что чем селение меньше, тем и бань больше; там, где живут двое или трое, то уж непременно у каждого своя баня.

В этом суровом климате люди любят расселяться поодиночке, выискивая новые и лучшие места. Выселится куда-нибудь к лесному озерку и живет себе с своим семейством среди простора леса, воды и камня, в неустанном труде. Впрочем, связь с деревней не разрывается; там его родственники и вообще все ближние. Он даже и не считает, что отделился от деревни; его починок называется тем же самым именем. Он устроился, обжился. Мало-помалу возле его дома появился другой, третий, возникла деревенька с тем же названием. Вот, например, деревня Кайбасово на Выгозере, подальше от него есть еще Кайбасово, а если поискать в лесу хорошенько, то, наверно, найдется еще Кайбасово: это уже будет починок, один дом. Так расселяются на Севере, и потому так часто встречаются деревни в два-три дома. Однако между всеми этими деревнями на Выг-озере крепкая связь. Поселившись на Карельском острове, я чувствовал себя, будто живу в одной деревне, раскинувшейся на громадном пространстве между Повенцом и Поморьем. Не говоря уже о том, что из разговоров можно узнать на

Карельском острове всю подноготную, к празднику в Петров день тут собирались и из Телекиной, и из Данилова, и даже из «залесной заглушной сторонушки» Пул-озера и Хиж-озера. Северяне выработали себе мудрое правило: в будни подальше от людей, в праздник поближе к ним. И, конечно, те люди, которые живут в одиночку, сильнее других, собранных в поселке: в одиночку нельзя прожить без труда, а в деревне между людьми всегда можно как-нибудь перебиваться с хлеба на квас.

И на Карельском острове есть и богатые и бедные люди; об этом можно заключить уже по внешнему виду изб. Вот большая, прекрасная изба, а рядом с ней— жалкая, похожая на кучу дров, избушка с полуразрушенной крышей. Общего между этими избами только их бросающаяся в глаза оригинальная северная архитектура. Под одной кровлей здесь укрыты и жилище человека, и все хозяйственные дворы. Но прежде всего бросается в глаза, что даже самая маленькая изба построена в два яруса, причем в нижнем ярусе не живут, а он служит только для тепла, для хранения хозяйственных вещей. Останавливает внимание также мостовой деревянный въезд (в телегах) на верхний ярус, к той части, где помещается верхний деревянный двор. Тут, на этом дворе, хранятся хлеб, сено, солома, а внизу помещается скот.

Но богатые люди здесь отделяются от бедных не каменной стеной как в городах. Богатство заключается главным образом в хорошей, правильно организованной семье; потом — лишняя лошадь, корова, лодка и сеть. Вот и все различие в имуществе. Из тридцати дворов Карельского острова в трех дворах по две коровы, в пяти — совсем нет, в остальных — по одной. У шестнадцати хозяев совсем нет лошадей. Во всей деревне только тридцать неводов, которыми пользуются по два двора. Без коровы еще можно жить, можно жить и без лошади, но когда нет лодки, то остается только идти «по проклятому казачеству», то есть наняться в работники к тем, кто нуждается в рабочих руках. Впрочем, казачество называется «проклятым» только ввиду идеала правильной и счастли-

вой семейной жизни, а не потому, что бедняк зол на богатого. Богатство все на виду в деревне, и бедняк жалуется только на свою судьбу; эти бедняки — большей частью маломожные вдовы-горюши, которые не в состоянии иметь лодок для осеннего лова, которым не хватает мужских рук.

Но если богатство все на виду, если оно создается трудом и чрезмерно разбогатеть невозможно, то почему же вот Тимошка Тиконский сильно разбогател, и как-то сразу? Раньше был бурлаком, нанимался в казаки — и вдруг пошло и пошло... Выстроил дом тысячный, в клети четыре коровы, две лошади.

Но Тимошка не в счет. Тимошка—рыбный колдун. Разбогател он от рыбы.

Простой человек от рыбы не разбогатеет. Теперь рыбы стало «на умали» попадать, и как ни бейся, а больше положенного не поймаешь. А Тимошке так и валит, так и валит. Даже вот в тот год, когда выгозерский хозяин, как говорят старушки, сегозерскому рыбу в карты проиграл и все голодные круглый год сидели, Тимошка и щук насушил, и сигов насолил, и ряпушки немало свез в Шуньгу на ярмарку. Тимошка колдун, он знает рыбный отпуск (заговор) и за хорошие деньги может, пожалуй, и научить. Но где же денег найдешь для Тимошки? Уж лучше попросту, постаринному зашить в матицу летучую мышь; бывает, и это помогает. Рассказывают, будто Тимошка сошелся с водяным так. Раз, глухой ночью, он вытянул невод на остров. Глядит, а в матице кто-то сидит... Развел Тимошка огонь на острову, выволок невод. Разложил матицу — и вытащил водяного. Черный да шерстной! Тимошка не испугался, посадил водяника к огню и спрашивает: «Тебя в огонь?»—«Ни... ни...»— мычит водяник. «Так в воду?» — спрашивает опять Тимошка. «Да, да...» — промычал водяник. Тимошка его и пустил. Вот с тех-то пор и повалила к Тимошке рыба. Тимошка колдун, Тимошку в пример брать нельзя. А так, от трудов, не разбогатеешь в этих краях. Труд беспрерывный, тяжелый, круглый год без отдыху, одинаковый и весной, и осенью, и зимой, и летом.

Ранней весной молодая, самая сильная часть населения отправляется на сплав лесов, «уходит в бурлаки», как здесь говорят. Впрочем, среди бурлаков попадаются и мальчики и старики: «Ходим в бурлаки,— скажут здесь,— с малых лет и до дикой старости».

Бурлачество здесь — словно всеобщая повинность. Население проклинает эти каторжные и опасные работы, но жить без них не может. Вербовка бурлаков начинается приблизительно с крещенья, в то время, когда крестьянин уже наверное съел не только собранный им хлеб, но и тот, который ему дал местный лавочник под будущий лов рыбы: *мережный* весенний, осенний неводной и *под рябы,* то есть под рябчиков, тетеревей и прочую дичь. Вот в это-то время где-нибудь в центральном месте поселяется десятник, который вербует бурлаков, выдавая им вперед задаток. Денег у десятника обыкновенно нет; он сам берет муку в кредит у повенецких лавочников, и потому задаток, даже и весь будущий заработок выдается мукой и другими продуктами. Между крещеньем и половиной марта лучшая, сильная часть населения успевает уже продать и проесть свою рабочую силу. Лишь немногие могут избежать этой кабалы и наняться весной непосредственно у приказчика, заведывающего сплавом леса. Эти немногие счастливцы называются «одинки».

Лес, сплавом которого заняты бурлаки по рекам и озерам, направляется к Белому морю, к Сороцкой губе. Там он распиливается на доски и отправляется в Англию. Само собой понятно, что для этого выбираются только самые лучшие деревья; но даже и они не сплавляются целиком: от них отрезается ровная часть, а верхушка в две-три сажени бросается в лесу и гниет. Гниет также и пропадает даром весь сухоподстойный или поваленный ветром лес. В то время как где-нибудь в черноземной полосе чуть не из-за сучка помещик судится с мужиками, здесь бесчисленное количество леса пропадает даром. Лес до сих пор здесь, как вода и воздух, еще ничего не стоит. В лесу часто встречается десяток срубленных гниющих деревьев; это срубил охотник, перегоняя белку с дерева на де-

рево на видное местечко, или земледелец, для того чтобы, собрав хвою, употребить ее на подстилку скоту... Много было проектов, много раз обсуждался вопрос о соединении каналом этой местности с Онежским озером и, следовательно, с Петербургом. Раз даже серьезно приступили к разработке этого вопроса. Но от всех этих начинаний осталось лишь возле деревни Масельги два камня с надписью: «Онежско-Беломорский канал». И никаких естественных преград для канала не оказывалось, а просто частным лицам предприятие было слишком дорого, а государство Севером не занималось. Теперь лес отправляется пока в Англию. Зимой его *заготовляют,* то есть рубят и свозят к берегам рек и озер. Весной же его поднимает вода, а не захваченный разливом *окатывают* бурлаки и *провожают.* На речке лес движется россыпью, а на озерах его собирают в *кошели;* для этого множество деревьев связывается вересковыми прутьями, так что из них образуется как бы длинный прочный деревянный канат; этим канатом охватывается весь собранный бурлаками лес на озере; вся масса деревьев бывает заключена таким образом как бы в кошель. Такой кошель подвигается вперед посредством *головки*, как называется плавучий ворот на якоре. Воротом подтягивают кошель, а потом снимают якорь, передвигают веслами головку вперед, снова подтягивают кошель и так далее. *Хвост,* то есть кошель с головкой, движется по Выг-озеру вплоть до Воицких падунов. Здесь кошель разбивается, потому что каждое бревно должно свалиться в *падь,* претерпеть отдельно свою собственную участь. Бывает, что громадное, семивершковое дерево, свалившись в падь, *ульнет* там и затем с страшной силой выскакивает из воды; если при этом оно ударяется о скалу, то, случается, разбивается вдребезги или *мочалится* на четверть, на две. Пролетев через падун, деревья собираются в Надвоицком озере и затем движутся россыпью по бурной, порожистой реке Выг.

Бурлацкая работа — чуть ли не самая тяжелая из всех существующих работ, вместе с тем она и очень опасная.

Ранней весной, при разливе рек, когда бывают еще и морозы, бурлаки окатывают баграми лес с берегов рек и озер в воду. Целый день они мокнут, бывает даже выкупаются в холодной, только что растаявшей воде. Вечером, часов в десять, собираются кучками в лесу, разводят костры и, тесно прижавшись друг к другу, щелкают зубами до утра. Утром — «черт в зорю не бьет» — часа в четыре нужно уже быть на работе. Когда лес в воде, они его должны *провожать*. Некоторые идут по берегу и баграми отталкивают готовые застрять между камнями деревья, а некоторые стоят на бревнах, плывущих по реке, и, перескакивая с дерева на дерево, цепляясь баграми за деревья, стараются всей плывущей массе леса придать удобную для прохода в узких местах форму или просто не дать отдельным деревьям загородить путь. В очень неудобных местах, на *загубках,* устраиваются *отводы* из двойного ряда связанных между собою деревьев. Плывущие деревья, ударяясь об отвод, не могут попасть в загубок и там задержаться. Но в больших порогах, несмотря на все эти меры, почти всегда застрянет где-нибудь дерево, за ним другое, третье, больше и больше, пока наконец не нагромоздится целая гора леса и не остановит всего движения. Вот тут-то, когда *заломит,* и бывают самые опасные работы, требующие отчаянной храбрости. Вся эта остановившаяся масса деревьев, *коса,* часто держится на одном-двух деревьях. И вот смельчаки, получающие не в пример прочим жалованья до семи рублей в неделю, берутся разобрать косу. Смельчак становится на одно плывущее бревно и, сохраняя равновесие посредством багра, цепляясь им то за камни, то за другие плывущие деревья, подъезжает к месту залома. Здесь он выбирает те именно деревья, которые, по его мнению, задерживают движение остальных, привязывает к ним веревку и спешит уехать к берегу. Но случается, что, в то время как он выискивает заломившиеся деревья, коса вдруг трогается. Тогда бурлак на своем бревне мчится впереди косы к порогу, стараясь лишь не задержаться, не дать нагнать себя массе деревьев. Миновав порог, не раз окунувшись в клокочущей воде и постоянно снова

вскакивая на бревно, он выезжает на *плёсу*[1] и там спасается.

Один бурлак мне рассказывал, как он попал раз в *кипун* при разборе косы; он говорил, что его там вертело ногами через голову минут пятнадцать; он потерял уже сознание, но товарищи его спасли.

Продрогшие, промокшие, часто в лихорадке, бурлаки в конце концов добираются до лесопильного завода в Сороке. Там уже своя поморская, свободная жизнь.

Тут бурлаки отводят себе душу такой жизнью, которая ничего не имеет общего с патриархальным выговским бытом.

В то время как бурлаки работают на сплаве лесов, другие обитатели Карельского острова готовятся к мережному лову. Пока лед еще не разошелся, мережи нужно пересмотреть и починить. Мережи — это те же верши, но только они сделаны не из прутьев, а из сетки, натянутой на деревянные обручи. Весенний лов происходит у болотистого берега, и потому перед мережным ловом все болото делится на равные части. Как только сбежит снег, посинеет лед на озере и станет отставать от берега, тут-то и ставят мережи у болотистого берега одну возле другой, стенкой. В это время щука нерестует, стремится к берегу, чтобы оставить там икру. Но на пути она встречает мережу и с удовольствием входит в ее *язык,* потому что в узком проходе ей удобно освободиться от икры; рыбе так хочется избавиться от нее, что она не боится и даже очень узкого прохода, лишь бы можно было пройти.

Весеннее солнце сильно пригревает воду. На солнцепеке рыба быстро наполняет всю мережу и даже может разорвать ее, если вовремя не осмотреть. Вот почему ловцы не допускают, чтобы в мережу набралось более десяти — пятнадцати штук; они спешат «сбавлять мережу», то есть развязать ее носок и выбрать рыбу. Тут иногда попадается громадная щука, и случается, что в спине ее бывают когти и даже лапы скопы. Очевидно, хищная птица, не соразмерив своих сил,

---

[1] Плёса — спокойное место после порога.

впустила когти в громадную рыбу и была увлечена в воду. Вместе с щукой попадаются иногда язь, окунь, плотица, лещ и *менъ* (налим). У хорошего хозяина таких мереж штук сто, и в весну он может наловить щук рублей на семьдесят; но у большинства их не больше сорока. Пойманную рыбу тут же и чистят. Садятся старые, матерые люди и женки где-нибудь на угреве и пластуют щук. Вычищенную рыбу солят и складывают в кадки. Заедет «богач», как здесь называют всякого торговца, и скупит всю эту *вешнюю* рыбу, а если не заедет, то ее высушат на солнце и продадут после. Олончанин — большой любитель этой сушеной рыбы.

Весна идет. Время бы и выгонять скотину в поле, но куда же выгонять ее на Карельском острове, где только камень да болота? Очевидно, ее нужно перевезти на другие острова, с более плодородной землей. Такой хороший остров, верст в десять длиной, находится всего в двух верстах от Карельского острова. И вот, в то время как в обыкновенных условиях выгоняют скотину в поле, на Выг-озере плывут лодки с коровами, лошадьми, овцами. В каждую лодку может поместиться только одна скотина, да и то необходимо особое приспособление, *козел,* бревно с перекладиной в виде буквы Т, чтобы лодка не опрокинулась. Козел кладется перекладиной в воду, а другая часть его опирается на борт лодки.

Обитатели Карельского острова — народ бедный; они не в состоянии даже иметь для стада пастуха, а может быть, и просто непривычны к этому. Скотину пускают одну «на божий простор, на божье произволение». Бродит скотина в лесу, как дикие животные, и только звон колоколов, такой странный в молчаливом северном лесу, говорит о связи этих животных с людьми. Впрочем, ни коровы, ни лошади за лето не отвыкают от людей, а овцы даже скучают и, когда увидят проезжающую лодку на озере, собираются на берег кучкой у самой воды и жалобно блеют. Только телята к осени становятся совсем дикими и доставляют много хлопот хозяевам осенью. Их загоняют в топкое болото и там ловят, если нет близко болота, устраивают загон.

Когда скотина перевезена на остров, то женщинам приходится каждый день ездить туда доить коров. Рано утром они садятся в лодки, почти всегда с ребятишками, и уезжают. Пристают к берегу. Тучи комаров, мошек и оводов носятся в лесу. Спасаясь от них, скотина вся, до головы, входит в воду и там ожидает подъезжающих женщин. Коров выгоняют на берег, разводят костер и ставят животных выменем к дыму. Кроме того, по обеим сторонам становятся дети с ветками и отгоняют комаров. Происходит доение. Подоив коров, женщины непременно прислушиваются, не слыхать ли колоколов, не случилось ли чего с лошадьми. Если колокольчики не звенят, то женщины пойдут непременно в лес искать лошадей. Мало ли что может случиться!

В это время мальчики едут на лодке удить рыбу для ухи. У знакомой луды почти всегда играют *парвы* (стайки) окуней. Мальчики спускают в воду заранее приготовленный камень на веревке, «якорь», и ждут, пока лодка «обставится», затем *наживляют* червяка и спускают крючки на лесках в воду без поплавков, без удилищ. Все это здесь лишнее; окуней очень много, и без поплавка слышно, как «тыркает» рыбка. Шшш... — зашумит стайка окуней у луды и «затыркает». Теперь успевай только выхватывать да насаживать червя, овода или даже окуневый глаз на крючок. Мальчики поглощены работой, не замечают, как красиво глядятся угрюмые острова в спокойное озеро, как выскакивает из воды и сверкает на солнце серебристая семга.

Но вот подул ветерок, рыба ушла в глубину, коровы выдоены, лошади найдены. Едут домой, но по дороге непременно нужно осмотреть сиговые сети. Издали можно узнать, где поставлены эти сети. Там торчат темные колышки из воды, вьются чайки, хохочут гагары. Эти птицы часто «обижают» ловцов, ныряют в воду и клюют запутавшуюся в тонкой и редкой сиговой сети рыбу. Бывает так, что гагара и сама платится за свое хищничество жизнью, запутывается в сети. Она годится ловцам: у нее шкура *шадровитая,* прочная; из нее, если снять шкуру и обделать, выйдут прекрасные теплые туфли.

Одна женщина гребет, и лодка двигается вдоль сети, другая быстро собирает сеть в лодку, время от времени вынимая запутавшегося сига, окуня, плотичку и выбрасывая расклеванную или уснувшую рыбу. Сетку так и оставляют в лодке: ее нужно высушить дома, повесив на ветерок на *козлах* у берега. Если же ее не просушить, то она *заглевеет,* покроется слизью, и рыба не будет в нее попадать.

Иногда вместе с женщинами на лодке приезжает домой и *конь.* Это бывает в том случае, если перед поездкой они заметят, что пар *затравел,* что его нужно вспахать. Дома пашут, солят рыбу, продергивают заросшую репу. Так проходит время до полдня. К этому времени старуха изготовляет кашу, рыбники и уху. Едят больше окушков или ряпушку; сигов есть нельзя, они сто́ят дорого, шесть копеек фунт, и годятся «для богача». Поедят, отдохнут — и снова за работу. Рабочий день велик, он состоит из трех *упряжек:* утренней — до восьми часов, средней — до полдня и вечерней — до заката солнца, когда садятся поужинать. Вот так и живут и трудятся от «выти до выти» (от еды до еды).

С закатом солнца на Севере почти не происходит никаких перемен, по-прежнему светло. И, вероятно, это отсутствие границ между днем и ночью раздражает даже и помирившегося, привычного к этому северного человека; ложатся не сразу, а старик долго, иногда часов до двенадцати, возится у сети или у дров. Наконец и он вспоминает, что надо же спать, и ложится рядом со всеми на *лосине* (лосевой шкуре) на полу.

Душно в такую ночь: раскинулась мать, беспокоятся ребятишки, кто уткнулся у груди, кто у ног, кто и вовсе сполз с лосины. А на улице светло, прозрачно, тихо, кричат на болоте утки... Старик последний лег и первый встает. Встает и старуха, топит печь, качает зыбку. За ними встают все и по очереди подходят к медному чайнику-умывальнику, подвешенному на веревочке над кадкой. От этой кадки исходит тяжелый, удушливый запах, там варится уха для стельной коровы, которую опасно было везти на остров. Еще вчера старуха, когда чистила рыбу, набросала

в кадку рыбных отбросов, а утром подлила воды, помоев и опустила туда горячий камень.

Мало-помалу время движется к лету, и работа следующих дней не походит на вчерашнюю. Подходит *листобросница* — пора, совершенно незнакомая хозяевам средней и южной России. Женщины едут на лодках на тот же Янь-остров, находят березовые лядинки и, пригибая нижние ветки, обрывают лист и складывают в лодки. К вечеру домой плывут уже не лодки, а копны, на верху которых важно сидят ребятишки. Лист складывается на верхнем дворе, над скотным двором, для просушки. С этих пор хозяева обыкновенно спят здесь на мягком листе. Березовый лист предназначается для зимнего корма скота. Если его пересыпать мукой, то неприхотливые мелкие северные коровенки мирятся с этим кормом.

После листобросницы начинается тяжкое время: сенокос. Тут уже не обойтись без бурлаков: женки не сумеют выточить косу, не могут сложить и *зарода*. Они с нетерпением, с волнением дожидаются мужей, боятся, как бы не запоздать с сенокосом... Наконец приезжают истомленные, измученные бурлаки. Им нужно отдохнуть, кстати выточить косы, починить кошели, вычистить ружья, которые пригодятся на лугах.

Сенокос на Севере — совсем не то, что в южных, счастливых местах. Луга такие жалкие, что сначала не веришь глазам: неужели эта низенькая трава, не более четверти аршина высотой, стоит трудов? Но оказывается, что как раз эта-то жалкая трава и есть самая хорошая «земная трава». Она состоит не из кислых осок, а из сладких злаков, которые охотно ест скот. Но бывает, что в «водливые годы», то есть когда сильно разливается озеро, и этой травы не бывает, родится одна *кортяха,* то есть хвощ. Эту кортяху скот уже ни в каком случае без муки есть не станет, а мука — продукт дорогой, большею частью привозной. По подсчету местной земской управы, население Повенецкого уезда употребляет треть всей имеющейся в его распоряжении муки на корм скоту. От-

сюда можно себе представить, какова эта трава, к которой нужно прибавлять столько муки, чтобы сделать ее съедобной! «Водливые годы», которые так ухудшают пожни, происходят от переполнения Выгозера, которое не успевает переливаться через падуны в реку Выг. Вот почему местные люди убеждены, что если бы можно было взорвать *щелья* на падуне и понизить уровень озера, то и берега бы пообсохли и выросла бы трава хорошая, «земная». И в самом деле, на немногих сухих местах здесь всюду виднеются красные головки превосходного *визильника,* то есть клевера.

Эти жалкие пожни находятся иногда очень далеко от деревни. Так, с Карельского острова ездят верст за двадцать и работают там, не возвращаясь домой, целую неделю. В это время в деревнях остаются только старый да малый, а все, кто может работать, переселяются на пожни. Там, на месте сенокоса, устроены маленькие избушки, «фатерки»; в них обыкновенно и спасаются ночью от комаров усталые работники. Комары и мошки — страшные враги косцов; их так много, что, не будь у косцов *комарников,* прикрывающих лицо, было бы невозможно выдержать пытку. «Хоть вопи»,— говорят косцы.

Косят все: мужчины и женщины; вернее, не косят, а рубят траву. Косец ударяет *горбушей,* то есть большим серпом, от правого плеча к левому и сейчас же от левого к правому, все время согнувшись, обвязав голову платком от комаров. Какой изящной и легкой забавой кажется после этого южная косьба, при которой в ритм машут руками. Здесь этот ритм, так облегчающий работу, невозможен: из травы то и дело виднеются камни, то и дело приходится прерывать работу. А тут еще комары и мошки. Какие бесчисленные легионы их носятся в воздухе, можно понять лишь, когда из леса вырвется на полянку тонкий солнечный луч и их осветит.

Косят обыкновенно утром, а когда солнце подсушит росу, то начинают складывать в *зароды* то сено, которое уже подсохло. Для этого выбирают местечко посуше, вырубают в лесу высокие жерди, *стожары,* и втыкают их в землю в одну линию, одну возле другой,

на расстоянии нескольких шагов. Две женщины приносят сено на жердях, а мужчина накладывает его аккуратно между стожарами высоко вверх. Уложенное так сено составляет первую *заколи́ну*. Если сено сыро, то с обеих сторон его подпирают, а по мере того как оно высыхает, ниже и ниже опускают подпорки. За первой заколиной набивается вторая, третья и так далее, на сколько хватит сена. Своего сена достается всего лишь по три воза, а за сено в казенном лесу приходится платить по пятьдесят копеек с воза. В таких зародах сено остается здесь и на зиму.

Утомленные косцы устраиваются под вечер на ночлег. Чтобы избавиться от комаров, в избушке покурят *паккулой* (гнилушкой), а те, кто спит на сене, устраивают полога из паруса. Но избавиться от комаров невозможно. Вертится на сене косец, жмется, кряхтит и слышит, как лает в лесу собачка. «Откуда это собака в лесу?» — думает он. И вдруг вспоминает: когда они шли на работу, то он оставил на камне две *калитки* (лепешки), а потом, когда вернулись, калиток уже не было. «Куда же это они делись?» — думает он, то и дело просыпаясь от комаров. А собачка все тявкает и тявкает. Утром он забудет и собачку и калитки, но когда-нибудь вспомнит и на досуге, во время «бесёды» скажет:

— А меня бог миловал... Да вот только раз это... Оставил я на пожнях на камне у фатерки две калитки. Пришел,— нету калиток.

— А может, кто взял их, да и съел?

— Да кому же в лесу калитки взять?

И все помолчат, согласятся. А он продолжит:

— И собачку евонную слышал: тяв-тяв, смешная такая.

— Так, может, это кто-нибудь с собакой шел? — усомнится недоверчивый слушатель.

— Да кому же в лесу с собачкой идти?

И в самом деле, кто же заберется в такую глушь? — разве какой «сбеглый».

Выкосили «земное» сено. Теперь можно приняться за болотное. Болота находятся у самого острова, и

потому можно переселиться домой. Раньше болото не делили, но теперь такая нужда стала, что и болота разделили. И это — на Севере, где на каждого отдельного человека приходится, вероятно, много сотен десятин леса и болот!

Начали рубить горбушами болотную траву, стоя по колено в воде. Болото колышется под ногами, кругом летят и кричат утки, пищат утенята, вьются чайки, гагары, а женщины с подтянутыми юбками, в высоких сапогах целый день стоят в воде и рубят траву. Зрелище удивительное для не северянина. Но следующие за сенокосом работы уже не представляют ничего особенного. Рожь и жито косятся теми же горбушами и сушатся на особых «хлебных зародах», то есть высоких, в несколько саженей, лестницах. Хлеб возят с полей на Карельском острове в санях, потому что иметь исключительно для этого телегу — не стоит. Высушенный хлеб молотят *привузами* (цепами) в *ригачах* (ригах).

Для обитателя Карельского острова необыкновенно важно вовремя убрать хлеб. Это важно и потому, чтобы морозы не захватили его в поле, но главное же потому, чтобы уборка хлеба не задержала осеннего лова рыбы. Для ловцов это время самое серьезное, самое важное. Настоящий лов рыбы бывает только осенью, и если хлеб вовремя не созрел, то лучше уж нанять работницу, «казачку».

Осенний невод велик и дорог. Только очень большому семейству под силу иметь его. На Карельском острове всего одно семейство самостоятельно справляется с неводом, все же другие складываются по два двора на каждый невод. Выгозерский осенний невод имеет в каждом крыле по семьдесят — восемьдесят саженей, при этом к нему еще нужно саженей полтораста веревок. Самая важная часть в неводе — *матица,* куда собирается пойманная рыба. От матицы крыло начинается *котколуксой* саженей в пять, потом следует *ринда,* также саженей в пять, за ней *частые* сети и *плутивные,* те и другие вдвое длиннее ринды.

Лов начинается с 15 августа и продолжается до 1 октября. Перед ловом берег Карельского острова

делится на равные части, по числу неводов. Возле такой части берега одним неводом можно ловить только в течение дня, следующий день на этом месте ловят другие, а первые ловят на другом месте, следующем по порядку, и т. д.

Для осеннего лова необходимо иметь две лодки. Сначала, заехав в озеро, спускают матицу и сейчас же разъезжаются в стороны: одна лодка тянет правое крыло, другая — левое. Когда распустят все сети, то поворачивают к берегу и тянут тоню саженей на полтораста. Лодки, которые на озере плывут на некотором расстоянии друг от друга, у самого берега съезжаются в одно место. Веревки тянут *шпилями,* то есть воротами, установленными на каждой лодке. Сначала на воде виднеются только *кибаксы*, то есть поплавки, а потом показываются и крылья; как только они покажутся, ловцы бросают шпили и тянут руками, взявшись по двое за крыло. Когда показываются частые сети, кто-нибудь берет *торболо,* то есть жердь с деревянным кружком на концах, и начинает им *буткать* воду, чтобы рыба бежала в матицу. Под конец развязывают матицу и рыбу вытрясают в лодку.

Осенью ловятся главным образом сиг и ряпушка. Вся эта пойманная рыба обыкновенно тут же и скупается «богачами», но те, кто в состоянии, берегут ее до крещенья и везут на знаменитую ярмарку в Шуньге на озеро Онего. До самого последнего времени эта ярмарка играла такую же роль в Олонецкой губернии и Поморье, как Нижегородская ярмарка на востоке Европейской России. Охотники и рыболовы привозят сюда шкуры и рыбу, запасаются мукою, покупают себе кожу, гужи, растительное масло, пеньку, лен, мелочи и обновы для семейства. «Богачи», или «обдиралы», перепродают свой товар оптовым торговцам, а эти — торговцам Петербурга и других городов. Словом, Шуньга и до сих пор играет огромную роль в торговле Севера. В народных песнях и сказках Шуньга постоянно упоминается.

Однако на Выг-озере только очень состоятельные могут возить рыбу в Шуньгу, большинство же продает на месте.

В то время как происходит осенний лов, некоторые идут в лес на охоту, стрелять рябчиков, тетеревей и мошников. Но на Карельском острове плохие *полесники* (охотники) и предпочитают, когда озеро замерзнет, ловить рыбу по льду.

Для этого прежде всего *выпешивается,* то есть прорубается *пешней* — орудием, похожим на лом, *большой ердан* (прорубь), в него опускается невод. Направо и налево от ердана, по направлению тони, выпешивают отверстия, саженей на десять друг от друга. С помощью этих отверстий, длинной жерди и во́рота невод и тянут к берегу, где тоже приготовляют большой ердан.

Так ловят до декабря. С этого времени и до весны, до бурлацкой работы, производится вывозка леса к местам сплава. Лес, определенный для рубки и вывозки, иногда находится очень далеко. И вот местному труженику снова приходится покидать свою семью. Редко кто, разве самый бедный, возьмет с собою жену. Мало может оказать пользы женка на этой трудной, чисто мужской работе; побарахтается-побарахтается в снегу, а тут еще муж с досады толканет... Лучше от греха не брать с собой, лучше пусть они продолжают ловить по льду рыбу.

Мужчины же рубят, шкурят и возят лес всю зиму. Живут они в таких же точно лесных избушках, «фатерках», в которых живут полесники, косцы, скрытники, пустынники — вообще все, кому временно приходится жить в лесу. Зимой на севере день короткий: поработали, померзли — и в избушку, отогреваться. Потом улягутся рядом и ждут, когда сам собой придет сон. Что делать в избушке в такие длинные вечера? Кажется, помереть бы от скуки. Но тут выручает сказочник Мануйло. При свете лучины он в этой лесной избушке рассказывает всем этим дремлющим на полу людям про какого-то царя, с которым народ живет так просто, будто бы это и не царь, а лишь счастливый, имеющий власть мужик. Этому царю мужики носят рябчиков, загадывают ему загадки, а царь ловко отгадывает, дает советы...

Все молча слушают сказки про царя, иногда смеются — и засыпают.

А Мануйло все рассказывает и рассказывает, пока не убедится, что все до одного человека спят. Для этого он окликает время от времени:

— Спите, крещеные?

И если хоть один откликнется, он поправит лучину и продолжает свою сказку про мужицкого царя.

Весной снова одни уходят в бурлаки, другие берутся за мережи, за соху. И так — круглый год беспрерывно трудится северянин, добывая себе пропитание в борьбе с суровой природой.

ПЕВЕЦ БЫЛИН

Старики всегда говорят: «В наше время люди были лучше и крепче, в старину жилось хорошо». Молодому не убедить стариков, они упрямы. Но если бы даже и удалось убедить и замолчать отцов, то заговорили бы деды, прадеды, заговорили бы давно вымершие народы и седые века. Золотой век был и был...

Когда-то в русской земле жили «славные, могучие богáтыри». Правда это или нет, но только старинный русский народ на Севере поет о них *старúны,* верит, что они были, и передает свою веру из поколения в поколение.

Эти стихи о былых временах такие длинные, так не похожи на современные, что усвоить их может только здоровая память неграмотного человека, не загроможденная часто ненужными, лишними, случайными фактами современной жизни. А значит, и *сказители* былин должны обладать чем-то таким, что приближает и их самих к прекрасным былинным временам золотого века.

Стало быть, эта поэзия связана с каким-то строем жизни, в котором она обязывает певца, под угрозой исчезновения, жить именно так-то. Строгие староверческие традиции, плетение неводов в долгие северные вечера при свете лучины, большая семья — вот среда, в которой вырабатывается певец былин.

Но все это рассуждение книжно и гадательно. Когда я ехал в Выговский край, я решил непременно отыскать такого сказителя и посмотреть на его жизнь по-своему, увериться своими собственными глазами.

Еще далеко не доезжая до Выговского края, мне удалось услыхать об этих сказителях как раз то, что совпадало и с моими предположениями.

Присмотревшись на пароходе к одному славному седому деду, когда мы ехали мимо Сенной губы на Онежском озере, я спросил его, нет ли у них сказителей.

— Как же, как же! — отвечал он.— Рябинушка-то у нас, в Гарницах живет... Слышал про нашего Ивана Трофимовича Рябинина? Да уж слышал, господа его знают, ездят к нему. Он за свои стари́ны рублей пятьсот собрал, у государя был, за границу возили. Чудное дело!

— А другие в вашей деревне знают стари́ны? — спросил я.

— Не-ет, где нам! Рябинка — старовер, вино не пьет, не курит. Строго у него это. И от пищи тоже не отступает: что на каждый день положено, то и ест, оттого он и памятлив. Он ни в чем от своего не отступает. Вот когда его к государю возили, так что́ там наставлено было! Столы ломились. И его, Рябинку, с собой сажают, угощают. Он с ними сидит, бесёдует, а ничего не трогает, ни-ни... Теперь собрал себе денег и живет по-старому, рыбку ловит, детей к песням приучает.

Иван Трофимович Рябинин — сын того самого знаменитого Рябинина, у которого Гильфердинг записывал былины. Судя по рассказам старика, Гильфердинг встретился с ним случайно, где-то у часовни, во время рыбной ловли.

Не знаю, отвлекли ли меня другие наблюдения или сказители теперь уже стали переводиться, но только на Выг-озере я долго не мог найти хорошего певца былин. Наконец я встретился с ним, обжился в его доме, долго не подозревая, что это-то именно и есть сказитель.

Раз ловцы завезли меня на большой остров, где обитал с семейством всего лишь один житель, Григорий Андрианов. Ловцы мне про него говорили: «Хороший старик, не баламутный, староколенный человек, он тебе всякую *досюльщину* (старину) рассказать может».

Когда мы подъезжали, на берегу острова у большой избы играло в *рюхи* множество босых, полуодетых, но здоровых ребят.

— Дома ли старый *мошник* (глухарь)? — спросили ловцы.

— Ловит,— ответили ребятишки.

Вышла старушка, жена Григория, повела меня наверх в чистую горницу и все говорила:

— Гостите, хозяин скоро приедет, гостите...

Старушка, как принято на Севере, сначала напоила меня чаем, потом угостила обедом: сварила уху из сигов, поставила на стол простоквашу, тарелочку с морошкой, с сухими красными пряниками; тут был и рыбник из ряпушки, и рыбник из окуней, и пирог из черники, калитки, шанежки, мякушечка хлеба. Старушка то и дело ныряла вниз, за новыми и новыми угощениями.

— Ловит старик, ловит,— говорила она.— Стара стала я, не могу уж с ним ездить. А по прежним временам уж я не усидела бы по такой тишине, сто сорок сетей, батюшка мой, было... Жила и с одной коровушкой, и с двумя, и с тремя, и с четырьмя, всяко жила. А вот теперь ноги болят.

Только под вечер приехал старик. За кого он меня мог считать? Уж конечно, за барина, имеющего отношение к лесному, межевому или полицейскому делу. Нужды в них человеку на острове, конечно, не было.

Но Григорий, подойдя ко мне, вежливо подал руку, поговорил немного, с достоинством, как хозяин, и ушел спать. Громадного роста, с кудрявыми волосами, с крепкими отчетливыми чертами лица, он походил на апостола Петра.

В лице его как-то не было ничего лишнего, и даже бесчисленные морщинки на лбу, казалось, все имели свое назначение, словно каждая из них была про-

должением его правильных, спокойных мозговых извилин.

Ругань и крик разбудили меня рано утром. Я выглянул в окно. По дорожке вдоль озера с громадным колом в руке бежал вчерашний, похожий на апостола Петра старик. А впереди него бежал без шапки совершенно такой же старик, только немного помоложе. Первый старик догнал второго и ударил его колом. Тот так и повалился. Ударил еще и еще...

Объяснилось это так. Старший сын Григория, мужик пятидесяти семи лет от роду, был послан в Повенец продать рыбу. Вернулся он выпивши, нагрубил старику, и тот его отколотил.

Водка и табак, безусловно, не допускались в доме старика, чай и кофе пили только с гостями, так что преступление было двойное. Раньше я думал, что воспрещение староверами водки, чаю и табаку имеет лишь религиозное значение. Но тут, беседуя со стариком, я убедился, что эта громадная семья и по своим достаткам не могла этого допускать. Если бы вся семья ежедневно стала пить чай и справлять праздники с водкой, то это поглотило бы весь мережный промысел и часть бурлацкого. А если прибавить к этому, что курящий табак вместе с тем как бы и отрицает высшую власть отца, то расправа старика становится будто бы и немного понятной.

— А как же с ними? — говорил мне немного спустя старик.— В суд, что ли, подавать? Так в суде этого разбирать не станут. Какие теперь суды, только деньгам перевод. Раньше так просто бывало: соберутся, повалят, отдерут, вот тебе и суд весь... Ничего, отлежится. Пойдем, с нами побесёдуем!

Отчасти по случаю воскресенья, отчасти потому, что гость был в доме, женщины старательно приготовляли все для бесёды. Стол покрыли белой скатертью, старуха хлопотала с кофеем, который здесь получается контрабандой из Финляндии и очень пришелся по вкусу, молодуха завертывала в тесто рыбу, приготовляя рыбники. Из сыновей Григория тут был только младший, бойкий парень лет двадцати, любимец старика, блондин, с открытым славянским лицом; старший «отлеживался»; остальные были в бурлаках. Кроме того,

тут же на лавке сидел бородатый глубокомысленный зять, очевидно, гость. Разобраться в женщинах и детях не было никакой возможности,— казалось, что их было великое множество.

Стали угощать кофеем, старик пил горячую воду. Началась бесёда, немножко натянутая, как бы официальная, о жизни вообще. Говорил один старик, старуха вставляла замечания, а зять подавал глубокомысленно реплики: «Верно, верно». Остальные молчали.

Жизнь, о которой говорил старик, была, конечно, здешняя, выговская. В этой избе, в большой семье на острове происходила такая же драма, как и везде: старое боролось с молодым, новым. Старое пришло сюда, на Выг-озеро, с верхнего Выга, из погубленного Даниловского монастыря. Новое — с нижнего Выга, где сосредоточивались бурлацкие работы по сплаву лесов. Поэтому старик осуждал бурлачество и вместе с ним новую жизнь.

— В бурлаки, в бурлаки,— говорил он.— А придут к чему?

— Верно, верно, уж так,— вторил зять.

— Да что, господа, оставь поле без огороды, что будет?

— Да, что будет,— вторил зять.

Слушатели прихлебывали кофей молча, торжественно и долго.

— В наше время,— разливался старик,— жили советно, уж невестка в дверях не застрянет и не скажет: «Хочу, не хочу». А нынешняя молодежь: им слово, а они два.

— Верно, уж такие и есть.

— Да что далеко ходить! — вставила свое словечко старушка.— Годов десяток, не больше, у нас на всем Выг-озере только и был самовар у койкинского батюшки, да на Выгозерском погосте другой, да у Семена Федорова третий, да у дьякона... всего девять самоваров было. А теперь у каждого, да еще по два.

— Старики наши,— продолжал хозяин,— гнильтиной кормились да воду пияша, а молодому давай хором, коня да дом.

— Так и нужно,— раздался неожиданно молодой, свежий голос младшего сына хозяина.— Без коня в наших местах и жить невозможно.

— А что, кому поматерее себя, будто поперечить-то и неловко,— поправил старик.— Как же это старики-то *карежи* (ручные сани) на себе без коней возили?

— Старики только и знали, что свою душу спасали, о других и не думали.

— А об ком же еще и думать, как не о себе?

— Да что и в этом хорошего: уйти в лес да гнилью питаться?

— А пойди-ко, брат, уйди. Не-ет, не уйдешь. Ведь на страшном-то судилище господнем ты за себя за одного отвечать будешь, за других там не спросят?

— Ве-ерно, верно, за других не спросят,— вторил зять.

На этот раз мне так и не удалось сойти с официального тона бесёды. Она была длинная и утомительная. Потом я убедился, что старик был не совсем искренним, когда советовал сыну уйти в лес. Это был по натуре не пустынник, а крестьянин. Он любил землю, крестьянство, готов был идти на какой угодно каторжный труд, лишь бы не расстаться с землею. «Уйти в лес» — так учили пустынники, в это он верил, искренно всю жизнь собирался уйти, но все-таки не ушел, а устроил большую семью, дом, все хозяйство. В нем жил инстинкт хлебопашца. Однажды он мне рассказал такую, характерную для здешних мест сказочку:

«Старик один спасался, богу молился в лесу. Вот приходит к нему калика прохожий, господь уж только знает, кто он такой, приходит и говорит:

— Бог помочь, лесовой лежебочина!

— А какой я лежебочина, как я богу молюсь да тружусь, труды полагаю да потею...

— Да что твои труды! Вот благочестивый крестьянин на поле пашет, так знает, когда господь к обедне зазвонит и когда обедать пора приходит.

Старик и взял себе в разум: что это мне калика прохожий говорил. Пошел на поле, видит — мужик пашет.

— Бог помощь! А обедал ли ты, добрый человек? — спрашивает у пахаря.

— А я,— говорит,— еще не обедал, у господа еще благовеста не было.

Один сел на межу. Другой попахал, поставил лошадь и глаза перекрестил.

— А чего ты, добрый человек, глаза перекрестил? — спросил старец.

— А вот,— говорит,— благовест к обедне, так надо идти богу молиться и обедать.

Подивился старец... и пошли молиться».

Смысл этой сказочки старик сейчас же пояснил:

— Видно,— сказал он,— крестьянин у господа больше значит, чем старец. Старец-то все молился, да не домолился, а крестьянин все пахал, да в святые попал.

Но если старик не соглашался с требованием «уйти в лес», то бурлачество ему было совершенно непонятно.

— Дома,— говорил он мне,— крепче спишь, да скорее пообедаешь. А бурлаки уйдут, домашникам и есть нечего... Там вольно,— во-первых, заботы нет: хлеб хоть не родись, домашники хоть не живи. Сперва охотой стали отбиваться от земли — деньги давали, а потом и неволей. Вот придут домой голодные, изморенные, а денег не принесут. Деньги еще *лонись* (прошлый год) черту отдали. Много ли в полях хлеба родится! Бери, откуда знаешь. Вот он и пойдет к десятнику, кланяется, продает себя на весну, а потом еще к богачу поклонится: дай муки, дай крупы. Сначала заберет под рыбу, потом под рябы — и дойдет до того, что душу продаст, праздники десятнику продаст.

— Эх, в старину-то было! На земле — как на матери жили. Тогда по двадцать пудов ржи в нивьях сияли. В нивьях не родится, на полях родится. Семейства душ по двадцать были, хорошо жили!

И какова же эта мать-земля, о которой так любовно говорил старик? С каким презрением отвернулся бы от нее наш крестьянин земледельческой полосы! Не мать, сказал бы он, эта земля, а мачеха.

Особенно поразила меня пашня на Карельском острове. Весь этот небольшой остров разделяется на две половины: одна низменная, топкое болото, другая повыше — сельга, сплошной каменный слой.

— Да как же вы пашете? — невольно спросишь, когда увидишь этот слой камней.

— Не пашем, а перешевеливаем камень,— ответят вам.

Такую землю за лето непременно нужно перешевелить раз пять, иначе ничего не родится. При этом бывает еще нужно постоянно стаскивать большие, выпаханные из земли камни в кучи, называемые *ровницами*. Скоро эти ровницы обрастают травой, и на полях, состоящих из белого слоя мелких камней, резко выделяются зеленые холмики. Это так характерно, что крестьяне часто говорят, например, так: «У меня поле в девять ровниц». Убрать мелкий камень в ровницы нельзя, потому что нагретый днем камень предохраняет посев от зябели, а в засуху препятствует испарению воды. Так, по крайней мере, думают крестьяне. Не успеешь вспахать такую землю, как она снова в этом сыром климате зарастает травой, потому-то и приходится ее так часто пахать.

Но, кажется, это слово «поле» означает несколько не то, что в земледельческом районе. Это поле находится возле самой деревни, очень маленькое, как огород, и обнесено изгородью, огородой. Казалось бы, место это как раз пригодно для огородов, но здесь их нет: капуста не растет, не растет лук, даже картофель родится плохо, часто гниет. Местные люди не знают яблок, не имеют понятия о пчеле, никогда не слыхали соловья, перепела, не собирали клубники, земляники. Почти обо всем об этом они уверенно и любовно поют, но в обыденном языке этих слов не услышишь. Раз я заговорил о пчеле — меня не понимали, а когда я нарисовал, то сказали, что это *медовик,* то есть шмель.

И в этом краю проходит детство, бывают романы. И романы с чудными песнями, каких уже не знают в центре России!

На таком «поле», да еще при необходимом редком посеве, в суровом климате родится хлеба немного: хорошо, если месяца на два, на три хватит. Вот почему теперь неизбежно нужно продать себя в бурлаки, и продать вперед.

Раньше, когда еще не было лесных промыслов в крае и когда разрешалось еще подсечное хозяйство в казенных лесах, хлеба хватало. С одной стороны, стеснение подсечного хозяйства правительством, а с другой — бурлачество, оторвавшее в самое нужное время лучших работников,— вот причины, почему осталась только жалкая постоянная пашня, «поля», а «нивья», то есть земля, разделанная в лесу, заброшены. Крестьянин и рад бы увеличить постоянную пашню, «поля», на которых хлеб получается с меньшим трудом, потому что тут уже не нужно вырубать деревья, жечь их и пахать между пеньями, а только положить навоз да перешевеливать каменья сохою. Но вот в навозе-то и дело. Для постоянной пашни нужно много навоза, значит, много нужно иметь скота, а для скота — корма; сено же здесь болотное, скот его не ест без муки. И получается общеизвестный сельскохозяйственный круг. Кроме подсеки, в старину этот круг разрывался еще работами для Даниловского общежития. Теперь же на место подсеки и работ для Даниловского общежития стало бурлачество, со всей его новой культурой.

Такова эта мать-земля. А теперь — снова к сказителю Григорию Андрианову.

В глухом лесу, на холмике против лесного озерка, *белой ламбины,* виднеется желтый кружок ржи, обнесенный частой косой изгородью. Вокруг этого островка стоят стены леса, а еще немного подальше начинаются и совсем топкие, непроходимые места. Этот культурный остров весь сделан Григорием Андриановым, и сделан не из расчета хозяйственного. Какой тут расчет, когда таким трудом он мог бы больше наловить рыбы или наплести сетей! Хорошо было работать так раньше, когда эти островки расчищало целое

семейство душ в двадцать. А одному старику это непосильный, невыгодный труд. Нет, в этом лесу скрыты более высокие запросы Григория Андрианова, чем простой хозяйственный расчет. Нет, тут поэзия прошлого, когда все громадными семействами секли лес, когда духовно более сильные люди еще не продавали себя за грош в бурлаки, не курили табаку, не пили чаю и вина. Островок этот — памятник прошлому, золотому веку, священнодействие души старика Григория Андрианова.

Еще осенью, два года тому назад, старик заметил это местечко, когда полесовал. Он осмотрел внимательно лес — не тонок ли он или не очень ли толст: очень тонкий не даст хлеба, очень толстый трудно сечь. О почве он уже заранее, по виду леса, составил себе суждение, теперь ему остается только проверить. Если лес березовый, ольховый, вообще лиственный, то под ним растут трава, цветы, почва ими удобряется. Если же это сосновый или еловый лес, то под ним ничего не растет, почва остается тощей. Он знает, что береза растет на крепкой земле, а ель — на слабой. Тем не менее он вынул из-за пояса топор и обухом разбил землю, осмотрел корни: они оказались сухими. Это хорошо, потому что «на сыром корне не бывает рождения». Слой почвы в четверть, значит, можно собрать четыре хороших урожая: каждый вершок почвы, по его мнению, дает один урожай. Окончив осмотр, он заметил местечко. Весной же, когда сошел снег и лист на березе стал в копейку, то есть в конце мая или в начале июня, он снова взял топор и пошел «суки рубить», то есть сечь лес. Рубил день, другой, третий. Хорошо, что близко коровы паслись и бабы принесли ему свежие рыбники, калитки и молоко, а то бы пришлось довольствоваться захваченной с собой сухой пищей и тут же ночевать в лесу у костра или в тесной избушке. Наконец, работа кончена. Срубленный лес должен сохнуть. Мало-помалу листья на срубленных деревьях желтели, и среди леса появился желтый островок.

На другой год в то же время, выбрав не очень ветреный, ясный день, старик пришел жечь просохшую слежавшуюся массу. Он подложил под край ее

жердь и поджег с подветренной стороны. По мере того как сгорало, он подвигал жердь дальше, чтобы под деревьями был воздух и они горели. Среди дыма, застилающего глаза, искр и языков пламени он проворно перебегал с места на место, поправлял костер, пока не сгорели все деревья. В лесу на холмике, против белой ламбины, желтый островок стал черным — это *пал.* Ветер может разнести с холмика драгоценную черную золу, и вся работа пропадет даром. Потому-то нужно сейчас же приняться за новую работу. Если камней мало, то можно прямо орать особой *паловой* сохой, с прямыми сошниками без *присоха.* Если же их много, землю нужно *косоровать,* разделывать ручным косым крюком, старинной *копорюгой.* Когда и эта тяжелая работа окончена, то пашня готова, и следующей весной можно сеять ячмень или репу. Такова история этого маленького культурного островка.

Когда узнаешь эту историю, невольно приходит в голову такое предположение: не принесли ли эту любовь к земле еще далекие предки старика, когда они переселились сюда из более хлебородных мест?

Так вот эта-то связь с землей и мешала старику «уйти в лес», спасать свою душу. Но теперь еще новое сомнение росло в душе старика: младший, его любимый сын, «парной, саблеватый» и грамотный малый, побывал в Поморье и заразился там новыми взглядами. С этими взглядами было не так легко бороться, как с пьянством и грубостью старшего сына.

А вернувшись на днях с лесопильного завода из Сороки, малый начал и вовсе плести чепуху. Он сказал, что завод лесопильный остановился, все рабочие забастовали и даже подговаривают бурлаков на Выгу и на Сег-озере. Старик был возмущен. Вот уже пятьдесят лет выговцы ходят по сплавам, тем только и кормятся. Хотя и ненавистно бурлачество, но им теперь только и кормятся выговцы. Не будь этого единственного заработка на стороне, пришлось бы умирать с голоду. И вот забастовали! К чему же это дол-

жно привести? Верить не хотел старик. Но слухи все росли и росли, время от времени на остров заезжали ловцы и каждый раз подтверждали эти слухи. Наконец по всему краю только и говорили о забастовке. Слово неслыханное, непонятное в этом краю аскетизма, в этом населении, в борьбе с природой прошедшем суровую вековую школу терпения. Ежедневно, при возрастающем волнении в семье, мне приходилось наблюдать, как обострялись отношения старика с молодым сыном. Между женщинами тоже образовались две партии. И бог знает, чем бы это кончилось, если бы вдруг старик не был разбит таким оборотом дела.

Раз утром молодуха пошла за водой на озеро и сейчас же прибежала назад с криком:

— Едут, едут! Бурлаки едут!

Бабы уже давно дожидались бурлаков, потому что наступил сенокос, а страшное новое слово «забастовка» поселило беспокойство в сердцах молодых жен. Вот почему все, кто был в избе, бросились к берегу, когда услыхали, что едут.

Лодка шла на восьми веслах, и только уж близко от берега поставили парус, хотя почти не было ветра. Подкатить на парусе считается на Выг-озере особым шиком. Бурлаки, по-видимому, были очень весело настроены, доносились смех и заливистая песня:

Не ржавчинка, ой не ржавчинка все поле съедает...

Радостную весть привезли бурлаки. Все их требования были удовлетворены. К ним приезжал сам губернатор, кланялся и обещал все устроить. Тут же послали телеграмму хозяину в Петербург и получили ответ: «Удовлетворить немедленно».

Старик был сбит с толку и, насупившись, молчал, а бурлаки радовались. Первый день ничего не делали, отдыхали. Потом стали приготовляться к сенокосу: кто точит косу-горбушу, кто кошель чинит, кто ружье чистит, кто готовит дорожки для ужения рыбы, крючки... Все это пригодится на сенокосе. Сенокосные места, *пожни,* находятся далеко, за двадцать верст, так что целую неделю нельзя возвращаться домой.





Когда вся эта шумная ватага уехала, большая изба опустела, остался один старик со старухой и малыми детьми. Тихо стало на острове и в избе. Слышно только, как скрипит зыбка и уныло звучит монотонная песенка старушки-пестуньи:

Баю-баю во добри,
На соломенном коври,
Бай на лыченьком, на тряпиченьком...

А старик, этот большой матерый дед, целыми днями плетет свою сеть у окна, прицепив ее за крючок в углу. Когда он плетет сеть, он молчит и о чем-то думает. Наверно, вспоминает о своей жизни или перерабатывает по-своему новые, занесенные на этот остров бурлаками взгляды на жизнь.

Раз я попросил его рассказать о себе, как он женился, как вообще устраивался в этой глуши. Старик взволновался и с радостью мне рассказал.

— Веку мне,— сказал он,— восемьдесят семь лет. Родился я на Корос-озере. Это хоть и недалеко отсюда, верст двадцать пять лесом, а уж хозяйство другое. Зябель там постоянная, другой раз по семи лет вымерзает хлеб. Как ясень на небе да три звезды, так и зябель. Болота, родники холодные, морянка задует — все к зябели. Да и не мудрено: возле океана живем. На Выг-озере этого нет: острова, кругом вода, от водицы тепло, водица тепло дёржит. Пала раз весна, северная такая, ждать хлеба нельзя. Надумал родитель-батюшка перебраться сюда: «Куда, говорит, ни зайдешь, все солнышко по вершинкам задевать будет». Продали корову, купили лодку,— на острову нельзя без лодки жить. Пришли и начали хозяйствовать. Жили сначала под сосной. Вон она, матушка, стоит...

Старик показал мне рукой в окно на большую развесистую сосну.

— Эх! Уж я это тебе верно говорю: в наших местах без трудов не проживешь. Лес секли, камни выворачивали, сети плели, рыбу ловили, полесовали. А родитель мой, батюшка,— полесник! Я и сам полесник был. Эх, был конь, да заезжен, был молодец, да

подёржан. Хвастать не буду, а еще и теперь на пятьдесят сажен в копейку попаду. Вот только мошников уж плохо слышу... Хорошо! Помалешеньку, помалешеньку, да и устроили вот эти хоромы. Запахали поля, засияли. Лет пять так прожили. Уж мне двадцать пятый год пошел. Поехали мы в Койкинцы на праздник, к Палеостровскому. Прихожу к Захару, смотрю: моя-то княгинюшка рыбу чистит, станушка в перст! Да вот она, княгиня моя, люба тебе? Ну, а мне так гораздо прилюбилась. Прихожу домой, говорю отцу: «Так и так, батюшка, кабы ты съездил».— «Какую?» — говорит. «Да вот тую, говорю, Захарову». Смотрю, одел батюшка тулуп, опоясывается. Жду... Да как жду! Веришь ли, на крышу раз десять слазил, не видать ли лодки. Гляжу: двое едут. Отец гребет, Захар сидит, правит. Ну, попал молодец! Свадьбу собирать, а денег нет. Всего-то рублей семнадцать и нужно было. Толканулся я на погост, к Алексею Иванову. Так и так, повинился ему. Дал, век ему спасибо, слова не сказал. Вот так я и женился. А дальше жили в трудах. Я как женился, так и сказал: «Ну, жена, я хоть и худой муж, а против матушки и батюшки ногой не ступи». А она как завопит: «Матушка, благослови!..»

Старик отвернулся, оправился и продолжал.

— Матушка моя, Марья Лукична, хорошая старушка была, краснословая, из Данилова монастыря вышла. Как сказала жена тогда слово, так и не переменила потом. Варя моя неожурима была. А вот есть молодые, не скажу плохие, а... Эх, Михайло, ум не кошелка, не переставишь, моего ума держимся. Много горя видели, всего изведали, а семь молодцов, как семь яблоков, вырастили. Другой раз придешь, наморишься, станет словно и нехорошо. А отдохну — и опять за работу. Да так вот и живу да болтаюсь, все вперед да вперед... Про Алексея Ивановича я тебе забыл досказать. Через год я снес ему деньги, поблагодарил и не видал его лет десять. И вот раз перед самым светлым Христовым воскресеньем пàла погодушка великая. Озеро надулось, посинело, что мертвец. Смотрю, катит ко мне Алексей Иванов, гость дорогой. А на другой день ехать нельзя было: лед разо-

шелся. Пришлось ему у меня праздник гостить. В великую пятницу я и говорю княгине своей: «Чем гостя кормить будешь? Мошника бы убить, да боюсь, грех в великую пятницу».— «Ничего, говорит, сходи, попытай счастья». Советно мы с ней жили! Перекрестился я и пошел в лес. А снег уж в лесу повышел, талинки показались. Инде тало, инде суметно. Суметы подморозило, гладкие что бумага. Смотрю, большой сумет навален. Стал я его переходить, и вдруг как схватит меня у поясницы, не могу с места сдвинуться. Ну, ничего, справился, пошел по талинкам, как по скатерти.

И слышу, точится мошник. А уж рассветает, заря разгорелась, бор что гарево стоит! Вижу, далеко мошник противу зари, черный да большой, что бурак[1]. Я к нему по сушинкам, да по лежинкам, да по кокорочкам пя-тю-гать, пя-тю-гать[2], чтобы сучья не заряцкали. А он посидит, посидит, да и заточится. Замолчит — и я стою, не шелохнусь, как заточится — я опять пя-тю-гать... С одним покончил, другой недалеко заточился... Да так вот в светлое Христово воскресенье гостя и накормил... Вот как мы в старину жили,— закончил старик.— Любо ли тебе?

И чем глубже и глубже погружался старик в прошлые времена, тем они ему становились милее и милее. Отцы, деды, даниловские подвижники, соловецкие мученики, святые старцы, а в самой седой глубине веков жили славные могучие бога́тыри.

— Какие же это богатыри? — спрашиваю я.

— А вот послушай, я тебе про них старинку спою,—отвечал старик.

И, продевая крючком в петли *матицы,* запел:

Во стольном городе во Киеве,
У ласкова князя у Владимира...

Трудно передать то настроение, которое охватило и унесло меня куда-то, когда я услыхал первый раз

---

[1] Бурак — корзина из дранок, новгородская «мостина».
[2] Пятюгать — значит бесшумно подкрадываться на пятках.

былину в этой обстановке: на берегу острова, против сосны, под которой начинал свою жизнь этот сказитель-старик; на минуту словно переносишься в какой-то сказочный мир, где по бесконечной чистой равнине едут эти богатыри, едут и едут спокойно, ровно...

И умный хвастает золотой казной,
А безумный хвастает молодой женой...

Старик на минуту остановился. В этих словах он, глава большого семейства, видит какой-то особый смысл.

— Слышишь ты, безумной-то хвастается молодой женой.

И продолжал:

А один молодец не ест, не пьет, да и не кушает,
И белой лебеди он да и не рушает...

Старик долго пел и все-таки не окончил былины.

— А что же сталось с Ильей Муромцем? — спросил мальчик, внимательно слушавший, будущий сказитель.

— Илья Муромец окаменел — за то, что хвалился Киевскую пещеру проехать.

— А Добрыня Никитич?

— Добрынюшка скакал под Киевом через камень, скобой зацепился за него: да тут ему и смерть пришла.

— Какой скобой? — спросил я.

— Да разве ты не знаешь, какая у богатырей скоба бывает? Стальная скоба.

Это замечание о стальной скобе было сказано таким тоном, что я невольно спросил:

— Да неужели же и в самом деле богатыри были?

Старик удивился и сейчас же быстро и горячо заговорил:

— Все, что я тебе в этой старине пел, правда истинная до последнего слова.

А потом, подумав немного, добавил:

— Да знаешь что,— они, богатыри-то, может быть, и теперь есть, а только не показываются.

Жизнь не такая. Разве теперь можно богатырю показаться!

Вот тут-то я и понял, почему стихи, которые казались такими скучными в гимназии, здесь целиком захватывали внимание. Старик верил в то, что́ пел.

ПОЛЕСНИКИ

Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей...

А. С. Пушкин

Когда-то самым страшным врагом человека был зверь. Это мы все знаем, но думаем обыкновенно, что время это давно миновало. Между тем у нас в России достаточно двух-трех дней, чтобы попасть в такие места, где можно наблюдать эту борьбу человека со зверем. Медведь и волки уничтожают на Севере часто все, что было достигнуто громадным трудом человека, потому что без коровы и лошади немыслимо хозяйствовать. В этих местах в складах земских управ продаются не косы и плуги, а ружья и порох. За каждого убитого медведя и волка там выдается премия, причем охотник в виде доказательства представляет в управу хвост и уши, которые потом, как оправдательные документы, представляются на земское собрание.

Вот куда следовало бы ехать нашим охотникам-любителям и помогать населению в борьбе со «звирем». Но охотник-любитель обыкновенно прикован к другим, совершенно противоположным занятиям и не может ехать так далеко. Оттого-то, быть может, он и охотник.

Впрочем, об охотниках-любителях лучше может рассказать мой попутчик полковник-старичок, с которым мне пришлось ехать до Повенца по Онежскому озеру. На пароходе он обратил мое внимание тем, что беспрерывно фотографировал, а когда он узнал, что

и я фотограф, то тут же воспылал ко мне дружескими чувствами. С ним ехал секретарь, который рассказал мне о страсти полковника следующее:

— Ну, сошлись вы с полковником! Вы знаете, полковник тратит в год по пятисот рублей на фотографию, снимает все и вкривь и вкось, лишь бы снять. И все это остается без всякой пользы, не все он даже проявляет. И знаете... вас удивит: эта страсть происходит от... медведя. Он страстный охотник на медведей и убил в своей жизни их, кажется, сорок три штуки, был даже раз под медведицей. Обратите внимание: у него на брелоке висит зуб этой самой медведицы. Но теперь охота на медведя около Петербурга вздорожала: десять рублей с пуда за берлогу, да охотникам, да проезд, так что медведь ему стал обходиться в пятьсот — семьсот рублей. Наконец даже при его средствах охота стала ему недоступной. Вот тут-то он и взялся за фотографию. Иногда мне кажется, что при каждом спуске затвора фотографического аппарата полковник испытывает маленькую частицу того, что при спуске курка. На днях он сделал такое изобретение: приспособил, видите ли, фотографический аппарат к рогатине. Зачем, вы думаете? Не подумайте, что я сочиняю,— но полковник полагает, что, когда он приготовится стрелять, мужик будет держать наготове рогатину с аппаратом и в тот момент, когда медведь поднимется на задние лапы, дернет за шнурок. Теперь мы едем на Север по делу — осмотр оружия, но я убежден, что полковник замышляет найти дешевые берлоги...

А сам полковник о себе рассказал мне так.

— Знаете, кто мой самый страшный враг?.. Газета. Я не боюсь ни пуль, ни медведя, но признаюсь, что газеты боюсь. Это враг страшный, коварный, ползучий. Он умеет пробраться в ваш праздник и в ваши будни, в вашу семью, испортить самое мирное, доброе расположение духа. И как я теперь счастлив, что целых два месяца не буду читать! Я убегаю на Север от газеты... У меня почти с детства была сильная страсть к медведю. Теперь старею, но медведь живет во мне, как в юности; даже крепнет. Вот, посмотрите...

На цепочке полковника висел огромный зуб зверя, немного испорченный на краю.

— Видите, и у них зубы гниют... Но знаете, почему страсть к медведю со временем крепнет? А потому, батюшка мой, что тут дух борется. Как станешь, бывало, за деревом с винтовкой, а он вылетит из берлоги, взроет снег клубом, пыль летит,— страсть, что тут поднимется! Против вас пасть раскрытая, красная, страшная, язык висит, зубы торчат. Встанет на задние лапы, еще секунда — и обнимет вас... Стоишь против него маленький: вот я тут, а вот ты, поборемся... Лютый зверь, страшный зверь. И бла-го-ро-ден! В нем нет коварства ни вот столечко! А какой он нервный! При малейшем шуме он вздрагивает и бежит, он никогда вас не тронет зря. Но если вы решительно ему мешаете, он не смотрит ни на что, он идет прямо, откровенно.

Все эти разговоры с полковником о медведе живо припомнились мне, когда я попал в эту местность, где люди занимаются охотой не по страсти, а по необходимости. Медведь страшен здесь тем, что «ро̀нит скот», а сам по себе по отношению к человеку считается довольно безобидным существом. Тут люди выходят на него иногда с одной пешней, встречаются лицом к лицу в лесу, разговаривают с ним и бранятся. И на самом Выг-озере, на островах частенько бывает Михайло Иваныч, но настоящее его местожительство, как и всякого зверя, на восточном берегу озера, где несколько тронутые вырубкой леса постепенно переходят в первобытные леса Архангельской губернии. Тут всякий зверь: медведь, лось, олень — живут оседло, размножаются. Отсюда медведи и совершают свои набеги на выгозерские стада. Те люди, которые живут возле Выг-озера, занимаются отчасти охотой, но называются ловцами, потому что их главное занятие рыболовство. Здесь же, хотя все также занимаются рыболовством, но называются полесниками, то есть охотниками. Полесники живут маленькими деревнями в лесах у озер, сообщаются они с остальным миром по едва заметным тропинкам пешком, зимой — на лы-

жах и возят маленькие сани *кережи* с поклажей. Летом часто можно встретить здесь человека, который по моховым болотам несет десятки верст на себе пятипудовый мешок муки. Ближайшие к Выг-озеру деревни такого типа — Пул-озеро и Хиж-озеро. Вот в них-то я и решил побывать, чтобы ознакомиться с жизнью настоящих полесников. Замечательно, что даже в этих глухих деревнях, до которых нужно идти пешком верст тридцать, есть маленькие школы грамоты с пятью-шестью учениками. Учителя в таких школах получают по десяти рублей жалованья и тоже занимаются охотой и рыбной ловлей. Я был свидетелем, как один из таких учителей женился на Выгозерском погосте и как потом молодая чета пошла пешком в высоких сапогах по мхам и болотам «на женихов двор».

Провожать меня в Хиж-озеро вызвался знаменитый полесник Филипп, типичный охотник на зверя. Я заметил, что все полесники разделяются на две группы: те, которые главным образом ходят на мелкую дичь, и те, которые бьют «звиря». Первые полесники часто балагуры, сказочники, вообще легкомысленные и часто художественно восприимчивые люди. Вторые — солидные, иногда угрюмые и молчаливые. Мой провожатый Филипп в обыденной жизни был, вероятно, малоразговорчивый, угрюмый старик. Но у всякого старика в прошлом есть живые струнки, обыкновенно скрытые для молодых. Троньте их,— и старик оживет, он будет вспоминать былое, станет рассказывать живо, как художник, и под конец будет вам глубоко благодарен, что вы пришли и оживили его умирающую душу.

— Эх, этта бывало! — начал мне рассказывать полесник Филипп про свое житье-бытье, когда мы с ним, с кошелями и ружьями за плечами, рано утром вошли в лес. И рассказывал всю дорогу. А дорога была с непривычки трудная. Сначала как будто бы и видно что-то вроде хорошей тропы, но потом, когда лес остался за нами, то и тропа исчезла; так, только примятая трава. А вот словно и совсем исчезла, но полесник идет и не смотрит под ноги. У него превосходный компас — сами деревья: с северной стороны

сучья на них растут плохо, и он безошибочно определит по ним север и юг. Посматривая на деревья, полесник выводит из леса на поляну. Что это? Светло, просторно, будто знакомое с детства широкое поле ржи. На мгновенье после давящей тяжести угрюмого северного лесного пейзажа становится так свободно, легко и тепло. Но это только мимолетные, случайные и не здешние ощущения. И поляна, на которую выводит полесник, вовсе не поле ржи, но еще более глухое, топкое, почти непроходимое место: это моховое болото, моховина. На ней ясно виднеются следы ног, которые погружали и выдергивали из топкого места, видны даже кое-где, на очень топких местах, положенные для перехода деревья. То балансируя на этих деревьях, то по колено увязая в зыбкой моховине, мы переходим наконец это трудное место и вступаем в лес. Моховина тянется иногда на версту, на две, она — самое трудное для перехода место. От моховины до моховины считает полесник свой путь. А если нет моховин далеко, то он может определить время по тени. Тень он измеряет локтями и, став на полянку в лесу, сразу на глаз узнает, сколько в этой тени локтей: пять, шесть, больше или меньше; таким образом он и узнает, сколько времени прошло от «солноставa» и сколько осталось до заката.

— Эх, этта бывало,— рассказывал мне Филипп,— и походил я на своем веку по лесу! От лыжной походки и посейчас ноги болят.

Начал ходить в лес Филипп еще мальчиком, с отцом, сначала лишь «по силовым путикам», или «по сильям», собирать запутавшуюся в этих сильях дичь. Отец его, хотя был тоже солидный, «самостоятельный» человек и потому предпочитал полесовать на «звиря», но ему, как и всем на свете, не всегда приходилось делать одно лишь любимое дело. Полесникам охота не забава, а дело, которым они живут.

Осенью рано утром, а то и в ночь выйдут, бывало, в лес полесник с своим сынишкой. Они берут с собой только нож, топор и огниво. Ни в коем случае не берут хлеба и вообще съестного. Дома они непременно

съедят «по две выти», то есть поедят против обыкновенной еды вдвое. Это делается для того, чтобы в лесу, во время собирания дичи, не есть. Когда полесники ходят по сильям, они избегают есть в лесу.

— Почему так? — спросил я Филиппа.

— Бог знает! Но только так все делают, а Микулаич — наш колдун — говорит: у сила есть станешь, всякая нечисть, и зверь, и мышь, и ворон, будут клевать птицу.

Без колдуна полеснику вообще не прожить. От него он получает множество практических советов. Так, например, колдун никогда не посоветует выходить в лес в праздник. От этого может случиться много недоброго.

— Вот раз мой батюшка,— рассказывает Филипп,— полесовал по путикам в бору. А бор-то све-е-тлый был! Видит: мужик идет впереди, Василий, с парнем. Батюшка и кричит: «Василий, Василий, дожди меня!» А они идут, будто не слышат, сами с собой советуют и смеются. Он их догонять, а они все впереди. Перекрестился батюшка и вспомнил, что праздник был, рождество пресвятой богородицы. Это ему бог показал, что в праздник нельзя полесовать.

Вот почему отец с сынишкой, съевши по две выти, выходят в лес непременно в будни.

Но перед уходом в лес мало того, чтобы съесть по две выти и выбрать будничный день; кроме этого, необходимо прочесть взятый у того же колдуна *отпуск* (заговор) от ворона, который иначе непременно расклюет пойманную в сильях птицу. С глубокой верой в священные слова отпуска полесники шепчут:

«Во имя отца и сына и святого духа. Выйду я, раб божий, в чистое поле. Стану на восток лицом, на запад хребтом. Прилетает ворон, нечистая птица. «Куда, раб божий, пошел?» — «Пошел силышки ставить!» — «Возьми меня с собой!» — «А есть ли у тебя топор? Есть ли у тебя нож? Есть ли у тебя огниво?» — «Нету».— «Есть ты мне не товарищ. Отлетай от меня за тридевять земель, за тридевять болот, там есть магнит-птица, кушанья составляет и обед приготовляет тебе, ворон, поганой птице. Аминь».

Сначала они идут по той тропе, по которой все ходят. Но, пройдя версты две, где-нибудь около замеченной кривой сосны свертывают в сторону. Саженей через двадцать, опять-таки у замеченного дерева, начинается чуть заметная тропа, силовой путик. По этому путику, кроме них, никто не смеет ходить, это великий грех. Этот путик, на котором расставлены тысячи сильев, достался им от покойных родителей, это их собственность и будет переходить из поколения в поколение.

По этому путику полесники скоро подходят к знакомому дереву, у корня которого виднеется расчищенное местечко величиной с тарелку, усыпанное желтым песочком и потому резко выделяющееся на фоне зеленого моха. Это *пуржало* — местечко, очень соблазнительное для косача, тетерки, мошника и копполы: на нем птице приятно отдыхать, кувыркаться и греться, особенно если между деревьями скользнет солнечный луч. «Любо им тут топоржиться на теплом и сухом песочке»,— рассказывал мне Филипп, указывая в лесу такие пуржала. Птица отдохнет и хочет перейти на другое местечко рядом, но на пути ей стоит согнутая дужка, на которой висит волосяная петля. Ни вправо, ни влево птице пройти нельзя, там и тут искусно устроены препятствия из сухих сучьев. И птица идет в петлю. В этих сильях попавшейся птице еще остается надежда: сило может само собой расправиться, если она, усталая, перестанет биться. Но бывают такие силья, из которых уже невозможно выбраться: это *очап,* то есть жердь в виде безмена; ее легкий конец находится у самой земли и держится внизу таким же приспособлением, как в западнях, к ее концу привязано сило; толстый же конец очапа висит в воздухе, всегда готовый рухнуть, если птица заденет крючок на легком конце. Когда падает тяжелый конец очапа, птица взлетает на воздух и висит в петле. Еще хуже *пасть,* в которой обрушивается на голову птицы камень.

Итак, полесники подходят к пуржалу, вынимают птицу, расправляют силышко и укрепляют его хвойными иглами как раз на ходу птицы. Они не забывают также повесить возле сила на ниточке маленькую

дощечку, *стрелку,* от ворона, который боится всяких приспособлений и не станет клевать пойманную птицу. Наконец, покончив с одним силом, они идут к следующему. Они собирают так много дичи, что нести становится тяжело. Тогда они выбирают подходящую сосну, привешивают на ней дичь и идут дальше и дальше. Начинает вечереть, с трудом можно разглядеть и узнать место. Мальчик поглядывает по сторонам, он боится: какие-то подозрительные огромные мохнатые существа выделяются из деревьев, словно медведи со всех сторон выходят из леса и поднимаются на задние лапы. Но это мальчику только так кажется. Отец его, опытный полесник, знает, что медведь зря не станет на задние лапы. Это не медведи, а громадные *кокоры,* то есть корни поваленных ветром деревьев, захватившие при падении большой слой земли и обросшие мхом, грибами и лишаями. Это не медведи, но и старый полесник приглядывается к ним: нет ничего мудреного, что с другого конца путика идет Михайло Иванович и тоже собирает дичь. Полесники повертывают в сторону. Так и есть. Встретились лицом к лицу. Бежать назад нельзя, потому что медведь, узнав о трусости полесника, сейчас же догонит и задерет. А медведь рассуждает совершенно так же: и рад бы бежать, но боится.

«Будь ты проклят, нечистая сила, ты мне сейчас не надобен,— думает мужик,— ни ружья, ни собаки нету».

«Да и ты мне не надобен,— думает медведь,— а стану повертываться, ты меня и хватишь».

Так и стоят друг против друга: мужик — у сосны, с топором, и против него — медведь на задних лапах.

Стучит мужик неистово топором по сосне, кричит во весь дух: «У, супостат, немытое рыло, уходи!» А медведь стоит на задних лапах, язык высунул — пена бежит изо рта,— хватает лапой пену и бросает в мужика. И долго стоят мужик и медведь, не хотят уступить друг другу дорогу, мужик до половины исколотит обухом сосну. Но бог покорил медведя человеку, он убегает. И снова идут вперед полесники. Совсем уже стемнеет, закричит в лесу *гугай* (филин),

затявкает чья-то собачка, зашумят деревья, поднимется вся лесовая сила. Полесники уже не собирают дичи, им только бы добраться до своей лесной избушки, «фатерки». Наконец добрались до нее. Это как раз такая же избушка, как в сказках. Правда, она не на курьих ножках и не повертывается в разные стороны, но в остальном она ничуть не уступает избе Ягинишны. В ней нет трубы, и дым выходит прямо из двери, почему вход кажется черной дырой; у самого входа обожженные камни и горшки, оставшиеся с весны, когда здесь полесовали на мошников с ружьем и варили пищу. Приходят полесники, разведут огонь в избушке для тепла, обогреются, улягутся спать. А в лесу ветер гудит, шумит вся нечистая сила. Вдруг отчетливо затявкают собачки.

— Батюшка, слышишь?

— Слышу, слышу... Не трожь, пущай подходят ближе.

Ближе и ближе тявкают собачки... Запрыгали горшки на камнях... Заскрипели доски... Посыпалось что-то с крыши в избушку.

Сразу выскочит из избушки старый полесник и начнет ругаться, и начнет!..

В лесу побежит, зашумит, захлопает в ладоши и захохочет: хо-хо-хо!..

Потом мальчик еще услышит, как кто-то, играя на свирели, подойдет к избушке и уйдет дальше в лес. Но отец ничего не слышит, он уже спит.

Утром полесники тем же путем возвращаются домой, берут с собой подвешенную на деревьях дичь и продают «богачу». Пройдя множество рук, эта дичь удвоится, утроится в цене и, наконец, попадает в Петербург, где и съедается в удобных, теплых, светлых комнатах.

Хотя пойманная силками «давленая дичь», по мнению полесников, лучше стреляной, потому что дольше сохраняется при отсутствии огнестрельных ранок, но «богач» ею брезгует, он требует стреляной дичи. Кроме того, в последнее время администрация стала, не без основания, стеснять силовой промысел, так как при этом много птицы гибнет напрасно. Походив не-

которое время по сильям, полесники оставляют промысел до следующей осени, а силья продолжают губить дичь уже совершенно напрасно. По этим причинам силовой промысел из года в год падает и сохраняется в своей первобытной чистоте только в глухих лесах Архангельской губернии. Зато охота с ружьем и собакой процветает по-прежнему и даже совершенствуется благодаря распространению земской управой дешевых дробовиков.

Впрочем, в тех местах, где я был, дробовиков было мало, большинство же ружей малопульные и даже кремневые.

— Эх, этта бывало! — продолжал рассказывать мне полесник Филипп про охоту... Бывало, станут собираться с отцом полесовать с ружьем и собакой. Теперь уже необходимо захватить с собой в кошели рыбники, калитки и другую пищу, так как ходить в лесу придется долго. Перед охотой мальчик чинит кошель, а отец чистит ружье. Иногда отец при этом вспомнит, что *лонись*[1] он убил из этого ружья ворона, ворону или другую нечистую птицу. В таком случае необходимо сходить к колдуну Микулаичу помыть ружье, иначе оно будет недостреливать или давать промахи. Когда все эти предосторожности приняты, то остается кликнуть собаку и идти в лес. Хорошая собака, карельская лайка, для полесника то же, что корова для пахаря; с хорошей собакой он не расстается ни за какие деньги. Хорошая собака должна ходить по всему, что попадется в лесу: по дичи, по белке, по медведю и по всякому зверю. Такую собаку нигде нельзя купить, ее нужно выбрать из щенков. Вот тут-то колдун снова может оказать услугу. Впрочем, и без колдуна каждый знает, что у щенков, которые должны ходить по оленю, во рту устроено так же, как и у оленя: у них, как и у оленей, такие же красные полоски на деснах; у тех же щенков, которые ходят по дичи, опять-таки во рту есть такие же бугорки, как у тетеревей; по белке ходит почти всякая собака, но у очень хороших собак во рту устроено так же, как

[1] Лонись — то есть прошлый год.

и у белки. Одним словом, полесник верит, что бог при сотворении мира уже все предусмотрел относительно охоты с карельской лайкой.

Полесники выходят из дому непременно очень рано, потому что птица, поднятая собакой, садится на деревья, когда еще роса не сошла и нет солнца, а «на ясеню» она не сидит. Входят в лес; пропадает собака, только ее и видели. Но полесник не беспокоится: у него свое дело, а у собаки свое. Если только уж очень долго не попадается дичи, она прибежит проведать хозяина, пригнет свои торчащие кверху, словно рожки, уши, визгнет, полежит немного, если полесник сел отдохнуть, и опять — прощай. Наконец полесник прислушается и про себя скажет: «Облаяла». «Это по дичи лает,— соображает он, свертывая в сторону,— по белке лай реже».

— Квах, квах, квах!..— слышится беспокойный куриный крик.

Звук выходит из чащи и отдается по лесу; если бы не лай собаки, то трудно было бы определить и место, откуда он исходит. Но по собачьему лаю полесник угадывает, что птица сидит именно в такой-то кучке деревьев. И вот уже видна вся знакомая полеснику картина: на верху дерева сидит громадная птица коппола — самка глухаря — и смотрит, угнув голову вниз, на собаку. Собака отвлекает внимание птицы от полесника. Птица все время квохчет, подает голос молодым мошничкам и копполам, чтобы не разлетались далеко и смирно сидели на своих местах, пока минует беда. Долго такое напряженное состояние продолжаться не может, вот почему полесник, раздвинув сучья, торопится установить свою *шагарку*[1], на которую он кладет ружье, чтобы вернее прицелиться. Ему в этом случае своей маленькой пулькой приходится стрелять наверняка. Весной, когда мошник поет, *точится,* можно и промахнуться,— птица все равно не услышит звука выстрела и не улетит; но теперь беспокойная мать сейчас же улетит и уведет с собой весь *детник.* Полесник прицеливается долго, несколько ми-

[1] Шагарка, или пристав — подставка, с которой стреляет полесник и которую он берет с собой из дому.

нут, и стреляет наверняка. Когда коппола убита, нужно «собрать детей». Это уже простая механическая работа: нужно только очень внимательно присматриваться к деревьям. Вот сидит молодой глупый мошничок, угнул голову, словно напряженно слушает, ожидая опасности, и смотрит прямо на охотника. И если тот промахнется, то молодая птица еще смешнее изогнет шею, но не улетит. Так мало-помалу бывает перебит весь детник, и полесник идет дальше.

По белке еще рано охотиться, в это время шкурка ее ничего не стоит. На нее охотятся позднее. Тут тоже трудностей немало. Прежде всего ее надо найти. Иногда для этого нужно очень много исходить. Наконец, собака облает. Лает, как бешеная, пробует прыгнуть на дерево, но все, что она в состоянии сделать, это стать на задние лапы и передними охватить ствол. Полесник спокойно подходит: белка никуда не уйдет и собака ее не бросит. Он подходит к дереву, смотрит на дерево, обходит его кругом, но белки не видит. Он знает наверное, что белка сидит на дереве, но где именно, он не видит. Пробует стучать топором по дереву, чтобы согнать, но белки нет и нет. Наконец ничего не остается делать, как срубить дерево. Он достает из-за пояса топор и ловко, привычно срубает громадное семи-восьмивершковое дерево. Расчет у него простой: белка стоит двадцать копеек, а дерево ничего не стоит, пятнадцать минут рубки. Дерево валится, белка *пуйтает* (скачет) на другое дерево и исчезает, вероятно, в дупле. И второе дерево валится. Бывает, что и десяток и больше деревьев свалится, пока белка будет убита. Каким это варварством кажется нам, с нашим хозяйственным глазомером! Но там, в лесу, в котором полесник с огромным трудом в день находит десяток белок, срубленные деревья — капля в море, они ничего не стоят в общей массе леса, не имеющего цены.

Белка убита, значит, двугривенный в кармане, можно сесть отдохнуть. Собака ложится у ног, смотрит, как хозяин привычной рукой снимает шкурку, действуя финским ножом. Собаке достается мясо или, самое меньшее, лапки, если хозяин торопится и не снимает шкурку.

Так мало-помалу проходит день, полесники подходят к лесной избушке с десятком белок и несколькими детниками. Поедят, переночуют — и снова искать в лесу белок и детников.

Старый полесник Филипп, коренастый, с седыми нависшими бровями, совсем и не считает все это охотой. Ходить в лес за белками и дичью с собакой — значит «полесовать». Даже любимая всеми полесниками стрельба глухарей весной на току для него не охота. «Ведь она за то охота,— говорит Филипп,— что по своей по доброй воле делается и по желанию». Настоящая охота — это только по зверю. Без любви, без особых способностей это занятие невозможно. Оно становится все менее и менее доступным теперешнему мелкому и слабому народу. «Они думают,— говорит Филипп,— что зверя меньше в лесу стало. Не верь им. Зверь весь тут, его только найти надо. Давай, тебе сейчас найду и лося, и оленя, и медведя. Эх, и походил, походил я на своем веку, от лыжной походки и посейчас ноги болят! Эх, этта бывало! В лесах ходючи, на всякую штуку набредешь, *он* пошутить-то любит».

И *он* частенько шутил, когда отец с сыном охотились на зверей.

— Было раз,— рассказывал мне Филипп,— ходили мы в лесах. День проходили, ничего не видели. Идем уж ночевать к фатерке. А бывает, что не сразу к ней попадешь, иной раз и верст на пять ошибешься. Идем мы зимником, нет фатерки и нет. И тут сзади нас ка-ак побежит да захлопает в ладоши! Мы его ругать, он и убежал. Отошли еще версты две, смотрим, олень бежит. Мы его стрелили, я — к нему. Вижу, батюшка стоит у оленя, оперся на ружье. Подхожу, смотрю: ни батюшки, ни оленя,— видно, так прико́хло. А тут те́мница заво́дит, и я маленько не толкую, куда идти. Хожу, кричу: «Батюшка, батюшка!» А пого́дища ро́дилась великая! Вижу, отец идет со псом и кричит, будто свой отец. Смотрю, с островинки выстал тоже отец, кричит мне, а другой-то словно протаял, провалился.

Таких случаев Филипп помнит бесчисленное множество, но он так твердо верит, с одной стороны, в силу молитвы, с другой — в ругань и в советы колдунов, что ничего не боится в лесу.

Отец с сыном выходят на лосей и оленей зимой. Летом этого зверя трудно найти: он скрывается где-нибудь по *канабрам* и *оргам,* в непроходимой глуши, у ручьев. Редко бывает видно, как пробежит олень, закинув назад рога, или выйдет на лесную полянку *важенка* (самка оленя) пощипать траву. Чуть только шевельнуть рукой, чтобы взять ружье, сейчас телятки вытянут мордочки, насторожат ушки, красные на солнце, как кровь. Щелкнул затвор в берданке, «ряцнул» сучок, и все несутся в свои орги и канабры. Редко летом увидишь и лося. Разве случайно и всегда неожиданно. Едет иногда полесник на лодке по реке, вдруг из чащи на берегу выдвинется громадная рогатая голова и скроется. Только лес зашумит.

Нет, на зверя можно охотиться только зимой, около поста, когда солнышко начинает посветлее светить и потеплее греть, когда начнут «падать чиры», то есть на снегу образовываться корки, *насты.*

Отец с сыном выходят на лыжах по настам. Они ищут след. Разные следы бывают в лесу: от бисерного, словно растянутого ожерелья какого-то совсем маленького зверька — горностая, хорька, ласки,— до громадного, «в теплый сапог», следа Михайлы Иваныча, если его потревожили и выгнали из теплого логовища. Но все это не интересует охотников. Вдруг они видят черную полянку среди снега в лесу. Это значит, что тут было целое стадо оленей, которые разбивали ногами снег и доставали белый мох. На этом месте с деревьев уже не свешивается лесная шуба *капшига,* то есть лишайники, все это ощипали олени. А вот и большой лосиный след. Охотники предпочитают бежать за лосем. Тут и начинается настоящая охота. Они должны рано или поздно догнать лося. У них то преимущество, что лыжи не проваливаются в снегу, а ноги лося проваливаются и режутся о твердую, обледенелую кору снега. Охотники бегут и бегут на лыжах; где скатываются, где взбираются на горку. Начинает темнеть.

Очень редко случается, что на охоте по настам приходится ночевать в фатерке, как осенью. Обыкновенно же охотники ночуют у *нудьи.* Они срубают два дерева, кладут одно над другим и между ними сучья, хворост, *паккулу* (грибы) как можно больше. Этот хворост поджигается, и деревья по мере его сгорания сближаются и, в свою очередь, медленно тлеют. Такой костер может гореть очень долго. Охотники укладывают на снегу возле нудьи толстый слой хвои и на него ложатся, установив по другую от себя сторону, противоположную нудье, аллею из маленьких елок. «И так-то разоспишься в тепле у нудьи, что уж утром и неохота вставать»,— рассказывал мне Филипп.

Наутро снова бегут по следу. Случается, что на тот же след попадают и другие полесники, тогда бегут все вместе, и все получают равные части от убитых зверей. Иногда лосей и оленей бывает так много убито, что для солки мяса не хватает соли. Тогда мясо выменивается на соль, фунт за фунт.

Кроме лосей и оленей, убивают росомах, хорьков, выдр, горностаев и, конечно, медведей. Впрочем, медведь стоит от них особо. С одной стороны, медведь-то именно и есть зверь, о нем именно и думает полесник, когда говорит «звирь». Но, с другой стороны, он будто и не зверь. Нечистый... Рассказывая мне про медведя, Филипп начал уверять меня, что бабу он никогда не тронет.

— Да почему же? — спросил я.

— Это уж ему ведать о том. Бывали случаи, только редко: когда баба полесника несет.

— А как же он узнает, что она несет полесника, а не будущую «женку»?

— Так, уж знает... нечистый...

Но зря медведь, рассказывал Филипп, никогда не тронет, господь его покорил человеку. Вот только если его задеть, рассердить, то тогда живо шапку снимет. В особенности опасно бывает встретиться с медведицей, когда у нее маленькие медвежата; они бегут к охотнику и ластятся к нему, как собаки, а медведица за них боится и может растерзать охотника.

С Филиппом много раз бывали такие случаи, но всегда он как-то извертывался.

— Раз,— рассказывал он мне,— полесовал я по сильям. Ну, хорошо. Стою я на коленках, силки лажу, слышу — бунчит земля. Поглядел: два медвежонка, за ними пестун, а позади всех медведица стоит на задних лапах, верхними помахивает. Тут мне стало будто бы и немножко неладно. Встал я сразу с земли да закричу как во весь дух: «Серко, Серко!» А какой тут Серко, когда по сильям шел! Эти медвежонки ка-ак махнут, за медвежатами пестун. А медведица постояла-постояла, да на левое плечо — и ух! Побежала вслед за ними.

Случай этот, рассказанный Филиппом вскользь, как один из типичных, постоянно с ним повторявшихся, по контрасту напомнил мне разговор с полковником на озере Онего. Вспомнил я, как тот рассказывал о своих ощущениях, когда он стоял с ружьем и сзади него — мужик с рогатиной. Тут же без ружья, без собаки, почти верная смерть, и все-таки от всех ощущений он передает только: «Мне стало будто бы немножко и неладно». Я рассказал Филиппу о том, что в Петербурге охотникам медведь обходится до пятисот рублей и что этих охотников множество. «Вот бы к нам-то их переманить!» — воскликнул старый полесник и стал мне рассказывать, как он убивает медведя в берлоге.

— Лонись о крещеньи это было. Мужик нанял мужика в казаки [1], бревна возить. Поехал этот казак лес рубить возле островиночки. Рубил-рубил, да и пал в берлогу. Молодой мужик, хаповатый такой: ухватился за сук, выскочил, господь его и спас. Ну, хорошо, рассказал он это нам, мы враз и согласились. Иван с оглоблей, Мирон с пешней, я с ружьем. Долго мы искали берлогу,— по чужим нака́зам не

[1] Возникновение странного выражения «нанять в казаки» мне хочется связать с преданием о панах (см. выше). Казаки долго грабили местных жителей, но потом, укрываясь от преследований, по-видимому, сами попали в зависимое положение от населения. Мне рассказывали, что в старину этих укрывавшихся в лесу людей крестьяне запрягали в соху вместо лошадей.

легко найти. Видим со стороны — над снегом парит. «Стой, ребята, берлога! Ты, говорю, Иван, становись на берлогу, где каза́к провалился, и потревожь сверху оглоблей, ты, Мирон, стой позади меня с пешней, а я стану сперва из ружья стрелять». Выход из берлоги обложил деревьями, чтобы не сразу выбрался. Вот и стал его Иван оглоблей выживать. Раз сунул — молчит, два сунул — молчит, на третий ка-ак вымахнет, показалась голова, хлоп! Ружье не сгорело. А Мирон стоит с пешней, как пришитый. Гляжу, пес бросился к медведю. Жаль мне стало пса,— сгребет медведь, спереди ухватиться ему не за что. Выхватил я у Мирона пешню да и шарнул ему в пасть. А Иван бросил оглоблю да топором его по переносице. Убили. Слышим, еще есть в берлоге, рычит помаленьку. Стали тыкать, зарычало посильнее. Вытащили из берлоги медведицу, смотрим, а с нею маленький, словно кот.

— Так разве может среди зимы медведица детей принести? — спросил я.

— Медведица всегда, как смерть зачует, среди зимы, о крещеньи ро́дит,— отвечал мне уверенно Филипп.

И много всего рассказывал мне о медведях Филипп. Рассказывал, как ему случалось бывать на медвежьих токах и видеть смертный бой между двумя медведями: один заел другого, вырыл яму и похоронил в ней убитого. Рассказывал, как осторожно, на пятках ходит медведь по лесу, так что ни один сучок не ряцнет, как он таким образом подкрадывается к полям и ест несжатый хлеб. И поскольку речь шла о его личных столкновениях с медведем, Филипп рассказывал спокойно, неизменно заканчивая свои рассказы словами: «Господь покорил его человеку». Но как только стал рассказывать о медведе как истребителе скота, тут уж встревожился. Тут, говорил он, нужен колдун, и каждый рассказ заканчивал: «Не-ет, без колдуна полеснику не обойтись». Впрочем, иногда помогает молитва, обещание. Раз как-то у Филиппа медведь ро́нил скотину, потом ро̀нил у Ивана и у Мирона. Поставили они «чинёные ружья» у падины, то есть ружья заряженные и так приспособленные, что

при малейшем прикосновении медведя к падине должны выстрелить. Поставили ружья и тут же обещались шкуру этого медведя пожертвовать на церковь. Ночью все три ружья хлопнули, но медведя не оказалось. Думали, что это ворон зацепил. Но года через два пастух нашел недалеко от этого места медвежью голову, а шкура сгнила. Делать нечего, выполнить обещание было невозможно; Филипп, Иван и Мирон отслужили молебен, внесли по рублю на часовню, тем дело и кончилось.

Но самый обычный способ истребления медведя у «роненой скотины» посредством *кляпцов* и *ловаса*. Кляпцы — это две тяжелые железные дуги с острыми зубьями, захлопывающиеся в виде пасти, а ловас — помост, устраивается между двумя или тремя близко стоящими соснами. На этот ловас у ро́неной скотины и садится полесник с ружьем караулить медведя. Он садится наверх, конечно, не оттого, что боится, а для того, чтобы ветер не доносил до чуткого зверя человеческого духа. По мнению Филиппа, медведь не только хорошо чувствует присутствие человека, но даже знает его след. Чтобы отвести след, к ловасу непременно приходят двое; один взлезает наверх, а другой уходит и по дороге домой нарочно шумит, кричит, дает знать медведю, что полесник ушел. Другой же полесник, на ловасе, сидит, не шелохнется и зорко смотрит, потому что медведь идет так тихо, что услыхать его невозможно: ни один сучок не треснет. Медведь может почуять полесника, далеко не доходя до ловаса, и полесник должен заметить его издали, следить за всеми его движениями. Наконец, полесник, часто прокараулив несколько ночей, видит, как он ползет на брюхе, подняв кверху голову и озираясь кругом. Подпустив его как можно ближе, полесник стреляет.

Но бывает так, что полесник просидит и неделю на ловасе, а медведь не придет. Почему это? А потому, что этот медведь «напущенный», верит Филипп. Какой-нибудь злой колдун, осердившись, напустил медведя на скотину.

Но колдуны играют такую огромную роль в жизни полесников, что мне о них нужно рассказать подробнее.

КОЛДУНЫ

Когда один из ангелов восстал на бога, а с ним и многие другие ангелы, то бог прогнал их с неба. Стесненные на краю неба, восставшие ангелы полетели вниз. Одни из них, страшно изувеченные, с своим начальником Сатаною упали в подземное царство, в ад, другие пали на землю и поселились кто в воде, кто в домах, кто в лесу.

Так объясняет себе олончанин происхождение лесовиков, водяников и домовых, в которых он верит беззаветно.

Уже в Повенце мне пришлось из-за этих верований иметь небольшие неприятности. В этом городке нет гостиницы, и мне пришлось остановиться на постоялом дворе, а так как это было ночью, долго стучаться. Наконец мне отворили дверь и уложили спать. Ночью переполох в доме разбудил меня. Оказалось, что околела овца, и огорченные хозяева суетились. Проснувшись утром, слышу разговор хозяйки с кем-то в сенях.

— Пришел он ко мне страшный такой, большой. «Ой, Акулинушка, говорит, не сбыть без убытку...» Слышу, стучат под окошком. Кричу: «Что вам, крещеные?» — «Ночевать»,— говорят. Уложила я их. Только легла, а он опять пришел: «Ой, Акулинушка, не сбыть без убытку». Я тут вы́стала, зажгла лучинку да в хлев: смотрю, лежит овца гора-горой...

Вот так я и попал в колдуны с первых шагов. Хозяева на меня косились и хмурились.

Однажды я рассказал это приключение одному деревенскому фельдшеру, идейному, прекрасному молодому человеку.

— Это пустяки,— сказал он.— Если бы вы знали, что только мне приходится проделывать в борьбе с этими верованиями! У них в каждой деревне есть своя знаменитость: в Тиковницах рыбный колдун, в Корос-озере — скотский, у нас — ружейный и свадебный. А сколько тут знахарей, ворожей!

— Как же вы с ними боретесь? — поинтересовался я.

— Да как придется. Вот на днях пришел ко мне мужик кровь унять: ему разрубили топором жилу, и знахарь ничего не мог сделать. Я сейчас же послал сторожа собрать всех наших знахарей и колдунов унимать руду. Собрались, никто не может. А я приложил арнику на вате, кровь сразу и унялась. Кажется, после этого можно бы сдаться колдунам. «Нет, говорят, в присутствии фельдшера заговоры не действуют»... А то вот еду раз на лодке, со мной человек десять народу. Вынул я из кармана «Олонецкие губернские ведомости», где напечатан был коровий заговор, так называемый «отпуск», и стал читать. Думаю, узнают, что это не только колдунам, а и всем известно, перестанут верить. Так что же вы думаете? Только кончил я читать, сразу несколько голосов: «Прочти, прочти еще раз, не запомнили, да пореже читай»... Вот и судите сами, как тут бороться. Заболеет ребенок оспой, все идут, кланяются больному: «Оспа матушка, говорят, смилуйся, уходи!» И разносят болезнь по своим детям. Ну, что я с своей медициной сделать могу? А какие расстояния! Иногда позовут верст за семьдесят. Едешь на лошади, едешь водой, идешь пешком. Пришел, посмотрел, дал порошок — и кончено. Я не уверен даже, что этот порошок не очутится где-нибудь за божницей.

Но самые лютые враги науки, по словам фельдшера, не местные колдуны, а мезенские коновалы. Как только осенью на Мезени закончатся работы, сотни этих знахарей расходятся по Олонецкой и Архангельской губерниям. Они лечат все: людей, животных. Они знают всевозможные заговоры. Колдуны — это жрецы, языческие священники, а мезенские коновалы — специалисты-медики. И каким уважением они пользуются в народе! Двери всякого дома перед ними открыты, везде они едят, пьют, живут на одном месте иногда месяц, два и нигде никогда не платят, да и в голову никому не приходит брать с них деньги.

Так рассказывал мне представитель медицины о колдунах. Скоро после этого разговора, благодаря знакомству со сказочником Мануйлой, мне удалось проникнуть к знаменитому колдуну Микулаичу Фере-

зеину. Но прежде чем говорить об этом колдуне, необходимо познакомиться с Мануйлой. Этот даровитый человек больше всех других моих знакомых на Выгозере обладает чистой, непосредственной верой во все чудесное.

Сказочник Мануйло — человек высокого роста, с густой бородой, на вид серьезный, строгий. И только когда он начнет рассказывать свои сказки, «манить», в лице его мелькает что-то такое легкомысленное, такое неподходящее к этому строгому лицу и бороде, что становится смешно. Душа у Мануйлы не простая, а поэтическая, он испытывает приступы тоски, имеет неопределенные желания, его тянет куда-то. Ходит он в лес по мошникам не как простой полесник-ремесленник, а любитель-охотник. Охотой и сказками он до некоторой степени удовлетворяет себя. Но самая заветная мечта, которую он никак не может решиться осуществить, это сходить в Иерусалим.

— Почему же именно в Иерусалим? — спросишь его, бывало.

— А потому, что это пуп земли и там все,— скажет Мануйло.

Чтобы осуществить эту мечту, не нужно и денег, а только решиться идти и просить по дороге милостыню. Но решиться Мануйло не может, слаб.

Мануйло — человек необыкновенно общительный, любит людей. Живет он в полуразрушенной избушке у самой дороги, по которой идут соловецкие богомольцы. Они все находят радушный приют у сказочника. Для них Мануйло уже три самовара сжег. Вслушиваясь в их разговоры, Мануйло узнает о каком-то удивительно сложном и прекрасном мире. Все эти сведения в поэтической душе перерабатываются и потом подносятся односельчанам когда-нибудь в зимние вечера на вывозке в лесных избушках. Мануйло мастер «манить», снисходительно говорят односельчане, не понимая, что эти сказки и есть единственная красота их «загнанной» жизни. Творчество Мануйлы достается им даром, они оставляют жить своего поэта в жалкой, полуразрушенной избушке. Сам Мануйло скро-

мен; он думает, что для сказок нужна только «недырявая память». Однако были в его жизни случаи, которые убедили его, что сказка не совсем пустое занятие. Прежде всего она годится в бурлаках. Приказчики любят сказки и работы не спрашивают.

— Мне легко в бурлаках,— говорит он.— Сижу я на бревне да покуриваю. Подходит приказчик, раз посмотрит, два посмотрит. «Ты что, говорит, Мануйло?» А я ему в ответ: «Да ничего».— «Хо-хо-хо, засмеется, ну, приходи вечером сказывать». Вечером придешь, чаем напоит.

Может принести сказка пользу, и когда из-за озер и лесов, из больших блестящих городов в этой лесной глуши появляется барин. Он требует лошадей, требует лодку, покупает кур и яйца, снимает планы, вымеряет леса. Кто он такой? Бог его знает. Господа бывают разные.

— *Они* думают,— говорит Мануйло,— что господа одинаковые.

«Они» — это вся серая масса крестьян, противоположная сказочнику Мануйле, *они* — это филистеры.

— *Они* думают, что господские одежи — и все тут. Не-ет, брат! Господа бывают разные. Другой раз на лодке сидишь день-другой, везешь его. И бывает такой барин, что сидит себе в лодке, на солнышке, поглядывает, в книжку записывает и молчит. Двое суток с тобой проедет и слова не скажет. Такие крепкие бывают господа! *Они* не знают, что из господ и немцы и поляки бывают. Зато попадает другой в разговор, он-то тебя повыспросит, напоит, накормит. Один попался, так суток трое мои сказки слушал. Всякие господа бывают.

«Они» не ценят сказок Мануйлы, а как дойдет дело рассказывать что-нибудь от общества барину,— сейчас Мануйлу. Вот тут только и сорвет Мануйло с них на бутылку.

В семейной жизни Мануйло был несчастлив: единственная его дочь — безумная. Всякого гостя эта безумная полуобнаженная девушка встречает диким хохотом и пристает к нему, пока отец не уймет. Эта де-

вушка испорчена еще девочкой, с ней «что-то сделал лесовик», и даже знаменитый колдун Микулаич Ферезеин не мог отколдовать. Вот как рассказывает об этом сам Мануйло:

— В этот год у нас в Матк-озере рыбы совсем не было, вся перешла в Выг-озеро. Старухи рассказывают, будто видели, как на Поповом камне маткозерский водяник с выгозерским в карты играли. Вот и думаем, что наш хозяин свою рыбу проиграл. Не было рыбы весной, а летом так даже окуни на уду не шли. Осенью маялись-маялись с неводами, себя и баб замучили, а ничего не поймали. Ну, думаю, надо в лесу дело поправлять белками да мошниками. Взял собаку, ружье, надел кошель и пошел в лес. А девчонка моя и говорит: «Тятенька, позволь, я с тобой малешенько по лесу пройду». Да так и увязалась со мной. Только вошли в лес, слышу, собака так-то часто и гораздо лает. Ну, думаю, белку облаяла. За беличью шкурку в тот год по двугривенному платили, где тут о девчонке помнить! Как услыхал, что по белке лает, сейчас в лес. Лает, как бешеная, а белки нет. Нечего делать, срубил дерево, срубил другое. Смотрю, сидит на чистом месте на веточке, хвост на спине. Расставил я шагарку, стал прицеливаться. Хлоп! Нету ни белки, ни сука, и дерево это на другом месте стоит, и собака не лает. Тут-то я и вспомнил про девчонку. Оглянулся назад — нету ее. Ну, думаю, домой ушла, сотворил молитву — и в лес. Дня два проходил, прихожу домой, жена ругает: «Что ты, говорит, девчонку по лесу водишь?» А она с тех пор домой не приходила. Тут я и понял: *он* белку-то мне показал, а девчонку закрыл. Делать нечего! Посоветовали, посоветовали со старухой, и поехал я к Микулаичу, к колдуну, отведать девчонку. Сутки я к нему плыл да сутки пеший шел... «Ничего, говорит старик, он ее восемь суток водить будет, на девятые нам только попасть туда нужно». Пришли мы с ним в лес на девятые сутки в полночь. «Становись, говорит, за вересиной, а я за камнем стану. И что бы ни было, стой, не шевелись, не бойся». Не мне бы ему говорить: в лесу ходишь, так нужно, чтобы запятая была твердая... Стою... Вижу, будто волокут мою девчонку два мужика, ножик вы-

нимают... Стою, молчу... Кричит: «Тятенька!» Стою, молчу. А потом вижу: карета едет, везут девчонку мимо. Тут старик вышел из-за камня. «Пойдем, говорит, она теперь дома». Пришли, девчонка дома, вся синяя, дрожит. Девять суток он ее водил, а уж что с ней делал, не знаем. Так и осталась немая и глупая.

Вот этот-то Мануйло и познакомил меня с колдуном Микулаичем. Ему зачем-то нужно было в Корос-озеро, да кстати он хотел и ружье *помыть* у колдуна, а то оно стало недостреливать. Только что мы отплыли верст пять по Выг-озеру, вижу, Мануйло встревожился, стал приглядываться вдаль, наконец уверенно произнес:

— Пакость!

Скоро и я увидал, что на маленьком голом острову стояла кучка лошадей, она-то и возбуждала внимание Мануйлы. Этих лошадей, очевидно, перегнал с Янь-острова медведь. В это время в стороне показалась лодка, нам кричали, можно было ясно разобрать слова:

— Па-а-кость! На Корос-озере четырех ро́нил!

Когда лодка подъехала, между Мануйлой и двумя ловцами начался непонятный для меня разговор:

— У нас вся скотина в отпуску. Сам Микулаич отпущал... Пакость! Четырех из отпущенного стада ро́нил... Ослеп. Видно, у него путаться началось... Дьявола́-то жмут... Напущенный... Максимка напустил...

Кое-как мне удалось установить такой смысл этих слов: скотина, которую ро́нил медведь, была заговорена знаменитым колдуном Микулаичем, или «отпущена». И вот, несмотря на это, случилось что-то неслыханное: медведь съел заговоренную, «отпущенную» скотину. Объяснялось это тем, что Микулаич стал стар, ослеп, дьяволы его жмут, и оттого в голове его начало что-то путаться.

— Эх, а хороший колдун был Микулаич! — сказал мне Мануйло.— По всем деревням от Данилова до Поморья отпускал скотину. Привезут-отвезут на своей лошади, поят, кормят, соберут рыбников, калиток це-

лый воз, надают денег... Пастухи к нему со всех мест за отпусками ходили.

Мануйло не верил, что у Микулаича путаться начало, и объяснял это тем, что «он», то есть медведь, напущен другим завистливым колдуном Максимкой и что следовало бы опять попробовать его утопить. Оказывалось, что этого Максимку уже не раз топили, но не удавалось,— он всплывает и начинает со злости пакостить, то есть напускать «звиря».

Наконец мы добрались до колдуна Микулаича.

Он сидел возле своей избушки, грелся на солнце. Этот старый слепой старик, с благообразным лицом и седой длинной бородой, вовсе не походил на колдуна; скорее это был пастырь, священник. Узнав о том, что у Мануйлы ружье недостреливает, он сказал:

— Ну, давай ружье, я тебе наставлю.

После этого мы пошли к озеру. Старик стал на колени у самой воды, разобрал ружье и, продувая ствол, три раза погрузил его в воду.

Старик совершал обряд с полной верой в его значение, у него было торжественное, серьезное лицо. Мануйло смотрел на него, как смотрит простой верующий человек на священника. Озеро было тихое, красивое, и во мне шевельнулось что-то, требующее уважения к обряду.

— Это, видишь ли,— объяснял мне потом в своей немного мрачной избе Ферезеин,— больше от себя. Когда с ружьем ходишь полесовать, так нужно вести себя строго. Другой раз нагрешат, трудно бывает поправить, ну раз и не сделаю, а другой уж наставлю.

С большой осторожностью я перевел разговор на медведей, скот и, наконец, на то, что медведь съел отпущенную им скотину. Микулаич просто и спокойно объяснил мне, что медведь этот не простой: если бы он был простой, то пришел бы на то же место и стал бы есть скотину; а если он не пришел, то для чего же он ее ро́нил? Нет, этот медведь напущенный. Но кто напустил, он не знает; говорят, что Максимка, но это неизвестно, а он теперь не может *отведать* колдуна, потому что ослеп. Для того чтобы отведать, нужно собрать из трех мест лагунной воды и смотреть в нее, пока не покажется враг.

— Я,— говорил старик,— годов с полсотни скотину отпущал, и никто не слыхал, чтобы мою скотину медведь сшиб. Эх, если бы глаза, я б ему показал! Не по разуму стряпню затеял. Вот раз это было... годов уж пятьдесят прошло. Тоже, как и теперь, каргопольский колдун стал повенецкому пакостить. Сошлись они на Корос-озере. Наш-то и говорит: «Видишь вон чугун в печи? Пусть подойдет ко мне».

Бился-бился каргопольский, чугун ни с места.

— А вот тебе шуба на пороге,— говорит он нашему,— пусть сюда придет...

Не успел сказать, шуба и поползла и поползла... С тех пор шабаш, потерял силу каргопольский колдун.

— Эх, если бы не глаза, показал бы я этому Максимке!

Положение старика было в самом деле печально: всю жизнь он занимался отпусками, тем и кормился, и вот на старости приходится дело бросать. Он погрузился в воспоминания и рассказывал мне, как он отпускал скотину.

Бывало, троица подходит, со всех мест шлют, успевай только ездить и отпускать. Приедет в деревню, а там уж ждут, скотина в поле, в загоне, пастух с трубой. Микулаич ставит в землю батожок и дает пастуху записку с отпуском. Если пастух грамотный, то читает ее, обходя скотину три раза вправо от батожка; если неграмотный, то за ним идет кто-нибудь и читает отпуск. После этого Микулаич берет хлебный колобок, режет его на кусочки, чтобы каждой скотине досталось.

Но теперь старик ослеп, его несомненно жмут дьяволы, и он ничего не может поделать с пакостником Максимкой. Я упросил старика дать мне отпуск. Он достал из сундука бумажку и заставил меня три раза прочесть вслух. И нужно было видеть торжественное лицо старика, когда я читал. Он словно благословлял меня.

— Это отпуск хороший,— говорил он,— этим отпуском сто коров отпущено и сорок лошадей. Теперь пиши, верно пиши.

ОТПУСК

Во имя отца и сына и святаго духа!

Выйду я, раб божий, пастырь (имярек), благословясь из двери в двери, из ворот в ворота. Стану я лицом на восток, хребтом на запад и помолюсь Христу небесному.

Господь сотворил небо и землю, реки и озера, и земную тварь, и человека, и меня, раба божия, с моим любимым скотом, любимым животом, со скотинкой разношерстной, доморощенной и новоприведенной, с коровами, быками, с телками рогатыми и комлатыми.

Праведное солнце и праведный господи! Поставь вокруг моего стада тын железный от земли и до неба и к тому тыну поставь двери стальные, ворота хрустальные, замки булатные, ключи золотые, чтобы не мог никакой дикий зверь видеть моего любимого стада, чтобы казалось мое стадо рысю, волку и широколапому медведю диким серым камнем.

И как катится солнце праведное с лучами ясными с утра до вечера всякий день и час, так чтобы и катилось мое любимое стадо по всей поскотине на мою трубу и на мой голос.

И как собирается в божью церковь народ к пению церковному и ко звону колокольному и как муравьи сбегаются в свой муравейник так чтобы и мое любимое стадо собиралось к своим дверям во все красное лето, отныне и до века. Аминь.

— Так пиши, верно пиши,— говорил мне старик. Когда я простился и вышел из избы, он тоже ощупью добрался до порога. Я был уже на другой стороне улицы, а старик все кричал вслед:

— Смотри, верно пиши!.. Пиши!

Вскоре мне удалось познакомиться и с колдуном Максимкой, счастливым соперником престарелого Микулаича. Какая противоположность знаменитому патриарху, хранителю скота! Если тот походил на благообразного священника, то этот был просто лесной зверь. Лицо его обветренное, темно-красное, почти черное, с морщинами, похожими на трещины, скошенный лоб; узкие маленькие глаза. Увидать такого человека в лесу, особенно, когда ему вздумается залезть на дерево, чтобы сдирать бересту или резать пру-

тья,— и можно навсегда поверить в существование лешего, похожего на человека.

Как и с Микулаичем, мне удалось с ним разговориться по душе. Раньше он был деревенским пролетарием, которого все презирали и били, а потом мало-помалу превратился в колдуна. Другому пойдет во всем удача: наловит рыбы больше других, настреляет дичи. Подивятся односельчане и станут говорить: ему помогает лесовой и водяной, он знает. Немножко фантазии, веры в себя — вот и колдун.

Но у Максима дело шло другим порядком.

— Эх, и навопелся я,— рассказывал он мне,— навопелся да находился, да наклепали на меня, да потрепали. А как дошел до правов — теперь хорошо, боятся. Да я и дело свое знаю: у меня шерстинка не теряется. Сяду на лошадь, все за мной в струнку идут. Захочу, так коровы с места не тронутся, как пришитые стоять будут. А захочу, так и попугаю, закрою [1].

Микулаича он отвергал.

— Лесом пасет,— говорил он про своего соперника.— Не божеские отпуски дает, а диявольские, лесом пасет.

Мы разговорились про коросозерского медведя. Но Максим тут был ни при чем. Виноваты сами: нужно было одного отпуска держаться, а они четыре взяли,— из четырех-то один может и худой попасть. Вот она откуда пакость, а Максимка всего раз только и поиграл. Подогнал он скотину к ржавому болоту, чтобы легче было медведю поймать, а сам стал за березку. Вышел медведь из лесу. Скок на коровушку, обхватил ее лапами, а другие стоят, не шелохнутся, как придавило! Мог бы все стадо решить медведь, но Максим не допустил. Привели корову, стали лечить. Истопили баню жарко-жарко, да в баню корову. Сразу на тех местах, где медведь поцарапал, и вздуло, она и околела.

— Дураки! сами виноваты. Им бы нужно раны перевязать да жар *из-по волечки пущать*. После этого

[1] Закрыть корову на языке колдуна означало сделать ее невидимой.





Максима опустили в прорубь. Да не удалось... Где им справиться!

С тех пор дела Максима пошли в гору: что бы ни случилось, все он виноват, а тронуть боятся и деньги дают.

Я не берусь сказать, есть ли где еще такое место, как Выговский край, где бы языческий мир так близко соприкасался с христианским. В этом краю до сих пор еще живут пустынники, которые стремятся воспроизвести жизнь первых христианских аскетов, и в их избушки приходят иногда случайно такие полесники, как Филипп, всю жизнь имевшие дело только с лешими, колдунами и медведями.

Чтобы передать здесь свои впечатления из религиозной жизни обитателей Карельского острова, мне, однако, необходимо рассказать интересную и крайне поучительную историю Выговской пустыни.

ВЫГОВСКАЯ ПУСТЫНЬ

В Петербурге, возле Волкова кладбища, есть беспоповская моленная. Если прийти в нее после шумных улиц столицы, то становится так же странно, как ночью в вагоне, когда пробудишься от остановки поезда. Где мы? Что с нами? Иногда проходит довольно много времени, пока в сознании не установится необходимое равновесие и все объяснится так просто.

И тут, в моленной, мысль, оторванная от улицы, мечется из стороны в сторону, забежит вперед, унесется назад и, наконец, найдет себя где-то далеко в допетровских временах.

В полумраке из темных рядов икон смотрит громадный круглый лик Христа на людей в длинных черных кафтанах с большими до пояса бородами и со сложенными руками на груди. Три возвышения, покрытые черным, стоят перед иконостасом; на среднем от свечи блестит большой металлический восьмико-

нечный крест, у боковых стоят темные женские фигуры. Одна женщина быстро читает из большой книги. Возле правого и левого клироса стоят два старца, и мимо них проходят женщины в черном, кланяются глубокими поясными поклонами и наполняют оба клироса. Собравшись, они выходят на середину церкви, сразу, неожиданно для посторонних, вскрикивают и поют в нос уныло и мрачно. Время от времени люди в длинных кафтанах падают вперед на руки, поднимаются и снова падают. Один из двух седых старцев берет кадило и перед каждым кадит, все разводят при этом сложенные на груди руки. Неловко в этой моленной постороннему человеку: люди здесь молятся и свято чтут свои обряды.

Почти рядом с этой моленной есть православная церковь. Сначала станет легко, свободно и радостно, как перейдешь туда из мрака. Все знакомо, светло, алтарь, певчие, священник в блестящей ризе. Но, вглядевшись в иконы, замечаешь, что они те же самые, старинные и даже такой же темный громадный лик Христа смотрит здесь уже на обыкновенную толпу. Оказывается, эта церковь была отобрана у беспоповцев и переделана в православную. Потом подробности в толпе: барыни в шляпах шепчутся, другие улыбаются, певчие откашливаются, задают тон, священник искоса разглядывает прихожан. В одной церкви давит какое-то непосильное окаменение духа, в другой скучно, обыкновенно.

Эти церкви — памятники той трагедии духа русского народа, когда западный «ратный» закон встретился с восточным «благодатным» и произошел раскол. Вот в эти-то времена и осветила религиозная идея мрачный край леса, воды и камня. В нем закипела умственная жизнь. Основные вопросы религии здесь обсуждались, разрабатывались теоретически и испытывались в жизни. Тогда Выговский край покрылся дорогами, мостами, пашнями, селами. И так продолжалось полтораста лет. Потом снова все стихло, угасла умственная жизнь, разрушились дома, часовни, пашни заросли лесами. И край остался словно величественной и мрачной могилой, свидетелем тех «мимошедших времен».

Соловецкий монастырь для Выговского края когда-то был такой же святыней и экономическим центром, каким стал потом Даниловский (Выговская пустынь). Вот почему ужас, трепет охватил всех, когда в январе 1676 года войска проникли в осажденный, ставший раскольничьим Соловецкий монастырь. Виновники были наказаны беспощадно: сотни казненных были брошены на лед.

В это время на Севере почти беспрерывная ночь. И словно над всею русскою землей на десятки лет повисла такая же беспросветная, страшная ночь. Глядеть в эту бездну тьмы — страшно. Что там видно? Сожжение еретиков, костры самосожигателей? А может быть, уже начинается? Может быть, уже горит небо и земля, архангел затрубит, и настанет страшный, послений суд! Казалось, что вся вселенная содрогается, колеблется, погибает от диавола. Он, этот диавол, «злокозненный, страшный черный змий» явился. Сбывалось все, что было предсказано в Апокалипсисе. Верующие бросали все свои земные дела, ложились в гробы и пели:

Деревянен гроб сосновый,
Ради мене строен,
В нем буду лежати,
Трубна гласа ждати;
Ангелы вострубят,
Из гроба возбудят...

А на покинутых полях бродила скотина и жалобно мычала. Но этот ужас перед концом мира был только в бессильной душе человека. Природа по-прежнему оставалась спокойной, звезды не падали с неба, светили луна и солнце. И так годы шли за годами. Над человеком будто кто-то смеялся.

Гонения все усиливались. Правительство Софьи издало указ: всех нераскаявшихся раскольников жечь в срубах. Тем, кто отказывался причащаться, вкладывали в рот кляп и причащали силой. Оставалось умереть или бежать в пустыню.

А в пустынях Выговского края беглецы встречали радушный прием. Там, у озер, в лесных избушках жили старцы, рубили лес, жгли его и, раскопав землю

копорюгой, сеяли хлеб, ловили рыбу. Эти старцы иногда выходили из леса и учили народ. Они учили его старинному дониконовскому русскому благочестию и рисовали ему ужасы наступающего Страшного суда. Народ их слушал и понимал, потому что здесь он издавна привык к таким учителям.

Из этих старцев-проповедников особенно славился Игнатий Соловецкий. Долго он укрывался от преследований одной из тех карательных экспедиций, которые посылались для розыска раскольников в лесах. Наконец, измучившись, не будучи в состоянии укрыться от преследователей, которые пошли в пустыню, «яко песия муха на Египет», он решил погибнуть славною смертью самосожжения.

«Куйте мечи множайшие, изготовляйте муки лютейшие, изобретайте смерти страшнейшие, да и радость виновнику проповеди будет сладчайшая!» [1]

Как гонимый зверь, бежал Игнатий с своими учениками на лыжах по озеру Онего. Прибежав в Палеостровский монастырь, он выгнал оттуда не согласных с ним монахов, заперся в монастыре, а учеников послал по «селам и весям» возвестить благоверным христианам, чтобы все, кто хотел скончаться огнем за древнее благочестие, шли к нему на собрание.

И со всех деревень народ толпами пошел к своему знаменитому проповеднику. Собралось около трех тысяч человек. Преследующему раскольников отряду казалось опасным подступить к монастырю, и потому послали в Новгород за подкреплением. Великим постом войско в пятьсот солдат со множеством понятых двинулось к монастырю. Впереди везли возы с сеном для прикрытия от пуль. Думали, что будет сильное сопротивление. Но в монастырь не стреляли.

Скоро и люди, стоявшие у стен, куда-то исчезли. Отряд подступил к самым стенам. Солдаты по лестницам взобрались на стены, спустились во двор. Там не было ни души. Бросились к церкви, но ворота были заперты и заставлены крепкими бревенчатыми щи-

[1] И. Филиппов. История Выговской пустыни.

тами. Тогда поняли, что готовится страшная смерть. Пробовали рубить стены, но это было бы долго. Втащили на ограду пушки, и в деревянную церковь полетели ядра.

А люди там сидели, сбившись тесною кучей, обложенные хворостом. Последние два дня, а некоторые и неделю, не пили, не ели, не спали. Историк сообщает, будто они молились так: «Сладко ми есть умерети за законы церкви твоея, Христе, обаче сие есть выше силы моея естественныя».

Неизвестно, сами ли староверы подожгли хворост или же от удара ядра свалились свечи и зажгли его, но только церковь вспыхнула сразу, пламя вырвалось, зашумело и высоко поднялось к небу столбом.

Стены попадали внутрь и похоронили всех...

«Рыдательная и плачевная трость» историка Ивана Филиппова, современника этих событий, передает нам, будто бы при этом было такое видение:

«Когда разошелся первый дым и зашумело пламя, то из церковной главы вышел отец Игнатий с крестом в великой светлости и стал подниматься к небу, а за ним и другие старцы и народа бесчисленное множество, все в белых ризах рядами шли к небу и, когда прошли небесные двери, стали невидимы».

Но дело Игнатия не погибло с ним.

Еще в Соловецком монастыре один благочестивый старец Гурий убеждал Игнатия уйти из монастыря и основать новый.

— Иди, иди, Игнатий,— говорил он,— не имей сомнения, хочет бог сотворить тобою велию обитель во славу его.

Странствуя по деревням в Поморье, Игнатий искал подходящих людей для основания новой обители. Скоро он встретился с шунгским дьячком Данилом Викуличем, который тоже укрывался в выговских лесах, и близко сошелся с ним. Этому Даниле старец Пимен, окончивший свою жизнь так же, как и Игнатий, самосожжением, предсказал руководящую роль в будущей обители. Случилось это при таких обстоятельствах. Данил однажды посетил Пимена в карельских лесах. Долго они беседовали, а когда Данил стал уходить, старец пошел его провожать. Садясь в

лодку, Данил взялся было за весло на корме, но Пимен сказал Данилу:

— Ты, Данил, сядь на корму, ты будешь кормчий и правитель добрый христианскому последнему народу в Выговской пустыни.

Но самая важная услуга Игнатия по отношению к Выговской пустыни была в том, что он подготовил к религиозному подвигу даровитое семейство повенецкого крестьянина Дениса, потомка князей Мышецких.

«Итак,— говорит историк,— малая сия речка (Выговская пустынь) истекла от источника великой Соловецкой обители».

Андрей Мышецкий, впоследствии знаменитый организатор Выговской пустыни и теоретик раскола, вырос в Повенце на берегу бурного Онега, у края тогда еще первобытных повенецких лесов. Село Повенцы было тогда тем центром, от которого отправлялись в леса карательные экспедиции. Здесь истязались пойманные раскольники. Казни, самосожжения, горячая проповедь Игнатия — вот с чем встретилась юность блестяще одаренного Андрея и что направило его на религиозный подвиг.

В декабре, в самую стужу, когда на Севере ночь лишь немного бледнеет для дня, юноша с своим другом Иваном уходит в лес: «Оставляет отца, презирает дом и вся настоящая, яко не суща, уничтожает... Лыжи вместо коня, кережи вместо воза, сам себе бывает и подвода, и извозчик, и вождь, и водимый».

И вот начинается «богорадное и самоозлобленное житие». Юноши скитаются в тьме, в чаще лесов и ночуют у костров, питаясь взятой с собой скудной пищей. Когда, наконец, стаял снег, они выбрали себе местечко возле горы у ручья для постоянного жительства: «Гору точию сожительницу и ручей соседа себе избраша».

Молодые пустынники часто ходили к Данилу, который жил недалеко от них. Вместе с пожилым аскетом они пели духовные стихи, молились, беседовали с ним и возвращались домой, все более и более «разгораясь ревностью божественной».

Наконец, видя, что они во всем сходятся, решили перебраться к Данилу, жить с ним вместе и устроить большую избу для новых, приходящих к ним пустынников.

Когда жизнь более или менее устроилась, Андрей отправился в Повенец, поселился у кого-то из друзей и потихоньку подготовил побег своей сестры Соломонии. Старик отец сначала был в страшном гневе, но потом, убедившись, что новое общежительство — дело нешуточное, сам переселился туда вместе с двумя другими сыновьями, Семеном и Иваном.

Не так далеко от Андрея и Данила, по реке Верхний Выг, укрываясь от преследований, жил крестьянин Захарий с семейством, занимался земледелием. Берега реки Выга, хотя и сплошь покрытые еловым и сосновым лесом, были хороши для земледелия. Тут издавна селились пустынники. Так, повыше Захария жил очень почитаемый старец Корнилий, пониже — Сергий.

Однажды на Святой Захарию пришлось побывать у Данила и Андрея. Тут ему и пришла счастливая мысль звать их к себе на Выг. Возвратившись к отцу домой, Захарий рассказал про новое общежитие и об их замыслах.

Старику так это понравилось, что они тут же вдвоем и отправились туда на лыжах. Гостей приняли с радостью, каждый день пели духовные стихи и после службы читали священные книги.

Основатели Выговского общежития не сразу сдались на убеждения Захария и решили для опыта послать туда двенадцать трудников сечь деревья и посеять хлеб. Трудники сейчас же и отправились.

Пока они работали на Выгу, случилась беда: в общежитии сгорели все запасы и все постройки. Тогда, забрав с собой все, что осталось, они отправились на Выг, где происходили работы. Данил и Андрей, прежде чем окончательно решиться основать общежитие на Выгу, пошли посоветоваться относительно этого со старцем Корнилием.

Побеседовавши с ними о всех несчастиях и разных переменах в церкви, Корнилий не только советовал им, но настойчиво убеждал и благословлял пересе-

литься к Захарию на Выг. Он предсказывал для Выговской пустыни блестящее будущее: «Места эти распространятся и прославятся во всех концах. По умножении же поселятся с матушками и с детками, с коровушками и с люлечками». Вообще Корнилий был полною противоположностью ученому ригористу фанатику Игнатию, он проповедовал мирный, здоровый труд, простоту, любовь к людям. Когда, вернувшись к братии, Данил и Андрей передали им ответ Корнилия, то все были очень рады. Но скоро пришел и сам Корнилий, чтобы благословить их. Все собрались вместе, помолились и тут же принялись за работу. Так основалось Выговское общежитие (в 1695 году).

Из построек прежде всего поставили столовую и хлебную в одной связи, келии для мужчин и для женщин. Мужчины жили сначала в столовой, а женщины — в хлебной. Богослужение совершалось также в столовой, причем посредине вешалась завеса, разделяющая мужчин и женщин. В это время собралось уже около сорока человек. Но слух о новой обители быстро распространился, и общежитие стало расти. Самое трудное — это было завести постоянную пашню, перейти от неблагодарного подсечного хозяйства к постоянной пашне, к трехполью. Для этого нужно было завести скот, чтобы удобрять постоянную пашню. Мало-помалу это и удалось: устроили двор конный и коровий.

Между женскими келиями и мужскими поставили стену и в ней небольшую келию с окном, где могли бы видеться родственники; вокруг всего монастыря поставили ограду. За отсутствием свечей совершали службу при лучине и вместо колокола стучали в доску.

По мере того как развивалось общежитие, нужно было все больше и больше думать об организации труда и вообще об устройстве новой жизни. Конечно, Андрею было очень трудно спасать свою душу возле горы у ручья, но для юноши-энтузиаста, быть может, такой подвиг был лишь удовлетворением своей потребности. Теперь же в общежитие стали приходить всякие люди: и сильные и слабые. Бежать от мира было основной идеей Андрея, но тут возникал новый мир.

И этот новый мир нужно было устроить так, чтобы он не походил на старый.

Только что удалось кое-как устроиться, обзавестись всем необходимым для хозяйства, как новая беда постигла собравшихся на Выгу пустынников. Наступили «зяблые и зеленые» годы. На Выгу почти крайний северный предел правильного земледелия, и урожай там целиком зависит от каприза погоды. Подует *морянка,* то есть ветер с моря, хватит во время налива зерна мороз, и весь урожай погибает,— это «зяблые годы». А бывает, что хлеб до зимы не успеет вызреть,— это «зеленые годы». Такие годы, особенно в начале существования общежития, могли быть для него гибельны, потому что запасов еще никаких не имелось. Однажды Андрей даже поколебался, и уже решил было идти к морю искать новых мест. Но отец его, Денис, прекратил эти колебания «простой речью»: «Живите ,—сказал он,—где отцы благословили и кончалися. Хотя и много ищешь и ходишь, да тут сорока кашу варила, таковское сие место по времени».

Пришлось помириться. Чтобы не умереть с голоду, построили повыше на Выгу мельницу-толчею для изготовления муки из соломы и из сосновой коры. Однако хлебы не всегда удавалось испечь из такой муки: они часто рассыпались в печи, и их выметали оттуда помелом. Наконец, надумали для устранения такого рассыпания хлеба печь их в берестяных коробочках. «И такая скудость бысть тогда, что днем обедают, а ужинать и не ведают что, многóжды и без ужина жили».

Тогда собрали все, чтó у кого было: деньги, серебряные мониcты, платье, и отправили Андрея для закупки хлеба на Волге. Частью на вырученные от продажи этого имущества деньги, частью же на подаяние благочестивых, сочувствующих расколу людей Андрею удалось закупить значительное количество хлеба. Он привез его в Вытегру и оттуда в Пигматку,— место, ближайшее к Выговской пустыни на Онежском озере. От Пигматки носили хлеб в крошнях [1] по лес-

---

[1] Крошни — приспособление для носки тяжестей на спине.

ным тропинкам, потому что дороги тогда еще не было. В глухих местах Повенецкого уезда и до сих пор носят хлеб именно таким образом.

Кое-как справились с бедой. И только хотели было вздохнуть свободно, как новое бедствие грозило обрушиться на обитель. Недалеко, всего в пятидесяти верстах, по лесам и болотам проходил с войском Петр Великий.

Обе сплошные стены леса на Сумском тракте в нескольких местах вдруг расступаются, широкая просека, заросшая лишь мелкими чахлыми деревцами, кажется в этой глухой, безлюдной местности следом громадного существа. Ямщик здесь останавливает лошадей и говорит: «Осударева дорога!» И поясняет: «Тут осударь Петр Великий проходил с войсками». Когда это было, он не помнит. «Было давно, никто из стариков отцов, дедов и прадедов не помнит».— «Но почему же не зарастает дорога?» — «А уж этого не знаю,— отвечает ямщик,— видно, уж так определил господь этому быть, и так оно и есть». Какой бы прекрасный, величественный памятник ни поставили бы в этом месте наши культурные потомки, путешественник не будет испытывать того, что теперь, глядя на этот след в диком месте. Потом дальше около Петровского яма покажут вырытую канаву, сложенные камни, ясные признаки привала войск. Еще дальше в глушь, около Пул-озера, где до сих не существует никаких дорог и люди ходят пешком по едва заметным тропинкам, укажут затянутый моховым болотом мост, конечно, сгнивший, но все-таки знаменитый. И везде скажут: тут шел осударь, это Осударева дорога.

— А знаешь ли, кто был Петр Великий? — спросил меня один скрытник-пустынник, показывая остатки моста на болоте за Пул-озером. Он опасливо посмотрел мне в глаза.

Я поспешил сказать: «Знаю», и он успокоился. Петр Великий был антихрист, хотел мне сказать пустынник.

Этот антихрист, страшилище всех приверженцев древней Руси, шел по этим лесам и болотам в 1702 го-

ду с войском и с двумя фрегатами, которые тащили посуху от самого Белого моря до озера Онего. Это было во время Шведской войны, и Петр Великий во что бы то ни стало хотел отбить вход в Балтийское море из Финского залива. Карлу XII, конечно, и в голову не могло прийти, чтобы Петр, находившийся с флотом на Белом море, мог провести войско по дебрям Выговского края и затем доставить к крепости Нотебург (Шлиссельбург). Кто видал эти онежско-беломорские дебри, тому мысль Петра могла бы показаться безумной, если бы блестящее осуществление ее не стало теперь историческим фактом. Впрочем, и сам Петр не сразу решился на такой шаг. Сначала он наметил было путь по морю до реки Онеги, затем по Онеге и сухим путем до Новгорода. Для разведок в этом направлении указом 8 июня 1702 года был командирован писарь Преображенского полка Ипат Муханов. Неизвестно, остались ли поиски Муханова безрезультатными или, быть может, разведки в другом месте дали более хорошие результаты, но только проложение дороги было поручено не Муханову, а сержанту Преображенского полка Михаилу Щепотьеву, тому самому знаменитому «бомбардирскому уряднику», который умер потом геройской смертью под Выборгом. Как известно, он с горстью солдат на пяти малых лодках подкрался к неприятельским кораблям, атаковал адмиральский бот «Эсперен», на котором находились четыре пушки и сто три человека экипажа при пяти офицерах. Весь экипаж бота был частью перебит, частью заперт под палубой, а бот взят. Но сам Щепотьев при этом погиб и был доставлен домой мертвым на палубе взятого им неприятельского корабля.

Этот Щепотьев приступил к проведению дороги в конце июня. В помощь ему было дано от шести до семи тысяч человек крестьян Соловецкого монастыря, Сумского острова, Кемского городка, обширного Выгозерского погоста, и, кроме того, крестьяне онежские, белозерские и каргопольские, то есть тут был собран народ из трех нынешних губерний: Архангельской, Олонецкой и Новгородской. Все крестьяне были с лошадьми.

Можно себе представить по этим фактам, чего стоила населению эта дорога! До сих пор в народе сохранились тяжелые воспоминания. В Выговском краю мне рассказывали старики, что для устройства дороги согнали крестьян со всей России.

Щепотьев начал прокладывать свой путь от усолья Нюхчи, где теперь находится селение Вардегора. Тогда там были лишь избушки солепромышленников. Быть может, эти солепромышленники и помогли Щепотьеву в его разведках, указали ему проложенные ими тропинки. От этого места до селения Вожмасалма на Выг-озере сто девятнадцать верст, из них шестьдесят шесть верст совершенно топких, болотных, непроходимых мест, которые нужно было застилать мостами. Это было самое трудное место для устройства дороги; дальше, по мере приближения к Масельгскому хребту, местность была суше, удобнее. Для того чтобы сделать мосты на топких местах, приходилось в летнее время по болоту возить лес за пять, десять и даже за двадцать пять верст. В то же время нужно было рубить деревья, делать просеки, через речки строить мосты, у Вардегоры и в Повенце пристани. Когда одни делали грубую первую работу, другие, вероятно, приводили просеку в проезжий вид, очищали от камней, пеньев, поваленных деревьев, настилали мосты на топких местах. В августе вся эта колоссальная работа была уже закончена, Щепотьев доносил государю из Повенца: «Извествую тебя, государь, дорога готова и пристань и подводы и суда по Онеге готовы, а подвод собрано по 2-е августа 2000, а еще будет прибавка; а сколько судов и какою мерою, о том послана к милости твоей роспись с сим письмом».

Шестнадцатого августа вечером, под начальством Крюйса, к усолью Нюхче с Соловецкого монастыря пришел флот и остановился частью под горою Рислуды, а частью у Вардегоры. К последней пристали на двух малых фрегатах, которые предполагали взять с собой. Пустынный край оживился. На берегу был государь с царевичем Алексеем и с многочисленной свитой, духовенство, пять батальонов гвардии (более четырех тысяч человек) и множество рабочих с подводами. Пока разгружали корабли, государь угощал соло-

вецких монахов, подносивших ему образ святителей соловецких. В то же время было получено донесение о победах Шереметева и Апраксина. Наконец, когда была окончена разгрузка кораблей, начался знаменитый поход через онежско-беломорские дебри: фрегаты были поставлены на полозья, и к каждому было определено по сто лошадей и подвозчиков и по сто человек пеших. Для удобства передвижения под фрегаты подкладывались катки. Государь, свита и духовенство, конечно, ехали, вероятно, частью в местных одноколках, а частью верхом. Места остановок назывались *ямами* и сохранили до сих пор это название. Слово *ям* здесь употребляется, вероятно, в смысле остановки. Для государя и для свиты на местах ночлега ставились зимушки, а народ ночевал кто у костров, а кто взбирался на помосты на деревьях — ловасы. По преданию, Петр не любил ночевать в зимушках и больше все был на свежем воздухе...

Нужно думать, что Щепотьев сделал дорогу лишь в грубом виде и что работы по очистке дороги производились во время похода. Вот почему углублялись в дебри медленно, шаг за шагом, днем работали, мокли в воде и грязи, а ночью дрогли в мокрой и холодной одежде. Рассказывают, что у Нюхчи, а потом и везде по ямам «первую мостовину, благословясь, клал сам осударь, вторую давал класть сыну своему возлюбленному, а там и бояр на это дело потреблял». Чтобы избежать тридцативерстного обхода Выг-озера, из лодок и плотов навели через пролив плавучий мост и переправились через реку Выг в пятидесяти верстах от Даниловского общежития. Дальнейший переход через Масельгский хребет к Повенцу был несравненно легче: здесь местность более сухая, лесистая, здесь, наконец, проходил и путь соловецких богомольцев. Можно предположить, что, когда шли по берегу длинных узких озер, фрегаты спускали на воду. В Повенец прибыли 26 августа, пройдя в десять дней сто восемьдесят пять верст. Отсюда Петр писал польскому королю Августу: «Мы ныне в походе близ неприятельской границы обретаемся и при помощи божией не чаем праздно быть». Отсюда же он послал Репнину указ о сосредоточении его отряда под Ладогою «без замедле-

ния». Немало осталось тут народа в лесах, но результатом похода было взятие Шлиссельбурга. «А сим ключом,— говорил Петр,— много замков отперто». Весной следующего после похода 1703 года был основан Петербург.

Когда Петр Великий, в котором раскольники видели антихриста, появился в выговских дебрях, то их охватил такой ужас, что некоторые хотели бежать, а некоторые, по примеру отцов, принять огненное страдание. В часовне уже были приготовлены смола и хворост. Все пребывали в неустанной молитве и посте.

При переправе через Выг Петру, конечно, донесли, что тут недалеко живут раскольники.

— А подати платят? — спросил он.

— Подати платят, народ трудолюбивый,— отвечали ему.

— Пусть живут,— сказал Петр.

«И проехал смирно, яко отец отечества благоутробнейший»,— радостно повествует скоропишущая трость Ивана Филиппова.

Точно так же и против Пигматки донесли Петру о пустынниках, но он опять сказал: «Пускай живут». «И вси умолчаша, и никто же смеяше не точию что творить, но и глаголати».

Но Петр не забыл о пустынниках. Вскоре в Повенце был князь Меншиков для устройства железоделательного завода. Место завода было выбрано возле Онего на реке Повенчанке, а в Выговскую пустынь был послан указ, в котором говорилось: «Его императорскому величеству для Шведской войны нужно оружие, для этого устраивается завод, выговцы должны исполнять работы и всячески содействовать заводу, а за это им дается свобода жить в Выговской пустыни и совершать службу по старым книгам».

Пустынники согласились. Это была первая крупная уступка миру, ради удобств совместной жизни. Раскольники должны были изготовлять оружие, которое прокладывало путь в Европу. Этим они покупали свободу. «И с того времени начала Выговская пустынь быть под игом работ его императорского величества и Повенецких заводов».

Петр вообще не стеснял раскольников. Отчасти ему не было времени этим заниматься — он был поглощен войной, отчасти же смотрел практически и извлекал из них выгоду, обложив особой податью «за раскол». Лишь в 1714 году он переменил к ним отношение, когда узнал из донесения митрополита Питирима, что в нижегородских лесах раскольников до двухсот тысяч, что они государственному благополучию не радуются, а радуются несчастию, что за царя они не молятся и так далее. В это же время Петр, занятый розыском по делу царевича Алексея, узнал, что у него в деревне живут раскольники и все они любят его. Ввиду всего этого он предписал: «Учителей раскольничьих буде возможно, вину сыскав, кроме раскола, с наказанием и вырвав ноздри ссылать в каторгу».

Но, пока было свободно, сотни тысяч людей, устрашенных, обездоленных реформами, бежали в пустыни и устраивали жизнь по старинным русским законам. Пустынь была тем клапаном, который предохранял народ от тяжести петровских реформ.

Беглецы стали населять и выговские пустыни. Стали «собираться и поселяться на болотах, по лесам, между горами и вертепами и между озерами в непроходимых местах, скитами и келиями, где кому возможно».

В общежитие принимали всех без разбору и спрашивали только: помнит ли приходящий Никона. Тех, кто помнил, принимали прямо; кто родился после Никона и крестился двумя перстами — исповедовали и перекрещивали, а кто крестился тремя перстами — сверх того обязывали креститься двумя.

Общежитие так быстро росло, что в 1706 году решили устроить отдельный скит для женщин. Место выбрали в тридцати верстах от Данилова, на реке Лексе. Выстроили кельи, столовую, больницу и часовню и все это обнесли оградой. Кроме того, были поставлены коровий двор и мельница с «мелеей и толчеей». Для более тяжелых полевых работ на Лексу присылались трудники, которые жили за монастырской стеной. В то же время в Данилове были устроены маслобойная и молочная, портомойня и челядная. Все

это, вместе с коровьим двором, было обнесено оградой,— здесь жили женщины.

Но сколько ни старались выговцы устроиться прочно, им это не удавалось. Время от времени повторялись «зяблые и зеленые годы», которые повергали всех в отчаяние, потому что каждый раз приходилось питаться сосновою корою, соломою и даже травою. После ряда неурожаев Андрей решил уничтожить самую возможность голодовок. С величайшей энергией пустынники начинают разыскивать себе удобной земли. Они побывали в Мезенском уезде, осмотрели Поморье, побывали в Сибири, побывали на «низу», то есть в поволжских губерниях. Но на севере была такая же неудобная для земледелия земля, а на низ было слишком далеко. Наконец, остановились на казенной земле в Каргопольском уезде в Чаженке и купили ее с торгов. Земли было много, по шестнадцати верст во все стороны, и она была такая удобная, что выговцы подумали даже туда переселиться. Послали даже Семена Денисова в Новгород похлопотать о разрешении. Но в Новгороде Семен был арестован как расколоучитель, и попытка окончилась неудачно. Пришлось ограничиваться лишь посылкой туда трудников во время полевых работ.

Эта земля стала огромным подспорьем. Теперь уже можно было жить, не думая о зяблых годах. Стали прокладывать дороги, строить мосты. В Повенецком уезде и до сих пор поминают добрым словом всякого, кто повалит несколько деревьев и уложит их через топкую моховину или из тех же деревьев на ручье устроит мостик. А тогда, при полном отсутствии дорог, деятельность общежития была благодеянием для края. Проложили дороги из Данилова на Чаженку и Лексу, Вол-озеро, Пурн-озеро, к Онежскому озеру, к Пигматке и к Белому морю. Везде при дорогах ставили постоялые дворы, кресты и верстовые столбы, на Онеге, Выгу, Сосновке и других реках устроили мосты. В самом же общежитии выстроили новую большую столовую с кухней для печения хлеба, а также большую избу для извозчиков, новые большие мастерские: кожевню, портную, чеботную, мастерскую для живописцев, кузню, меднолитейную и другие. Вы-

строили также большую конюшню с сараем для экипажей, несколько амбаров, рабочую избу. Наконец, поставили большую избу для Андрея с семейством и для близких ему лиц, другую избу — портовому приказчику с товарищами «для приезда» и «для счету».

Последнее указывает на то, что в это время общежитие имело значительную торговлю.

Эта мысль, вероятно, пришла Андрею в голову, когда он ездил на низ в неурожайные годы за хлебом. Как раз в это время строился Петербург, и сотни тысяч людей постоянно нуждались в хлебе и хорошо за него платили. Попробовали доставить хлеб с поволжских губерний через Вытегру в Петербург. Дело оказалось выгодным. Тогда завели свои суда, свои пристани на Вытегре и на Пигматке. Суда ходили по Онежскому озеру между Вытегрой, Пигматкой и Петровскими заводами, ходили и в Петербург. Данилов стал богатеть, скопился капитал, запасы хлеба, устраняющие всякую возможность голодовок.

К концу жизни Андрея Данилов процветал. Вокруг него по *сузёмку* были пашенные дворы, множество лошадей и коров стояло на его конных и коровьих дворах, на Онежском озере была целая флотилия судов. Широкая благотворительность далеко по всей стране разносила славу этого «беспоповского Иерусалима». Насколько прочно было положение общежития, можно судить из того, что пожар, совершенно уничтоживший Лексинский скит, не нанес существенного ущерба общежитию. В скором времени были возведены новые постройки, причем Андрей, несмотря на свои постоянные умственные занятия, как чисто теоретические, богословские, так и практические, по наблюдению за внешней и внутренней жизнью общежития, вместе со всеми работал на постройке.

В сущности, Данилов представлял собою тогда небольшой городок. В нем было несколько сот жителей на пространстве шести — восьми квадратных верст. Вокруг него был вырыт глубокий ров и сделаны высокие ограды. Две высокие часовни с колокольней возвышались из множества простых, но прочных двух- и трехэтажных построек. Всех келий, то есть вместительных изб на десять и более человек, было пятьде-

сят одна; кроме того, было шестнадцать меньших изб, пятнадцать амбаров, громадные погреба, две большие поварни, двенадцать сараев, четыре конных двора и четыре коровьих, гостиный двор и пять постоянных изб, пять риг, две кузницы, меднолитейная, смолокурня, портняжная, сапожная, иконописная, рукодельная, мастерская для переписчиков и другие мастерские, две школы и две больницы. Затем были мельницы, кирпичные заводы,— одним словом, все, что необходимо для городской жизни. К этому центру тянулись разбросанные по суземкам многочисленные пашенные дворы и скиты.

Все это раскольничье общежитие выросло на почве протеста старого мира новому, вот почему его общественное устройство представляло образец старинного русского самоуправления. Во всех важных случаях представители множества скитов Выгореции собирались вместе. В исключительно важных случаях к ним присоединялись выборные и старосты соседних с Выгорецией волостей. Что же касается исполнительной власти, то тут главная роль принадлежала представителям Данилова, духовно-религиозного центра, хотя во внутреннем устройстве скиты Выгореции пользовались полной самостоятельностью. В этом отношении особенно тщательно были разработаны формы Даниловского общежития, с которыми отчетливо знакомит нас «Уложение» братьев Денисовых.

Во главе общины стоял большак, он назывался киновиарх. Ему принадлежала верховная руководящая роль и власть над всеми другими выборными должностными лицами. Он выбирался из людей выдающихся качеств. Сначала эту должность выполнял Данил, потом Андрей и Семен Денисовы. Киновиарх, однако, был подчинен, в свою очередь, *собору*, то есть общему собранию даниловцев и представителей Лексы.

За большаком «Уложение» разграничивает обязанности келаря, казначея, нарядника и городничего. *Келарь* заведовал внутренним хозяйством общины, он должен был наблюдать четыре службы: трапезную, хлебную, поварную и больничную. *Казначей* должен был тщательно беречь все выговское имущество и, по «Уложению», смотреть на него как на вещи, принадле-

жащие самому богу. В кожевнях, в чеботной и портной швальнях, в медной и других мастерских он наблюдал за работами. В помощь ему во всех мастерских были старосты. Казначей мог действовать только через старост; с другой стороны, и старосты не могли что-либо предпринимать без ведома казначея.

Ведению и попечению *нарядника* подчинены были: земледелие, плотничество, ковачество, рыболовство, возачество, молочение, мельницы, скотные дворы и всякая домовая работа и работные люди. Он также действовал через выборных старост.

Наконец, *городничий* обязан был иметь надзор над сторожами, над обеими гостиными — внешнею и внутреннею, наблюдать над приходящими и отходящими странниками, посматривать за братиею при часовенных дворах, во время книжного чтения, в келиях и при трапезе. Кроме этих должностей, были стряпчие для сношения с официальным миром: на Петровских заводах, в Олонце, в Новгороде, Москве и Петербурге.

Вместе с хозяйственной стороной развивалось и духовное просвещение братии. В этом отношении, как и во всем остальном, общежитие обязано все тем же четырем выдающимся людям, которых историк характеризует так: «Данил — златое правило Христовы кротости, Петр — устава церковного бодрое око, Андрей — мудрости многоценное сокровище, Симеон — сладковещательная ластовица и немолчные богословские уста».

Но неизмеримо большее значение из всех этих вождей имел Андрей. Он сочетал в себе удивительно разнообразные способности. Вначале юноша-энтузиаст, потом и ловкий торговец, и блестящий оратор, и ученый богослов, и писатель. Его не удовлетворяло то, что обитель имела за собою «срытые горы», «расчищенные леса», монастырские здания, благочестивую братскую жизнь, обширные связи при дворе и в самых отдаленных городах России. Он хотел также раздвинуть и умственный горизонт раскольников посредством систематического школьного образования. Имея обширные связи, находясь постоянно в общении с миром, он чувствовал недостаточность своего образования, полученного от начетчика Игнатия. Вот по-

чему, когда материальное существование братии было более или менее обеспечено, он под видом купца проникает в самое сердце вражеского стана, рассадника ереси, в Киевскую академию, и там учится богословию, риторике, логике, проповедничеству под руководством самого Феофана Прокоповича. Свои знания Андрей передавал брату Семену и некоторым другим близким лицам непосредственно; кроме того, им написано множество сочинений. Между прочим, он является и автором знаменитых «Поморских ответов». Вообще его значение как образованного человека, знатока древнерусской письменности, было очень велико; есть указания, что он имел сношения и с иностранцами; достоверно известно, что его знали в Дании.

Основанные Андреем школы играли огромную роль в раскольничьем мире. Сюда раскольники привозили своих детей для обучения со всех концов России. Особенно много привозилось сюда девочек, которые обучались здесь грамоте, письму, пению, домохозяйству, рукоделию. Эти *белицы* жили в особых избах, которые им строили богатые родители.

В больших светлых комнатах псалтырной постоянно переписывались старинные книги и новейшие произведения раскольничьей литературы. Отсюда они расходились по всей России. Библиотека Даниловского скита, которую с величайшей энергией собрали раскольники при своих поездках, представляла богатейшее собрание русских церковных древностей. Вместе с материальной обеспеченностью и умственным развитием в Данилове развивалось и своеобразное искусство. Иконы даниловского письма высоко ценятся знатоками. Литые кресты и складни из серебра и меди паломники Данилова разносили по всей России.

И все это удивительное создание самостоятельного народного духа, просуществовав более полутораста лет, погибло без следа. Картину прежнего величия можно себе нарисовать теперь лишь с помощью книг, рассказов стариков, свидетелей прежнего благополучия, наконец, по множеству вещей, икон, рисунков,

книг, которые встречаются особенно часто у заонежских крестьян. Эти даниловские вещи находили даже за тысячи верст, на далекой Печоре...

На месте когда-то цветущего городка теперь жалкое село-волость; в нем есть православная церковь, живут попик и диакон, писарь, старшина. Можно и не обратить внимания на полуразрушенные ворота на берегу Выга, несколько раскольничьих могил на кладбище и несколько старых даниловских домов. Впрочем, старичок Лубаков, бывший когда-то, кажется, нарядником, а теперь по традиции называемый большаком, может еще порассказать о былой славе Выгореции: со слезами передает он путешественнику о всех ненужных жестокостях при разрушении народной святыни.

Вообще нельзя сказать, что́ было труднее раскольникам: победить ли суровую природу Выговского края или уметь избегнуть падения постоянно висевшего над ними дамоклова меча в лице правительства.

И вначале правительство имело некоторые основания преследовать раскольников: они не молились за царя, увлекали в раскол народ, укрывали беглецов. Как известно, беспоповцы порвали радикально с миром Никоновых новин. Ожидание близкой кончины мира, невозможность найти попов, помазанных до Никона, наконец, северная глушь, где народ издавна привык обходиться без попов,— все это вместе привело к тому, что эти раскольники отвергли таинства, исповедовались старцам, крестили детей сами, не признавали брака.

Такая замкнутая группа людей, хотя и в дебрях лесов и болот, но с огромным влиянием, конечно, должна была смущать правительство. Вот почему у историка Филиппова мы постоянно читаем главы «о поимке» Семена, Данила и других злоключениях. Но аскетическая монастырская идея, заложенная Андреем и Данилом в основу общежития, постепенно, по мере вживания раскольников в общую жизнь, как бы облекалась плотью и кровью, входила в неизбежные компромиссы с миром. По приказу Петра, раскольники изготовляли оружие для войны. Потом, во время господства иноземцев при Анне Иоанновне, ког-

да на выговцев посыпался целый ряд правительственных кар, они согласились даже молиться за царя. То же и относительно брака. При невозможности устранить соприкосновение «сена» с «огнем» решено было желающих вести семейную жизнь отправлять в скиты, а потом и вовсе признали брак. По мере того как выговцы богатели, они теряли совершенно характер мрачных аскетов. Вот почему на всем протяжении короткой истории общежития поморского согласия от него отделился целый ряд более радикальных беспоповских фракций: федосеевцы, филипповцы и другие.

Из этих жизненных фактов, казалось бы, сама собою должна вытекать немудреная политика и по отношению к выговцам. Правительство иногда понимало это. Особенно хорошо жилось раскольникам во время царствования Екатерины II. В это время был даже уничтожен установленный Петром I двойной оклад податей. По этому поводу один из современников Екатерины пишет: «Прежде все раскольники платили двойной оклад, но в наш благополучный век, когда совесть и мысль развязаны, двойные подати с них уничтожены».

Благополучно просуществовала Выгореция вплоть до суровых николаевских времен, когда, совершенно не считаясь ни с интимными сторонами народного духа, ни с экономическим значением общины в таком глухом краю, правительство ее уничтожило. Дамоклов меч опустился именно тогда, когда раскольники были только полезны.

На протяжении всей этой драмы разорения скитов можно проследить борьбу министерства внутренних дел с министерством государственных имуществ. Последнему министерству было выгодно существование богатого общежития, и оно боролось, пока могло, но, наконец, уступило, и общежитие было разрушено самым варварским способом. Сначала под предлогом «округления дачи», а на самом деле просто для удобства надзора отобрали лучшие земли на Выгу, потом переселили на Выг православных крестьян, отпущенных одним псковским помещиком на волю без земли, в надежде, что они сплотятся в борьбе с «сими отдаленными племенами».

Седьмого мая 1857 года, как рассказывает Е. Барсов, «выговцы собрались вечером в часовню на всенощную ко дню Иоанна Богослова. Большак вынес из келии свою икону, чтобы петь перед ней величание; в это время чиновник Смирнов, со становым приставом, волостным головой и понятыми, явился в часовню, объявил собравшимся, чтобы прекратили служение и вышли вон; потом запечатал часовню и приставил к ней караул». Наутро «целые горы икон, крестов, книг, складней были навалены и увезены неизвестно куда». Говорят, что чиновники нарочно садились на воза, чтобы показать свое презрение к тому, на чем сидели. Часовни и другие здания потом были сломаны на глазах раскольников.

— А слышали вы,— спросил я старика раскольника,— о манифесте, данном семнадцатого октября, о свободе совести?

— Как же, слышали, слышали,— отвечал старик,— спасибо государю, он милостивый.— А потом в раздумье прибавил: — Да только на что ж теперь свобода? Теперь уж нам не подняться.

Один из путешественников (Майнов) обратил внимание на одну старушку на Карельском острове, Любовь Степановну Егорову, дочь последнего большака. Он упоминает в своих путевых очерках о ней как о мастерице петь былины, и только. Другой путешественник (Н. Е. Ончуков) в самое последнее время (1903) приобрел написанный ею дневник (пока неизданный) и посвятил памяти умершей уже старушки в своем описании несколько теплых строчек. Наконец, мне хочется на основании того, что я узнал из рассказов обитателей Карельского острова, установить, что с именем этой замечательной женщины связан и конец Даниловского раскола в Выговском краю. Даниловский раскол доканчивал свое существование на Карельском острове в моленной Любови Степановны Егоровой.

На Карельском острове, прямо против той избы, где мне пришлось жить, из группы высоких елей выглядывает темная своеобразная крыша часовни. Воз-

ле часовни под елями в беспорядке торчат столбики с врезанными в них крестами или медными складнями. Некоторые столбики повалились, из некоторых выскочили кресты и складни. Вообще на кладбище беспорядок, нет ничего, что указывало бы на связь умерших людей с живыми.

Совсем другое в часовне: там у старинных икон, обвешанных белыми полотенцами, у старинных книг, аккуратно сложенных на столике, угадывается заботливая, любящая душа. Тут лежат подобранные на кладбище кресты и складни, там остатки свечей, кадило — все в величайшем порядке. На кладбище — беспорядок, небрежность, презрение к человеку, в часовне следы любовного отношения ко всему, что связано с богослужением, с богом. Очевидно, это раскольничье кладбище и часовня.

Прежде чем передать здесь, как оканчивал свою жизнь Даниловский раскол на Карельском острове, я позволю себе сказать несколько слов о значении вообще часовни на Севере, этой невзрачной на вид, полуразрушенной с внешней стороны церкви, полной в то же время внутренней религиозной жизни.

Некоторые исследователи, изучая такие часовни и северные деревянные церкви, находят черты самобытности в русском зодчестве. Утверждают, что как бы ни было сложно русское хоромное строение или храм, в основе их всегда можно найти клеть, то есть известной ширины и вышины четырехугольный сруб из бревен, положенных друг на друга в несколько рядов, или венцов, и связанных по углам. На нашем Севере можно проследить, как эта клеть, смотря по надобности, превращается то в избу, то в часовню, то в церковь и, наконец, в сложное хоромное строение.

Все это припомнилось, когда, по дороге из Повенца в Данилово, в деревне Габсельга я наблюдал там маленькую старинную церковь. Она представляет из себя самую обыкновенную избу, связанную из двух клетей. У одной клети, под шатровым покрытием, висит колокол — это колокольня. На противоположном конце избы, над второй клетью, возвышается покрытие бочкою, как для большей красы покрывали в ста-

рину терема. В этой части избы происходит богослужение — это и есть собственно церковь.

Такие часовенки сохранились здесь часто с очень отдаленных времен и возникли благодаря своеобразным природным условиям. Здесь, в суровом климате с бесчисленными озерами, реками, лесами, болотами, священник не мог вовремя явиться для совершения обряда, и народ обходился без священника, выбирая из своей среды благочестивого человека для совершения обряда. Вот почему беспоповский раскол так легко был усвоен населением Севера, кажется даже, будто это учение именно и развилось благодаря таким своеобразным природным условиям. Вот все это и вело к тому, что на Севере вместо церквей стали распространяться часовни.

Каждое воскресенье я видел из своего окна на Карельском острове, как солидный религиозный Иван Федорович, выбранный обитателями острова на должность хранителя часовни, совершенно так же, как это делалось и двести и триста лет тому назад, шел в часовню и звонил в небольшой колокол. Мало-помалу в часовню собирались одетые по-праздничному «ловцы». Иван Федорович зажигал свечи, брал в руки кадило и, подходя к каждому присутствующему, кадил их кресты, вынутые для этого случая из пазухи. Так — по воскресеньям. Но в большие праздники, как, например, в Петров день, с погоста на лодке приезжал батюшка. Он служил уже по всем правилам, как в православной церкви, а благочестивый Иван Федорович становился возле батюшки и с величайшим благоговением выполнял обязанности псаломщика и дьячка.

Иван Федорович, внук последнего большака Даниловского общежития Степана Ивановича, сын замечательной женщины, последней деятельницы раскола Любови Степановны, а батюшка православный, назначенный епархиальным начальством священник. Так в этой тесной часовенке, в глухой деревеньке время соединило когда-то непримиримые начала русской духовной жизни [1].

---

[1] Автор, конечно, не придает этому факту общего значения.

Раз, проезжая через одну деревню, я спросил у собравшегося народа на улице, где живет батюшка.

— А куды тебе с батюшкой,— сказали мне,— не ходи к нему.

Оказалось, что батюшку не любят, он скупой, странников не принимает, пьет, курит. И вот, чтобы как-нибудь показать свое неудовольствие, вся деревня сговорилась не ходить к обедне. А раньше, когда был в той же деревне какой-то удивительной доброты священник, все ходили в церковь постоянно. Выходит так, что местное население на распутье, примкнет оно к православию или будет пользоваться остатками раскольничьих традиций, зависит от личности священника.

Вот, например, пожилой человек, лет шестидесяти, на Карельском острове он называет себя православным, но на самом деле совершенно равнодушен к религии. Отец его был старовером.

— Почему же перешел в православие? — спросил я его.

— Да так... Неловко как-то. Соберутся к празднику, а ты ешь, пей из своей чашки. Теперь жизнь такая, нельзя быть старовером. Первое дело, как покойников спрячешь? Нужно заявить попу, а заявил, вот тебе и конец. Отец и мать были староверами, а я перешел... Случай был со мной, чуть не засудили. Поехал я в крещенье в Шуньгу на ярмарку с рыбой. А мамаша — старушка хворая была, без меня и помри́, царство ей небесное. В то время у нас многие хоронили без попа, да и теперь, кто подальше от погоста, хоронят. Бывало, помрет кто, сейчас к попу на покор: так и так, батюшка, помер родитель, хочу схоронить. Знать же надо попу, куда пропал человек. Ну, поп возьмет у нас там сколько полагается на бутылку ли, на две, тем дело и кончалось. А как я уехал, так некому было сходить к попу. Приезжаю: матушка в могиле, а в избе поп сидит, десятский, понятые. Так и так, говорю, батюшка, виноват, рыбу продавать ездил. Слышать ничего не хочет. Мы тебя, говорит, для примера в Сибирь сошлем. А десятский-то шепчет: «Сходи, Гаврила, принеси ему бутылку». Я сходил, да несу на виду, чтобы видно было. Увидал поп бутылку. «Десятский, говорит, и вы, понятые, сту-

пайте, мы потом дело решим». Выпил бутылку, сел в сани и уехал.

Это было давно. Про теперешнего же батюшку, того самого, который на Карельском острове служит по праздникам вместе с Иваном Федоровичем, никто худого слова не скажет. С этим молодым, искренно религиозным, но болезненным священником мне удалось близко познакомиться и узнать много интересного. Вот его коротенькая биография.

Первое время, попав прямо из семинарии в центр раскольничьей культуры, он решил вступить в борьбу. Он поставил себе задачу на первых порах, хотя это было совершенно невозможно в таком громадном районе, лично встречать каждого родившегося и провожать каждого умершего человека. Приход его раскинут на громадном пространстве, некоторые деревни лежат в глухих местах, окруженные едва проходимыми болотами, реками и озерами. По едва заметным лесным тропинкам, постоянно спотыкаясь о лежины, сушины и пни или по колено вязнув в топких моховинах, этот болезненный человек проходил десятки верст от деревни к деревне. За ним носили подвижной храм, когда нужно было совершать богослужение. Раз он встретился с медведицей, раз на озере в бурю разбило лодку и выкинуло его на берег, раз провалился он на озере под лед. Наконец, он понял, что в таком приходе задача его невыполнима. Чтобы обратить внимание на это, он подал жалобу на одного раскольника, похоронившего ребенка без его ведома.

Этим шагом он, конечно, восстановил против себя население, но делу не помог. Приехал владыка, убедился, что исполнять обязанности священника в таком приходе невозможно, и дал слово, что приход будет разделен на два. Но владыка умер или его перевели, а приход по-прежнему остался неразделенным.

Пришлось помириться, смотреть сквозь пальцы на раскольников и отпевать уже похороненных людей. Стало жить легче, проще, население стало относиться хорошо.

— А знаете,— говорил он мне,— я теперь убедился, что в нравственном отношении раскольники куда, куда нас выше... И сравнить нельзя!..

Иван Федорович — хранитель часовни на Карельском острове — сам по себе не представляет ничего особенного. Это солидный, религиозный, очень скромный человек. Впрочем, в биографии его можно бы указать то, что он с одной пешней[1] выходил на медведя. Но мать его, Любовь Степановна Егорова, была по здешним местам очень значительной женщиной. Когда был окончательно разорен Даниловский скит, то центр раскола перенесся благодаря ей на Карельский остров и тлел здесь, как искорка, десятки лет, пока совершенно не погас.

Любовь Степановна была дочерью последнего даниловского большака Степана Ивановича, уроженца Каргопольского уезда. Еще в детстве он пришел в Данилов, начал с пастуха и благодаря своим способностям достиг степени большака. Дочь его Любовь выросла при монастыре и, по-видимому, усвоила себе все, что могла дать раскольничья культура женщине.

Она перечитала множество книг в монастырской библиотеке, знала прекрасно рукоделье, рисовала на пергаменте акварелью, вышивала шелком рисунки, сочиняла стихи. В числе рисунков, взятых одним исследователем у сына ее Ивана Федоровича, был такой: в глубине леса виднеется домик, на полянке стоят две женщины, внизу стихи:

О дружба, жизни украшенье,
Дар лучшим смертным от небес,
Ты съединяешь разлученных,
Отчаянных миришь с судьбой,
Улыбку возвращаешь скуке...

Любовь Степановна вышла замуж за старшину Даниловской волости Федора Ивановича, вскоре переехала с ним на Карельский остров и в этой трущобе провела всю свою жизнь, терпя иногда великую нужду. После полного уничтожения скита вокруг нее собрались все выговские староверы, у нее наверху была моленная, где хранились укрытые при разгроме

---

[1] Пешня — орудие вроде лома, употребляется для пробивания льда во время рыбной ловли зимой.

вещи: иконы, книги и т. п. Рассказывают, что однажды зимой из Данилова к Любови Степановне привезли вещи на семи подводах. Вслед за тем на Карельский остров нагрянула «комиссия», как здесь называют всякую группу время от времени приезжающих сюда из-за озер и лесов чиновников. Но отец успел предупредить Любовь Степановну, и все вещи были вовремя спрятаны на островах. Крестьяне, конечно, не выдали и на допросе отвечали: «Знать не знаем и ведать не ведаем». Комиссия уехала ни с чем.

Но дела Любови Степановны с тех пор как-то пошатнулись, жить стало нечем. Решили продать ценные книги в Поморье. Федор Иванович выпросил у кого-то лошадь и повез даниловские драгоценности. Но на озере лед под ними провалился, и потонули не только все вещи, но и лошадь. Вот тогда-то и началась настоящая нужда. Но и тут замечательная женщина не теряла присутствия духа. При всех невзгодах она заботливо воспитывала детей, а главное, продолжала и сама жить и развиваться духовно. Еще до замужества она начала писать дневник и продолжала его вести всю жизнь. В этом дневнике, частью написанном стихами, заключается много ценного материала для выяснения тех настроений, которые существовали в скитах ко времени их закрытия.

Внутренняя работа религиозной мысли, по-видимому, не угасала в ней до конца жизни. Иначе чем же объяснить, что она под конец перешла в православие[1]. Говорят, последние годы своей жизни старушка целые дни проводила в школе грамоты на Карельском острове. Мне рассказывала учительница этой маленькой школы, что слушание уроков было для нее священнодействием. Она следила за всеми мелочами преподавания, выучилась читать по новым книжкам, все учебники знала чуть ли не наизусть.

Быть может, в воображении этой старушки раскольницы, когда она вслушивалась и вдумывалась в светское обучение, на этом глухом острове развер-

[1] Автор, склонный смотреть на староверство, как на усиленное православие, противополагает ему «раскол» лишь в условном значении.

тывалась широкая, свободная, не стесненная расколом жизнь...

И вот она кончила тем, что перешла в православие.

СКРЫТНИКИ

В глухих, еще не тронутых топором лесах Архангельской губернии, в этих «пустынях» живут поодиночке в маленьких избушках или же небольшими группами пустынники, которые называются здесь скрытниками, или странниками. Полесник иногда наткнется на такую избушку в лесу у озерка, постучится, войдет. Живет старичок или старушка, висят темные образа, старинные книги лежат на полочке, у стены кровать. Бывает и несколько избушек, иногда маленький огородик, где растет картофель. Полесник летом отдохнет у избушки, зимой обогреется. Он хорошо знает, что у этих людей нельзя спрашивать, кто они и откуда. Но по здешним местам это даже и не удивит никого. Живут себе люди, скрываются, спасаются.

Эта странническая секта стремится воспроизвести ту самую жизнь, которой жили первые выговские пионеры. Их учение так похоже на учение тех аскетов, что кажется, будто бы и не было столетий опыта. Словно этих старцев рубка леса испугала и заставила перейти в более глухие места. Подойдет бревенная вывозка сюда, и они уйдут еще глубже в Архангельские леса вместе с медведями, лосями и оленями.

Хотя Выговская пустынь уничтожена и недавно, но выговцы, или поморцы, давно уже не были господами всей беспоповщины. По мере того как они вживались в общую жизнь и шли на соглашения с окружающей средой, от них отделялись те, которые не шли на уступки и основывали новые секты.

Прежде других отделились федосеевцы. Разногласие вышло из-за брака. Устроители Выговского общежития, как известно, приняли монастырский устав:

члены общежития должны были всю жизнь оставаться безбрачными. Но хорошо это было выносить первым идейным и сильным аскетам, когда между идеей и жизнью оставалось лишь истощенное, изможденное веригами и постом тело. По мере же того, как гонения ослабевали, в общежитие со всех сторон стал стекаться обыкновенный люд, который искал лишь точки опоры, занятий. Удержать от соединения «сена с огнем» стало невозможно. «И у нас, в Выговской пустыне,— пишет Иван Филиппов,— стали умножаться грехи беззакония и всякие неправды, их же и писати невозможно срама ради». Андрей Денисов, как человек очень практический, сохраняя монастырский устав в самом Данилове, стал отсылать брачующихся в скиты, а после него мало-помалу поморцы и вообще признали брак. Но другая группа беспоповцев, с Феодосием во главе, не пошла на соглашение и, не признавая брака в принципе, на деле допускала вопиющие отступления. Вместе с вопросом о браке было, конечно, много и других разногласий, разделивших беспоповщину на два враждебные толка,— поморцев и федосеевцев. Много было споров и доказательств с обеих сторон. Из всех этих попыток разрешить величайший жизненный вопрос замечательно учение Ивана Алексеева. Так, желая доказать, что беспоповщинская церковь должна признавать браки, венчанные в никонианской церкви, он рассуждает так. Брак отличается от других таинств тем, что в нем передача благодати не связана необходимо с совершением известного обряда. Потребность плодиться и размножаться заложена самим богом в природу живых существ. Сущность таинства и составляет эта заложенная богом потребность в связи с любовным согласием брачующихся. «Церковное действо» есть только формальность, простой «общенародный обычай», дающий браку «общенародное согласие», а иерей лишь свидетель союза от лица общины. Раньше, независимо от всякого «чина», действовал «закон естественный», а потом, чтобы сделать брак прочным, появился «закон писаный» и вместе с тем «чин». Это сознавала и древнехристианская церковь, которая не повторяла таинства брака над семейными людьми, переходившими в нее из дру-

гих вер. Беспоповская церковь должна следовать этому примеру и признавать браки, венчанные в никонианской церкви, что есть лишь публичное засвидетельствование брака, а самое таинство совершается богом и «взаимным благохотением жениха и невесты».

Иван Алексеев, однако, при своей жизни не мог провести свою идею. Лишь мало-помалу его учение было усвоено в Выгореции, и образовались два толка: поморский — брачующихся и федосеевцев — девственников. Третий толк филипповцев возник в то время, когда выговцы, под давлением правительства, принуждены были признать молитву за царя. В это время Филипп, основатель толка, бросил кадило и вышел из часовни с своими последователями. Он стал проповедовать, что не только Петр, но и все последующие за ним императоры русские — антихристы. А когда его стали преследовать, он сжегся с своими учениками. На пепле сгоревших возник самый мрачный и непримиримый толк беспоповщины — филипповский.

Но, вероятно, в самой жизни уже не было тех условий, которые создали когда-то раскольничье учение. Не успевал возникший толк просуществовать некоторое время, как начинал уже дробиться на новые и новые фракции. Дело дошло до того, что в настоящее время в Поморье, как мне рассказывали, в одной и той же избе и семье на печке лежит представитель одного толка, а на лавке сидит — другого.

Очевидно, «в мире» не было места всем этим учениям. Нужно создать такое учение, которое бы исключало всякую возможность соглашения с «миром». Нужно сделать так, чтобы в миру человеку не было никакой возможности укрепиться, устроиться, отнять у него возможность долго оставаться с людьми; нужно, чтобы он вечно переменял места, вечно странствовал или жил в одиночку в пустыне, как жили первые отцы.

Все эти идеи и охватили основателя страннической секты Евфимия, человека убежденного, религиозного, с железной энергией и вечно непримиренной совестью. Искания пылкой души были в его природе, но неблагоприятные жизненные условия еще более обострили

его требования к жизни; всю свою жизнь он только и думал, «где бы найти место спокойное для души своей». Он был из духовного звания, певчим в Переславле. Потом его взяли в солдаты. Условия военной жизни были совсем противны натуре Евфимия, и он бежал. Он сначала сошелся с филипповцами, но после ряда неудачных попыток повлиять на них с большими для себя неприятностями должен был оставить их скит и уйти в Ярославль.

Тут он начал проповедовать свои идеи и скоро достиг некоторого влияния. Беспокойной душе Евфимия в какой-то бесконечной дали рисовалась прекрасная спокойная райская жизнь. На земле же, по его убеждению, царствует антихрист, и нужно бежать, бежать, как бежал Лот, не оглядываясь назад, не справляясь с прошедшим. Разве может быть спасение там, где царствует зверь, первый рог которого был царь Алексей Михайлович, а второй — сын его Петр. Алексей Михайлович помог Никону нарушить благоверие, а Петр ввел народную перепись, разделил людей на разные чины, размежевал земли, реки и усадьбы; он завещал «каждому наблюдать свою часть, не дав другому ничего», учредил цехи и другие богопротивные установления, восстановил междоусобную брань, свары и бой... Царская власть — это икона сатаны, а все воинские и гражданские власти — его бесы, все, повинующиеся царской власти, кланяются иконе сатаны. Мир близится к концу: для чего распахивать нивы, сеять семена, когда не удастся пожать их, для чего созидать города, когда нельзя будет в них жить! Один только и есть исход: бежать от антихриста. Сам бог сказал: «Всяк, иже остави дом, или брата, или сестру, или отца, или матерь, или жену, или чада, или село имени моего ради, сторицею приемлет и живот вечный наследит».

Странники не должны иметь личной собственности, а жить во имя Христа. Евфимий на основании Священного писания доказывал, что даже слово «мое» происходит от диавола и что бог все сотворил общим для всех людей.

В жизни учение Евфимия, однако, должно было примириться с некоторыми отступлениями. Так, после-

дователи страннического учения разделяются на две группы: странники, или скрытники, пустынники в полном смысле слова, и странники-христолюбцы, которые живут в миру обыкновенной жизнью, но под конец должны перейти в первую группу.

Прежде чем оставить Выговский край, я стал расспрашивать, как бы мне сойтись со скрытниками. Советовали мне сделать так: взять с собой старую икону, чашку, одеться по-местному и поселиться где-нибудь у христолюбцев в любом доме; потом на глазах хозяев креститься двумя перстами, пить из своей чашки, молиться своей иконе и потихоньку попросить хозяев не говорить о себе полиции. Тогда будто бы сейчас же и откроются двери всех скрытников-христолюбцев, а вместе с тем и настоящих скрытников, которые живут часто тут же в потайных местах. Но эта комедия была мне не по душе. Наконец один батюшка посоветовал мне так:

— Придете вы в Пул-озеро, остановитесь у Мухи. Это интересный, оригинальный человек, скрытник-христолюбец. Он очень начитан по-славянски, религиозный, прекрасно и по-своему устраивает семью. У него отличный новый дом, будет удобно. Но только, чтобы табаку ни-ни! Вам даже от чаю отказаться придется, у него самовара нет. Вы про охоту разговаривать любите, так он у нас первый истребитель зверей. Он расскажет и про скрытников, если сойдетесь с ним.

Я так и решил сделать. По дороге в Пул-озеро, чтобы завести разговор о Мухе, я сказал провожавшему меня старому полеснику Филиппу, тому самому, с которым я познакомил читателя в очерке «Полесники», что хотел бы остановиться у Мухи, да не привык без чаю жить, а, говорят, у него самовара нет.

— У Мухи самовара нет! — воскликнул Филипп.— Да кто это тебе сказал, да в уме ли он! У Мухи все есть. Муха вот за этакой безделицей не пойдет кланяться к соседу. У Мухи самовара нет! У Мухи два самовара. Сам он не пьет, дети не пьют, а если гости придут, пей сколько хочешь! Муха у нас первый че-

ловек. Посмотришь, какую хоромину себе выстроил. А какой полесник! С Мухой все бывало в лесу, он наперечет все суземки знает, он может и зверя и птицу бить.

Странно было слушать такие слова после знакомства с жизнью выгозерцев. Обыкновенно там мало хорошего говорят друг про друга. Да и в самом деле, людей хозяйственно устроенных, не жалующихся на свое скудное житье и в то же время со стойкими взглядами, почти не приходилось встречать. И вот в стороне от всех, в невылазных дебрях, прекрасно устроился человек, да так, что все завидуют; и еще исповедует религиозное учение, которое отвергает всякую собственность. Но почему же разбогател Муха?

— Полесник он...— неопределенно ответил Филипп.— Сына в Поморье посылает...

И замялся, словно почуяв возможность вопроса: да и ты же полесник, и у тебя дети есть? «Что же! — верно, думал он.— В самом деле, подняться у нас нечем: лес, вода и камень, а вот Муха поднялся...» Мялся, мялся Филипп, наконец сказал:

— Муха, видишь ли, скуп.

Разгадка найдена, дальше можно уже говорить полупрезрительно:

— А что и жизнь-то в лесу без людей: чайку не попить, да и водки не выпить. Пустынник он, вот и может жить. У себя в доме что царь, а посмотри на него, как попадет куда-нибудь на свадьбу. Сидит себе один, горячую воду нальют ему в стакан, и пьет. Да ску-у-у-ш-но же так!.. Ну и так сказать: скуп не глуп, себе добра ищет.

Уж после моего визита к Мухе сказочник Мануйло рассказал про его разживу такую легенду.

В глухих лесах, окружающих деревни Пул-озеро и Хиж-озеро, в разных местах живут пустынники. Одни из них живут на месте, но другие скитаются, переходят в Поморье, из Поморья опять назад, в Ярославль, в Москву. И ни один из них не пройдет мимо Мухи, все они находят у него приют. Кроме того, Муха, как полесник, знающий все суземки и все орги и канабры, доставляет им в лес муку, книги, новости...

И вот раз будто бы Муха провожал в лес богатого скрытника, а он и умер по дороге. Муха схоронил его и после того выстроил дом тысячный.

Это, конечно, выдумки, потому что никто же не видал, как хоронил Муха скрытника и брал деньги, но роль Мухи среди скрытников указана верно, вот почему я и привел здесь это объяснение.

Деревушка Пул-озеро очень маленькая: несколько маленьких изб, несколько изб заколоченных, очевидно, покинутых хозяевами, не выдержавшими условий жизни в этой залесной, заглушной сторонушке. Из темных домиков особняком выдвигается большой красивый двухэтажный «тысячный» дом Мухи.

Когда мы подошли, на крыльце этого дома стояла пожилая женщина, босая, с подтянутой высоко юбкой, как вообще здесь принято. Она взволнованно кричала, глядя на возвращающееся стадо:

— Нет уж, нет, если не вернулась, то уж и не видать больше. А кто виноват? Звирь? Нет, не звирь. Ему тоже есть нужно, звирь тоже богом создан, звирь без толку есть не станет. А это колдуны проклятые друг другу пакостят, а за них отвечай. Топили этого Максимку, не утопили, пакостника.

Успокоившись, хозяйка стала ставить нам самовар. Хозяин должен был скоро возвратиться с озера. Вот тут-то я и совершил непростительную ошибку, за которую потом поплатился ночным покоем.

У староверов курить нельзя. Я это знал и выходил курить в сени, не скрывая своей привычки и стараясь показать, что я хотя и курю, но уважаю их правила. Ту же систему принял я и у Мухи. Вышел на крыльцо, да и покуриваю, любуясь закатом солнца на озере.

Вижу, подъезжает лодка, на корме кто-то с большой бородой, двое гребут. Тут мимо меня пронеслась хозяйка с берданкой в руке и с собакой на вязке. Бородатый кормщик взял ружье, собака прыгнула в лодку, и через минуту лодка чуть чернелась на той стороне губы у леса... Кормщик был хозяин, и — узнал я после — только страх за пропавшую корову в лесу, необходимость немедленно ехать и искать удержала его от того, чтобы не выгнать меня, «табашника», из дому. А я, ничего не подозревая, курил себе да курил.

Было уже поздно, старушка хозяйка предложила мне отдохнуть на кровати за пологом. Я лег и уснул. Разбудил меня какой-то неопределенный шум. Вдруг вижу, полог мой раздвинулся и показалось бородатое лицо с лохматыми волосами.

— А кто у меня тут лежит на кровати? — послышался сердитый голос.

Молчу. И что я мог сказать!

— Сейчас же говори: где родился, откуда идешь, куда и по какой надобности.

А я и не понимал, какое величайшее оскорбление наносилось мне, как гостю. Скрытники ни в каком случае не спрашивают друг друга, откуда они родом. Вообще и по отношению к другим эта привычка считается у них дурным тоном. Подчеркивая вопросы и разбивая их на категории, он усиливал их действие.

Но как раз то, что считалось особенно обидным, мне и понравилось. Чувствовалось, что это не обыкновенная мещанская брань, а мотивированное недовольство. Что отвечать на такие вопросы? Я встал и начал одеваться.

Старику, видимо, это понравилось, он начал помягче:

— Ведь я тебя не знаю, может — ты мой дом спалишь, а дом тысячный, ребят нету, жена одна, мало ли что ты можешь сделать. Наши женки что понимают... Ну, ложись, завтра разберем. Ложи-и-ись! А то как хочешь...

Я лег, и мы расстались до завтра.

Утром я осмотрел комнату. Везде чисто, аккуратно. На стене два ружья и пороховницы, на полке большая книга и на ней очки, в углу икона, вернее — черная доска. Хозяин вошел и остановился у двери. Он посмотрел на меня косым, подозрительным, неприятным взглядом. Так, вероятно, подстерегает медведя этот истребитель зверей, знаменитый полесник. Но в то же время лицо его с аккуратным пробором посередине головы, с допетровской бородой, которой не касались ножницы и которая, оканчиваясь скрученны-

ми прядями, делает всякое лицо похожим на лицо Никиты Пустосвята,— говорило о чем-то совсем ином. Возьмет такой человек ружье со стены, наденет шапку, комарник, кошель — и будет полесник; расчешет волосы, наденет очки, развернет старинную книгу — и будет староверческий начетчик. Такому человеку нужно быть всегда настороже: то он ожидает медведя, то прислушивается к словам, чтобы дать ловкий ответ.

Начали мы разговор, конечно, с медведей. Корову удалось ему благополучно доставить домой. К моему удивлению, Муха, этот начитаннейший по здешним краям человек, тоже объяснил мне, что колдуны пакостят, и пуще всех Максимка. Сам же Муха не только не берет отпуска скотине, но и вообще презирает всех, кто у них берет.

— Это слабым людям нужно,— говорил он мне.— Я-то прямо к господу, а они, от слабости, к колдунам. Колдуны же разобрались, в чем дело, и пакостят.

Желая расположить к себе Муху, я рассказал ему о полковнике, который ищет на севере дешевых берлог, и сообщил ему адрес.

Муха был очень доволен.

— Конечно,— говорил он,— это занятно господам. Только страшного тут, как тебе говорил полковник, ничего нет. Бил я медведей без счета, и ни разу он меня не поранил. Медведя господь покорил человеку.

Поговорили о нужде, о камнях на поле, о зябелях, о том, как земство жмет и казна. С каждым словом Муха убеждался в моей осведомленности. Наконец не выдержал и воскликнул: «Ну и башка!»

С этого момента мы и стали друзьями. Муха начал уже спокойно рассказывать о всех недочетах местной администрации. Оказывается, и тут политика, да еще какая! Тут, в этой же деревушке, живет лесник. Он должен охранять казенные леса. Этот лесник, как и всякий человек, кажется счастливцем для всех: такой же мужик, как и все, он получает сто рублей жалованья в год и может ничего не делать. Но субъективно он несчастлив: жалованье отучает его от работы неблагодарной, больше чем каторжной, он

начальство, и вот он вечно боится за себя и за семейство, что в случае чего его прогонят с места. У лесника огромная власть, он может очень стеснить всех, и все должны являться к нему «на покор», кто с чем. Любопытный и характерный для этих мест эпизод рассказал мне о леснике Муха.

Один полесник в то время года, когда стрелять лосей запрещено, убил лося, как говорят здесь, «свернул кокору». Потом он подтащил его к деревне и закрыл хвойными ветвями. Лесник заметил это и, когда охотник ушел домой, подтащил лося к своей избе, снял кожу, а мясо посолил и уложил в кадку. Охотник, узнав об этом, не только не пошел «на покор», но даже подал жалобу на лесника. Поднялся было скандал. Приехал лесничий, и дело уладилось просто: на охотника был составлен протокол задним числом, а лесник получил домашнюю нотацию от лесничего. Кончилось тем, что охотник отсидел за убитого лося.

— Дармоеды! — заключил свой рассказ Муха.— А был я в Повенце,— продолжал он,— о господи, сколько их там: дармоед на дармоеде. Для чего они?

Понемногу я убедился, что «дармоед» в устах Мухи относился не только к плохому чиновнику, леснику, а вообще ко всем, кто извлекал свои доходы не так, как он, великий труженик, непосредственно из леса, воды и земли. В Повенце дармоеды, а дальше-то? Но дальше Муха нигде не бывал. Он знает только по книгам, что дальше начинается бесконечно огромное тело антихриста.

Так с политики наш разговор постепенно перешел на религиозные вопросы. Как только Муха заметил, что я этим интересуюсь, он забыл свою подозрительность и преобразился. Передо мной сидел не полесник и не начетчик-старик, а юноша-энтузиаст с пламенной верой. Он рассказывал мне, как он только в пятьдесят лет понял от скрытников «душевную» науку, стал учиться грамоте по славянским книгам и в течение пятнадцати лет перечитал все, что можно было достать в лесах.

— Эх, Михайло,— говорил он,— есть гражданская наука, а есть душевная. Это тоже наука. Я тебе вот что скажу: что ты знаешь, того мы близко не знаем;

что мы знаем, того ты близко не знаешь. А если ты хочешь по этому делу идти, то все узнаешь, мы тебе все укажем, на все дадим ответ. Я тебе не отвечу, найдутся умнее меня. Здесь не найдутся, из Ярославля ответ дадут, без ответа не оставим... Вот недавно в Каргополе беседа была, привезли полтораста пудов книг от нас и полтораста от них...

Такие беседы стало возможным для скрытников устраивать лишь после 17 октября, а раньше было опасно. Старик рассказал мне, как однажды их собрали на беседу, да тут же перевязали и отправили в Сибирь.

— Мы благодарим государя, что дал свободу, мы по нем скорбим... Вот и Алексей Михайлович сначала какой был, а под конец жизни и покорился... Говорить стало свободнее, а из лесов выйти невозможно.

— Да почему же? — спросил я.

— А паспорта-то! Им же дадут петровские паспорта... Ведь Петр паспорта завел, а кто был Петр?..

Муха умолк и значительно посмотрел на меня. Петр был, по мнению Мухи, антихрист.

Скрытники, по смыслу учения, конечно, не должны были иметь паспортов, и, таким образом, выйти из лесов, в самом деле, для них дело почти невозможное. Но не только паспорта им запрещены, а даже за простой ответ на вопрос «откулишний» полагается восемнадцатидневный пост, то есть — почти полное голодание. Однажды, рассказал мне Муха, один пустынник от постоянного чтения книг ослабел глазами. Что делать? Купить очки в больнице? Но там фельдшер, акушерка первым делом спросят: откуда? Странникам только и можно сказать: «Мы странники божьи, ни града, ни села не имам». Наконец удалось потихоньку растолковать доктору дело, он понял, и когда скрытник пришел в больницу, то ни один человек не спросил его, откуда он.

— Ты говоришь: из лесов выйти. Хорошо, позовут нас к государю. Ведь тогда уж надо рассказать все... до конца... А разве он выдержит? Не-ет, брат, не выдержит. То же будет, что с соловецкими монахами, как их солдаты на лед выводили, да в ердан окунали, да за ребра вешали. И все тут видели, как ангельские

душки в сорочицах на небо отлетали... Все это в книгах прописано, все есть в челобитной. Ай сходить в сарай за книгой? Схожу.

Муха принес распространенную между староверами челобитную соловецких монахов Алексею Михайловичу и заставил читать, но, так как я читал плохо, поправлял меня, забегал вперед, очевидно зная наизусть содержание книги. Бесконечная вера в букву написанного, очень понятная не только потому, что Муха раскольничий начетчик, но и потому, что он выучился грамоте уже пятидесяти лет от роду, делала наш богословский диспут скучным. Кое-как удалось перевести разговор на семью. Муха очень жалел, что не мог мне показать своих молодцов: все были на сенокосе.

— Главное дело в семье,— говорил он,— распоряда хорошая, тогда всем хорошо. А у меня распоряда справедливая, оттого и всем нам хорошо, и вот своими руками дом тысячный состроили...

Хотя Муха и обещался меня проводить к скрытникам в лес, но у меня не оставалось времени. При прощанье старик вдруг смутился, вспомнил, как он встретил меня в своем доме. «Прости ты меня»,— сказал он. И тут же признался, что смутил его табак. Расстались мы большими друзьями, и не помню, когда еще веяло на меня от человека такой свежестью, чистотой, искренностью и силой.

Скрытниками я заканчиваю свои очерки. На обратном пути в Петербург со мной как-то не случалось ничего такого, о чем хотелось бы рассказать, вероятно, потому, что желание побывать в краю непуганых птиц было уже удовлетворено. Впрочем, помню, как радостно было увидать на Ладожском озере, после непрерывного дня, первые звезды на небе и ночь. А потом — это ошеломляющее движение и шум Невского проспекта! В голове еще свежи все разговоры с скрытником Мухой, свежи впечатления от этой бесконечно простой и суровой жизни среди леса, воды и камня — и тут это движение...

Есть что-то общее в этом гуле Невского проспекта с гулом тех трех водопадов, который мне пришлось

слушать на каменном островке между елями. Там божественная красота падающей воды стала понятна только после довольно долгого всматривания в отдельные брызги, в отдельно танцующие в тихих местах столбики пены, когда все они своим разнообразием сказали о единой таинственной жизни водопада. Так же и тут... Гул и хаос! Темная масса спешит, бежит, движется вперед и назад, перебирается из стороны в сторону между беспрерывно мчащимися экипажами и исчезает в переулках.

Утомительно смотреть, невозможно себе выбрать отдельное лицо: оно сейчас же исчезает, сменяется другим, третьим, и так без конца.

Но вот мысленно проводится разделяющая линия. Через нее сейчас мелькают люди и застывают в сознании: генерал в красном, трубочист, барыня в шляпе, ребенок, толстый купец, рабочий. Они друг возле друга, почти касаются.

Вдруг становится легко, разделяющая линия больше не нужна, все понятно. Это не толпа, это не отдельные люди. Это глубина души одного гигантского существа, похожего на человека. Мелькают, сменяются его желания, стремления, ощущения. Но само неведомое существо спокойно шагает вперед и вперед.

1907

ИЗ КНИГИ «КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ»



ВЕСНА

ВЕСНА СВЕТА И ВОДЫ

ПЕРВАЯ КАПЕЛЬ

У нас, фенологов, наблюдающих смену явлений природы изо дня в день, весна начинается прибавкою света, когда в народе говорят, что будто бы медведь переваливается в берлоге с боку на бок; тогда солнце повертывается на лето, и хотя зима на мороз,— все-таки цыган тулуп продает.

Январь средней России: предвесенние оживленные крики серых ворон, драки домовых воробьев, у собак течка, у черных воронов первые брачные игры.

Февраль: первая капель с крыш на красной стороне, песня большой синицы, постройка гнезд у домовых воробьев, первая барабанная трель дятла.

Январь, февраль, начало марта — это все весна света. Небесный ледоход лучше всего виден в большом городе наверху между громадами каменных домов. В это время я в городе адски работаю, собираю, как скряга, рубль за рублем и, когда, наругавшись довольно со всеми из-за денег, наконец, в состоянии бываю выехать туда, где их добыть мне невозможно, то бываю свободен и счастлив. Да, счастлив тот, кто может застать начало весны света в городе и потом встретит у земли весну воды, травы, леса и, может быть, весну человека.

Когда после снежной зимы разгорится весна света, все люди возле земли волнуются, перед каждым вста-

ет вопрос, как в этом году пойдет весна,— и каждый год весна приходит не такой, как в прошлом году, и никогда одна весна не бывает точно такой, как другая.

В этом году весна света перестоялась, почти невыносимо было глазу сияние снега, всюду говорили:

— Часом все кончится!

Отправляясь в далекий путь на санях, люди боялись, как бы не пришлось сани где-нибудь бросить и вести коня в поводу.

Да, никогда новая весна не бывает, как старая, и оттого так хорошо становится жить — с волнением, с ожиданием чего-то нового в этом году.

Наши крестьяне, встречаясь друг с другом, только и говорят о весне:

— Вот-вот оборвется!

— Часом все кончится!

ПОЯВЛЕНИЕ ПЕРВЫХ КУЧЕВЫХ ОБЛАКОВ

У нас перед домом намело огромный сугроб, и он лежал на солнце, сиял, как непомятая лебединая грудь. С трудом я открыл дверь, заваленную ночным снегом, и, пробивая лопатой траншею, стал раскидывать и белый пух этой ночи и под ним залежалые тяжелые пласты.

Я не жалею сугроба; вон в снеговом половодье плывет облако, большое, теплое, каких не бывает зимой, и оно тоже — как непомятая лебединая грудь. Там и тут вместе с весной, на земле и на небе, показывается вновь мое неоскорбляемое видение, и я встречаю его теперь без сумасшедшей тревоги и провожаю без отчаяния: оно, как весна, приходит, уходит и, пока я жив, непременно возвращается. Чего же мне тосковать? Я теперь уже не ребенок, а отец и хозяин всех моих видений.

Это не шутка — пятидесятый год; вспомните, как сказано об этом в древней книге: шесть лет работай землю, а седьмой пусть земля отдыхает, и когда семь раз по семи так совершится, то это будет твой пятидесятый год, тогда возьми трубу и труби, и это будет твой юбилей.

— Ну, ребята,— кричу я,— живо вставайте, идите мне помогать, скоро будет мой юбилей!

Их зовут Левка и Петька, оба умирают в лесах на охоте. Я с толком воспитал в них эту свою страсть: ради меткого выстрела мои дети не загубят жизнь, они убивают только, что мы едим и что можно сохранить для музея. После Нового года и до первой весны, в закрытое для охоты время, они, бывает, танцуют в городишке и поздно возвращаются ко мне в деревню, и это у них тоже называется *стрелять*. У Левы рано наклюнулись усики, он их потихоньку подбрил моей бритвой, и теперь у него усы на верном ходу. У младшего губы еще совершенно голые.

Начиная от Сороков, когда прилетают грачи, жаворонки и всякая мелкая птичка, они бросают мысли о танцах и в свободные часы начинают готовиться к тяге, к глухариным и тетеревиным токам. А когда пойдет самая охота, возвращаясь вечером с тяги, вспоминают иногда с удивлением танцевальное время и говорят, что это было *от нечего делать*. Опять они начинают ошибаться в словах и говорить не *девушки*, как я им велю, а девчонки, и теперь почему-то я их больше и не поправляю.

— Ну, ребята,— говорю им,— чувствуете вы, какой нынче день, весна света в полном разгаре, скоро вода погреба зальет, живо, живо работайте, други!

Мы славно поработали, и от этой работы здоровье души переливается через край.

Стою, опираясь на погруженную в снег лопату, и не могу себе ясно сказать, кого я так сильно люблю.

Над фиолетовым лесом играют два ворона, кувыркаются.

Да вот же кого я люблю — эту птицу! В зимний страшный день, когда от сильного мороза солнце как будто распято на светлых столбах, все засыпано снегом, спрятался человек, зверь, птица обыкновенная на лету падает мертвая и только я — живая душа — еду неуверенный, доберусь ли домой,— вот этот черный ворон над белым покровом летит высоко, скрипя обмороженным маховым пером.

А вот теперь у ворона разгар любви: нижний с разлету сшибает верхнего и поднимается выше, сбитый

проделывает то же самое, и так, чередуясь, летят они все выше, выше и вдруг с криком ринутся вниз и сейчас же наверх.

Вороны кувыркаются — до чего хорошо! В душе звучит мелодия, и вместо слов отзывается мне все голубое небо, и по этому светлому половодью вот опять плывет теплое облако, как большая белая птица, подымая высоко лебединую грудь, никем не помятую.

ЗЕМЛЯ ПОКАЗАЛАСЬ

Три дня не было мороза, и туман невидимо работал над снегом. Петя сказал:

— Выйди, папа, посмотри, послушай, как славно овсянки поют.

Вышел я и послушал,— правда, очень хорошо и ветерок такой ласковый. Дорога стала совсем рыжая и горбатая.

Казалось, будто кто-то долго бежал за весной, догонял и, наконец, коснулся ее, и она остановилась и задумалась... Закричали со всех сторон петухи. Из тумана стали показываться голубые леса.

Петя всмотрелся в редеющий туман и, заметив в поле что-то темное, крикнул:

— Смотри, земля показалась!

Побежал в дом, и мне было слышно, там он крикнул:

— Лева, иди скорее смотреть, земля показалась!

Не выдержала и мать, вышла, прикрывая от света ладонью глаза:

— Где земля показалась?

Петя стоял впереди и показывал рукой в снежную даль, как в море Колумб, и повторял:

— Земля, земля!

ТУМАН

К обеду небо пролысилось, и леса стали голубеть все больше и больше, пока не сделались совсем фиолетовыми. Лева принес важное известие:

— В низах вода напирает!

Петя заметил: тетерева сидят на деревьях и выбирают место для тока.

— Может быть, просто кормятся? — спросил я.

— Нет,— отвечает,— они сидели низко на корьёвнике, там им нечем кормиться.

Иду в село за провизией по обрытой дороге. Рядом, по старой дороге, едут на базар подводы. Моя высокая дорога сильно обтаяла, вода стекла в канаву, а на старой — слежалый и закрытый навозом снег, как стальной, и долго будет лежать, и долго еще по старой дороге будут ездить мужики на базар; старая дорога одна теперь соединяет в один путь все проселки.

Туман все-таки еще не совсем разошелся, не видно села. Но я слышу, как там кричат петухи. Чем ближе я подхожу, тем сильнее крик петухов, не крик даже, а петушиный рев, все село кричит по-петушиному. Так скоро будут грачи орать на гнездах, выгоняя ворон, потом, к Егорью, коровы, и после всего девки начнут.

ПЕРВАЯ ПЕСНЯ ВОДЫ

К вечеру мы вышли проверить, не отзовутся ли на пищик рябчики. Весной мы их не бьем, не потешаемся; очень занятно бывает, когда они по насту бегут, останавливаясь, прислушиваясь, и, бывает, набегут так близко — чуть что не рукой хватай.

Возвращаться нам было труднее: прихватил вечерний заморозок, ногу наст еще не держал, проваливалось, и ногу трудно было вытаскивать. Оранжевая заря была строгая и стекленеющая, лужи на болотах горели от нее, как окна. Нам было очень нужно узнать, что это: тетерева бормочут или так кажется. Все мы трое взгромоздились на большую вытаявшую кочку, прислушались.

Тут я пыхнул дымом из трубки, и оказалось — чуть-чуть тянуло с севера. Мы стали слушать на север и вдруг сразу все поняли,— это внизу, совсем близко от нас, переливалась вода, напирая на мостик, и пела, совершенно как тетерев.

ГЛУХАРИНЫЙ ТОК

За ночь сильно вызвездило, в комнате стало прохладно,— я вышел посмотреть, что делается на дворе. Как раз в это время и сосед мой, старый крестьянин, вышел до ветру.

— Морозит,— сказал я.

Он не сразу ответил, осмотрел все вокруг себя — снег, звездное небо, шарахнул ногой и сказал о морозе:

— За дедом внук пришел!

Я попробовал пройти по снегу — не провалилось.

— Хороший внук,— сказал я старику и пошел будить детей.

Я им рассказал, что это, может быть, последний наст и нам надо непременно идти на Ворогошь — проверить ток глухарей, и если даже не услышим песню, то увидим на снегу чирканья крыльев.

— Ты, папа, спец,— сказал радостно Лева и стал тормошить Петьку.

Все подковало и даже припорошило. Дорога была легкая и радостная во все стороны. На десятки верст леса и болота нами исхожены, избеганы с гончими, и всем островам, низинам, хохолкам дано наше имя: есть у нас «Ясная поляна» с тремя высокими елями, под которыми всегда зайцы проходят, есть сухое местечко между двумя большими болотами — «Передышка», есть «Золотая луговина», а верст за восемь от нас, среди временами почти непроходимых болот, высится боровое местечко, далеко видное, местные люди зовут его просто *Вихорек,* а мы окрестили «Аланская возвышенность». Со свежими силами по припорошенному насту мы быстро промахнули все восемь верст до Вихорька и тут на высоком месте щекой уловили первое движение южного ветра. Тут я вспомнил, как все говорили о весне — «часом все кончится», и затревожился: «Что, если при южном ветре будет солнечный день, как мы выберемся из этих глухариных мест?»

В ожидании первого света мы прислонились к деревьям и слушали. И вот это уж верно: всю жизнь ходи в лесу, все узнай, все изучи, и все-таки нет-нет

и выйдет такое, что никак не поймешь. Услышали мы треск внизу на болотах, и такой сильный, что лед разлетался, как стекло, и эти стеклышки льда, падая, тоже давали звук. Чудовище, ломавшее лед на болотах, очень быстро двигалось к нам, и все мы трое, затаив дыхание, со взведенными курками, ожидали его в темноте. Но оно, не дойдя немного нашего острова, завернуло и пошло все дальше и дальше в болота. На том сухом местечке, которое мы зовем «Передышкой», треск на короткое время прекратился, а потом опять стало ломать, и это было слышно без конца и, верно, уж больше по догадке. Потом, когда в той стороне загорелась красная заря, Петя услышал первый оттуда желанный звук и потом Лева. Верно, это было очень далеко, я не слыхал, и в ушах у меня пели сверчки да по догадке по-прежнему лось все ломал и ломал стекло на болоте. Они услышали первые, и теперь их дело скакать вниз и потом, с риском спугнуть, по стеклянному болоту.

Мне довольно прекрасной зари и ласкового южного ветерка,— я стою на горе и смотрю туда, вниз, на болота, покрытые редкими темными седухами — соснами.

Сколько времени я так стою? Проходят красные века по заре, и вдруг там, у них, выстрел: это лучше, чем мне бы пришлось,— так уж почему-то складывается: их удаче я больше радуюсь, чем своей. Но и мне пришлось поскакать немного; на третьем скачке я услышал особенный, непередаваемый звук больших крыльев, быстро обернулся туда, на красном поймал между кронами большое черное и туда, как в стену, выстрелил, а другой глухарь, к которому я скакал, сорвался. И пусть, мне больше не надо. Он упал на огромную муравьиную кочку под соснами, и в нее, в эту еще не ожившую кочку, я сел лицом к заре.

У них там был еще один выстрел, но я его пропустил почти без внимания, потому что при восходящем солнце около муравьиной кочки открылся целый мир загадок, которые все я, напрягая весь свой ум, стал разгадывать. Был там один маленький канальчик в луже подо льдом, и по канальчику струилась вода. Откуда взялся канальчик? Я разгадал: это когда снег

только еще начал таять, мышь пробежала и омяла его, потом подморозило, и когда снова стало таять, то омятое мышью не так быстро превращалось в воду, как снег, и когда еще раз сверху заморозило, то подо льдом вода мышиный ход приспособила для своего бега.

Может быть, я и уснул, но в природе я сплю, не обрывая ни чувств своих, ни дум, только время проходит без счета. Меня разбудила пригнутая снегом ветка и примороженная верхушкой к той самой луже, где для своего бега вода приспособила мышиный ход,— эта ветка вдруг прыгнула и стала передо мной деревцем. Я вздрогнул, вскочил, и что же открылось мне с этого места, называемого нами «Алаунской возвышенностью»: вода голубая, кругом вода!

То, что мы тут отрезаны на острове, мне и в голову не пришло,— как-нибудь доберемся, не в этом дело. Счастье увидеть еще раз весну света и воды было безмерное; мгновенно вспомнилось мне из древней книги: шесть лет работай землю, а седьмой пусть земля отдыхает, и когда семь раз по семи так совершится, тогда возьми трубу и труби, и это будет твой юбилей.

Я отнял ствол от ружья и затрубил что было мочи. Пришли мои встревоженные дети. Я им велел отнять тоже стволы и сказал:

— Трубите, дети, сегодня мой юбилей!

ВЕСНА ВОДЫ

В этот год, когда моя земля отдыхает, я не буду ничего придумывать: буду писать, не переменяя на свой лад имен, отмечая каждый день весны; героем моего рассказа пусть будет сама земля.

Потребность записывать все явления природы явилась во мне, когда я начал удерживаться от весенних отдаленных путешествий, и, когда я стал, мир пошел. В нынешнем году я достал себе фенологическую программу и веду записи, как требует наука, но в черновиках своих я тут же отмечаю и события своей личной жизни, встречи, замыслы, так что вся моя жизнь этой весны расположилась фенологически.

В тот день, когда я записал себе: *разбивка долгохвостых синиц на пары*. Пете сказали в школе, что вторая ступень у них преобразуется в семилетку, он получит свидетельство об окончании, а если хочет дальше учиться, то надо переехать в другой город. А мы уже и раньше думали, как бы податься куда-нибудь поближе к воде, и списывались с Переславлем-Залесским, где находится прекрасное Плещеево озеро. Случилось, что как раз в этот день долгохвостых синиц и Петиной семилетки получился ответ от заведующего Переславльским музеем, что в Переславле школа недурная, и при музее ребятам можно хорошо заниматься краеведением, что птиц всяких множество, подальше в лесах еще сохранились лоси, рыси, медведи, что в трех верстах от города на высоком берегу Плещеева озера есть историческая усадьба, где хранится ботик Петра Первого, и тут есть пустой дворец, в нем предполагается устроить биостанцию, и если я положу этому делу начало своими фенологическими наблюдениями, то могу занять любую квартиру в этом дворце.

После того в письме был подробно указан путь на лошадях прямо или же кругом, через Москву, по железной дороге до станции *Берендеево*.

Какие удивительные есть имена, и как они на меня действуют: дворец мне явился сказочным дворцом Берендеева царства, и пошло и пошло в душе *берендить*.

«Ну, Берендей,— сказал я себе,— думать тебе больше нечего».

Страстное чувство природы совсем не мешает мне любить большие красивые города и их сложную жизнь: когда мне в городе захочется на волю, я сажусь на трамвай — и через двадцать минут опять в поле. Я, должно быть, свободный человек. Годами живу в хижинах рыбаков, охотников, крестьян, люблю трудовых людей, мне холодно и неловко у богатых мещан, но это не мешает мне любить города и дворцы. Черт бы ее подрал, эту мою хижину, где летом при сильном дожде сухо только в печке, а зимой не вылезаешь из полушубка.

Куй железо, пока горячо, скорей стучи, молоток, по ящикам, туже затягивайся, веревочка.

— Лева,— командую,— коленкой, коленкой нажми, чтобы не развязалось дорогой. Петя, вычисти и смажь получше наши ружья, слышал: рыси есть и медведи.

Оставив детей сдавать экзамены, мы отправились в путь, и над нами дикие гуси летели на север, верно, тоже к Плещееву озеру.

ПРИЛЕТ ЖУРАВЛЕЙ

Мы в ограде *Горицкого монастыря,* большой, способной вместить тысячи людей города, расположенного крестом на берегах реки Трубежа и Плещеева озера. И, может быть, время такое и было, когда люди сюда вбирались от врагов. Теперь внутри стен пусто, сняты языки с некоторых колоколов, возле архиерейского пруда, соответствующего локоть в локоть размерам Ноева ковчега, бродят только две козы заведующего народным музеем, историка местного края, и с ними бегает Галя, дочка помощника заведующего, фауниста.

С малой колокольни видна вся жизнь за стеной: множество монастырей и церквей древнего города и между ними поток деревенских людей на базар. Так все тут смешано, в этом городе-музее: древняя обитель, где находится наш музей, называется *Пречистая на Горице,* а сама земля, на которой стоит Пречистая, называется *Вшивая горка,* и на Вшивой — улица *Свистуша*, теперь переименованная в улицу *Володарского,* потом *Соколка,* где жили когда-то соколиные помытчики Ивана Грозного. Внизу лес церквей, так что между ними вот только проехать; одна из церквей — *Сорок мучеников* — стоит при самом впадении Трубежа в озеро и названа в память утопленных в каком-то озере сорока мучеников; другая — как раз напротив, тоже на берегу Трубежа и Плещеева озера, называется *Введение,* потому что, по объяснениям рыбаков, служит введением в лов знаменитой переславльской селедки, а дальше опять высота, и на ней опять святыня — *Федор на горе.*

Так странно, что в болотах, испещренных малыми речками, мы уже справили весну воды, а Плещеево озеро все лежит, как зимнее поле, и только по едва различимой глазом лесной зубчатой оторочке догадываешься, что все это огромное белое поле — озеро.

Налево от Горицкого на этом озере виднеется одна высота с белым дворцом в память Петра Первого и колыбели русского флота, на другой стороне — высота *Александровой* горы с погребенным в земле древнейшим монастырем, и названа эта гора Александровой в честь Александра Невского, переславльского князя, а в народе гора называется *Ярилова плешь*.

Все это я сразу узнал от местного историка, посвятившего всю жизнь изучению родного Переславльского княжества и сохранившего во всей чистоте владимирский говор на «о».

— В Горицком я седьмой квартирант,— говорил он по-владимирски,— первым был шут: вот Шутова роща, Шутов овраг, и даже одна из наших башен называется Шутова.

Шут, потом финские жрецы, еще кто-то, под самый конец архиерей... Я хорошо запомнил шута и все думал о нем, когда историк рассказывал о каком-то селе Воскресенском, в народе называемом *Чертовым*.

«Не оттого ли,— думалось,— Шутово стало Чертовым, что в борьбе с веселым Ярилой, или шутом, святые отцы поставили невозможную задачу Воскресения, одна невозможность вызвала другую, и бытовой добродушный Ярило перестроился в мистического злого черта».

Все монастыри, все церкви, имеющие художественное значение, и ботик Петра Первого, и Ярилова плешь — все принадлежит музею.

— Вот так музей,— сказал я,— от Ярилы до Петра Первого...

— И после Петра,— ответил историк,— хотите, сейчас покажу Екатерину, Елизавету...

В это время прибыли посетители музея, и все мы пошли смотреть Успенскую церковь.

Этот историк — отличный хозяин и своего рода переславльский собиратель земли, а главное, велико-

росс: может представить картину и на широкой воле и, когда нужно, вильнуть по узенькой тропинке...

Заметив, что не всем интересен рассказ про екатерининский иконостас и елизаветинское барокко и что многие неопределенно блуждают глазами по голубым сводам, он начинает рассказывать про архиерея Геннадия Кротинского, умершего от холеры и погребенного под этим храмом. Место могилы на полу храма обнесено решеткой, и за ней какой-то накрытый бугорок. Бывало, монах доставал отсюда из-под плата рукой песочек, раздавал верующим, и те думали, будто эта земля из-под сводов через камень, бут и дерево пола выпирает наверх. А вот теперь каждый может открыть платок рукой и убедиться, что песок просто насыпан в жестяную коробку из-под карамели, с которой даже не потрудились стереть надпись: *«Эйнем — Смесь»*.

Один из посетителей, не обращавший внимания на екатерининское и елизаветинское искусство, не улыбнулся и на «Эйнем — Смесь». Михаил Иванович указал этому мрачному юноше на фреску «Богатого и Лазаря».

— Это в огне буржуй кипит,— сказал он,— а пролетарий, смотрите, вознесен горе в лоно Авраамово!

Посетитель оживился и сказал:

— Вот видите, с каких времен это все существует.

— Молодой человек,— ответил историк,— это так было действительно очень давно.

Когда мы вышли из церкви и со стены глянули на озеро, то все заметили, что сегодня, в очень теплый день, отделилась узенькая голубая полоска заберегов и высоко плыли, курлыкая, журавли.

ПРИЛЕТ ПУСТЕЛЬГИ

Славно греет солнце на музейном дворе; летают бабочки-крапивницы. Фаунист Сергей Сергеич отметил день крупным событием: жуки, музейные вредители, переползли на внутренние стены. Он собрал в мешок много сухих листьев, просеял, и долго мы смотрели в лупу, как эти сор-жуки оживали.

— Сергей Сергеич,— спросил я,— из этих шестидесяти тысяч собранных вами жуков, наверно, есть у вас какой-нибудь любимый, с которого все начинается? — Он не понял меня, повторил: — Есть у вас любимый жук?

Очень задумался.

— Личный какой-нибудь жук?— бормотал я.

— Есть,— с живостью сказал он,— только это не отдельный жук, а вид.

Ну вот... вид. Я же потому именно и спрашивал, чтобы выйти из вида и вспомнить того личного жука, который, может быть, в последнюю минуту отчаяния сверкнул всей красотой мира и спас жизнь Сергея Сергеича. Но раз любим целый вид...

— Хотя бы вид,— сказал я,— какой же вид?

Грузный, весь заросший волосами, сам похожий на большого букана, ученый, способный Сергей Сергеич, весь просияв, сказал:

— Жужелица!

После того мы пошли в кабинет и смотрели жужелиц,— сколько-то тысяч под стеклом, сколько-то на вате, и каждая из них имела свою карточку, свой формуляр.

Я слушал о жужелицах, и так мне все хотелось спросить о первой жужелице, с которой он встретился, и узнать те тончайшие личные обстоятельства, увязавшие Сергея Сергеича в дело прикалывания любимых жужелиц на булавки.

Всю жизнь меня самого манило найти себе какую-нибудь вечную научную жужелицу и заняться ею на всю жизнь только одной, и много раз я даже брался, но как-то моментально выпивал из нее всю сладость, а работа впустую, без сладости, не выходила. Итак, я не мог специализироваться, если не считать специальностью ловкость записей феноменов жизни.

В какой-нибудь час я выудил для себя все замечательное в коллекциях Сергея Сергеича и вот уже опять блуждаю глазами в поисках нового и замечаю, что в воздухе дрожит пустельга и голубая лента заберегов озера все прибавляется. Сказали, что если так пойдет таяние льда, то через неделю начнется щучий бой на Переславльском озере. Я принял реши-

тельные меры, чтобы стать поближе к природе, созвал музейный совет и сделал свой доклад об изучении края.

У меня есть свой краеведческий опыт, и шевелится в голове что-то вроде метода. Сущность этого краеведческого метода состоит в том, чтобы обыкновенным земляческим чувством края, в котором заключается и чувство природы и даже, несомненно, художественный синтез, пользоваться для понимания лица края по крайней мере на равных правах с обыкновенными научными методами изучения. Мне кажется, что замечательный следопыт из простого народа сто́ит одного или даже двух хороших ученых.

Несколько раз в беседе с первоклассными учеными я высказывал эти свои мысли, и оказывалось, что эти гениальные люди работали совершенно так же, как мы, рядовые следопыты жизни, а когда то же самое я говорил рядовым хорошим ученым, то они смотрели на меня свысока и очень плохо слушали. Вот почему я думаю: наверно, я еще не дожил до того, чтобы своими мыслями убеждать, и потому об этом молчу, а просто докладываю о работах Сокольнической биостанции юных натуралистов и предлагаю подобную станцию основать в Переславле.

— Но там,— говорю я,— в Сокольниках, под Москвой, сравнительно мало материалов, и потому там общий тон изучения можно назвать *микро*-тон: микроклимат, микро-заповедник и самые лучшие работы сделаны о комарах. У нас же все природные данные вызывают взять *макро*-тон: огромное озеро, бесконечные леса. В нашем крае хорошо бы устроить биостанцию с географическим отделом и в тесном сотрудничестве с Сокольниками: пусть у них будет *микро,* а у нас — *макро.*

Сергей Сергеич заволновался, он понял, что я хочу избежать того необходимого труда, кропотливой, скучной работы, которая, собственно, и воспитывает детей.

Я этого совсем не хотел сказать, но я готов спорить, что воспитывает не микро-труд сам по себе, а то основное увлечение, ради чего выносят скуку и отчего всякая работа легка.

Мнения разделились: на позиции *макро* остались мы с историком, и к нам примкнул представитель укома; на сторону Сергея Сергеича стал заведующий ОНО. Метеоролог, худой, болезненный человек, колебался.

Перед концом дебатов и голосованием я сказал:

— Примите во внимание, что законы колебания в стакане чая и в Плещеевом озере одни и те же, а все-таки буря в стакане и в Плещеевом озере не одно и то же...

В это время Сергей Сергеич, наверно, желая что-то возразить, нечаянно дернул рукой и опрокинул стакан своего горячего чая на колени метеоролога. Тот вскочил и бросился вон. Вскоре он возвратился, и все тревожно обратились к нему:

— Ну, как?

— Ничего,— спокойно ответил метеоролог,— вам кому макро, кому микро, а мне только мокро.

Совет постановил: 1) для выяснения вопроса о направлении биостанции пригласить на время каникул представителей от Сокольников, 2) заведующему фенологическими наблюдениями предоставить на Ботике в дворце квартиру на южной стороне в четыре комнаты.

ПРОЛЕТ ЛЕБЕДЕЙ

С утра был светлый день, утренник скоро растаял, и к полудню утомительно было ходить в ватном пальто. Чайки прилетели раньше меня и теперь сильно кричали на зарастающих монастырских прудах.

Я ходил берегом озера устраивать свою квартиру на Ботике. У озера два берега: один — древний, высокий, изрезанный оврагами и потоками, другой — низкий, болотистый у воды, и в воде песок. Овраг здесь называется по-старинному *враг:* первый от Горицкого Шутов-враг, речка очень маленькая при деревне Веськово с Мемекой-горой, за Веськовым-врагом — Вознесенский и гора Князек, и тут рядом Гремячая гора с Гремячим ключом. Вот на этой Гремячей горе и хранится, как мощи, ботик Петра Первого, и потому вся усадьба называется Ботик.

Не успел я взойти на Гремячую гору и оглядеться, как Надежда Павловна, жена сторожа Ботика, рассказала мне о Петре, что он был большой любитель воды и раз, увидев издали Плещеево озеро, повернул коня и прямо спелыми полями поскакал к воде. А в деревне Веськово баба жала рожь и, как увидела, что какой-то верховой топчет, принялась честить его всякими скверными словами. Петру будто бы это очень понравилось, он щедро наградил веськовских мужиков и некоторых даже постоянно звал к себе на совет думу думать, с тех пор вот и пошли в селе Думновы, и сторож Иван Акимыч тоже Думнов, значит, кто-нибудь из его родни непременно с Петром думу думал.

Я осмотрел домик, где хранится единственный уцелевший от всей большой петровской потешной флотилии ботик с прогнившим дном, вспомнил из истории, как Петр, приехав сюда через тридцать лет, возмутился небрежным хранением остатков флота и тут написал свой суровый указ воеводам переславльским. Сначала, конечно, это подогрело воевод, а потом опять стало гнить, пока от всех кораблей не остался единственный ботик, переходивший из рук в руки частных владельцев усадьбы. Царь Николай I, наконец, приналег на владимирских дворян, они выкупили ботик, построили тут небольшой дворец, триумфальную арку и мраморный памятник с надписью из указа Петра:

«Надлежит вам, воеводам переславльским, беречи остатки кораблей, яхт и галер, а буде опустите, то взыскано будет на вас и на потомках ваших, яко пренебрегших сей указ».

Настроенный словами Петра, я подошел к обрыву Гремячей горы посмотреть на озеро, как на колыбель русского флота. За день кольцо заберегов стало еще отчетливее и было красным от заходящего большого красного солнца. По долетавшим до моего слуха особым гармоническим ладам я узнал пролетающих где-то высоко лебедей.

В доме нашлись какие-то козлы, доски, из которых мы сделали себе столы, кровати, всё убрали, наслаждаясь звуком рычащего дерева в лесу: этот звук

обыкновенно бывает слышен только в глухих оврагах, а мы слышали его из дворца с большими саженными окнами. Жаль только, нигде не было дырочки для самоварной трубы, и пришлось его ставить на крыльце, но зато, когда я ставил его, вдруг в нескольких стах шагов от крыльца услыхал токование тетерева, а когда пошел в подвал за лучинками, то в окошко, напуганный мною, выскочил здоровенный русак.

Мы пили чай, с восторгом слушая рычащее дерево.

ЗАЦВЕТАНИЕ ОРЕШНИКА

В лесу бело и черно, пестро, в оврагах шумит вода, и над ней, припекаемый солнцем, выкинул орешник золотые сережки. Ярик сделал на слух свою первую стойку, думал по токующему тетереву, а оказалось, это почти под его ногами по-тетеревиному журчала вода. Тетерев токовал дальше. Мы подняли токовика, с ним были четыре тетерки. Дерево наше сильно рычит, днем и даже ночью слышно через закрытые окна. Я полюбил его, оно мне родное: ведь это я только не люблю говорить, а весной и у меня в душе тоже что-то рычит...

Закраек льда озера против Ботика подстелен льдом, но по канавке из-подо льда щука все-таки может выйти сюда к берегу. Наш сторож Думнов стоит с острогой, как Нептун, подальше — знаменитые щучьи бойцы братья Комиссаровы, за ними дьякон — и так по всему закрайку, с нашей Веськóй стороны в Надгород, по Онóй стороне в Зáзерье — кругом все Нептуны.

Мне сказали они, что выход щуки бывает от свету до восхода, в девять утра, в полдень, в пять часов вечера и до заката. Я рассказал им, что при чистке Царицынских прудов была поймана щука с золотым кольцом Бориса Годунова, весом была три пуда, и спросил их, может ли быть такая щука и в Плещеевом озере.

— Есть,— сказали они,— только озеро очень глубокое, и та щука из глубины не выходит. А с золо-

тым кольцом есть в озере язь, пустил его Петр Первый.

— Убил ли кто-нибудь щуку за эти дни? — спросил я.

— Щука еще не выходила,— ответили мне,— а *молошников* бьют.

Молошниками называются самцы, небольшие сравнительно с самкой, щукой.

Мельник приходил звать на охоту с круговой уткой. Не поверилось как-то, что у него утка будет кричать,— отказался. Он был весь в глине. Я ему сказал, что нехорошо бывшему дворянину ходить таким грязным.

— Такое дело,— ответил он.

— Почему же вон тот рабочий,— указал я на его мастера,— чистый?

Молодой человек смешался и, нечего делать, признался, что сегодня он ходил в исполком, и когда он ходит туда, то никогда не моется и даже нарочно грязнится: надо делать рабочую карьеру.

Вечером собрался дождь.

Оттого, что рамы одиночные и лес возле самого дома, установился сон, как в лесном шалаше, отвечающий, как зеркало, внешнему миру. Моим сновидением управляет рычащее дерево, и так выходит, будто это я сам попал в овраг, как это дерево. И вдруг резкий крик утки, и, без всякого перехода от сна к яви, догадываюсь, что это кричит круговая утка у мельника. Потом раздалось ее неистовое «ах, ах!» — это значит, она увидела селезня. Я вскочил с кровати, и, пока бежал к выходной двери, селезень, наверно, подплывал к утке, и только-только я взялся за ручку, раздался выстрел. В полумраке нельзя еще мне было с Гремячей горы разглядеть круговую утку, был виден только шалашик.

Пока согревался самовар, мельник убил еще двух селезней.

После чая, когда, по моему расчету, охота на уток должна была кончиться, я спустился на мельницу и, как увидел жилье, с этого часу стал мельника звать *Робинзоном:* в избушке было грязно, разломано, разбросано, через потолок виднелось небо; сам Робинзон

сидел возле накаленной железки, щипал утку, с ним сидели тут же охотники и чистили картошку. Главный из охотников, Ежка, рассказывал много про тетеревей: что есть тетерева посиней, а есть пожелтей, и что есть вальдшнепы покрупней и помельче, а у крякв явно заметно различие, даже можно сказать, что ни одной кряквы нет похожей одна на другую, совершенно так же, как у людей, и то же зайцы...

Кто эти люди? Какие-то мелкие служащие, техники, считаются в городишке за полудиких людей, но они природные следопыты-краеведы, фенологи, и подлинное — не сентиментально-мещанское и не книжное, не от Руссо и Толстого — чувство природы сохранилось почти только у них. Вот из каких людей и надо искать себе сотрудников по изучению края. Это я им все сказал, и мы заключили союз для фенологических наблюдений и уговорились вблизи Ботика ничего не стрелять из гнездующих птиц, а по возможности даже и зайцев.

Когда заговорили о зайцах, я сказал, что на Ботике заяц выскочил из подвала.

— Русак? — спросил Ежка. И узнав, что русак, сказал: — Зайцы постоянно ложатся на Ботике, несколько штук зимой непременно лежат в самом Переславле. Вы знаете дом К.? Не знаете? А М.? Тоже не знаете, что же вы знаете?

Я сказал, что знаю древний Переславль, собор XII века, остаток мельницы, крепости, место скудельницы, где теперь Даниловский монастырь, столб Тохтомыша...

— Столб Тохтомыша знаете, ну вот как раз против есть деревянный домик с большим огородом, и там на огороде русак жил, кочерыжки грыз. По первой пороше мы по нем пустили собак.

Ежка подробно рассказал про весь пробег неутомимого зайца по историческим местам: из города на Ботик и через Переславльское озеро к знаменитой Александровой горе, где раскопки обнаружили славянское языческое капище, потом опять в город на Советскую улицу и через крепость, где-то напоролся правым глазом на железный прут, мальчишки «взяли его в переплет», и, спасаясь от них, он влетел в от-

крытые двери милиции. Между тем охотники, потеряв зайца, созвали собак, привязали, возвращались домой и вдруг, увидев на Советской улице свежий след, обошли его и пустили собак. Им недолго пришлось бежать, след вел в милицию, вся стая с ревом внеслась в учреждение, и за стаей ввалились охотники. В это время милиционеры уже не только поймали зайца, а бросили между собой из-за него жребий, кому достанется.

Дома я решил записать рассказ, интересный потому, что никогда еще в жизни мне не приходилось гонять зверей в городе, и пробег зайца по историческим местам особенно мне казался любопытным. К сожалению, как раз на том месте, где заяц напоролся на прут, память мне изменила, и потому для справки я опять спустился на мельницу. Там был уже один Робинзон.

— Не помните,— спросил я,— где заяц напоролся правым глазом на железный прут?

Робинзон ответил:

— При переходе площадки церкви Святого Духа, тут место огорожено железной решеткой.

СКОРАЯ ЛЮБОВЬ

Мать моей подсадной утки была просто *русская,* домашняя, но дикий селезень ее потоптал несколько раз, и вышли утята — вылитые кряквы. Из них я выбрал самую голосистую и стал ею приманивать диких селезней к своему шалашу. Нет числа красавцам в брачном наряде, плененным погибельным голосом этой крикуши... Безжалостно сердце охотника, но случилось однажды — дикий селезень взял мою утку, и я не осмелился выстрелить.

Было это на вечерней заре. Я вышел к лесу на пойме, достал из корзинки свою крикушу, привязал к ее ноге длинную веревочку с гирькой на конце, забросил гирьку, пустил утку на плес, и сам напротив сел в шалаше и стал в щелку смотреть на пойму.

Летела пара крякв: впереди серая утка, за ней селезень в брачном наряде. Вдруг навстречу им отку-





да-то вывернулась другая пара. И вот обеим парам только-только бы встретиться, вдруг ястреб кинулся на утицу из второй пары, и все смешалось. Ястреб промахнулся. Утка бросилась вниз и на пойме скрылась в кустах. Ошеломленный ястреб медленно ушел под синюю тучу. А селезень из разбитой пары, придя в себя после нападения ястреба, сделал маленький круг: нигде в воздухе его утицы не было. Вдали первая пара продолжала свой путь. Одинокий селезень, вероятно, подумал, что это за его потерянной уткой гонится чужой селезень, пустился туда и стал нагонять.

Потерянная утка скоро опомнилась от нападения ястреба, выплыла из кустов на плес и стала кричать. Прилетел новый одинокий селезень. Между уткой дикой и моей подсадной завязалась борьба голосами. Моя утка разрывалась на части от крика, но дикая все-таки ее пересилила. Селезень выбрал дикую и потоптал.

Совершив огромный круг, вернулась первая пара, и за ней мчался селезень, потерявший свою утицу при нападении ястреба. Неужели он все еще воображал, что это не чужая, а его утка летит, и за ней гонится чужой?

Его настоящая утка, довольная, очищала на плесе перышки и молчала. Зато моя подсадная взялась одна, без соперницы, достигать селезня. И он услышал ее... Так ли верно, что в их любви все равно, какая утка,— была бы утка! А что, если время у них мчится гораздо скорее, чем у нас, и одна минута разлуки с возлюбленной равняется десятку лет нашей безнадежной любви? Что, если в безнадежной погоне за воображаемой уткой он услыхал внизу яркий голос естественной утки, узнал в нем голос утраченной, вся пойма тогда стала ему, как возлюбленная?

Он так стремительно бросился к моей утке, что я не успел в него выстрелить: он ее потоптал. После того он стал делать вокруг нее свой обычный селезневый благодарственный круг на воде. Я бы мог тут спокойно целиться, но вспомнилась своя горячая молодость, когда весь мир явился мне, как возлюбленная, и я не стал стрелять этого селезня.

НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ СОКА У БЕРЕЗЫ

Я срезал тончайший сучок у березы и сделал прочищалку для трубки. На порезанном месте собралась капля березового сока и засверкала на солнце. В лесу было пестренько: то снег, то голубая лужа, и среди дня тепло. Осмотревшись вокруг, я решил, что сегодня может начаться тяга вальдшнепов, и перед вечером отправился в Соломидино к охотнику Михаилу Ивановичу Минееву просить его показать мне, где у них надо стоять на тяге. Этого Михайлу никто дедом не назовет по виду, хотя он хорошо еще помнит царя Александра II и у его внука, кооператора, недавно родился мальчишка. Нашел я Михайлу не без путаницы, потому что у старика четверо сыновей, а своего дома нет — живет он, этот деревенский король Лир, то у одного сына, то у другого: с двумя теперь уже окончательно разругался и перешел к третьему.

Много мне наговорили про это, пока я разыскивал дом, и потом, в ожидании вечера в избе, много слышал от самого старика, и когда рассказ продолжался и по пути на тягу, я не слушал, думая, как бы мне поскорее отделаться от старика. Слова все-таки долетали до моего слуха, и я из вежливости наугад подавал реплики.

— И суд присудил им ко-ро-ву.

— Неужели,— говорю,— корову?

— Перед истинным говорю: корову.

Старик стоит передо мной, держит меня за рукав, ходу вперед не дает, заполняет собой всю тишину, весь мир и ждет моего мнения. Что же мне делать? Язык мой сам выговаривает:

— Как же быть?

Он бросил мой рукав, двинулся вперед и сказал:

— Тогда бросил я этого сына, как твой рукав, и пошел жить к другому.

В это время над головами у нас раздалось обыкновенное утиное «свись-свись»,— из-за болтовни старика я не успел выстрелить.

— Там у вас,— сказал я,— самовар ставят, иди-ка чай пить.

— И то,— говорит,— надо идти, а чай я не пью. Чай! Там бревно, надо пособить бревно поднять.

— Ну, вот, иди-ка.

— А ты говоришь — чай,— бревно-о-о...

Он смеялся и, отойдя немного, не выдержал, остановился, обернулся и повторил:

— Бревно-о-о!

В это время мне подумалось, в какой запряжке, наверно, теперь его сыновья, сколько забот о существовании, а вот старик все-таки находит время ходить на охоту и как радуется оживанию природы и новому человеку! Я сказал:

— А ведь ты хитрый старик.

Он очень обрадовался, шагнул ко мне опять, весело подмигнул:

— И так сказать, ведь продналог-то не с меня берут, а с них, а там штраховка, там...

В это мгновение я не пропустил добычу, не целясь, ударил во вторую из двух каких-то быстро мчавшихся птиц, и оказалось — это большой кряковой селезень мчался за уткой по воздушным следам. Он прошумел по березе и упал на уцелевшую еще под ней снежную скатерть.

— Ну, иди, иди,— говорю старику,— иди чай пить.

— И чаю попью,— отвечает,— и на охоту пойду, и не думаю: пойду и пойду, а они — только и слышишь, что продналог да штраховка.

Против всякого моего ожидания и старого опыта, тишина, которая мне досталась после ухода старика, была не та глубокая, исполненная силой новой жизни: эта тишина была мертвая. Сиротливо пел на весь лес только один певчий дрозд, да блестела, тукая о что-то, капля березового сока из порезанного сучка. Я не осилил такую тишину, гармония распалась, и лес стал таким страшным, когда суеверным людям приходит в голову всевозможное,— мне же он страшен в эти минуты потому, что теряю себя самого, тянет орать или стрелять в деревья, куда попало... Вдруг послышался гомон, споры, крики идущих по просеке людей, и, когда они стали близки, я узнал голос Ро-

бинзона, Ежки и понял, что это все те же утренние охотники теперь возвращались с тяги.

— О чем вы спорите? — спросил я, когда они со мной поравнялись.

— А спорим,— отвечал Ежка,— что враль этот Робинзон, чего он вам утром набрехал.

— Ничего я не брехал,— говорит Робинзон,— заяц вполне мог напороться на решетку церкви Святого Духа.

— Да ты-то сам там не был: ведь там, в решетке-то, прутья в палец толщиной, а он высадил себе глаз просто о колючую проволоку...

О вальдшнепах мнения охотников разделились: одни говорили, что рано, другие — что вальдшнепы здесь, но заря холодная и они не тянули; третьи — что все померзли на юге и вовсе не будут тянуть.

— А бекасы еще не токовали? — спросил я.

— Бекасы прилетели.

— Кроншнепов слышали?

— Свистят.

— Странно, что вальдшнепов нет!

— Скорее всего померзли.

СТАРАЯ ЩУКА

Однажды поздно вечером я возвращался из города пешком к себе в деревню. Всегда в таких случаях меня подсаживают обратные возчики леса. Так случилось и теперь. Меня догнал молодой, выпивший немного после трудной работы возчик, и предложил подвезти. Как полагается в таких случаях, я отказался, но возчик настаивал. Я устроился в сани. Возчик назвал себя: Иван Базунов из Веслева.

Я слышал это имя.

— Знаменитый охотник за щуками? — спросил я.

— Спец своего рода,— ответил Базунов.— Разрешите спросить ваше имя?

Я назвался.

— Вот, Михайло Михайлович,— сказал он,— имеете ли в душе какую-нибудь заразу счастья?

— Постоянную, дорогой Базунов. Разве не слыхали вы, что я охотник?

— Так это вы сами! — схватился он, узнавая меня.— Как же не слышать... Очень вам рад! Охотник, ну да! А я вот за щуками, в этом я прошел свой университет. Так ли я выговариваю?

— Правильно.

— Очень приятно. Я вам сейчас все объясню про эти дела,— вы поймете. Я, конечно, охотник за щуками и в этом имею свою заразу счастья. Щука есть моя цель, но возьмите в пример человека. Другой и рад бы среди бела дня сойтись с своей любезной, да ведь никак это недопустимо, люди видят, никак невозможно. Вам-то, Михайло Михайлович, приходится этим страдать?

— Кому не случалось!

— Значит, о человеке согласны. И вот я вам скажу — точно так же и живая тварь — щука: и рада бы, икра напирает, а ведь никак нельзя. Так же, как и у человека ночь, так у щук для любовного дела есть тоже свое законное время.

— Знаю,— сказал я.— Нерест щуки бывает при первой воде.

— Совершенно верно. Когда первые потоки пойдут и вольются в озеро, щука идет против струи, и тут я бросаю свое хозяйство и становлюсь на струю...

Долго рассказывал Базунов, как он борется за свое счастье с женой, как он обходится с ней, и она его отпускает на щук. Так мы подъехали к моему свороту, но Базунов не отпускал меня и просил выслушать свой рассказ до конца.

— Солнце пригревает,— продолжал он,— человек стремится к семейному положению, так и щука: икра ее одолевает. Щука лезет на мелкое место, на тонкие воды, упирается в дно, выжимает икру, а молочники ее подбеляют. Бывает, до семи молочников кипит над большой щукой, она же всегда внизу, и тут — кто не умеет — ударит непременно в молочников, она же, самая большая, уходит. Но я знаю, как надо ударить, и бью острогой ниже молочников, потому что я спец своего рода.

Выслушав этот рассказ, я, в свою очередь, рассказал один непонятный мне случай: в июле в сумерках я увидел однажды на озере, будто из воды показалась

темная рука человека и скрылась, потом опять показалась. Было очень похоже, что волны прибивали мертвое тело. Я пошел туда по отмели, и это была не рука человека, а очень большая щука. Я убил ее из ружья, мясо оказалось жесткое: старая щука.

— Вот ты говоришь,— спросил я,— щука так же, как человек, знает свое время и выходит нереститься ранней весной, а ведь это было в конце лета. Что это значит?

— Я отвечу,— сказал Базунов.— В жаркие летние дни щуку тоже, бывает, тянет к берегу, потому что у ней, как у человека, остается воспоминание. Я верно вам говорю, потому что я спец своего рода. Старая баба иногда начинает дурить пуще молодой, потому что у ней остается воспоминание о своей молодой любви.

ЩУЧИЙ БОЙ

Установилась погода — днем теплая, почти жаркая, а ночью луна и такой сильный мороз, что забереги намерзают почти на палец толщиной. А эти забереги теперь уже как широкая голубая река. Лед держится только мысами. Но из Усолья в Переславль народ по-прежнему ездит озером на санях в базарные дни.

Щучий бой начался, и у бойцов пропадает только утро, потому что ночью вода замерзает, и если даже и выйдет где щука, то по шороху к ней не подойти с острогой. Бойцы, однако, с утра занимают позиции и стоят по одному со своими острогами, неподвижные. Вечером по забережью всюду огни: сторожат, с лучом идут по воде выше колена между берегом и льдом, один несет *козу* и светит, два другие — с острогами. С часу на час ожидают выхода самых больших щук.

Я попробовал подходить к бойцам и разговаривать, все очень это не любят и даже, когда заметят подход, отодвигаются. Пробую сам стоять с ружьем, но это невыносимо скучно, не понимаю, откуда у них берется такое терпение. После долгих наблюдений, однако, я понял: когда кто-нибудь заметит щуку и с поднятой острогой начинает к ней подкрадываться,

все напряженно следят за ним: вероятно, терпение берется не только от надежды заработать на рыбе, а еще берет и азарт.

Вечером, когда темно и начинают люди сходиться, приготовляться к лучению, круговая почта по озеру от рыбака к рыбаку доносит новости дня.

Сегодня новость: в устье реки Трубежа убита щука в пуд два фунта весом. Рыбак сидел на свае, увидел огромную рыбину и ударил ее, как скопа: убить не убил, а только завязил в теле ее свою острогу, как скопа ноги. Щука метнулась, рыбак свалился в ледяную воду, но не выпустил из рук остроги, скрылся под водой, вынырнул возле льда, вылез и вытянул уморенную щуку.

В самом городе будто бы кто-то с моста метнул острогу в большую щуку, попал и сгоряча бросился в воду, но щука ушла с острогой.

В полумраке Думнов, один из тех, что с Петром думу думали, в сторонке от всех по мелкому месту тащит огромную сваю, рушит ее с воды на край льда и перебирается на лед. Он заметил, что из-подо льда время от времени показывается чудовищная голова...

Видели, как Думнов наметился, да так и остался с поднятой острогой; оказалось, побоялся ударить,— щука могла утащить его под лед.

На берегу и ругались и смеялись, а Думнов требует себе самогонки, выпивает бутылку зараз, ждет...

И вдруг сомнения о думновской щуке окончились,— все видели, как показалась из-подо льда и вернулась назад огромная голова. Думнов требует вторую бутылку.

После второй бутылки показывается та чудовищная голова. Думнов ударил — правильно: пришил щуку ко дну. Но что теперь делать дальше, если от длинной остроги над водой остался только очень маленький кончик? Такую щуку нельзя достать на остроге, а руками не дотянешься,— как быть? Думнов неплохо сделал, что выпил две бутылки самогонки, теперь ему по колено море: спускается в ледяную воду, становится ногами на щуку, скрывается совсем под водой, там впивается пальцами в щучьи глаза, показывается снова из-под воды, волочит к берегу свою

добычу. Все видят: огромная щука и с нею молочник фунтов на десять.

Думнов бросает щуку в яму, и тут вдруг она оживает, и вот она какая: метнула хвостом, и молочник фунтов на десять отлетел от нее шагов на пятьдесят.

Думнов кушак продевает под жабры, подвешивает так, что щучья голова у него вровень с затылком, а хвост волочится по земле. Идет в деревню, собираются бабы, вся деревня сбегается, и везде молва: Думнов щуку убил и еле-еле донес.

И пошла молва кругом всего озера, с Веськóй стороны в Надгород, с Надгорода по Онóй стороне в Зáзерье, через Урёв в Усолье,— всюду молва: Думнов из Веськова щуку убил в полтора пуда весом, и с ней молочник был фунтов на десять.

ЛЯГУШКИ ОЖИЛИ

Ночью мы сели в шалаш с круговой уткой. На заре хватил мороз, вода замерзла, я совершенно продрог, день ходил сам не свой, к вечеру стало трепать. И еще день я провел в постели, как бы отсутствуя сам и предоставляя себя делу борьбы живота и смерти. На рассвете третьего дня мне привиделся узорчатый берег Плещеева озера и у частых мысков льда на голубой воде белые чайки. Было и в жизни точно так, как виделось во сне. И до того хороши были эти белые чайки на голубой воде и так впереди много было всего прекрасного: я увижу еще и все озеро освобожденным от льда, и земля покроется зеленой травой, березы оденутся, услышим первый зеленый шум.

Дерево почему-то перестало рычать. Почему не рычит дерево? Вместо этого кто-то прекрасно поет.

— Это, кажется, зяблик?

Мне ответили, что еще вчера повернуло на тепло и был слышен легкий раскат отдаленного грома.

Я, слабый от борьбы за жизнь, но счастливый победой, встал с постели и увидел в окно, что вся лужайка перед домом покрыта разными мелкими птицами: много было зябликов, все виды певчих дроздов, серых и черных, рябинники, белобровики,— все бегали по лужайке в огромном числе, перепархивали, ку-

пались в большой луже. Был валовой прилет певчих птиц.

Собаки наши, привязанные к деревьям, вдруг почему-то залаяли и как-то глупо смотрели на землю.

— Что гром-то наделал,— сказал Думнов и указал нам в то место, куда смотрели собаки.

Сверкая мокрой спиной, лягушка скакала прямо на собак и, вот только бы им хватить, разминулась и направилась к большой луже.

Лягушки ожили, и это как будто наделал гром: жизнь лягушек связана с громом,— ударил гром — и лягушки ожили и уже спаренные прыгали, сверкая на солнце мокрыми спинами, и все туда — в эту большую лужу. Я подошел к ним, все они из воды высунулись посмотреть на меня: страшно любопытно!

На припеке много летает насекомых, и сколько птиц на лужайке! Но сегодня, встав с постели, я не хочу вспоминать их названия. Сегодня я чувствую жизнь природы всю целиком, и мне не нужно отдельных названий. Со всей этой летающей, плавающей, бегающей тварью я чувствовал родственную связь, и для каждой в душе есть образ-памятка, всплывающий теперь в моей крови через миллионы лет: все это было во мне, гляди только и узнавай.

Просто, вырастая из чувства жизни, складываются сегодня мои мысли: на короткое время я расстался по болезни с жизнью, утратил что-то и вот теперь восстанавливаю. Так миллионы лет тому назад нами были утрачены крылья, такие же прекрасные, как у чаек, и оттого, что это было очень давно, мы ими теперь так сильно любуемся.

Мы потеряли способность плавать, как рыба, и качаться на черенке, прикрепленном к могучему стволу дерева, и носиться из края в край семенными летучками, и все это нам нравится, потому что это все наше, только было очень, очень давно.

Сегодня я отдыхаю от болезни, я не могу работать. Отчего же не позволить еще немного роскоши этой домашней философии? В этом есть грубая правда, что человек творит мир по образу своему и подобию, но, конечно, мир существует и без человека. Больше всех это должен знать художник, и непремен-

ное условие его творчества *забываться* так, чтобы верилось в существование вещей живых и мертвых без себя. Мне кажется, что наука только доделывает уже лично восстановленный художником образ утраты. Так, если художник, сливаясь в существе своем с птицей, окрыляет мечту — и мы с ним мысленно летаем, то скоро является ученый со своими вычислениями — и мы летим на механических крыльях. Искусство и наука, вместе взятые,— силы восстановления утраченного родства.

К полудню, когда, как и вчера, слегка прогремело, полил теплый дождь. В один час лед на озере из белого сделался прозрачным, принял в себя, как вода заберегов, синеву неба, так что все стало похоже на цельное озеро.

В лесу на дорожках после заката поднимался туман, и через каждые десять шагов взлетала пара рябчиков. Тетерева бормотали всей силой, весь лес бормотал и шипел. Потянули и вальдшнепы.

В темноте, в стороне от города, были тройные огни: наверху голубые звезды, на горизонте более крупные желтые жилые городские огни и на озере огромные, почти красные *лучи* рыбаков. Когда некоторые из этих огней приблизились к нашему берегу, то показался и дым и люди с острогами, напоминающие фигуры с драконами на вазах Оливии и Пантикапеи.

Да, я забыл записать самое главное: после долгих усилий мы сегодня нашли, наконец, рычащее дерево: это береза терлась от самого легкого ветра с осиной, теперь у березы из растертого места лил обильный сок, и оттого дерево не рычало.

ВЕСНА ЗЕЛЕНОЙ ТРАВЫ

ПРИЛЕТ ЗЯБЛИКОВ

От прилета зябликов до кукушки проходит вся краса нашей весны, тончайшая и сложная, как причудливое сплетение ветвей неодетой березы. За это время растает снег, умчатся воды, зазеленеет и по-

кроется первыми, самыми нам дорогими цветами земля, потрескаются смолистые почки на тополях, раскроются ароматные клейкие зеленые листики, и тут прилетает кукушка. Тогда только, после всего прекрасного, все скажут: «Началась весна! Какая прелесть!»

А нам, охотникам, с прилетом кукушки весна кончается. Какая это весна, если птицы сели на яйца, и у них началась страдная пора!

С прилетом кукушки лес наполняется людьми. Выстрел какого-то баловника так действует, что сразу теряешь нить мысли и удираешь как можно дальше, чтобы не привелось слышать другой. И то же бывает, когда ранним утром по росистой траве вышел куда-нибудь и вдруг по следам на траве догадался, что впереди тебя идет кто-то другой. Сразу свертываешь в другую сторону, переменяя весь план только потому, что заметил чей-то след на траве. Бывает, зайдешь в глухое место, сядешь на пень отдохнуть и думаешь: «Лес все-таки очень велик, и, наверное, в нем есть хоть аршин земли, на который не ступала нога человека, и на этом пне, очень может быть, еще никто никогда не сидел...» А глаз, бродя сам по себе, открывает возле пня скорлупку яйца.

Я часто слышал, будто гриб, замеченный человеческим глазом, перестает расти, и много раз проверял: гриб растет. Слышал даже, что птицы переносят яйца, замеченные человеческим глазом, и проверял: птицы наивно доверчивы... Я люблю от прилета зябликов, когда еще не трогался снег в лесу, ходить на кряж и чего-то ждать. Редко бывает совсем хорошо, все чего-то не хватает,— то слишком морозит, то моросит дождь, то ветер, как осенью, свистит по неодетым деревьям. Но приходит наконец вечер, когда развернется ранняя ива, запахнет зеленой травой, покажутся примулы. Тогда оглянешься назад, вспомнишь, сколько зорь я прождал, сколько надо было пережить, чтобы сотворился прекраснейший вечер. Кажется тогда, будто участвовал в этом творчестве вместе с солнцем, ветром, тучами, и за то получаешь от них в этот вечер ответ:

— Не напрасно ты ждал!

ПОТОК

Заметив великий перелет зябликов, я вспомнил о Поповом польце, окруженном мелятником, и пошел посмотреть, не там ли отдыхают прилетающие птицы. Я не ошибся,— вся опушка была усыпана мелкими птицами, в воздухе везде были птицы, иногда такие частые, будто маком посыпано. Взлетело множество витютней с польца, и один уже был растерзан ястребом. Выплыл канюк, откуда-то взялся ворон и стал его донимать. Встретились две пары журавлей и полетели вместе. Потом показался целый караван журавлей и полетел в правильно построенном треугольнике. Иногда показывается птица необычайной формы, и когда рассмотришь в бинокль — это галка или ворона тащит материал для гнезда. Но одну птицу я долго не мог определить, такая была огромная эта белая птица. К счастью моему, загадочная птица приближалась, и наконец я разобрал, что это галка тащила газету; и когда она из-за газеты, не разглядев, нарвалась на меня и я громко крикнул, газета освободилась и упала к подножию холма.

Вскоре после восхода набежала туча и брызнул короткий дождь, потом солнце стало припаривать и вода прибавляться. Поля уже пестрели. Дорога, местами перемытая, оказывалась высоким ледяным слоем до двух аршин. Старик из Дядькова — я хорошо узнал его в бинокль — тот самый дед, у которого на войне побили всех сыновей и он жил теперь в завалюшке со всеми их бабами,— пробирался с возом сена в город, верно берег этот воз до самой высокой цены. Мне ему очень хотелось добра, и я с волнением дожидался, когда он подъедет и увидит промоину. Казалось, что наверху, откуда бежала вода на дорогу, воды было меньше, внизу же по эту сторону была грязь и целая река воды. Но старик почему-то поехал по воде, конечно, застрял и, побившись немного, справился и потащился дальше. Вскоре после него ехал молодой парень, тоже с возом сена, и, нисколько не раздумывая, двинул воз по другую сторону дороги, откуда напирала вода. Но только он двинул туда, лошадь погрузилась, и над снегом виднелась только

ее голова... По пояс в воде парень отпрягает, крепко ругаясь. Собираются пешеходы, и все, даже бабы, помогают вытаскивать воз. Кажется, они сделали из оглобель что-то вроде рычага, за концы взялись бабы, мужики принажали сзади, и так мало-помалу поставили воз на дорогу. Тогда парень запряг лошадь, поехал обратно, и кто-то крикнул ему на прощанье: «Благодари бога! На этом самом месте прошлый год мужик совсем утонул».

Обернувшись на полдень, я заметил тетерок, перелетающих в Брусничный овраг. Я стал манить их; они отозвались и побежали ко мне через Попово польце, совершенно как куры. Над польцем пролетел лунь. На елке засел канюк. Большой стаей кормились витютни. Вероятно, всех их спугнул ястреб. И когда я, провожая их глазами, обернулся,— вижу: опять тот, чуть не утонувший парень возвращается с возом назад. Я думаю, что он, с утра настроившись продать сено и выпить в городе, не мог вытерпеть и вернулся снова попробовать счастья; а может быть, кто-нибудь сказал ему, что старик переехал, и он понял дорогу: не верхом, а низом. Теперь он без всякого раздумья пустил лошадей вслед старику, без остановки перебрался и покатил себе рысью.

Поток бежит с шумом в озеро, наливает закрайки. Пролетела скопа, за ней гнались вороны. Показались певчие дрозды, и особняком от них чудесная птица, черный дрозд, очень стройный и с золотым клювом.

На дне оврага бушует поток, на краю сижу я, подсвистываю рябчиков, на тонкой березе токует одинокий тетерев, где-то натуживается витютень. Я никогда не слыхал и не видал такого множества маленьких птиц,— это были целые вихри: вдруг подымутся, частые, как комары, бегают, шныряют по зеленям, спариваются в воздухе, летят все массой на опушку и все поют, и это пение вместе с пением воды, бормотанием тетерева, уркованием лесных голубей, кликом и гомоном журавлей вызывает у человека наверх самые глубокие, залежалые мысли.

Я нашел тропу вниз, нашел кладочку, вырубил себе топором длинный шест и, опираясь на него, перешел на ту сторону и оставил шест на виду, радуясь,

что он поможет еще кому-нибудь перейти бурный поток.

Теперь я иду в лесу чутьем, мне нужно угадать, где будут тянуть вальдшнепы. Одна полянка кажется мне краше другой, но, пока есть время, я ищу лучшую, и наконец одна меня приковала на месте. Тут, направо от меня, в болотной воде у ручья лента берез, за ними просвечивает темный бор, налево подымается высоко суходол, покрытый мелкой зарослью; из переузинки суходола и болотного леса буду ждать вальдшнепа.

На моей полянке были разбросаны кусты можжевельника, среди них подымалась очень высокая ель, а на верхушке ее, на этом пальце, сидел певчий дрозд и насвистывал время от времени в свою флейту, как будто управлял множеством лесных звуков наступающей вечерней зари.

Я не очень уверен, что вечерняя заря углубится и я тут же под кустом дождусь и утренней. Пока не совсем стемнело, я высматриваю в лесу знакомую тропинку к землянке, где когда-то изготовляли хлебное вино. Тут я долго работаю, подстилаю себе еловый лапник, зажигаю костер. Я сплю у костра так, что ясно слышу свой храп и отлично знаю, когда нужно его прекратить и поправить костер...

Я пробудился, когда мороз-утренник обдался росой и капли ее повисли, сверкая на солнце. Множество птиц, какое бывает в наших лесах только несколько дней на перелете, пело вокруг меня славу солнцу, земле, уже зеленеющей новыми травами. Долго я слушаю, и, когда захочу, мой великолепный призматический бинокль подает мне певца к самым глазам, так что я могу разглядеть каждое его перышко. Мой бинокль, перебрасывая отражение певца из призмы в призму, из стекла в стекло, выделяя из хаоса форму, сам по себе отличный художник, и к этому еще я прибавляю свое.

Потом я выхожу на опушку и вижу в бинокль, как полевой дорогой, все приближаясь к ручью, где я оставил для перехода свой ольховый шест, идет девушка в оранжевой юбке, завернутой на плечи. В руках у девушки блестят новые галоши, которые она на-

девает только в церкви, и дождевой зонтик, раскрываемый очень редко, на людях и в самый хороший солнечный день.

Я очень рад, что мой шест помогает девушке перейти на ту сторону потока, но мне больно видеть, что она прячет шест в кусту и засыпает листвой.

На той стороне, однако, кто-то следит за девушкой и, как только она удалилась, разыскивает шест, переносит, прячет в другое место и дожидается в кусту. Я понимаю, что девушка скоро вернется, сажусь на пень и дожидаюсь, когда мой шест вернется сюда.

Вихри зябликов переносятся с опушки на зеленя, догоняют друг друга в брачном полете, падают на землю, спариваются и возвращаются распевать на опушку.

Вот вижу, идет назад девушка в оранжевой юбке, подходит к ручью, ищет шест, снует там, мечется из стороны в сторону...

Я опускаю бинокль. Простым глазом мне видно, как вышел сатир из куста, вынул шест и помог девушке перейти на ту сторону.

ТЕМА

В рыбацкой слободе, где так бедно и тесно, я видел: чайки сидели на столбиках, и тут же дети бегали и их не тревожили. Зная своих, более культурных детей и вспоминая, сколько труда надо было положить, чтобы отучить их от жестокости, я думал: «Сколько прошло поколений рыбаков, передающих один другому заповедь охраны прекрасных и бесполезных, кажется, птиц, чтобы мальчики не швырялись в них камнями, и что одним западает в душу от Рафаэлевой мадонны, то этим бедным досталось от какой-нибудь чайки».

Сегодня приехали Петя и Лева, бросились к чайкам и дивились им. Потревоженные детьми на местах гнездований, они вдруг все поднялись, закрыли мне небо и поля, потом, рассыпаясь, стали — как *снег идет,* и когда сели на зеленя, то зеленое поле все стало белым. Мы узнали, что чайки находятся под охраной населения, что стрелять их запрещается и что в

народе они до сих пор еще называются *витахами* (витают).

У детей так славно сложилось: двое у Михаила Ивановича, Соня и Сева, оканчивают вторую ступень, у Сергея Сергеича — Галя и приехали три сына, студенты, мои тоже приоделись к празднику. Все они по случаю праздника выпили на «ты» и захороводились на дворе музея.

И вдруг, как снег на голову, без всякого предупреждения являются трое делегатов от Сокольнической биостанции юных натуралистов; один в австрийской солдатской шинели, другой в английской, третий в русской, а когда сняли шинели, то там оказалось еще хуже: у одного даже штаны далеко не доходили донизу. У всех были сумки, сетки и за поясом наганы. Натуралисты встретились с нашей приодетой молодежью, как люди различных миров, познакомились и разошлись. Даже на Леве, самом передовом, сказалось влияние праздника, и когда он привел молодых людей ко мне на Ботик, то доложил:

— К тебе из Сокольников какие-то ребята приехали.

Мы познакомились. Ребята знали меня и относились с большим уважением. Подогретый сочувствием, я сел на своего конька и говорил им, что хотел бы устроить биостанцию с краеведческим уклоном и сам бы хотел работать в области сближения науки с искусством.

— Большинство животных и растений,— говорил я,— тесно связаны с жизнью человека, но до сих пор наука очень мало занималась изучением этой связи, и, вероятно, тут должно помочь науке искусство. Возьмите чайку и рыбака, посмотрите, как удивительно сочеталась жизнь этих бедных людей с прекраснейшей птицей...

Старший из натуралистов сказал:

— Это тема!

И записал себе в книжке.

Два других вполголоса:

— Мы обсудим это сегодня же после собрания.

— Вы все обсуждаете? — сказал я.

— Да, — ответил старший,— мы все обсуждаем и потом коллективно действуем, и так у нас ни минуты не пропадает.

— Значит, и ко мне вы не просто пришли побеседовать?

— Мы пришли учесть вашу живую силу.

— И что же вы находите, это не секрет?

— Мы находим, что вы очень можете быть нам полезным для агитационных целей: вы прекрасно говорите и пишете; как натуралист, вы, вероятно, поверхностный, но фенологические наблюдения вы можете делать прекрасно, и очень желательно было бы, чтобы вы занялись кольцеванием птиц, потому что вы охотник и птицы часто у вас бывают в руках.

Я пожал им руки с улыбкой, и они охотно стали рассказывать о себе. Старшему двадцать лет, он окончил уже школу второй ступени и состоит лаборантом биостанции и преподавателем физики в школе — высокий молодой человек с приятным лицом, заметно руководящий и вообще председатель. Другой — помоложе, поменьше, потише и углубленный, верно, хорошая рабочая сила: секретарь. Третий — с матросскими знаками на руках, сильный малый, имел замечательную судьбу: сам из беспризорных, но как-то случайно попал на биостанцию, посмотрел, что свои же беспризорные работают с микроскопами, заглянул в стеклышко, и, как в прежнее время кто-нибудь вдруг поверил бы в бога и пошел в монастырь, этот поверил в науку, занялся и теперь тоже окончил школу. У него немного восточное лицо, а по фамилии Палкин.

— Вот вы нас понимаете,— сказали они,— а как трудно с комсомольцами.

— Да вы-то разве не комсомольцы?

— Да, мы комсомольцы и даже коммунисты и потому понимаем явления общественной жизни глубже.

Вдруг все они посмотрели на часы: им надо спешить на собрание к местным комсомольцам, где они будут пропагандировать свой новый метод.

На прощанье я спросил:

— Как же вы думаете, возможно нам вместе с вами устроить здесь биостанцию?

Председатель ответил:

— Мы учтем ваши живые силы и потом ответим определенно.

ПОЗЕЛЕНЕНИЕ ЛУЖАЕК

С утра все небо было закрыто. Мелкий теплый дождик.

На лужайках показалась первая зелень, начинается весна зеленых покровов.

На кухне сказали:

— Овца и сейчас может наесться.

Снег двумя-тремя пятнами остался только в ложбинках на северном склоне Гремячей горы. Стала очень заметна работа кротов.

В пять вечера выглянуло солнце, и воздух стал необыкновенно прозрачным. Простым глазом очень ясно можно было разобрать на той стороне и Городище и Александрову гору с Яриловой плешью. Со стороны деревни был слышен первый хоровод. Очень легкий зюйд-вест незаметно за день отогнал от нашего берега на север лед, и он теперь, желтоватый от вечернего света, сходился с резко синей громадой отработанных туч.

Все коммунары явились ко мне с просьбой дать им ружья и проводить их на тягу. Я дал им ружья, но сам идти не мог и предложил им в проводники Петю. Товарищи переглянулись, и председатель сказал, что он останется со мной побеседовать. Я понял, что председатель жертвует охотой для изучения моей живой силы. Я нисколько не обижаюсь и этому изучению. Я сам изучаю, у меня свой загад, и еще посмотрим, кто кого учтет. Моя молодость тоже прошла в подпольной коммуне, и мое изучение похоже скорее на воспоминание.

— Итак,— говорю я,— вас в коммуне пятнадцать человек — восемь юношей и семь девушек, таким образом один юный натуралист остается без подруги.

— Это у нас исключается.

— Вы меня плохо поняли, я говорю о сочувствии, переходящем постепенно в любовь.

— Такая любовь ничему не мешает, и все выражается только тем, что двое работают с одним микроскопом.

— Но если у вас, например, что-нибудь разорвется в костюме, иголочку вы попросите все-таки у нее?

— Да, вначале это было со мной. Я крикнул: «Катька, почини мне штаны!» И знаете, что она мне ответила?

— Конечно, не стала чинить.

— Мало того, она сказала: «Сережа, я не понимаю такой постановки вопроса».

— Какая милая девушка, я думал — она вам скажет как-нибудь грубо. Мне очень не нравится ваша фраза: «Катька, почини мне штаны».

— Да, эта девушка очень сознательная, она внесла этот инцидент на обсуждение всей коммуны. Постановили: ввиду того, что шить она большая мастерица, то пусть починка нашей одежды будет ее общественной обязанностью. Она согласилась и после того с большой охотой мне починила штаны.

— Починку одежды,— сказал я,— очень понятно, можно сделать общественной обязанностью, но любовь непременно заостряется в личное чувство, и это личное потом закрепляется браком.

ДЕВУШКА В БЕРЕЗАХ

На березах только что обозначалась молодая зелень, и леса оказались такими большими, такими девственными. Наш поезд в этих лесах не казался *чудовищем*,— напротив, поезд мне казался очень хорошим удобством. Я радовался, что могу, сидя у окна, любоваться видом непрерывных светящихся березовых лесов. Перед следующим окном стояла девушка, молодая, но не очень красивая: лоб у нее был немного высок и как-то вдруг слишком по-умному неожиданно, почти под прямым углом, завертывался к темени, и от этого приходило в голову, что эта девушка служила в аптеке. Время от времени она откидывала голову назад и озиралась по вагону, как птица: нет

ли ястреба, не следит ли за ней кто-нибудь? Потом опять ныряла в окно.

Мне захотелось посмотреть, какая она там про себя, наедине с зеленой массой берез. Тихонечко я приподнялся и осторожно выглянул в окно. Она смотрела в зеленую массу светящейся молодой березовой зелени и улыбалась туда и шептала что-то, и щеки у нее пылали.

ЗАЦВЕТАНИЕ МЕДУНИЦЫ

Цветут тополя, осины, медуница, волчье лыко и все первые цветы.

Своим пристальным вниманием и душевным участием в переменах природы я достигаю того, что многое отгадываю, где что зацвело, закопалось, полетело; иногда удается мне верно угадывать и погоду, но ранней весной столько на дню бывает перемен, что и рыбаки ошибаются.

Сегодня на заре восток открыт, а по всему небу облака довольно серые и как бы сговариваются против солнца. В это время и рыбаки сговаривались для первого выезда на озеро. Первым пришел на берег Иван Иваныч, отец церковного старосты, самый старый и самый опытный,— в озеро уж больше не ездит, а служит для рыбаков как барометр. Когда собрались рыбаки, Иван Иваныч уже по-своему как-то вывел, что к вечеру ветер погонит лед на полдень и затрет рыбаков и что ездить не надо.

Рыбаки думали.

Я пробовал выспрашивать и старика и рыбаков об их думах, но это были, вероятно, скорее чувства, и их изучать надо так же постепенно, как и природу. Только верно я узнал, что сейчас *нершится* плотва-ледянка, потом пойдет щука-грязнуха, а дальше, даже о последовательности нереста разных рыб, показания были разные.

Чтобы сгладить противоречие, старик сказал в заключение:

— На озере есть разное *прозерство*.

Солнце против ожидания взошло победно, и рыбаки, не послушав старика, поехали между льдом и юж-

ным берегом в Урёв, где озеро посылает от себя реку Вексу.

К семи утра солнце уже смотрит в окошко, и ветер, очень легонький, едва ощущаемый, начинает тянуть с севера.

В полдень поднимается свежий ветер, падает град.

К вечеру — буря, сильный снег, вся наша зеленеющая лужайка стала белой. Лед подался к нам, навалился на берег, и все сбылось, как утром говорил прозер: рыбаки затерты льдами в Урёве.

Первый вечер у нас не лучили щук, весь берег был намертво затерт льдом, и лучи виднелись только на севере, на свободной воде.

Посмотрев на безобразный и мертвый лед, этот все еще неупокоенный труп зимы, щучий боец Думнов сказал:

— Худой зять приехал к теще гостить.

МАЙСКИЙ МОРОЗ

Все обещало ночью сильный мороз. В первом часу при луне я вышел в дубовую рощу, где много маленьких птиц и первых цветов. Так и зову этот уголок страной маленьких птиц и лиловых цветов.

Вскоре на западе стала заниматься заря, и свет пошел на восток, как будто заря утренняя внизу, невидимо за чертой горизонта, взяла вечернюю и потянула к себе. Я шел очень скоро и так согревался, что не заметил даже, как сильный мороз схватил траву и первые цветы. Когда же прошел заутренний час и мороз вступил во всю силу, я взял один лиловый цветок и хотел отогреть его теплой рукой, но цветок был твердый и переломился в руке.

ДРОЗД-БЕЛОБРОВИК

Заведующий музеем определенно недоволен натуралистами, и, показав мне их совершенно неграмотную заметку в музейной книге, он сказал:

— Я не верю в биологию неграмотных людей. Как они будут учителями!

С какой-то точки зрения он прав, но у меня есть своя дикая точка зрения: в школе я тоже плохо писал.

С невероятным трудом я занимался в школе математикой, и наука эта мне казалась необоримой. Но когда через двадцать пять лет пришлось помочь сыну, я в три дня просто прочитал алгебру.

Теперь кто-то понял все это, взвесил, и тот метод обучения, при котором я не мог постигнуть алгебру, называется методом *готовых знаний,* а то, как я потом, когда мне изнутри понадобилось, и *я сам* проходил, называется методом *исследовательским.* Значит, разница в том, что там, в готовом методе, *велят,* а в исследовательском занимаюсь я сам, и задача педагога состоит в пробуждении у каждого ученика этой *самости.*

Но это я так понимаю современные задачи, а на стенах даже такого живого учреждения, как Сокольническая биостанция, этот исследовательский метод изображен графически методистами так сложно, с таким множеством стрелок, крючков, лучей, что понять так же трудно, как решить самую сложную задачу по какой-нибудь сферической тригонометрии, и если такой исследовательский метод явится в провинцию, то этот труп творчества ничем не будет отличаться от трупа готовых знаний.

— Вот что плохо, дорогой Михаил Иванович,— сказал я заведующему музеем,— а не то, что ребята неграмотны.

— Но ведь они нас учить хотят!

— Зачем принимать так серьезно: их задача — подсчитать наши живые силы.

Вечером пришел ко мне председатель с пробирками, наполненными разными букашками, и между прочим был сосуд с водой Гремячего ключа. На вопрос мой, для чего ему вода, он ответил, что для анализа. Я сказал, что анализ самый подробный имеется в музее. Он вылил воду. Лишнее действие произошло потому, что при исследовательском методе исключается предварительное знакомство с материалом по книгам: там готовое, а надо увидеть самому. Но в школе учитель незаметно делает так, что ученику только кажется, будто это он сам подошел к предме-

ту, на деле — это его учитель подвел; в жизни же непременно надо ознакомиться самому с предшествовавшими работами других, иначе непременно будет бесконечное множество раз открываться Америка.

При выходе из дома мы услыхали, что, несмотря на зимний пейзаж, все-таки в лесу изредка вечерние птицы пели.

Председатель спросил меня:

— Вы слышите, какая это птица поет?

— Певчий дрозд.

— Да, но из певчих какой?

— Не знаю. Какой же?

— Я не могу вам сказать, у нас в школе правило, если знаешь, не говорить. Убейте его и определите сами.

— Но, дорогой,— прошу я,— сделайте для меня исключение, я терпеть не могу убивать птиц просто из любопытства и особенно во время пения, я понимаю песню природы прежде всего как песню и потом уже исследую как феномен. Помогите мне просто по-приятельски.

Он одумался и сказал:

— Это поет дрозд-белобровик.

Нет, я ничего не вижу худого в ребятах, в их годы я был гораздо хуже, и я был у родителей, и мне, если было плохо, давали иногда для успокоения бром, а эти беспризорные были дети улицы и когда-то, может быть, нюхали кокаин. Палкин нюхал наверное.

ХУДОЙ ЗЯТЬ

После теплой ночи солнце встало сразу жарко и в полной тишине. По-прежнему озеро наше лежит разделенное: на севере — живая вода, у нас — злой зеленый с белыми взрывами лед.

Вскоре после восхода потянул, постепенно усиливаясь, ветер с юга, и к полудню послышался крик:

— Пошел, пошел, поехал!

— Кто поехал? — спросил я в окно.

— Худой зять,— ответил Иван Акимыч.

Мы поняли, что это лед погнало от нашего берега к обрыву Гремячей горы.

В это время «худой зять» был уже далеко, зажатые льдами рыбаки после двух суток жизни на берегу, где-то в Урёве, радостно всем флотом возвращались домой, а у нас плескалась живая голубая вода. К берегу сходились рыбаки с острогами, тысячи чаек слетались на голубое, и все почему-то в одну точку, так что недалеко от нашего берега складывался на голубом белый остров, и как-то это бывает, что голубая вода казалась выше уровня линии города и все-таки не заливала. Вдруг весь белый остров рассыпался чайками, и голубой сказкой через белые крылья из-под воды выглянул светлый русский город.

Глядя на сияющий Китеж, обвеянный крыльями чаек, я вспомнил, что натуралисты сегодня делают в музее свой доклад о чайках, и дети мне говорили, что будто бы они интересовались, сколько стоит выстрел из ружья, и высчитывали, не выгоднее ли будет перестрелять чаек и уничтожить вредную птицу.

В музей соберется вся наша молодежь, охотники,— что, если в самом деле возьмут и уничтожат эту красоту?

Я спустился к самому озеру и спросил одного старого рыбака, правда ли, что рыболовка — вредная птица.

Рыбак ответил:

— Вредная птица... Кто вам сказал? Посмотри, сколько раз она к воде падает и все пустая, у нее это как-то плохо выходит. А подымись на берег и увидишь: вся чайка там ходит за пахарем. Было то же раз на охоте: приехали гости из Москвы, стали разбирать, что полезно, что вредно. Услыхали, дятел долбит, и говорят: «Сколько дятел вреда приносит дереву!» А у нас тут был свой ученый человек, доктор, хороший человек, разыскал то дерево и спрашивает: «Отчего это дерево подсыхает?» Они отвечают: «Червяк точит».— «Ну вот,— говорит наш человек,— а дятел этого червя достает, он не враг дереву, а доктор». Так вот и ты, иди, иди наверх, посмотри, сколько чаек ходит за пахарем.

ПОЯВЛЕНИЕ СМОРЧКОВ

Сегодня теплое утро с сильной росой. После обеда брызнул дождик «из облака», а потом пролился и сильный, в опровержение распространенного мнения, будто если утром сильная роса, то непременно день сложится ведряный.

Озеро еще не вошло в свои берега. В шоколадных лесах, кажется, зеленеют кроны каких-то деревьев, но это не деревья распустились, а через неодетый лес просвечиваются зеленеющие лужайки. По берегу озера бегает, ноги мочит, в черной косыночке и в черном переднике, белощекая трясогузка. Качается кулик. Из желтой прошлогодней травы торчит хохолок чибиса. Плавает кряковой селезень с утицей.

Тракт, рассекающий лес, погибает, в весеннее время по нему уже больше не ездят. Если так будет дальше оставаться, скоро лес вовсе поглотит дорогу со всеми телеграфными столбами. Некоторые колеи так глубоки, что в дождливые дни обращаются в русла потоков и от этого каждый раз, конечно, еще глубинеют. В другие колеи высокие деревья сверху набросали свои семена, и то, что было раньше следом телеги, теперь превратилось в аллею из самых разнообразных деревьев. Между молодыми деревьями трава, цветы,— нигде я не встречал так много анемон и фиалок. Но чудесна тут белая, выбитая человеческими ногами тропа; теперь она вьется среди бесчисленных, раскрывающих почки кустарников черемухи, орешников и молодых берез. Порхает бабочка-лимонница. Сколько великого счастья — пройти по такой тропе! Удивляюсь, что знакомые здоровые люди уехали в Крым.

Сильно парит от земли. Пашут под яровое. Самое время роста сморчков-овсяников. В лесу сыро, идешь — нога чавкает: поцелуи без конца. Выходишь на полянку — поцелуи перестали. Вот старый березовый пень, и на нем растет маленькая бойкая елочка. Возле этого пня желанные сморчки. Берешь их, а зяблик так и рассыпается. Я счастлив исполнением своих желаний. Я не ехал в Крым, я терпеливо пережидал суровое время и вот получаю награду. Крым сам приехал ко мне.

ЕЛКИ ЗЕЛЕНЫЕ

В музее натуралисты с первых слов заявили, что едва ли могут к нам приехать из Москвы для руководства вполне подготовленные сотрудники, но что на месте, по их наблюдениям, вполне достаточно живых сил, чтобы взяться за дело немедленно.

Первым докладывал Палкин о том, что изучать нужно только самое полезное, потому что в стране большая разруха, и теперь никак нельзя допустить, например, такую роскошь, как измерение зрачков серой жабы. Натуралисты должны изучать прежде всего народное хозяйство и материализм.

Один из лучших наших юных краеведов при слове «материализм» не удержался и выпалил:

— А ежели изучать бескорыстно?

— Елки зеленые! — воскликнул Палкин.— Материализм не есть корысть, материализм, это — откуда что пошло и так далее. Понимаешь?

— Понимаю, но как же нам это изучать без руководителя?

— А разум? Разум — это вам не фунт изюму, возьмитесь разумно работать по нашему исследовательскому методу, и вы увидите, что двадцать юннатов могут заменить одного профессора.

Эта несколько рискованная трактовка общей мысли о количестве, переходящем в качество, вызвала глухой ропот среди юннатов, и был один голос:

— Это смотря какого профессора.

Палкин с этим согласился, считая, что не в этом дело, а, главное, надо бороться с расхлябанностью и помнить, что продуктивность нашей работы зависит от нашей связи с государственными заданиями, и поэтому увязка должна быть поставлена на первом месте.

После общего выступления председатель показал пример, как нужно пользоваться исследовательским методом.

— Возьмем,— сказал он,— тему: чайка. Начинайте исследование чайки, ни в каком случае не читая никакой книги о чайках, пользуйтесь книгой только после, как справочником. И прежде всего сделай-

те подсчет всех чаек; тут-то вы и увидите выгоду нашего коллективного метода: в одиночку такой подсчет сделать невозможно; если же вы соберете все школы, в определенный день и час распределитесь по всем прудам и берегам озера, то сделаете это очень легко...

После того узнается, сколько рыбы поглощают все чайки на озере, и затем, сколько все чайки могут дать пуха. Польза от чайки — пух; вред — поглощение рыбы,— что же преобладает? А если окажется, что от чайки вред, то нужно побороть предрассудки населения и поголовно истребить всех чаек. Но даже при уничтожении не надо упускать хозяйственного принципа и высчитать, во что обойдется стрельба и стоит ли того пух...

На этом опасном месте я дружески сказал председателю, что, из опасения, как бы охотничий темперамент наших юных краеведов не преодолел в них исследователя чаек, не мешало бы рассказать об относительности понятия *хищник,* например, лисица...

Председатель с большой охотой рассказал, что лисица, конечно, хищник, уничтожает кур, но в то же время она уничтожает на поле мышей, и польза от этого гораздо большая, чем вред от уничтожения кур, так что лисица хотя и хищник, но полезный.

А чайка тоже уничтожает насекомых, и тоже может оказаться очень полезной.

После такой подготовки сочувствие к чайкам у всех очень возросло, и можно было как-то незаметно ввернуть, что, прежде чем предпринимать сложную работу исследования пользы или вреда от чаек, хорошо бы справиться в научной литературе,— может быть, окажется этот вопрос о чайках давно решенным. Но главное и нужное пришло под самый конец. Оказалось, что натуралисты прекрасно умеют препарировать птиц, и нам было чему от них поучиться. Еще у них были с собой кольца из алюминия для того, чтобы надевать их перелетным птицам на лапки и отпускать лететь, куда им положено, и там, где-нибудь в Новой Гвинее, их ловят, мы же ловим их птиц, и так люди узнают воздушные пути птиц, и по этим путям узнают многое из жизни нашей планеты.

ВЕСНА ЛЕСА

ВСКРЫТИЕ ОЗЕР

В истории земли жизнь озер очень кратковременна: так вот, было когда-то прекрасное озеро Берендеево, где родилась сказка о Берендее, а теперь это озеро умерло и стало болотом. Плещеево озеро еще очень молодо и как будто не только не замывается и не зарастает, а все молодеет. В этом озере много сильных родников, много в него вливается из лесов потоков, а по реке Трубежу вместе с остатками воды Берендеева озера перекатывается и сказка о берендеях.

Ученые говорят разное о жизни озер; я не специалист в этом, не могу разобраться в их догадках, но ведь и моя жизнь тоже, как озеро: я непременно умру, и озера, и моря, и планета — все умрет. Спорить, кажется, не о чем, но откуда же при мысли о смерти встает нелепый вопрос: «Как же быть?»

Думаю, это, наверно, оттого, что жизнь больше науки. Невозможно жить с одной унылой мыслью о смерти, и свое чувство жизни люди выражают только сказкой или смешком: «Все люди смертны, я — человек, но это ничего не значит, все умрут, а я-то как-нибудь проскочу». Эти жалкие смешки отдельных людей перед неизбежностью конца простые берендеи сметают своим великим рабочим законом: помирать собирайся, а рожь сей.

Напор жизни безмерно сильнее логики, а потому науки не надо бояться. Я не молод, вечно занят, чтобы кувшин мой был полон водой, и знаю, что когда он полон — все мысли о смерти пусты. Мало ли что будет когда-то, а самовар по утрам все-таки я ставлю с большим удовольствием, мой самовар, отслуживший мне долгое время от первой встречи и до серебряной свадьбы моей с Берендеевной.

Только в самое светлое время утренний свет встает раньше меня, но и то я все-таки встаю непременно до солнца, когда даже обыкновенные полевые и лесные берендеи не встали. Опрокинув самовар над лоханкой, я вытрясаю из него золу вчерашнего дня, наливаю водой из Гремячего ключа, зажигаю лучину и

ставлю непременно на воле, прислонив трубу к стене дворца, на черном ходу. Тут на верхней площадке, пока вскипает самовар, я приготовляю на столе два прибора. Когда поспеет, я в последний раз обдуваю частицы угля, завариваю чай, сажусь за стол — и с этого момента не я, обыкновенный озабоченный человек, сижу за столом, а сам Берендей, оглядывая все свое прекрасное озеро, встречает восход солнца.

Вскоре приходит к чаю Берендеевна и, оглядев, все ли в порядке у самого, велит:

— Опять бородищу запустил, страшно смотреть, оботри усы.

Она пробирает Берендея, и всегда на *вы,* так равняя его с ребятами, и Берендей с удовольствием ей подчиняется. Среднее отношение к женщине, называемое словом *жена,* у Берендея уже прошло, и жена ему стала как мать, и собственные дети — как братья-охотники. Придет, может быть, время, и Берендеевна станет ему женой-бабушкой, внучата — новыми братьями,— младенцем пришел, младенцем уйдешь, как и в озерах; одни потоки вливаются, другие истекают, и если ты бережешь кувшин полным, то жизнь бесконечная...

Мало-помалу сходятся из леса берендеи: кто принес петуха, кто яиц, кто домотканные сукна и кружева, Берендеевна все внимательно осматривает и, бывает, что-нибудь покупает, сам же Берендей выспрашивает всех, кто где живет, чем занимается, какая у них земля, вода, лес, как гуляют на праздниках, какие поют песенки.

Сегодня был один берендей из Половецкой волости и рассказывал, что у них там в болотных лесах есть дорога на три версты, бревнышко к бревнышку, и очень звал к себе в гости посмотреть и подивиться *деланой дороге.* Другой берендей, из Ведомши, дегтярник, долго рассказывал, как он огромный пень разбирает на маленькие кусочки, как гонит чистый деготь, варит смолу и скипидар. Третий был из Заладьева.

— Что это значит такое,— спросил Берендей,— как это понять: за-ладье?

— А у нас там бежит речка, мы за речкой живем, речка же называется Лада.

— Речка Лада, как хорошо! — восхищается сам Берендей.

— Да,— соглашается довольный гость,— ведь у нас за Ладой пойдут все гладкие роскоси и по Утехину-врагу и все добрые села: Дудень, Перегудка, Хороброво, Щеголеново и Домоседка.

— У нас же,— сказал берендей-залешанин из Ведомши,— только пень, смола, муха разная, комар, и села недобрые: Чортоклыгино, Леший Роскос, Идоловы Порты, Крамолиха, Глумцы.

Реки, речки, потоки, родники, какие-то веточки, лапки и даже просто потные места — все Залесье светится этим капризным узором. И все это загадывает оплавать сам Берендей, когда совершенно освободится от льда Плещеево озеро.

Когда солнце перелиняло всеми своими начальными заревыми красками и стало на свою обычную золотую работу, расходятся берендеи, и сам Берендей исчезает.

Тогда я завешиваю от солнца окна своей рабочей комнаты и принимаюсь за свою работу.

Почему-то сегодня я не могу ничего делать, все как-то путается. Прекрасными умными глазами смотрит на меня из угла рыжий пес Ярик, угадывая, что долго мне не просидеть. Этих взглядов я не могу выдержать и начинаю с ним философский разговор о звере и человеке, что зверь знает все, но не может сказать, а человек может сказать, но не знает всего.

— Милый Ярик, один великий мудрец сказал, что с последним зверем исчезнут на земле все тайны. Вот на улицах в Париже уже исчезли лошади, и говорят, что так скучно стало с одними автомобилями. А посмотри, сколько у нас в Москве лошадей, сколько птиц на бульварах, говорят, нет такого города в мире, где было бы на улицах столько птиц... Ярик, давай с тобой устроим на Ботике Берендееву биостанцию, чтобы вокруг верст на двадцать пять остались бы неприкосновенными все леса, все птицы, все звери, все родники Берендея. На Гремячей горе пусть будет высшая школа, и в нее будут допускаться толь-

ко немногие, доказавшие особенную силу своего творчества, и то на короткое время, для подготовки большого праздника жизни, в котором все участники радовались бы, непременно прибавляя от себя что-нибудь к Берендееву миру, а не засоряя его бумажками от бутербродов.

Я бы так еще долго разговаривал с Яриком, но вдруг Берендеевна крикнула:

— Иди, иди скорее, посмотри, какое озеро!

Я выбежал и увидел такое, что второй раз уже невозможно было увидеть, потому что в этот раз озеро отдало мне все свое лучшее и я свое лучшее отдал озеру. Весь небесный свод со своими градами и весями, лугами и пропилеями и простыми белыми барашками почивал там, в зеркальном озере, гостил так близко у нас, у людей...

И я вспомнил то мое весеннее время, когда она мне сказала: «Ты взял мое самое лучшее». Вспомнил и то, что она же сказала мне осенью, когда солнце нас покидало, как тогда я рассердился на солнце, купил самую большую тридцатилинейную лампу «молнию» и повернул всю жизнь по-своему...

Что вышло из этого?

Мы долго молчали, но один гость наш не осилил молчания и нелепо сказал, только чтобы сказать:

— Видите, там утка чернеется.

Глубоко вздохнула Берендеевна и тоже сказала:

— Если бы я была прежняя, девочкой, да увидела такое озеро, я бы на коленки стала...

То был великий день весны, когда все вдруг объясняется, из-за чего мы переносили столько пасмурных, морозных, ветреных дней: все это было необходимо для творчества этого дня...

РЕБЯТА И УТЯТА

Маленькая дикая уточка чирок-свистунок решилась наконец-то перевести своих утят из леса, в обход деревни, в озеро, на свободу. Весной озеро далеко разливалось, и прочное место для гнезда можно было найти только версты за три, на кочке в болотном лесу. А когда вода спала, пришлось все три версты

путешествовать к озеру. В местах, не закрытых от глаза человека, лисицы и ястреба, мать шла позади, чтобы не выпускать утят ни на минуту из вида. И около кузницы, при переходе через дорогу, она, конечно, пустила их впереди. Вот тут их увидели ребята и зашвыряли шапками. Все время, пока они ловили утят, мать бегала за ними с раскрытым клювом или перелетывала в разные стороны на несколько шагов в величайшем волнении. Ребята только было собрались сбить шапками мать и поймать ее, как утят, но тут я подошел, осчастливленный удачной натаской и мыслью о великой творческой силе чувства свободы для каждого живого существа.

— Что вы будете делать с утятами? — спросил я строго ребят.

Они струсили и ответили:

— Пустим.

— Вот то-то «пустим»! — сказал я очень сердито.— Зачем вам надо было их ловить? Где теперь мать?

— А вон сидит! — хором ответили ребята.

И указали мне на близкий холмик парового поля, где уточка действительно сидела с раскрытым от волнения ртом.

— Живо! — приказал я ребятам.— Идите и возвратите ей всех утят!

Они как будто даже и обрадовались моему приказанию, прямо и побежали с утятами на холм. Мать отлетела немного и, когда ребята ушли, бросилась спасать своих сыновей и дочерей. По-своему она им что-то быстро сказала и побежала к овсяному полю. За ней побежали утята, пять штук. И так по овсяному полю, в обход деревни, семья продолжала свое путешествие к озеру.

Радостно снял я шляпу и, помахав ею, крикнул:

— Счастливый путь, утята!

Ребята надо мной засмеялись.

— Что вы смеетесь, глупыши? — сказал я ребятам.— Думаете, так-то легко попасть утятам в озеро? Вот погодите, дождетесь экзамена в вуз... Снимайте живо все шапки, кричите: «До свидания!»





И те же самые шапки, запыленные на дороге при ловле утят, поднялись в воздух, все разом закричали ребята:

— До свидания, утята!

ПЕРВОЕ КУКОВАНИЕ

Что же другое можно было придумать, увидев открытое озеро: не теряя времени даром, идти краем воды в лес и дальше в глубину леса, в село Усолье, где работают лодочные мастера.

На пути нашем все было так, будто уже и устроился тот заповедник, о котором я разговаривал с Яриком.

Направо от нас у самого озера шумел высокий бор, налево был дикий невылазный болотный лес, переходящий в огромные болотные пространства. В бору на солнечных пятнах по брусничнику нам стали показываться какие-то движущиеся тени, и, подняв голову вверх, я догадался, что это там неслышно от сосны к сосне перелетают коршуны.

— Все как-то холодно было, а вчера вдруг все и пошло,— сказал нам лесник.

— Заря все-таки,— ответил я,— была довольно холодная.

— Зато сегодня утром-то как сильно птица *гремела!*

В это время раздался крик, и мы едва могли в нем узнать первое кукование: оно гремело и сплывалось в бору. И даже зяблики, маленькие птички, не пели, а гремели. Весь бор гремел, и неслышные, различимые только по теням на солнечных пятнах по брусничнику, перелетали с кроны на крону большие хищники.

ПЕРВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ

К вечеру солнце было чисто на западе, но с другой стороны погромыхивали тучи, сильно парило, и трудно было угадать, обойдется или нет без грозы в эту ночь. На пару́ во множестве цветут львиные зевы синие, в лесу заячья капуста и душистый горошек. Бе-

резовый лист, пропитанный ароматной смолой, сверкал в вечерних лучах. Везде пахло черемухой. Гомонили пастухи и журавли. Лещ и карась подошли к берегу.

Увидев в нашей стороне большое зарево, мы струхнули: «Не у нас ли это пожар?» Но это был не пожар, и мы себя спросили, как всегда спрашиваешь всю жизнь, видя это и не узнавая опять: «А если не пожар, то что же это может быть такое?» Когда, наконец, ясно обозначилась окружность большого диска, мы догадались: это месяц такой. За озером долго сверкала зарница. В лиственном лесу от легкого ветра впервые был слышен зеленый шум.

ПЕРВЫЙ СОЛОВЕЙ

При выезде из реки в озеро, в этом *урёве,* в лозиновых кустах вдруг рявкнул водяной бык, эта большая серая птица выпь, ревущая как животное, с телом, по крайней мере, гиппопотама. Озеро опять было совершенно тихое и вода чистая — оттого, что за день ветерок успел уже все эти воды умыть. Малейший звук на воде был далеко слышен.

Водяной бык вбирал в себя воду, это было отчетливо слышно, и потом «ух!» на всю тишину ревом, раз, два и три; помолчит минут десять и опять «ух»; бывает до трех раз, до четырех — больше шести мы не слыхали.

Напуганный рассказом в Усолье, как один рыбак носился по озеру, обняв дно своей перевернутой волнами вверх дном долбленки, я правил вдоль тени берега, и мне казалось — там пел соловей. Где-то далеко, засыпая, прогомонили журавли, и малейший звук на озере был слышен у нас на лодке: там посвистывали свиязи, у чернетей была война, и потом был общий гомон всех утиных пород, где-то совсем близко топтал и душил свою самку кряковой селезень. Там и тут, как обманчивые вехи, вскакивали на воде шеи гагар и нырков. Показалось на розовом всплеске воды белое брюхо малой щуки и черная голова схватившей ее большой.

Потом все небо покрылось облаками, я не находил ни одной точки, чтобы верно держаться, и правил куда-то все влево, едва различая темнеющий берег. Каждый раз, как ухал водяной бык, мы принимались считать, дивясь этому звуку и загадывая, сколько раз ухнет. Было удивительно слышать эти звуки очень отчетливо за две версты, потом за три, и так все время не прекращалось и за семь верст, когда уже слышалось отчетливо пение бесчисленных соловьев Гремячей горы.

МАЙСКИЕ ЖУКИ

Еще не отцвела черемуха и ранние ивы еще не совсем рассеяли свои семена, а уж и рябина цветет, и яблоня, и желтая акация,— все догоняет друг друга, все разом цветет этой весной.

Начался массовый вылет майских жуков.

Тихое озеро по раннему утру все засыпано семенами цветущих деревьев и трав. Я плыву, и след моей лодки далеко виден, как дорога по озеру. Там, где утка сидела,— кружок, где рыба голову показала из воды,— дырочка.

Лес и вода обнялись.

Я вышел на берег насладиться ароматом смолистых листьев. Лежала большая сосна, очищенная от сучьев до самой вершины, и сучья тут же валялись, на них еще лежали сучья осины и ольхи с повялыми листьями, и все это вместе, все эти поврежденные члены деревьев, тлея, издавали приятнейший аромат на диво животным тварям, не понимающим, как можно жить и даже умирать, благоухая.

ИВОЛГИ

Свечи на соснах стали далеко заметны. Рожь в коленах. Роскошно одеты деревья, высокие травы, цветы. Птицы ранней весны замирают: самцы, линяя, забились в крепкие места, самки говеют на гнездах. Звери заняты поиском пищи для молодых. У крестьян всего не хватает: весенняя страда, посев, пахота.

Прилетели иволги, перепела, стрижи, береговые ласточки. После ночного дождя утром был густой туман, потом солнечный день, свежевато. Перед закатом потянуло обратно, с нашей горы на озеро, но рябь по-прежнему долго бежала сюда. Солнце садилось из-за синей тучи в лес большим несветящим лохматым шаром.

Иволги очень любят переменную, неспокойную погоду: им нужно, чтобы солнце то закрывалось, то открывалось и ветер бы играл листвой, как волнами. Иволги, ласточки, чайки, стрижи с ветром в родстве.

Темно было с утра. Потом душно, и сюда пошла на нас большая туча. Поднялся ветер, и под флейту иволги и визг стрижей туча свалилась, казалось, совсем куда-то в Зазерье, в леса, но скоро там усилилась и против нашего ветра пошла сюда, черная, в огромной белой шапке. Смутилось озеро: ветер на ветер, волна на волну, и черные пятна, как тени крыльев, быстро мчались по озеру из конца в конец. Молния распахнула тот берег, гром ударил. Иволга петь перестала, унялись стрижи. А соловей пел до самого конца, пока, наверно, его по затылку не ударила громадная теплая капля. И полилось как из ведра.

СТРИЖИ

После грозы вдруг стало очень холодно, начался сильный северный ветер. Стрижи и береговые ласточки не летят, а сыплются откуда-то массой.

Этот непрерывный днем и ночью ветер, а сегодня при полном сиянии солнца вечно бегущие волны с белыми гребнями и неустанно снующие тучи стрижей, ласточек береговых, деревенских и городских, а там летят из Гремяча все чайки разом, как в хорошей сказке птицы, только не синие, а белые на синем... Белые птицы, синее небо, белые гребни волн, черные ласточки,— и у всех одно дело, разделенное надвое: самому съесть и претерпеть чужое съедение. Мошки роятся и падают в воду, рыба подымается за мошками, чайки за рыбой, пескарь на червя, окунь на пескаря, на окуня щука и на щуку сверху скопа.

По строгой заре, когда ветер немного поунялся, мы поставили парус и краем ветра пошли по огненному литью волн. Совсем близко от нас скопа бросилась сверху на щуку, но ошиблась; щука была больше, сильнее скопы, после короткой борьбы щука стала опускаться в воду, скопа взмахнула огромными крыльями, но вонзенные в щуку лапы не освободились, и водяной хищник утянул в глубину воздушного. Волны равнодушно понесли перышки птицы и смыли следы борьбы.

На глубине, где волны вздымались очень высоко, плыл челнок без человека, без весел и паруса. Один челнок, без человека, был такой жуткий, как лошадь, когда мчит телегу без хозяина прямо в овраг. Было нам опасно в нашей душегубке, но мы все-таки решили ехать туда, узнать, в чем же дело, не случилась ли какая беда, как вдруг со дна челнока поднялся невидимый нам хозяин, взял весло и повел челнок против волн.

Мы чуть не вскрикнули от радости, что в этом мире появился человек, и хотя мы знали, что это просто изморенный рыбак уснул в челноке, но не все ли равно: нам хотелось видеть, как выступит человек, и мы это видели.

ГЛАЗА ЗЕМЛИ

К самому вечеру так стихло, что листок на березе не шевелился. Под Гремячей горой на дороге все куда-то идет и едет народ. На боковой песчаной тропинке я видел следок малюсенькой детской ножки-лапки, такой милый, что не будь смешно на людях,— поцеловал бы...

Едут люди внизу по дороге, переговариваются на подводах, и слова их, ударяясь о тихую воду, все ясно летят на Гремячую гору. Почти с каждой подводой бежит жеребенок. Крестьянские слова были о том, что картошку посадили, что у какого-то Дмитрия Павлова померла жена и что ему до шести недель не пришлось дождаться, женился и никак иначе нельзя — шесть человек детей. А Марья вышла за Якова Григорьева, ей сорок, ему шестьдесят, у нее же,

у Марьи, телушка. На задней подводе не расслышали, что такое было у Марьи, и через весь обоз полетело: те-луш-ка...

И вот до чего, наконец, стихло, что с урёва за семь верст было явственно слышно, как ревел водяной бык.

А когда потом деревенская женщина с мальчиком вышла к озеру полоскать белье, и мальчик, подняв рубашонку, хотел помочиться в воду, то слова женщины у воды были так отчетливы, будто она сказала возле нас. Она сказала своему мальчику:

— Что ты, бессовестный, делаешь, в глаза матери...

Значит, она думала, что озеро, это — глаза матери-земли?

Как всегда в таких случаях, я спросил Берендеевну, что она думает об этом.

— Конечно, земли,— сказала она,— а потом это же и на человека переводят: если у женщины заболят глаза, то в деревне скажут, что, наверно, это ее ребенок помочился в воду.

Так у берендеев распадается древний культ: поэтическое воззрение о глазах матери-земли переходит в культуру всего человечества, а у самих остается лишь суеверие.

Невозможно было этой ароматной ночью уснуть, всю ночь глаза матери-земли не закрывались.

ТАЙНЫ ЗЕМЛИ

Лучший вид на Плещеево озеро — с высоты Яриловой плеши Александровой горы, вблизи которой некогда стоял город Клещин. В то время и озеро называлось *Клещино.* Князь Юрий Долгорукий перенес Клещин в болото, в устье реки Трубежа, и этот *город перенял славу* у старого Клещина. Постройка города началась с церкви, которая до сих пор сохранилась и в истории искусства занимает почетное место как памятник XII века. С тех пор вокруг этого старого собора наросло столько церквей и монастырей, что с небольшими перерывами здесь можно, изучая памятники, век за веком представить себе почти всю

русскую историю. Мне теперь, когда озеро открылось, часто приходится ездить с Ботика по озеру в Трубеж рыбацкой слободой, в центр города на базар за провизией. Дети гребут, я правлю и думаю о памятниках старины. Иногда это бывает очень приятно, но я не люблю того маленького насилия над собой, чтобы войти в чужую эпоху, и даже замечал, что иногда с ненавистью смотрю на эти неподвижные памятники, перемешанные с памятниками величайшего безвкусия, и тут, бывает, где-нибудь возле ветхого домишка сидит на лавочке и грызет семечки с матушкой осоловелый от скуки служитель культа. Но я перемогаю капризы настроения и каждый раз при поездке за провизией на базар расспрашиваю рыбаков о той церкви, другой и о попах. Так однажды я беседовал с рыбаками об одной запустелой церкви, потом о лодке усольского типа и купанского, что вот на моей легкой усольской лодке опасно выезжать на середину озера, а хотелось бы поплавать под парусом по середине. Тогда рыбаки вдруг все согласно сказали мне:

— Поезжайте на *попе*.

И тут оказалось, что та забитая церковь окончилась в своем действии очень недавно: сначала ушел дьякон и служил один поп Филя — и очень даже довольный, что дьякон ушел.

А когда и дьячок ушел и сторож, поп Филя пел за дьячка и за сторожа церковь мел, и сам звонил — и был еще довольнее. Так вел он свое дело весело до самого последнего прихожанина и, только уж когда все прихожане отказались, кончил служить и занялся озерной жизнью,— возит из леса в город дрова, людей.

— На попе вам проехаться самое удобное,— сказали рыбаки,— и куда хотите повезет, хоть на Волгу, хоть в Астрахань: сила громадная, и человек очень веселый и хороший.

С тех пор ни одной поездки моей с провизией не проходит, чтобы кто-нибудь не рассказал мне о попе: то, как он раз служил с архиереем за три рубля и, когда проходил с крестным ходом по базару и заметил у торговки каких-то необыкновенно больших оку-

ней, забыл про ход и занялся окунями и базаром до того, что упустил ход из виду и в полном облачении потом, вспомнив, бегом догонял. То рассказывали, как он работает на пожарах и какое множество людей вытащил из огня. Теперь же полюбил озеро и так пристал к этому, что вот недавно давали ему где-то в уезде очень богатый приход, и он отказался, а семья живет в бедности, матушка работает на фабрике.

Мало-помалу я так заинтересовался попом, что всех стал расспрашивать, и один умный юрист сказал, что раз на суде поп защищал рыбаков — и с такой силой и проникновением в рыбацкую душу, как никто бы не мог сделать, и вообще он замечательно интересный человек, но только не признает никаких норм.

— А что он — верущий? — спросил я.

— Скажите, что значит верующий? — ответил историк.— Он очень честный, прямолинейный, как оглобля, упрямый и верный, но у него совсем нет интеллекта. Что делать? Одному дается одно, другому другое, попу дана страшная сила, и ему за шестьдесят лет, а сила не убывает нисколько.

Странно, что я, столько наслышанный о попе, ни разу не вздумал прокатиться с ним по озеру и расспросить его о названиях ручьев, урочищ и связанных с ними легендах. Нужна была целая сложная сеть обстоятельств, чтобы познакомиться с ним и начать на его лодке большое путешествие.

ЭКСПЕДИЦИЯ НА ПОПЕ

Мы задумали с историком исследовать языческий обряд *«крапивное заговенье»* в одном довольно отдаленном селе: я мечтал этим языческим обрядом в момент наибольшего развития производительных сил природы закончить фенологические наблюдения этой весны. Идти туда мы хотели пешком большими болотами, и потому я заказал другому бедному попу, добывающему себе средства существования сапожным ремеслом, хорошие непромокаемые сапоги. Он согласился мне сделать сапоги, если только я сам с ним

вместе пойду и выберу товар. Мы пошли в одну частную кожевенную лавку, и когда прощупывали разные кожи, в лавку вошла какая-то рыбачка, поклонилась батюшке и спросила торговца, правда ли, что с церкви святой Варвары сняли колокол и продали.

— Вона хватилась,— сказал торговец,— сняли и увезли в Москву.

— В Москве много колоколов,— сказала рыбачка,— куда же он там?

Торговец незаметно подмигнул батюшке и ответил рыбачке:

— В Сандуновские бани.

— Будет брехать,— сказала рыбачка.

— Ну, вот еще, брехать,— ответил торговец.

Тогда рыбачка поверила и спросила, зачем нужен колокол в бане.

— Есть такое постановление,— ответил торговец,— чтобы в Москве в бани непременно по звону ходили.

Я тогда не обратил внимания на шутку торговца, желающего по-своему угодить служителю культа, но когда поехал за готовыми сапогами и побывал на базаре, то слышу — на базаре говорят:

— Варварин-то колокол в баню не пошел. Дроги разломал и сел на дороге: «Зачем, говорит, вы меня в баню продали, не пойду» — и не пошел. Стали его осматривать, и оказалось, что висел он на одном ухе, на малом, а большое ухо треснуто и что как на колокольне он висел с испокон веков, так бы все и висел, а в бане на малое ухо повесить невозможно. Московские говорят: «Нам эдакого не надо, берите назад», а в музее отвечают: «Вы бы в оба глядели, когда покупали, а мы деньги получили и знать ничего не хотим».

Услыхав такую историю, я иду в музей и тут узнаю, что колокол этот, как не имеющий никакой музейной ценности, действительно продан в одно село Московской губернии и правда, что по дороге он рухнул и большое ухо у него действительно оказалось треснутым, но спора никакого не было, и теперь, кажется, его уже везут дальше.

Мы посмеялись над этой чепухой, и я сказал, что недурно бы из этих колокольных средств рублей хотя бы десять взять для нашей экскурсии. Но оказалось, что взять можно другим путем и двадцать, и тогда уж и дальше проехать берегом Кубри: там где-то есть *Жданая* гора, а, по летописи, на Жданой горе была та самая битва суздальцев с новгородцами, которая вдруг обнаружила силы Суздальской земли, и с этого момента надо считать начало Великороссии. На Жданой горе, наверно, остались следы той битвы, и вот бы хорошо там покопать. Хорошо бы взять с собой для работы юных краеведов и фауниста Сергея Сергеича для исследования природы Кубри, потом есть у нас молодой художник, есть фотограф, есть ботаник, геолог...

Так все стало нарастать, нарастать, получилась экспедиция, одной подводы оказалось мало и двух мало, колокольные расходы выросли до пятидесяти рублей, и, когда пятидесяти рублей показалось мало, у Михаила Ивановича вдруг блеснула гениальная мысль. Явилась она, впрочем, не совсем из-за сокращения расходов, а потому, что весь этот путь был древнейший водный путь отдаленнейших от наших времен народов, оставивших на берегах рек неолитические стоянки, городища, курганы.

— Мы едем все вместе на большой лодке! — сказал заведующий.

И вслед за этим:

— Едем на попе!

С этого момента мы стали готовиться к экспедиции, и у кого как, а у меня мысль об экспедиции каким-то образом связалась нераздельно с необыкновенным попом.

ХОД ОКУНЕЙ

Назови мы свою поездку в глубину Переславльского уезда просто экскурсией, то едва ли удалось бы заманить с собою молодежь: экскурсия, с тех пор как вошла в курс, перестала иметь обаяние, но мы назвали поездку на *попе* экспедицией, и к нам примкнули не только младшие следопыты, а еще и несколько

студентов, которых мы в отличие от следопытов назвали «робинзонами». Следопыты чертят карты, учатся под руководством старших, как измерять высоты барометром, как вычислять скорость течения, набивать чучела птиц, кольцевать. Робинзонов влечет чисто приключенческое чувство, и занимаются они больше хозяйственной частью. Петя отдался влиянию робинзонов и принялся лески сучить. Он задумал снабжать экспедицию рыбой и хочет испробовать незнакомое ему ужение на большой глубине. Сегодня с утра шел дождь, а когда разъяснело, на озере показались четыре лодочки, издали маленькие, как мухи, и стали против Надгорода на якоря. Петя тоже поехал удить и стал недалеко от них, пятой мухой. Скоро солнце скрылось, и в Зазерье вода стала серебряной, а у нас — как сталь. Подул ветер, все почернело. Явилась огромная туча, исчезли все полоски серебра, и везде был чугун с белым взваром. Лодочки в чугунных волнах то покажутся, то спрячутся. Полил дождь как из ведра, и все скрылось.

Я терпеливо стоял на Гремячей горе под деревом в ожидании света, и когда перестал дождь и снова прояснело, одна за одной показались и лодочки. Я успокоился, вернулся домой и сказал: «Целы!» И так за день раз пять принимался дождь, лодочки то исчезали, то показывались. Вечером явился Петя, насквозь мокрый, и мы ели уху из окуней.

РОБИНЗОНЫ

Через каждые три дня мы собираемся и обсуждаем будущую нашу экспедицию. У каждого специалиста есть своя тема, у меня одного нет темы. Я пользуюсь для изображения края своей врожденной способностью объединять пережитое, впечатления от жизни, от прочитанного и представлять все в лице, которое в повестях называется *героем*. В конце концов этот *герой* берется из самого себя, из своих собственных мыслей и чувств. Но вместо того чтобы отдавать свои мысли и чувства вымышленному лицу, я отдаю их тому краю, который меня интересует, и так получается край, как живое существо. Я полагаю, что

этот простой прием не изменит мне и теперь и, описывая моменты встречи моей с краем, я получу картину, которую невозможно получить, складывая вместе работы ученых, исследующих край в области своей специальности. И потому я свое место в экспедиции занимаю по праву наравне с учеными специалистами.

Пока мы обсуждаем свои темы, все юные краеведы — и робинзоны и следопыты — молчат, но как только сегодня начал обсуждаться вопрос о снаряжении, робинзоны вдруг взяли решительный верх над старшими. Прежде всего оказалось, что большая озерная лодка отца Филимона, если мы, пятнадцать человек, сядем в нее и нагрузим вещи, не пройдет на мелких местах и потому вместо нее надо взять четыре легкие речные лодочки. Но тут выходило, что если могучий поп не поедет с нами, то грести придется самим, а тогда едва ли можно будет сделать что-нибудь для науки. После долгих дебатов решаем лодку отца Филимона взять, но посадить в нее не больше семи человек, остальных же распределить на двух легких речных лодках. И тут стал вопрос о веслах: рыбацкими веслами нам без привычки грести долго невозможно — надо непременно сделать весла размашные. Михаил Иванович предложил для этого колокольные средства, но студенты отвергли этот расход и, с малолетства привыкшие к озерной жизни, решили: доехав до леса, свалить сосну и сделать весла самим. Разговора о палатках, инструментах было мало: барометр, анемометр, термометры, драга, энтомологические приборы, ружья — все нашлось.

Но вот вопрос: можно ли в закрытое время ловить бреднем рыбу? Ответ студентов: «А кто же нам будет указывать среди безлюдных болот?» Другой вопрос: в закрытое для охоты время можно ли убить для еды линялого селезня или тетерева? Робинзоны ответили, что при нужде можно и деревенского барана убить, а не то что дикого селезня. Под конец решили не тратить средств на котел, а на всю братию взять просто две лошадиных бадьи.

Мы, старшие, переглянулись, и кто-то сказал:

— Весело будет.

ОТЪЕЗД ЭКСПЕДИЦИИ

Со всеми следопытами и одним робинзоном на своей лодке я выеду прямо с Ботика, и на Урёве мы все съедемся. Поля ходила в рыбацкую слободу за сапогами и рассказывала потом нам ужасную сцену: два делегата от робинзонов приходили к отцу Филимону, чтобы приделать к его лодке кулаки для размашных весел, но отец не только не дал им портить свою лодку, а даже после спора будто бы наотрез отказался ехать с экспедицией.

Мои следопыты заснули в большой тревоге, им представляется, что если не придется ехать на *попе,* то мало будет занятного. Так поп, еще не виданный нами, вошел в состав экспедиции каким-то сказочным существом.

Пыльца цветущих деревьев, луговых трав и древесного пуха покрыла тонким слоем всю поверхность воды, и от этого ранним утром озеро было как неумытое. Наша лодка оставляет неисчезающий след и — то же птицы, и когда рыба взметнется, даже от нее остается кружок.

Солнце нам посылает на озеро все лучи, и с Александровой горы на озеро смотрится Ярилова плешь: хорошее предзнаменование, ведь, с моей точки зрения, главная цель экспедиции — исследовать остатки еще живого культа древнего бога плодородия Ярилы.

В утренней белой вуали озеро лежит совершенно тихое, и далекая лодочка на нем движется, как муха по простыне. Не это ли едет отец Филимон? Нет: мала лодочка, и главное, что одна,— наших лодок должно быть непременно две.

Мы уже от Ботика проехали Куротень, весь Захап, когда на той стороне против Александровой горы ясно обозначилась на тихой воде большая поповская лодка и впереди нее с красным флагом шла малая лодка робинзонов. Ехали они самым краем: поп впритычку, робинзоны на размашных, значит — поп на своем настоял и не позволил прибить к лодке свои кулаки. Шли они очень быстро, и пока мы гонялись в тростниках за гагарой, вдруг оказались и мы и они на равном расстоянии от Урёва. Заметив это, на-

ши ребята принялись работать веслами, и очень скоро я, наконец, увидел знаменитого попа, работающего рулевым веслом своей длинной долбленой пироги. Он — высокий, сухой, в сером полукафтанье и соломенной шляпе. Борода неопределенного цвета, наверно, седеющая. Словом, поп как поп, а впереди красный флаг. На носу поповской лодки была навалена масса вещей, тут примостился фаунист Сергей Сергеич и уже размахивал, ловя насекомых, своим сачком. Михаил Иванович сидел посредине, как пчелиная матка. Впереди него работал усердно веслом, помогая попу, Борис Иванович, молодой художник, а на отдельной лавочке сидел какой-то ясный старичок с белой бородкой.

Мы съехались все на Урёве нос с носом и, выйдя на берег, узнали печальную новость, что геолог обманул нас, не приехал из Москвы и не привез заказанных ему пластинок для фотографии, ботаник тоже отказался, но зато всю эту беду покрыло радостное известие, что внезапно приехал всем известный археолог академик Спицын и будет раскапывать с нами курганы и стоянки первобытного человека: ясный старичок, значит, и был сам Спицын.

Я был особенно счастлив, потому что в жизни своей имел два серьезных пробела: не летал по воздуху и не рылся в земле с археологами, а тут вдруг так пришло, что прикоснусь к таинственным недрам земли через самого Спицына и, значит, удовлетворю свое желание сразу все целиком.

КАНАЛ КРАЕВЕДОВ

Как же назвать нам наши долбленые суда, которым выпала высокая честь совершить по Нерли и Кубре такое исключительно интересное плавание? Само собой определилось название для лодки, на которой поедут наши младшие краеведы,— «Следопыт», а для студенческой — «Робинзон», о третьей же лодке начался спор: одни хотели назвать ее «Попадья», другие «Матушка», третьи «Бадья».

— Бадья-то почему? — спросил поп Филя.

— А как же,— ответил один из робинзонов,— потому что поп попадью переделал на бадью.

Поп Филя стоял, опираясь на весло, высокий, сухой, и улыбался своими резкими, как сабельные удары, морщинами: ему было очень хорошо!

Михаил Иванович, однако, усмотрев в названии «Бадья» дурной намек на действительное положение матушки отца Филимона, предложил назвать его лодку «Фрегатом Палладой». В конце концов решили, что пусть судно будет называться своим естественным именем *«Матушка»*, но мы должны все так дружно работать, сделать все так прекрасно, чтобы после путешествия «Матушка» сама собой сделалась «Фрегатом Палладой».

В это время фаунист уже косил своим белым сачком по прибрежным растениям и, осмотрев попавшее в сачок, весь просиял: укос был необычайный и особенно много было нужных ему радужниц. Тут же он высыпал содержимое сачка в фотоколлектор: жучки поползли на свет, проваливаясь в банку. Часть робинзонов отправилась на охоту, другие, по указанию фауниста, собирали в воде жуков и плавающие семена растений. Следопыты, заметив барометр, пустили на воду свои поплавки для измерения скорости течения, а также мерили ширину озерного устья реки Вексы.

Итак, у нас получалась действительно экспедиция, а не школьная экскурсия, потому что все делалось не для учебы, а взаправду. Каждый зарегистрированный факт: скорость течения, ширина реки — все было совершенно ново и нужно. А название устья Урёв оказалось не единственным,— так в этом краю вообще называется устье озерных рек. *Векса* тоже не собственное имя: так называются реки, соединяющие на близком расстоянии два озера, в этом случае — Плещеево и Семино.

Сразу же, выйдя из озера, Векса делает крутой поворот, потом еще и еще, так что двум едущим по соседним излучинам почти что можно бы друг другу руки подать. И так вся река, и никто не хочет прорыть канальца из излучины к излучине. Мы решили начать свое путешествие опытом такого серьезного дела и, выйдя на берег, принялись копать. Особенно

старался работать батюшка, которому часто приходится тут возить дрова и путаться на быстрых изгибах. Он говорил, что давно бы и сам прокопал, но боится населения: очень подозрительны, суеверны и за доброе дело еще могут шею наколотить. В какие-нибудь двадцать минут, работая железными лопатами и веслами, мы прокопали канал,— вода хлынула. Свободно проплыла сразу без нашей помощи лодка следопытов, робинзоны протолкнули свою, но «Матушка» засела и остановила течение. Мы все поднажались и, когда прошла эта большая лодка, могучим потоком хлынула вода и отделила землю излучины, как островок.

Наш батюшка сказал:

— Если бы кто-нибудь это сделал, я сам бы дал тому пятачок.

И тут же новому острову мы дали название «Пятачок», а новое русло назвали «Каналом краеведения».

В этот торжественный момент открытия канала Сергей Сергеич прочитал свой сочиненный накануне краеведческий марш. Робинзоны переложили его на «Варшавянку» и, плывя под красным флагом, запели:

Вперед, краеведы, до славной победы!

Весело стало. Археолог сказал:

— Ну, и погодка!

Поп ответил:

— А у меня перед чем-то мозжит нога.

СТОЯНКА ПЕРВОБЫТНОГО ЧЕЛОВЕКА

Внутри кольца, образуемого Большой Нерлью и Кубрей, в этой до сих пор болотной лесной пустыне и теперь почти не было селений, как и тысячи лет тому назад, во время неолитического человека, когда он, боясь этих пустынь, пробирался речками и там, где ловилась рыба и попадался зверь, останавливался на продолжительное время. По болотистым истокам озерных рек и нужно ехать до первой остановки, сухой полянки, где рыбаки разводят теплину, и почти

безошибочно можно сказать, что там, на месте нынешних рыбацких костров, и в каменном веке рыбаки собирались на стоянку и оставили нам после себя культурный слой.

На Вексе мы причалили к первому сухому берегу, где можно было ступить твердой ногой, и в светлой воде увидели над песком темный слой, очень возможно, что и культурного происхождения. *Польцо* — называлась теперь эта расчищенная в лесу полянка, потому что сравнительно в недавнее время здесь кто-то пахал. Наслышанные уже о только что открытой и неразведанной стоянке первобытного человека, наши следопыты и робинзоны, еще не выходя на берег, вытащили из воды кто черепок, кто осколок кремня со следами обделки рукой человека, кто каменное орудие *макролит*. На самом же Польце нашу первую разведочную работу сделали кроты-археологи. Мы ходили врассыпную, приглядываясь к темным кротовым кучкам, и в каждой непременно находили кто черепок, кто кремневый скребок, наконечник стрелы, долото, топорик.

Увидев такое обилие материалов, вырытых только кротами, археолог сказал:

— Довольно, надо закладывать *шурф*, такой стоянки я еще не видел в России.

А много ли вообще-то в России открыто стоянок! Какая-нибудь сотня на всю огромную страну.

Шурф делает один человек сначала обыкновенной железной лопатой. Лева копает с упоением и, кажется, приготовился прокопать землю насквозь, но скоро показывается материк и вода.

Археолог велит:

— Теперь срезайте шансовкой, совершенно так же, как если бы вы острым ножом резали сыр.

При такой работе ясно обнажается сверху темный слой, потом следует желтый, песчаный и опять темный и за ним снова песчаный. Этот средний слой, темный, называется *погребенная почва*.

Лева догадывается:

— Погребенная почва — это от более старого каменного века?

— Надо думать,— отвечает археолог.

Он удаляется к реке, находит тут заросшее тростником впадение другой реки, потом ходит по лесу, там все осматривает, думает и, возвратившись к нам, говорит:

— Это место, быть может, в то время было берегом Плещеева озера.

Робинзоны и следопыты впились глазами в своего большого следопыта.

Лева спешит:

— А когда это было, сколько тысяч лет тому назад?

— Не люблю эти тысячи,— ответил старый следопыт,— было очень давно.

— Какая тогда была наша земля?

— До этого были озера, рек же не было. Потом случилось по каким-то причинам увлажнение, озера не выдержали напора воды и прорвались, побежали реки; так началась Волга: это доказано. Вероятно, и это озеро в то время стало переливаться в другое. На берега рек и озер потом стали сходиться первобытные люди ловить рыбу — это был каменный век постарше, потом берег озера стал берегом реки, и опять место было удобное для рыбаков, и если в новом верхнем слое черепки нам попадутся поновее, мы скажем, что и этот каменный век был поновее. Я, дети, не по тысячам считаю, а что постарей и поновей, и сами находки теперь уже мне дают мало интересного, главное — в каких слоях они распределяются. Ну же, Лева, начинайте срезать на четыре штыка; из первого слоя кладите находки на эту сторону, из второго — сюда и так на четыре стороны, только подложите заранее для находок бумажки.

Сразу же стукнула шансовка, и осторожно, с благоговением, как драгоценную золотую находку скифских курганов, Лева подает профессору небольшой черепок из необожженной глины, совершенно рябой от больших, в горошину, углублений, сделанных на нем рукою первобытного человека.

И я не знаю, что предпочел бы я увидеть: этот черепок или же золото скифов эллинской работы.

Осмотрев, любовно отрогав и даже как будто огладив, ученый с радостью говорит:

— Это старенький.

— А это?

— Это поновей. Видите, сетка — значит, новенький, но и это хорошо, новеньких у нас даже меньше.

Но скоро дети замечают, что хотя новое, может быть, и ценнее для науки, а старому следопыту старые как-то вкуснее, и потому стараются, как бы разыскать больше старого. И не в часы, а даже в какие-то минуты они уже осваиваются с археологическим языком: черепки называют *керамикой* и разбирают по культурам. Фатьяновская культура, Дьякова типа...

— Значит,— спрашивают,— если название культур происходит от места находок, то возможна и Переславльская культура?

— Конечно, очень возможна, во всяком случае, место это прославится.

В те же самые рогульки, в которые рыбаки клали жердь для подвешивания чайника, мы тоже положили свою жердь и подвесили свой чайник и потом пили, разглядывая на земле у костра то рыбью кость, оставленную современным рыбаком, то покрытый точечными углублениями черепок неолитического человека.

А ученый все разбирает и разбирает собранные черепки по культурам, примеривает к работе разные кремни и макролиты, и до того у него все выходит ловко, будто сам был тогда в каменном веке и работал кремневыми орудиями.

— Вот как будто следы ногтя первобытного человека? — спрашивает один следопыт.

— Очень может быть, ведь все руками работали, и больше, должно быть, женщины.

— Как же вы это знаете, что именно женщины?

— Догадываемся по этим украшениям: где украшения, там и женщина, а еще некоторые узнают по отпечаткам эпителия пальцев...

— В таком случае на этом черепке, несомненно, следы ногтя.

— Почему же несомненно? Просто скажите: очень может быть.

— Но кто же они были, какой народ?

— Неизвестно, до сих пор мы не знаем не только лица человека, но даже имени народа, делавшего эти стоянки.

И тогда у костра ученый намеками стал говорить о своих догадках, и это была, конечно, мечта всей его жизни — догадаться хоть немножечко о лице этого таинственного народа.

Все слушают, и только один поп Филя бродит по стоянке, потому что ему непременно нужно самому действовать и, может быть, самому открывать. Вон он, весь просияв, является с необычайной находкой.

— Пожалуйте,— говорит отец Филимон, подавая какой-то небольшой круглый предмет,— носик от чайника, чай пили.

А в то время не только не пили чай, а едва только догадывались подхватывать огонь от зажженного молнией дерева. И эти глиняные сосуды служили не для варки на огне, а только для хранения воды, пищи.

С уважением выслушал это отец Филимон, но все его непокорное существо спрашивало: «А кто же это видел?»

Ему, я так понимаю, как чисто инстинктивному обывателю, непременно нужно видеть самое лицо человека, чтобы о нем говорить, и если видеть нельзя, то он не хочет думать по черепкам, складывая все вместе плюс на плюс, как делают ученые. Он сразу догадывается о первобытном человеке,— из себя самого...

Все смеялись над чайником, но мне казалось, что в принципе отец Филимон, быть может, отчасти и прав. Ведь и сам-то ученый, показывая детям способы пользования каменными орудиями, берет пример от современных ремесленников, плотников, каменщиков, кузнецов. Но если быть посмелее, уловить творческий огонь в лице современного человека и перенести это в лицо того, тоже гениального, существа, которому блеснула мысль о пользовании огнем, и так это сделать, чтобы это гениальное волосатое лицо предстало бы еще в большем контрасте с нынешней потухнувшей в творчестве обезьяной...

Увлекательны эти раскопки, хочется думать все дальше и дальше, но дальше я замечаю: туман подни-

мается на реке, и предлагаю поскорее ехать, чтобы сегодня же на озере Семине разведать другую стоянку, где, может быть, нам откроется и медный век.

ПЕРВОБЫТНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Почти против Польца на другом берегу Вексы растет большой, хороший бор, и с береговых круч, иногда подымая верхний слой почвы, клонятся к воде огромные сосны и вот-вот упадут и раздавят плывущую лодочку. Речка и в боровых берегах бежит, перегибаясь почти параллельными излучинами. Так в прежнее время, бывало, едет торговый человек из Новгорода на своей лодке, кружится, минует опасные кручи, снова начинаются жидкие берега, так что выйти нельзя и деваться некуда — вот остров и на острове куст, а из куста выходит Тать... Этот страх перед кустом закрепился в названии всей этой местности — *Татьин куст.* Мы благополучно миновали опасные нависшие сосны. Никто не вышел из куста. Показалось Усолье, значительное село, известное в истории Великороссии своими соляными варницами. У берега реки остались в виде холмика Козья горка и теперь очевидные следы знаменитых варниц, снабжавших солью Великороссию.

В Усолье была первая мельничная плотина, возле которой пришлось разгружать лодки и перетаскивать их волоком. Во время этого хлопотливого и скучного занятия местные крестьяне, удивленные нашими ружьями, сачками, попом и красным флагом, собрались и спрашивали нас, кто мы такие и что затеваем. Выслушав нас, один из них спросил:

— А какая в том польза?

Между тем в другой группе крестьян Сергей Сергеич спрашивал о вредителях полей, лесов, эпизоотиях, и его живая талантливая беседа заразила интересом всех до одного человека, так что когда подошел кто-то новый и спросил об экспедиции, какая в ней польза, то сами же крестьяне насмешливо ответили:

— То полезно, что в карман полезло.

Повиляв по излучинам речки больше часу и все не утратив из виду Усолья, мы, наконец, въехали в уми-

рающее озеро Семино, длиной версты в полторы, водой мелкое, всего на лопату весла, и страшно глубокое тиной: веслом местами и не дощупаешься. Если же случится несчастие — лодка затонет, то плыть тут нельзя, затянет,— опасное место, утиный рай.

Совершенно так же, как на Вексе, на первом сухом местечке, где отдыхают рыбаки, оказалась неолитическая стоянка, и здесь, в правом углу этого озера-болота, где сухое место возвышалось, как стол с пирогом, было *Торговище*. Сюда, конечно, плавал из Великого Новгорода и Садко, богатый гость, из бедного хлебом севера в житницу Суздальской земли, это *ополье,* и варил тут уху, как и мы, не обращая никакого внимания на вырытые кротами черепки каменного века; в то время и мысль не приходила в голову о древней керамике.

На стоянке наши робинзоны поставили две палатки, батюшка наладил костер, повесил котел для кулеша, и мы сели тут на бревнышко под дым — от комаров. Пока еще не совсем стемнело, фаунист все переносил и переносил умерших в банке жучков на вату. Вдруг он сказал:

— Летучая мышь. У нас нет в музее, убейте!

И началась в полутьме трудная стрельба по летучим мышам.

На озере вспыхнул огонь, загорелось смолье, причалила лодка, и два рыбака с острогами подошли к нашему костру. Всякого рода лов рыбы и также лучение запрещены в этом месяце, но в глухом месте, конечно, не считаются с законом, и только что вот мы под красным флагом — побаиваются начальства, и пришли для разведки.

Мы узнали от них, что в этом зарастающем озере *жесткая* рыба — щука и окунь — не главная, а самая первая рыба *мягкая* — линь и карась. Кроме обычных способов ловли, здесь есть еще совершенно особые, возможные только в тинистых зарастающих озерах. Один из этих способов называется *на вар* и состоит в том, что в тину запускают весло, испуганная рыба выплывает из тины, и ход ее на поверхности воды отмечается пузырьками, как бы кипящей водой (варом), а там, где пузырьки прекращаются,— поддева-

ют сачком или бьют острогой. Второй способ — *на пыльцу,* — то же самое, но вместо пузырьков догадываются о рыбе по пыли или мути, и, наконец, третий способ — *на шар,* значит — просто *шарят.*

Один из рыбаков, Павел по имени, рассказывает об этом кратко, дельно, выразительно. Так, у другого бы очень длинная фраза, у него же построена так:

— Я ткнул веслом, щучонок *дал вар.*

Я воспользовался этим ясным рассказом, чтобы поучить молодых краеведов, как нужно пользоваться такими рассказами, чтобы выработать себе краеведческий язык.

Молодые рыбаки были несколько похожи друг на друга, как братья, но у Павла глаза были большие, серые, с какой-то мучительной думой, у Николая — узенькие щелки. Павел почти не улыбался, Николай подхихикивал. Павел все пробовал рукой поймать живьем летучую мышь. Николай вздрагивал каждый раз при ее приближении.

Павел, оказалось, уже читал книгу Михаила Ивановича о Переславльском уезде и еще много другого. Он рассказал нам, что недалеко отсюда, в Бармазове, на Стуловой горе, есть целый ряд памятников, похожих на каменные курганы, а около деревни Хмельники — какое-то древнее кладбище и тут же два кургана, один из них раскопал Николай, и оказалось, это действительно курган. Николай не думал о скелете, он искал *тайные деньги,* и когда увидел в кургане круглое, бросился туда, схватил кубышку, повернул и обмер: клад обернулся мертвой головой. Николай бросил череп и бежать. Павел, узнав это, закопал скелет, кто-то поставил крестик. С этого времени прошел уже год, а Николай все еще боится ходить этим местом.

Не обращая никакого внимания на сидящего рядом Николая, Павел отчетливо сказал в заключение:

— Мы живем в лесу, народ наш суеверный и глупый, как первобытный человек.

При этих словах мне вдруг вспомнились мои догадки на Польце о первобытном человеке, и я спросил:

— Почему вы думаете, Павел, что первобытный человек был непременно суеверен и глуп; те люди бы-

ли, наверно, тоже, как и мы, очень разные, вы сами происходите почти из первобытной деревни, а не имеете же предрассудков, и суеверие Николая вам кажется глупостью?

— Я как-то вышел отдельным человеком,— ответил Павел,— я стал много читать в школе.

Сведения о погребальных памятниках нельзя было оставить без внимания, и мы тут же сговорились идти своей археологической группой завтра на исследование. Павел предложил себя как рабочего на раскопки, а за ним и Николай. Мы его предупредили, что не деньги будем искать, а скелеты, но он стоял на своем: и он будет копать вместе с Павлом. Потом, уже в совершенной тьме, мы разместились в двух палатках: в малой старшие краеведы с частью следопытов, в большой все робинзоны с попом. Только у одного Сергея Сергеича был войлочный конверт, в который он залез с головой, мы же улеглись на тонком брезенте, прикрываясь куртками и еще кой-чем; все как-то еще не обзавелись. Жутковато было спать на сырой земле, и ужасной казалась возможность ветра и дождя.

Сергей Сергеич сказал из мешка:

— Сегодня барометр упал на шесть делений.

А поп сказал о ноге:

— Сильно мозжит.

Едва ли мне удалось соснуть часа два, да и в этом полусне мои полумысли и получувства занимал неотступно человек из каменного века. Но явился он мне совсем не таким, как учили нас в школе, не обезьяноподобным существом, а составился из отношения этих двух рыбаков — Павла и Николая. Мне представилось, что в процессе творчества Николай был существом отработанным и брошенным доживать бытие, неизменным, как он есть, а Павел идет вперед, что Павел в своем малом кругу тоже как бы добывает огонь, подобно своему гениальному предку, словом, что один — человек, а другой — обезьяна, но черепа и черепки совершенно одинаковы, и если пройдет время, то и не узнаешь, кто из них двигал жизнь и кто в ней только жевал пищу. И только затем, казалось мне, нужно собирать черепа и черепки, что-

бы приблизить мысль свою к существу первобытного человека. Но чтобы вполне понять его, нужно, изучая остатки первобытной культуры, в то же самое время зорко всматриваться в современного человека, своим творчеством устремленного в будущее; и очень возможно тогда, что из всех членов нашей экспедиции этот профессор окажется ближе всех к существу первобытного человека.

Череп является как бы комнатой нашего мозга, и мы, привыкая умственно работать в комнате, создаем еще больший череп для всей головы, а когда ночуешь в лесу, то вдруг оказывается, что мысль работает как-то бесконечно широко, но безответственно, как ветер, дождь... Вот является сырой холодный гость, начинает шуметь,— и в мыслях сразу все переменяется.

Я выглянул в щелку палатки. Все небо было затянуто, шел мелкий холодный дождь, и только по свежей зелени деревьев можно было догадаться, что теперь весна, а не осень. Я уже хотел было закрыть глаза и погрузиться в свои полумысли о неолитическом человеке, как вдруг открылся брезент другой палатки и показалась голова с длинными спутанными волосами, с бородой неопределенного цвета, сбитой войлоком, а в складках старого изветренного лица были живые лесные глаза. По моим соображениям, этот вернувшийся в природу поп не должен был начать день свой молитвой, иначе незачем бы было ему уходить. И это оказалось верным: не обращая никакого внимания на дождик, он вылезает на четвереньках из палатки в жилетке и сапогах, потом вытаскивает свое серое поповское полукафтанье, надевает, становится настоящим попом, склоняется к большой головешке вчерашнего костра и начинает долго ее раздувать. Он действует очень ловко, упрямо, изобретательно, прикрывает огонек от дождя сначала ладонью, потом сковородкой, прилаживает как-то сковородку над огнем, чистит картошку, жарит и, пока жарится картошка, чистит плотву, вероятно, добытую вчера у рыбаков. Съедает одну сковородку, съедает другую, потом свертывает себе большую цигарку махорки, закуривает и ложится животом на землю, не

обращая никакого внимания, что земля совершенно сырая, что сверху сеет дождь. Глядя на озеро, он курит и наслаждается, курит и счастлив: сыт и совершенно свободен, распределяясь бессмысленно чувствами своими во всей вселенной.

Высунув голову из палатки, я тихонько, чтобы не нарушить его великолепного покоя, позвал:

— Ба-тюш-ка!

Он даже и головы не повернул.

— Ну, што?

— Батюшка,— говорю,— я видел, вы так трудились устроить сковородку на костре, почему вы не сварили уху в котелке, так много проще.

Он ответил охотно:

— В ухе плотва — рыба очень тоскливая.

— Костлявая?

— Тоскливая. Плотву можно только жарить, а если уху поешь, то все как-то думается, не случилось ли дома что, или в будущем... Тоскливая рыба.

— Но, может быть, это не от рыбы тоска?

— А отчего же?

— Мало ли отчего, духовная неудовлетворенность, неудачи...

— А какие же теперь у меня могут быть неудачи: вожу дрова, рыбаков, рублю, пилю, никакой неудачи я теперь не имею: мне хорошо. А спросите рыбаков: и каждый вам скажет то же: из плотвы нельзя варить уху, плотва — рыба тоскливая.

В это время наши старшие краеведы тяжело пробуждались, узнавая по шуму и сырости дождь, но, услыхав разговор о тоскливой рыбе, расхохотались, и беседа наша с отцом Филимоном окончилась.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Стулова гора, куда привели нас Павел и Николай, тонула в Бармазовских лесах, тут невдалеке была *деланая* дорога из бревен, в сущности мост по жидкому болоту в три версты длиной, начало пути в Половецкую волость. Поправее от деланой дороги копалась в земле, то исчезая, то показываясь, маленькая речка *Черторой,* направо, в синеющих лесах, текла

река *Лада,* и та вся местность, самая глухая, лесная, называлась *Заладьево.* Бармазово было одним из населеннейших цветущих уголков этого края, но во времена Грозного от голода и разорения население частью повымерло, частью разбежалось, и с тех пор тут лес. Одну деревянную церковь, рассказывают старики, лес вовсе затер, а колокола *утонули,* и кто праведный — слышит иногда звон потонувшего колокола.

Каменные курганы на Стуловой горе имели продолговатую форму и по виду, без всякого сомнения, были погребальные памятники, но когда археолог проверил направление по компасу, то оказалось, что могилы расположены не с востока на запад, а с севера на юг. И все-таки дело рук человеческих было так очевидно, что мы решили копать.

На этом памятнике мы учимся правильным раскопкам, и потому сразу же распределяются роли: Михаил Иванович — исследователь, он обмеряет курган рулеткой, делает план, наблюдает за появлением линии, разделяющей насыпь от грунта, которая называется у археологов *лентой,* потом находит *обрез* могилы и вообще ведает всей научной стороной дела. Академик берет на себя скромную роль производителя технических работ, становится на курган и велит рабочим вести траншею поперек направления могилы.

Один за одним снимают большие камни и все думают, что вот после такого-то трудного камня начнется самая насыпь; и правда, бывает, показывается песок, но сейчас же лопата снова звенит о камень, и опять все рабочие трудятся над его выкапыванием. А сверху непрерывно сеет дождь, все мокрые, грязные.

— Таких трудных курганов у меня еще не было,— говорит производитель работ.

— А что курган, это уж несомненно? — спрашивает Лева.

— Несомненно, это дело рук человеческих.

И снова рабочие выкатывают камень за камнем. Николай вспомнил, что у него в сенном сарае дырка. Надо скорей идти заделать, а то дождь погубит все

его сено. Павел еще держится. Лева верит профессору, что костяк непременно найдется.

— А что, если это ледниковый нанос?

— Едва ли, но надо подумать.

Ученый уходит от нас к другим таким же памятникам и там один соображает, измеряет, рассчитывает. Мы выкатили последний камень, пересекли насыпь, далеко врезались в материк, ленты нет, ничего нет, еловая шишечка попалась величиной в мизинец — и то уж как ее рассматривали! Михаил Иванович стоит весь мокрый, грустный. Я пожалел его и спросил, что он думает делать сегодня с Соней. Сразу он оживился и ответил:

— Сонюшка поехала сдавать экзамен в Вхутемас.

Лева сердито говорит, что раз Александр Андреевич сказал, что это курган, то костяк непременно найдется.

— Нет, Лева,— отвечает ему, появляясь из-за деревьев, археолог,— это не погребальный памятник.

— Значит, мы напрасно копали?

— Нет, не напрасно, мы установили, что это не курган.

— А что же это такое?

— Трудно сказать, что такое, для этого нужно особое исследование, и это надо сделать потом: это — дело рук человеческих.

Так движется наука, где отрицательные результаты тоже необходимы и ценны. Но нам было так, будто мы ехали на Северный полюс, рассчитывая там встретить диво, а там совершенно ничего не было, кроме умственного: показаний секстанта, барометра, термометра...

Тайна Бармазовских лесов осталась нераскрытой, и, пожевав черного хлеба с земляникой, мы стали спускаться в Хмельники, где недалеко от реки Чертороя были курганы и древнее кладбище. По пути, около Желтухинского болота, в глухом черном лесу Павел показал нам землянки, где жили дезертиры; заметно было по древесным остаткам, что они тут проводили время, занимаясь какими-то работами по дереву; после дезертиров землянками пользовались са-

могонщики,— на берегу ручья остались копки для их котлов.

Картина древнего кладбища нас оживила: это был типичный новгородский *жальник,* и нахождение его здесь, далеко от Новгорода, но вблизи Торговища, на пути новгородцев за хлебом в *Ополье,* много говорило историку местного края. Вблизи этого жальника зиял своим провалом раскопанный суеверным Николаем курган, рядом высился другой, нераскопанный, через верхушки деревьев внизу виднелась вода Семина-озера.

Теперь все оказалось в полном порядке, курган был типичный и возле него ямка, след выбранной для насыпи земли. Определено направление погребения по компасу с востока на запад, взята траншея поперек — с юга: с юга всегда легче заметить ленту. Но только принялись копать, опять показывается огромный камень, потом другой, третий, и дождь, все дождь без конца...

Следопыты раскапывали жальник, курган — Лева и Павел. И уже начинало смеркаться, а ленты все не было. Нет и нет,— новый огромный камень отрывает руки от работы. Павел уходит к себе в деревню по неотложному делу. Лева копает один; знаю его,— теперь он себя загипнотизировал, и хотя уж давно работает сверх сил, но лопату не бросит: костяк непременно найдется. Вдруг огромный камень обрывается сбоку траншеи, контузит ему правую руку, и последний рабочий выходит из строя. Опять ученый, как и при раскопке первого памятника, удаляется, обходит местность и там думает. Мы, голодные, грязные, совершенно усталые, перестали верить даже, что это — курган. Михаил Иванович, бледный, сидит на пне у сосны.

— О чем вы думаете, Михаил Иванович?

— Я думаю,— отвечает он,— выдержит ли Сонюшка экзамен в Вхутемас?

И мы вместе с ним потихоньку думаем, как бы нам оттянуть неутомимого профессора от кургана, поскорей бы попасть в избу к Павлу, поесть бы, чаю попить и потом бы на сеновал. Есть ли у него сеновал?

В это время приходит археолог и говорит:

— Прыщ!

Значит, курган издали выглядит, как прыщ на земле, и если уж так, то непременно это должен быть курган, погребальный памятник.

Заметно смеркается. Ссылаясь на мрак, мы просим на сегодня кончить работу.

— Хорошо,— говорит ученый,— мы скоро пойдем, только, Лева, дайте мне лопату, я сам попробую.

И погружается в траншею. Седая голова то покажется, то спрячется: копает. Слышится какой-то особенный звук лопаты, голова надолго исчезает в траншее.

— Лева, идите сюда, возьмите лопату и слегка стукните здесь. Слышите? Такой звук может быть только о кость.

— Кость!

Мы вскочили. Как на охоте, вдруг откуда-то при удаче является новый неведомый источник сил, но это было больше охоты: это был момент торжества того последнего усилия ученого сверх охоты в жертву истине, которое отличает натуру ученого от других людей и что именно первобытного ученого, добывшего огонь, выделило из мира обезьян. В этот момент в лице этого современного ученого я увидел настоящее лицо нашего отца, гениального первобытного человека с волосатым телом, железной волей, огнем в глазах и, наверно, где-то глубоко скрытым нежным, любящим сердцем...

Кость ноги, лежавшая поперек траншеи, была большая, черная. Мы затрусили ее землей и все, счастливые, веселые, бодрые, пошли ужинать в дом Павла. В научной работе для счастья, оказывается, совершенно не нужно великолепия, иногда бывает совершенно достаточно косточки.

Слух о находке быстро обежал деревню, и когда мы пили чай за столом у Павла, на лавках сидели разные деревенские люди. Они слушали, мы говорили.

В этот вечер мы говорили за чаем, как разговаривают между собой образованные люди, совершенно не замечая, какая масса знаний и опыта предшест-

вующих поколений проходит в их простом разговоре. Между тем тут в избе слушали все это дети земли...

Мы разговаривали о севере и юге, бросались тысячелетиями, как днями, иногда и на самую землю смотрели как на игрушку, иногда, напротив, безделица, отрытая в кургане, надолго занимала нас. Наш археолог рассказал нам, что однажды во время раскопок где-то на юге студент с верным глазом разглядел запрятавшуюся в костях крошечную истертую монетку, единственную находку, кроме костей, что эта с виду ничтожная монетка перебывала у многих ученых для определения, с риском погубить совершенно монетку и, значит, утерять единственное и драгоценное свидетельство времени; она была, наконец, опущена в едкий натр, и тогда ясно обнаружился десятый век.

— Десятый,— сказал кто-то с лавки,— а у меня есть монета много старше: семьсот двадцать первый год.

— Какая же она? — удивленно спросил археолог.

— Большая, медная, в пятачок.

Смеясь, сказал археолог:

— Если бы такая нашлась монета, то за нее можно бы дать миллион.

После того мы поднялись и пошли ночевать в сенной сарай. Все скоро улеглись; я, курящий, сидел на бревне перед сараем и говорил с Павлом. Мне хотелось узнать у него, что останется у крестьян от нашего большого интересного разговора в избе.

— Вот облачко тает,— сказал Павел,— и у них так же расходится мысль, и так все им было, как сказка. Но вон, посмотрите, сосед мажет дегтем телегу, вы его узнаете?

— Это — который сказал о монете.

— У него есть монета, я ее знаю: 1721 год. И он знает, что тысяча, а не семьсот, но теперь услыхал от профессора, что за семьсот можно получить миллион, сбился и думает: «А может быть, и семьсот, может быть, и получу за нее миллион?» В деревне ему нельзя показать профессору,— вдруг все узнают, что он богач: это надо сделать тайно. Вот он и мажет телегу: за этим и поедет завтра в город. И это я уж

знаю верно-преверно — день небазарный, ему больше незачем ехать в город, да и мужик такой...

Когда я вошел в сарай, Лева уже спал и, переутомленный, бормотал во сне — и все одно и то же слово: «норманн», «норманн».

Он мешал спать археологу, я разбудил его и попросил перелечь поближе ко мне.

Археолог спросил:

— Лева, почему вы во сне все повторяли: «норманн», «норманн»?

— Ах, Александр Андреевич, у меня есть догадка, да я не решаюсь вас об этом спросить. Вы сказали, что нога нашего открытого человека очень большая и что это, наверно, мужчина. Вот я хочу вас спросить, что и для мужчины — эта нога большая?

— Да, я думаю, что и для мужчины.

— Так не норманн ли это? Вот о чем я догадываюсь. Как вы думаете, не норманн?

— Нет, Лева, если бы это был норманн, то мы нашли бы только урну с пеплом: у норманнов было сожжение трупов.

После того Лева заснул и больше не бормотал. Мысль о первобытном человеке больше мне не мешала спать: черты лица его мне теперь были знакомы. И все мы спали отлично и проснулись с радостным ожиданием продолжения раскопки кургана и потом — дальнейшего путешествия.

К нашему счастью, взошло, наконец, прекрасное солнце, и при этом свете мы сразу заметили исчезнувшую вчера *ленту,* след сопревшего под насыпью кургана дерна. Отчетливо показался *обрез* могилы. С востока на запад по компасу через место находки кости мы провели прямую линию и по ней сверху уверенно стали вести *приемную* траншею, через которую потом вынем костяк. Опять копают Лева и Павел, а мы все сверху, лежа на кургане, напряженно смотрим, и каждый раз, когда кто-нибудь локтем обсыплет землю внутрь траншеи, Лева, окончательно завладевший раскопкой, бранится. Николай тоже смотрит рядом с нами в могилу, он часто обсыпает землю, что-то его изнутри подъярыживает, хотя виду он не показывает...

Вот уже и близко скелет, даже копать лопатой опасно. Павел выходит, ложится рядом с нами, профессор спускается вниз, учит Леву, как надо выбирать землю руками, передает ему все это дело и присоединяется к нам. Он сказал подпослед:

— Первое — покажется череп.

И Николай вслед за этим обсыпал в траншею много земли.

Каждый комочек Лева разминает руками, каждый малейший камешек показывает профессору, при каждом упоре пальца в землю говорит:

— Вот, кажется, и голова.

И в этот момент Николай непременно сыплет локтем землю в траншею.

— Ты, Николай, должно быть, боишься,— говорит ему Лева,— лучше уж уйди.

И вдруг окончательно и уж наверно, правильно вскрикнул:

— Голова, голова!

Профессор спустился, потрогал место и сказал:

— Да, это голова.

Николай побледнел и впился глазами в то место.

Павел тихо сказал:

— Вот по таким-то раскопкам, должно быть, узнают потом происхождение человека.

Никто ему на это ничего не сказал: все с напряжением ожидали увидеть, какой покажется голова человека, пролежавшая в земле, быть может, лет восемьсот. И она показалась гораздо значительнее, чем я представлял, главное, цвет ее был не обыкновенный костяной, а как бы красноватый, почти как красная медь или обожженная глина, так что, не видя лицевой части, можно всякому принять за кубышку с кладом. Но Лева осторожно очистил ее от земли, и вот показался лоб мертвеца и зубы, главное, что зубы-то были совершенно белые...

Когда при нашем общем молчании и напряженном внимании показались зубы, вдруг Николай загоготал, поднимая слог «гэ» все выше и выше, как сирена, или, скорей, жеребец: гэ-гэ-гэ-гэ-э-э... На очень высоком «э» жеребячий звук вдруг оборвался, и все получилось так:

— Гэ-гэ-гэ-э-э... твою мать.

Это был звук человека, оставленного творческим духом, как оставлена им пребывающая вечно сама в себе обезьяна, и звук был всем нам и знаком, и страшен, и противен, и в конце концов смешон; изумленные, мы подняли головы и расхохотались.

Один только Павел не стал смеяться, ему это было слишком близко, чтобы смеяться. Своими большими серыми, с мучительной думой, глазами он строго посмотрел на ржущего человека и приказал, как обезьяне:

— Замолчи, дурак, по таким раскопкам узнается происхождение человека!

Было много странностей в способе погребения этого большого человека с необычайно крепкими свежими зубами, и расположение костей, особенно в шейных позвонках, было неправильное. Но профессор нам ничего об этом не сказал и только, уже когда мы с ним были опять на озере, высказал свои предположения: «Скорее всего, это был повешенный».

ВЕСНА ЧЕЛОВЕКА

ПОЯВЛЕНИЕ РУЧЕЙНИКОВ

Две реки, впадающие одна в Оку, другая в Волгу, протекают одна в плодородном *Ополье* — среди *поля,* другая в болотистом Залесье — у *древлян* и почему-то носят одно и то же название *Нерль.* Большая Нерль, по которой мы из Семина-озера продолжаем свой путь, и другая, Малая Нерль. Между реками был где-то переволок, та и другая река были одним и тем же путем из Залесья в Ополье, и вот почему, может быть, эти совершенно разные реки называются одним именем.

Мы плывем по Большой Нерли среди однообразных болот и по таким излучинам, что церковь села Копнино полдня к нам приближается и полдня удаляется. Где-то на берегу молодой пастух учился иг-

рать на трубе, и эти звуки нам тоже были слышны, нарастая и ослабевая, тоже почти весь день.

И анероид Сергея Сергеича и нога отца Филимона согласно предсказывают ненастье, дождь поливает нас целый день. Но я не знаю, бывает ли такое время хоть один день без красы. Под вечер показалось, в разлуке ставшее особенно прекрасным, солнце, из воды высунулись огромные камни, на высоком берегу стал бор, и отец Филимон попросился у своего сурового начальника хотя бы на пять минут выйти на берег. Мы все догадываемся, зачем просится поп Филя на высокий берег: наши промеры реки, испытание скорости течения, вычисление высот по анероиду, изучение промыслов, цифры населенности, отбираемые нами у председателей сельсоветов, количества земли и лугов, зарисовка покрытий лесных строений, наличников, резьбы, коньков и петушков,— вся эта необходимая краеведческая работа только после когда-то даст черты этой реки, но отцу Филе кажется, что если он залезет наверх и выглянет, то сразу же и откроет новую страну.

Место, где вылез отец, было действительно прекрасное: высокие берега с высоким бором, так что глянешь наверх — и шапка валится с головы, река покрыта белыми лилиями и кувшинками, через зеленые ворота виднеется такая большая заводь, что не знаешь, куда же ехать: заводь значительно шире реки и тянет ехать туда, но вот там, на реке, стоят два зеленых сторожа, две тоненькие тростинки, вечно дрожат и кланяются от шевелящего их внизу течения, значит, это — река и ехать надо туда.

Трудности путешествия всегда искупаются минутами такого душевного равновесия, когда какое-нибудь ничтожное явление вдруг открывает все великолепия мира. В ожидании возвращения батюшки мы все стали дивиться красоте балета бесчисленных ручейников над водой в косых лучах вечернего солнца. Жизнь этих белых существ, имеющих вид бабочек, была всего один только день: но как же они великолепно проводили этот единственный определенный им день! И этот день я узнал в себе, как родной: был тоже один такой единственный день и у меня.

Вдруг сверху, с дороги, из бора к нам долетела песенка, такая же коротенькая, как жизнь поденки, другая, третья в несколько девичьих голосов. Песенки сыпались, и, казалось нам, под них именно и танцевали над водой поденки. Наши робинзоны достали мандолину и балалайку — приготовились. Медленно выезжает навстречу нашей армаде из бора телега, наполненная деревенскими девушками. Увидев молодых людей, девушки запели на горе:

Мои глазки, как салазки,
По горе катаются,
Моими карими глазами
Многи завлекаются.

Выждав, когда девушки на горе поравняются с лодками внизу, робинзоны ударили по струнам и спели в ответ с воды свою импровизацию:

Я на лодочке катался,
А под лодочкой вода.
Моя милка в белом платье,
А под платьем... сковрода.

Хохот и визг раздались в бору над рекой, и тут показался из леса сияющий отец Филимон с пучком поспевающей земляники.

— Ну, отец, что ты видел наверху новенького, что у тебя в руке?

— Климат тут много теплее,— сказал отец Филимон.— В Переславле земляника только цветет, а тут поспевает.

КРАПИВНОЕ ЗАГОВЕНЬЕ

Явление нашей армады в пустынных водах было таким дивом, что одна деревня почти в полном составе проводила нас берегом до другой, в этой присоединилось еще множество, и в третьей вся эта масса встретила нас на берегу. После долгого разглядывания в упор оттеснили меня и стали расспрашивать; больше всего, оказалось, их интересовал наш поп.

— Это настоящий священник?

Я сказал, что, конечно, настоящий.

Переглянулись.

— Значит, поп?

— Конечно.

Все это было до крайности удивительно людям, живущим очень далеко от железной дороги. Вокруг наших палаток народ кипел всю ночь, любопытные приоткрывали нашу палатку, не давали нам спать.

В этом месте на другой день наша этнографическая группа отправилась исследовать в деревню Лихорево праздник «крапивное заговенье», по-видимому, остатки культа древнего бога Ярилы.

Я не очень верил, что мы увидим какое-нибудь действие и что все не кончится записью старинного обряда со слов какой-нибудь лихоревской старухи. Но, конечно, мы в Лихореве все-таки не сразу стали расспрашивать о боге Яриле: мы пришли исследовать гончарные промыслы. Только уж когда сердца этих *скудельников* были нами совершенно открыты, мы, наконец, заговорили о празднике наибольшего развития весенних производительных сил и об языческом боге. Тогда из толпы этих скудельников вышел один пожилой, уже за шестьдесят лет, улыбнувшись, как улыбается фавн, обнажил крепкие зубы и сказал:

— Воистину это, стало быть, я сам и есть.

Тогда гончары бросили рассказывать о своих промыслах, и началось веселье вокруг этого жреца бога Ярилы. Все повторяли:

— Власич вам все покажет.

И сам Власич сказал:

— Пойду попытаю.

Скоро мы услышали пение и поспешили на улицу, где теперь бабы и девки *чистили поле.*

Это известно — бабы, наступая против девиц, поют:

А мы сечу чистили, чистили!

Потом девицы наступают, и так две эти партии, медленно двигаясь по улице, разыгрывают земледельческую драму, как она выходит из слов известной стариннейшей песни: «А мы просо сеяли, сеяли».

Одни сеют, другие коней пускают и топчут, коней ловят хозяева ляды и назначают за них выкуп: деви-

цу. Молодец вступается за девицу, и в ход пускаются ножи...

Все в общем представляется, как подготовка к действию, расчистка поля, на котором вот скоро уж теперь и начнется самый посев.

Власич довольно перешептался с бабами-заправилами, согласился и стоит теперь в ожидании, когда расчистят сечу для посева.

Кто-то в толпе говорит о Власиче:

— Это у нас *посевком.*

И сам Власич, услышав это, объясняет нам, что бабы давно уже его выбрали и он теперь один сеятель, больше уже никто сеять не может. Время от времени он исчезает куда-то и возвращается все веселее и веселее. В последний раз он приходит с огромной жердью, раз в десять больше себя, и к верхнему концу ее прикрепляет пучок крапивы.

Жердь подымается.

Ярило дубовый
На палке высокой
У дерева стал.[1]

Вокруг сеятеля образуется огромный круг зрителей, внутри же в три группы садятся дети, каждая группа на равном друг от друга расстоянии, треугольником.

К дедушке-сеятелю подходит бабушка, второе действующее лицо, всем известная забавница Марфа Баранова. Дедушка и бабушка хозяйствуют в кругу, перемещают ребят, чтобы удобнее было между ними ходить, дают советы руководительницам сложного хождения всей массы баб и девушек в кругу. Наконец все готово, в круг вступают первые звенья бесконечной цепочки разодетых по-праздничному женщин. Идут с песнями змейкой между тремя группами детей. Остальные свиваются спиральными кольцами. Каждая в конце концов пройдет следом другой, но для зрителя скоро скрываются дети, между которыми ходят женщины, линия их хождения исчезает, и кажется даже, они вовсе не ходят, а все вол-

---

[1] Сергей Городецкий — «Ярило».

нуется правильно, как спелая нива ржи, и все тянет к высокому шесту с крапивным пучком и к стоящим под ним дедушке и бабушке.

Хор поет:

На горе-те мак, под горою мак,
Мак-маковицы, красные девицы,
Станьте в ряд!

И спрашивают:

Поспел ли горох,
Поспел ли бобун,
Поспел ли цветун?

Хор умолкает, ожидая ответа дедушки и бабушки.

Нет, оказывается, горох не только не поспел, а даже земля не вспахана и нет коня: нужно еще вырастить жеребеночка, да и того еще нет: надо послать за кобылиными яйцами.

Все посмеялись и опять пошли кружить с пением:

На горе-те мак...

Так проходит время, и на вопрос хора, «поспел ли бобун», дедушка отвечает, что жеребенок-то вырос, да вот беда, сошник сломался, надо заказать кузнецу наварить *шестивершковый конец*.

Проходит еще сколько-то времени, а тут новая неуправка: захворал дедушка, некому пахать и сеять.

Итак, дедушке все неможется, и долго растет горох, а девушкам все нетерпится, все они кружат и спрашивают:

Поспел ли горох?

Весело становится, когда дедушка начинает поправляться и пошучивать с бабушкой, да и как еще пошучивать! Сильно растет и горох.

— Ну и хорош же будет бобун! — кричит сеятель.

Вот он уже в ленточках,— вот показался спелый стручок в *шесть вершков*.

Тогда вся масса женщин наступает и в последний раз спрашивает:

Поспел ли горох,
Поспел ли бобун,
Поспел ли цветун?

С громким криком: «Поспел!» — дедушка выпускает жердь с крапивным пучком, женщины расступаются, пучок с шумом падает на землю, дедушка валится на бабушку, молодые люди гонятся за женщинами с крапивой, стегают их по ногам.

Зрители, развеселенные и довольные, повторяют:

— Поспел, поспел.

БАБЫ БОГОМЕРЗКИЕ

Когда представление кончилось, мы пошли в дом к Власичу и позвали сюда Марфу Баранову. Тут мы записали обряд со всеми подробностями и множеством таких прибауток и слов, какие не оставляли ни малейшего сомнения, что мы имели дело именно с Ярилой, богом весны человека. Правда, это были довольно жалкие остатки древнего культа, но и то их было довольно, чтобы воскресить утраченное огромным большинством людей чувство благоговения к силе, воспроизводящей на земле человека. Мы даже поняли, каким образом достигалось это: потому что все грубо называлось почти своими именами, но грубость эта была необходима, как грубость земли, производящей тончайшие кружева трав и цветов...

Мы были довольны и счастливы даже этими жалкими остатками весны человека, потому что мы были ученые люди: ученые всегда довольствуются только остатками...

С обратной поездкой вышло, как в крапивном действии: жеребеночек был в поле, и надо было за ним сходить, поймать, привести. Нас ненадолго оставили сидеть в избе одних с Власичем и Марфой Барановой; мало-помалу стали собираться разные любопытные, и вдруг те женщины, которым мы дали немного денег после «крапивного действа», ворвались к нам в избу, как ураган, и все вместе кричали, как стая огромнейших птиц. Стало даже немного жутко от этой вакханалии, казалось, что вот кинутся все и разорвут в клочки. В особенности орала баба, как бы

вырубленная из камня и покрашенная, рядом с ней была желтая, и совсем красная, и хорошенькая чернушка, схваченная порывом урагана. У всех до одной были открытые рты и зубы сверкали. С трудом дознались мы, что все они кричали по-разному одни и те же слова: «шестьдесят копеек», и когда мы, наконец, догадавшись, в чем дело, всыпали одной бабе в руку эти шестьдесят копеек, то все они бросились вон из дома и вихрем понеслись куда-то по улице, некоторые сильно спотыкаясь.

— Вдовы и бездетные,— сказал нам Власич.

— Вдовы,— сказал я,— это понятно, но у бездетных есть мужья.

— Да разве можно угнаться мужу за бездетной женой, бездетная — женщина вольная.

Несомненно, перед нами прошли те упрямые язычницы, которых отцы нашего христианства называли *бабами богомерзкими.*

Но не в них было дело, такие бабы есть всюду, а в отношении к ним солидных крестьян, бывших вместе с нами в избе Власича. Один из них даже прямо сказал:

— Мы считаем, что от этих женщин нам большая польза: нужно же, чтобы кто-нибудь давал нам в жизни веселье.

ЗАЦВЕТАНИЕ РЖИ

Наступил глубокий красивый вечер. Ржаные поля зацветали. Всюду веяло могучей любовью, исходящей от роста живых существ, рожденных землею. Мы ехали с Власичем на телеге, и он рассказывал нам о себе, что вот какое ему вышло горе с первой женой: ребеночек был разрезан в утробе и после того с ней нельзя было жить супружески, и так он мучился с ней всю жизнь, правда, не говел, но детей все-таки не было, а без детей крестьянину какая жизнь. Ну, вот и умерла та жена, женился на молоденькой, пошли дети все маленькие, ему же теперь уже за шестьдесят, силы начали убывать, а ведь работать-то на семью приходится больше и больше, и, верно, ему уж так и не увидеть в своей семье помощников.

В это время мы проезжали селом, и на пути нашем встретилась необыкновенно длинная и высокая антенна. Власич этим очень заинтересовался, и пришлось ему рассказать о радио.

— А слышали вы,— спросил он,— про обезьяньи семена? Будто вот спрыснут, и сразу помолодеешь лет на пять...

— Что ты говоришь,— сказал мой спутник,— не на пять, а лет на двадцать пять.

— Нет, нет,— сказал Власич,— мне бы только лет на пять надо, ребятишки бы подросли, а больше не надо, зачем...

И стал вполне серьезно упрашивать, как бы так раздобыть этих семян.

Между тем село это, где мы увидели антенну, было бесконечным каким-то; мы ехали — и конца ему не было, селу не хватило горы, спустилось в болото и оттуда опять полезло в гору новыми постройками,— видно, что народ в этой глуши множился с великой силой.

Тут открылось нам в оранжевом свете последней зари слияние рек Нерли и Кубри, и за мостом, такое, как Андрианово, напирающее жизнью Григорово, и тут уже была масса народу и на берегу, и на улицах, и все это жило, звучало частыми песенками, похожими на поденок. А по реке на своей большой лодке ехал поп Филя, и на лодке у него сидело человек сорок, голова к голове, ребятишек, так что похоже все было на Мазая с зайцами: поп катал детей. Робинзоны катали девиц, и их было на лодке тоже часто и густо, как у Мазая, и тут уже пели все безотрывно под мандолину и балалайку. Увидав нас, весь народ повалил вслед за телегой, и так мы прибыли к своим палаткам на берегу Кубри. Так за один только день нашего отсутствия экспедиция совершенно вышла из своей научной колеи, и когда явился подвыпивший поп Филя, вообще трусивший своего ученого хозяина, то получил от него такое наставление:

— Ты, отец, не очень-то уж увлекайся краеведением.

1925

ЛЕСНАЯ КАПЕЛЬ



ФАЦЕЛИЯ

Поэма

ПРИЗНАНИЕ

Я боролся еще в ранней молодости с этим одиночеством пустыни, обращясь в дневниках своих с призывом к неведомому другу. Вначале наивные и чисто фактические, записи с годами совершенствуются и становятся источником всех моих книг, привлекших в мою пустыню много друзей. В этом преодолении пустыни и состоит цель моего писательства и смысл того «оптимизма» (радости жизни), о котором столько раз говорили мои критики. Никогда соблазн сочинительства (беллетристика) не привлекал меня, и если отбросить несущественное, то во всех своих книгах я остаюсь автором записок о непосредственных своих переживаниях.

Вот пришел долгожданный друг мой. Мы разглядывали с ним эти пятна — записи, и в них, точно так же, как бывает в пятнышках на старых обоях или на замороженных окнах, мы увидели образ моей любви — Фацелию.

ПУСТЫНЯ

> В пустыне мысли могут быть только свои, вот почему и боятся пустыни, что боятся остаться наедине с самим собой.

Давным-давно это было, но быльем еще не поросло, и я не дам порастать, пока сам буду жив. В то далекое «чеховское» время мы, два агронома, люди между собой почти незнакомые, ехали в тележке в

старый Волоколамский уезд по делам травосеяния. По пути нам было целое поле цветущей синей медоносной травы фацелии. В солнечный день, среди нашей нежной подмосковной природы это яркое поле цветов казалось чудесным явлением. Синие птицы как будто бы из далекой страны прилетели, ночевали тут и оставили после себя это синее поле. Сколько же там, мне думалось, в этой медоносной синей траве теперь гудит насекомых. Но ничего не было слышно из-за тарахтенья тележки по сухой дороге. Очарованный этой силой земли, я забыл о делах травосеяния и, только чтоб послушать гул жизни в цветах, попросил товарища остановить лошадь.

Сколько времени мы стояли, сколько я был там с синими птицами, не могу сказать. Полетав душой вместе с пчелами, я обратился к агроному, чтобы он тронул лошадь, и тут только заметил, что этот тучный человек с круглым заветренным простонародным лицом наблюдал меня и разглядывал с удивлением.

— Зачем мы останавливались? — спросил он.

— Да вот,— ответил я,— пчел мне захотелось послушать.

Агроном тронул лошадь. Теперь я, в свою очередь, вгляделся в него сбоку и что-то заметил. Еще раз глянул на него, еще и понял, что этот до крайности практический человек тоже о чем-то задумался, поняв через посредство, быть может, меня роскошную силу цветов этой фацелии.

Его молчанье мне становилось неловким. Я спросил его о чем-то незначительном, лишь бы не молчать, но он на вопрос мой не обратил ни малейшего внимания. Похоже было, что мое какое-то неделовое отношение к природе, быть может, просто даже молодость моя, почти юность, вызвали в нем свое собственное время, когда каждый почти бывает поэтом.

Чтобы окончательно вернуть этого тучного красного человека с широким затылком к действительной жизни, я поставил ему по тому времени очень серьезный практический вопрос.

— По-моему,— сказал я,— без поддержки кооперации наша пропаганда травосеяния — пустая болтовня.

— А была ли у вас,— спросил он,— когда-нибудь своя Фацелия?

— Как так? — изумился я.

— Ну да,— повторил он,— была ли она?

Я понял и ответил, как подобает мужчине, что, конечно, была, что как же иначе...

— И приходила? — продолжал он свой допрос.

— Да, приходила...

— Куда же делась-то?

Мне стало больно. Я ничего не сказал, но только слегка руками развел, в смысле: нет ее, исчезла. Потом, подумав, сказал о Фацелии:

— Как будто ночевали синие птицы и оставили свои синие перья.

Он помолчал, глубоко вгляделся в меня и заключил по-своему:

— Ну, значит, больше она уже не придет.

И, оглядев синее поле фацелии, сказал:

— От синей птицы это лежат только синие перышки.

Мне показалось, будто он силился, силился и, наконец, завалил над моей могилой плиту: я еще ждал до сих пор, а тут как будто навсегда кончилось, и *она никогда* не придет.

Сам же он вдруг зарыдал. Тогда для меня его широкий затылок, его плутоватые, залитые жиром глазки, его мясистый подбородок исчезли, и стало жаль человека, всего человека в его вспышках жизненной силы. Я хотел сказать ему что-то хорошее, взял вожжи в свои руки, подъехал к воде, намочил платок, освежил его. Вскоре он оправился, вытер глаза, взял вожжи опять в свои руки, и мы поехали по-прежнему.

Через некоторое время я решился опять высказать, как мне казалось тогда, вполне самостоятельную мысль о травосеянии, что без поддержки кооперации мы никогда не убедим крестьян ввести в севооборот клевер.

— А ночки-то были? — спросил он, не обращая никакого внимания на мои деловые слова.

— Конечно, были,— ответил я как настоящий мужчина.

Он опять задумался и — такой мучитель! — опять спросил:

— Что же, одна только ночка была?

Мне надоело, я чуть-чуть рассердился, овладел собой и на вопрос, одна или две, ответил словами Пушкина:

— «Вся жизнь — одна ли, две ли ночи».

СИНИЕ ПЕРЫШКИ

На иных березах, обращенных к солнцу, появились сережки золотые, чудесные, нерукотворные. На других только наклюнулись почки, на третьих раскрылись и уселись, как удивленные всему на свете, маленькие зеленые птички. Там на тонких веточках сидят, вот и там, и там... И все это нам, людям, не просто почки, а мгновенья: пропустим — не вернутся. И только из множества множеств кто-то один счастливец, стоящий на очереди, осмелеет, протянет руку и успеет схватить.

Лимонница, желтая бабочка, сидит на бруснике, сложив крылья в один листик: пока солнце не согреет ее, она не полетит и не может лететь, и вовсе даже не хочет спасаться от моих протянутых к ней пальцев.

Черная бабочка с тонкой белой каймой, монашенка, обмерла в холодной росе и, не дождавшись утреннего луча, отчего-то упала вниз, как железная.

Видел ли кто-нибудь, как умирает лед на лугу в лучах солнца? Вчера еще это был богатый ручей: видно по мусору, оставленному им на лугу. Ночь была теплая, и он успел за ночь унести почти всю свою воду и присоединить ее к большой воде. Последние остатки под утро схватил мороз и сделал из них кружева на лугу. Скоро солнце изорвало все эти кружева, и каждая льдинка отдельно умирала, падая на землю золотыми каплями.

Вчера зацвела черемуха, и весь город тащил себе из лесу ветки с белыми цветами. Я знаю в лесу одно дерево: сколько уж лет оно борется за свою жизнь, старается выше расти, уйти от рук ломающих. И удалось — теперь черемуха стоит вся голая, как пальма, без единого сучка, так что и залезть невозможно, а на самом верху расцвела. Другая же так и не справилась, захирела, и сейчас от нее торчат только палки.

Бывает, человек до последнего доходит в тоске по человеку, а вот жизнь не складывается, случая такого не выходит, чтобы завязались какие-нибудь глубокие личные отношения. При такой основной нехватке нельзя удовлетвориться каким-нибудь занятием, все равно, астрономией или химией, художеством, музыкой: тогда мир разделяется на внутренний и внешний так резко, что... Ну вот как бывало: от бесчеловечья вся сердечная жизнь вкладывалась в какую-нибудь собачонку, и жизнь этой собачонки становилась фактом безмерно более значительным, чем какое-нибудь величайшее открытие в физике, обещающее в будущем человеку даровой хлеб. Виноват ли отдавший все свое человеческое чувство собаке? Да, виноват. Ведь у меня от синей птицы моей юности — моей Фацелии — до сих пор в душе хранятся же синие перышки!

РЕКА ПОД ТУЧАМИ

Ночью мысль какая-то неясная была в душе, я вышел на воздух и мысль свою в реке увидал.

Вчера эта река при открытом небе перекликалась со звездами, со всем миром. Сегодня закрылось небо, и река лежала под тучами, как под одеялом, и больше с миром не перекликалась,— нет! И вот тут-то я узнал в реке свою мысль о себе, что невиновен я тоже, как и река, если не могу перекликаться со всем миром, закрытый от него темными покрывалами моей тоски об утраченной Фацелии. Так я и видел эту реку, что под темными тучами не могла перекликаться со

всеми, но все равно оставалась рекой и сияла во тьме и бежала. А в темноте под тучами рыба, чуя тепло в природе, плескалась гораздо сильней и громче вчерашнего, когда звезды сияли и сильно морозило.

РАЗЛУКА

Какое чудесное утро: и роса, и грибы, и птицы... Но только ведь это уже осень. Березки желтеют, трепетная осина шепчет: «Нет опоры в поэзии: роса высохнет, птицы улетят, тугие грибы все развалятся в прах... Нет опоры...» И так надо мне эту разлуку принять и куда-то лететь вместе с листьями.

ТЯГА

Все было прекрасно на этой тяге, но вальдшнеп не прилетел. Я погрузился в свои воспоминания: сейчас вот вальдшнеп не прилетел, а в далеком прошлом — она не пришла. Она любила меня, но ей казалось этого недостаточно, чтобы ответить вполне моему сильному чувству. И она не пришла. И так я ушел с этой «тяги» своей и больше не встречал ее никогда.

Такой сейчас чудесный вечер, птицы поют, все есть, но вальдшнеп не прилетел. Столкнулись две струйки в ручье, послышался всплеск, и ничего: попрежнему вода мягко катится по весеннему лугу.

А после оказалось, раздумывал я: из этого, что она не пришла, сложилось счастье моей жизни. Вышло так, что образ ее мало-помалу с годами исчезал, а чувство оставалось и жило в вечных поисках образа и находило его, обращаясь с родственным вниманием к явлениям жизни всей нашей земли, всего мира. Так на место одного лица стало *все* как лицо, и я любовался всю жизнь свою чертами этого необъятного лица, каждую весну что-то прибавлял к своим наблюдениям. Я был счастлив, и единственно чего мне еще не хватало, это чтобы счастливы, как я, были все.

Так вот оно чем объясняется, что моя литература остается жить: потому что это моя собственная жизнь. И всякий, кажется мне, мог бы, как я: попро-

буй-ка, забудь свои неудачи в любви и перенеси свое чувство в слово, и у тебя будут непременно читатели.

И я думаю теперь, что счастье вовсе не зависит от того, пришла она или не пришла, счастье зависит лишь от любви, была она или не была, самая любовь есть счастье, и эту любовь нельзя отделять от «таланта».

Так я думал, пока не стемнело, и я вдруг понял, что больше вальдшнеп не прилетит. Тогда резкая боль пронзила меня, и я прошептал про себя: «Охотник, охотник, отчего ты тогда ее не удержал!»

АРИШИН ВОПРОС

Когда эта женщина ушла от меня, Ариша спросила:

— А кто у ней муж?

— Не знаю,— сказал я,— не спрашивал. И не все ли нам-то равно, кто у ней муж.

— Как же так «все равно»,— сказала Ариша,— сколько сидели с ней, разговаривали, и не знаете, кто у ней муж, я бы спросила.

В следующий раз, когда она пришла ко мне, вспомнился Аришин вопрос, но я опять не спросил, кто у ней муж. Я потому не спросил, что она мне чем-то понравилась, и догадываюсь, именно тем, что глаза ее напомнили мне возлюбленную моей юности чудесную Фацелию. То или другое, но она мне нравилась именно тем же, чем некогда и Фацелия: она не возбуждала во мне помыслов о сближении, напротив, этот мой интерес к ней отталкивал всякое бытовое внимание. Никакого дела мне теперь не было до ее мужа, семьи, дома.

Когда она собралась уходить, мне вздумалось, после трудной работы, подышать воздухом, быть может, и проводить ее до дому. Мы вышли, было морозно. Черная река зябла, и струйки пара перебегали всюду, и от ледяных заберегов слышался шорох. Такая была страшная вода, бездна такая, что казалось, и самый несчастный, кто решился бы утонуть, взглянув в эту черную бездну, вернулся к себе домой радостный и прошептал, разводя самовар:

— Вздор-то какой — топиться! Там еще хуже нашего. Тут-то я хоть чаю попью.

— А у вас есть чувство природы? — спросил я свою новую Фацелию.

— А что это? — спросила она, в свою очередь.

Она была образованная женщина и сотни раз читала и слышала о чувстве природы. Но вопрос ее был такой простой, искренний. Не оставалось никакого сомнения: она действительно не знала, что такое чувство природы.

«И как она могла знать,— подумалось мне,— если она-то, может быть, эта моя Фацелия, и есть сама «природа».

Эта мысль поразила меня.

Еще раз захотелось мне с этим новым пониманием заглянуть в милые глаза и через них внутрь той самой моей «природы», желанной и вечно девственной и вечно рождающей.

Но было совсем темно, и взлет моего большого чувства попал в темноту и вернулся назад. Какая-то вторая моя натура вновь поставила этот Аришин вопрос.

В это время мы проходили по большому чугунному мосту, и, как только я открыл рот, чтобы задать своей чудесной Фацелии Аришин вопрос, сзади себя я услышал чугунные шаги. Я не хотел обернуться и посмотреть, какой великан шел по чугунному мосту. Я знал, кто он был: он был командор, карающая сила за бесплодность мечты моей юности, поэтической мечты, вновь подменяющей мне подлинную любовь человеческую.

И когда я поравнялся с ним, он только тронул меня, и я полетел через барьер в черную бездну.

Я очнулся в постели и подумал: «Не так-то уж глуп, как я думал, этот бытовой Аришин вопрос: если бы я в юности своей не подменил любовь свою мечтою, я не потерял бы свою Фацелию, и сейчас через много лет не приснилась бы черная бездна».

БЕЗДНА

Если кто скажет, что бездна тянет его в нее броситься, то это значит: он сильный, стоит у края ее и

удерживается. Слабого бездна не тянет и отбрасывает на покойные безопасные берега.

Бездна — испытание силы всему живому, той силы, которую нельзя ничем заменить.

РОССТАНЬ

Стоит столб, и от него идут три дороги; по одной, по другой, по третьей идти — везде беда разная, но погибель одна. К счастью, иду я не в ту сторону, где дороги расходятся, а оттуда назад — для меня погибельные дороги у столба не расходятся, а сходятся. Я рад столбу и верной единой дорогой возвращаюсь к себе домой, вспоминая у росстани свои бедствия.

КАПЛЯ И КАМЕНЬ

Лед крепкий под окном, но солнце пригревает, с крыш свесились сосульки — началась капель. «Я! я! я!» — звенит каждая капля, умирая; жизнь ее — доля секунды. «Я!» — боль о бессилии.

Но вот во льду уже ямка, промоина, он тает, его уже нет, а с крыши все еще звенит светлая капель.

Капля, падая на камень, четко выговаривает: «Я!» Камень, большой и крепкий, ему, может быть, еще тысячу лет здесь лежать, а капля живет одно мгновенье, и это мгновенье — боль бессилия. И все же: «капля долбит камень», многие «я» сливаются в «мы», такое могучее, что не только продолбит камень, а иной раз и унесет его в бурном потоке.

ГРАММОФОН

До того тяжела была утрата друга, что о внутреннем моем страданье стали замечать и посторонние. Жена моего хозяина это заметила и потихоньку спросила меня, чем это я так расстроен. Я встретил

первого человека, проявившего живое участие, и все ей рассказал о Фацелии.

— Ну, я вас сейчас вылечу,— сказала хозяйка и велела мне отнести в сад ее граммофон. Там было много цветущей сирени. Еще там была посеяна фацелия, и ярко-синяя цветущая поляна вся гудела пчелами. Добрая женщина принесла пластинку, завела, и в граммофон знаменитый в то время певец Собинов запел арию Ленского. Хозяйка восхищенно смотрела на меня, готовая помочь мне всем, чем могла. Каждое слово певца процветало любовью, пропитывалось медом фацелии, веяло ароматом сирени.

С тех пор прошло множество лет. И когда мне случается слышать где-нибудь арию Ленского, то все непременно возвращается: пчелы, синяя фацелия, сирень и моя добрая хозяйка. Тогда я не понял, но теперь знаю, что она действительно вылечила меня от безысходной тоски, и когда все вокруг меня начинают с презрением говорить о мещанстве граммофона — я молчу.

АППЕТИТ К ЖИЗНИ

Приходил расстроенный человек, назвался «читателем» и просил у меня такого слова, которое могло бы ему спасти жизнь.

— Вы же,— говорит он,— слову служите, и видно по вашим писаниям, что слово такое знаете. Скажите мне такое слово.

Я сказал, что таких слов про себя для особого случая не держу, если бы знал их, то сказал.

Никаких оговорок слышать он не хотел: вынь да положь. До того расстроен, что плакал. И когда уходил и в передней увидал свой узелок с сапогами, еще больше заплакал. Он объяснил, что, надевая дома валенки, вспомнил,— возможна оттепель, и захватил сапоги.

— Значит же,— сказал он,— сохраняется во мне такой аппетит к жизни, что подумал о возможности весенней оттепели.

Когда он это сказал, я вдруг вспомнил, как я сам свою беду-утрату погасил некогда подобным ожида-

нием весны, сколько из этого родилось потом у меня слов утешения, и мне стало радостно на душе: я знаю слова утешения и написал их, но только читатель попался мне плохой.

И тогда я вспомнил кое-что и неизвестному человеку сказал как сумел.

ГЕТЕ ОШИБСЯ

Первый раз обратил внимание, что иволги поют на разные лады, и вспомнил мысль Гете о том, что природа создает безличное, а только человек личен. Нет, я думаю, что только человек способен создавать наряду с духовными ценностями совершенно безликие механизмы, а в природе именно все лично, вплоть до самых законов природы: даже и эти законы изменяются в живой природе. Так не все верно говорил даже и Гете.

БРАЧНЫЙ ДЕНЬ

Тихое солнечное утро. Предрассветный мороз все прибрал, подсушил, где причесал, где подстриг, но солнце очень скоро расстроило все его утреннее дело, все пустило в ход, и на припеке острия зеленой травы начали отделять свои пузырики.

Не знаю и не хочу знать, как называется то дерево, на котором я увидел родные хохлатые почки, но в этот миг все пережитые мною весны стали мне, как одна весна, одно чувство, и вся природа явилась мне, как брачный сон наяву.

Ранняя весна возвращает меня к тому дню, от которого начинаются все мои сны. Мне долго казалось, что это острое чувство природы мне осталось от первой встречи себя, как ребенка, с природой. Но теперь я хорошо понимаю, что само чувство природы начинается от встречи моей с человеком.

Это началось в далекой молодости, когда я был на чужбине, когда впервые мелькнуло, что, может быть, необходимо расстаться с этой любовью к Фацелии, и когда на этой стороне стало так больно, что пальцем потрогай по телу — и душа отзывается, то на

другой стороне, взамен, встал великий мир моей радости. Казалось, так легко заменить свою боль от утраты Фацелии причастностью к благословенному человеческому труду, в котором живет красота и радость. Тогда я и вспомнил и узнал себя ребенком в природе. На чужбине родина моя показалась во всей своей пленительной силе, и вот, когда встала ярко первая встреча с природой, и родной человек в родной стороне показался прекрасным.

МЫШЬ

Мышь в половодье плыла долго по воде в поисках земли. Измученная, наконец-то увидела торчащий из-под воды куст и забралась на его вершину. До сих пор мышь эта жила, как все мыши, смотрела на них, все делала, как они, и жила. А вот теперь сама подумай, как жить. И на вечерней заре солнечный луч красный так странно осветил лобик мышиный, как лоб человеческий, и эти обыкновенные мышиные глазки-бусинки черные вспыхнули красным огнем, и в них вспыхнул смысл всеми покинутой мыши, той особенной, которая единственный раз пришла в мир, и если не найдет средства спасенья, то навсегда уйдет; и бесчисленные поколения новых мышей никогда больше не породят точно такую же мышь.

Со мной в юности было, как с этим мышонком: не вода, а любовь, тоже стихия, охватила меня. Я потерял тогда свою Фацелию, но в беде своей что-то понял, и когда спала любовная стихия, пришел к людям, как к спасительному берегу, со своим словом о любви.

БЕРЕЗЫ

Сквозь прелые листья и соломины пробивается зелень, лист жил, трава жила, и теперь, пожив хорошо, как удобрение переходят в новую зеленую жизнь. Страшно представить себя вместе с ними: понять ценность свою в таком обращении природы. Стоит мне что-нибудь выбрать, облюбовать, будь это лист, трава или вот эти две небольшие сестры-березки, как

все, избранное мною, так же как и я сам, не совпадает в моем представлении с удобрительной ценностью их предшественников.

Избранные мною сестры-березки небольшие еще, в рост человека, они растут рядом, как одно дерево. Пока не распустились еще листья и надутые почки как бусинки, на фоне неба видна вся тончайшая сеть веточек этих двух сплетенных берез. Несколько лет подряд во время движения березового сока я любуюсь этой изящной сетью живых веточек, замечаю, сколько прибавилось новых, вникаю в историю жизни сложнейшего существа дерева, похожего на целое государство, объединенное одной державой ствола. Много чудесного вижу я в этих березах и часто думаю о дереве, существующем независимо от меня и даже расширяющем мою собственную душу при сближении.

Сегодня вечер холодный, и я немного расстроен. Мне сегодня мои прежние догадки о «душе» березы представляются эстетическим бредом: это я, лично я, поэтизирую березки и открываю в них душу. На самом же деле нет ничего...

И вдруг при совершенно безоблачном небе на лицо мое сверху капнуло. Я подумал о пролетевшей птице какой-нибудь, поднял голову вверх: птицы нигде не было, а на лицо с безоблачного неба снова капнуло. Тогда я увидел, что на березе, под которой стоял я, высоко надо мной был поломан сучок и с него капал на меня березовый сок.

Тогда я, опять оживленный, вернулся мыслью к моим березкам, вспоминая друга, который в своей возлюбленной видел Мадонну; когда же с ней ближе сошелся, разочаровался и назвал свое чувство абстракцией половой любви. Много раз по-разному я думал об этом, и теперь березовый сок дал новое направление мысли о друге и его Мадонне.

«Бывает,— думал я,— человек не как мой друг поступает, бывает, человек, как я сам, вовсе не расстается со своей Фацелией и носит ее в себе, делая что-нибудь вместе со всеми, а любовь скрывая от всех. Но ведь где любовь, там и «душа»; и у возлюбленной и у березы».

И опять в этот вечер, под влиянием дождя березового сока, я видел, что у моих двух сестер-березок есть своя «душа».

ОСЕННИЕ ЛИСТИКИ

Перед самым восходом солнца на поляну ложится первый мороз. Притаиться, подождать у края,— что там только делается, на лесной поляне! В полумраке рассвета приходят невидимые лесные существа и потом начинают по всей поляне расстилать белые холсты. Первые же лучи солнца убирают холсты, и остается на белом зеленое место. Мало-помалу белое все исчезает, и только в тени деревьев и кочек долго еще сохраняются беленькие клинушки.

На голубом небе между золотыми деревьями не поймешь, что творится. Уносит ветер листы или стайками собрались мелкие птички и несутся в теплые далекие края.

Ветер — заботливый хозяин. За лето везде побывает, у него даже в самых густых местах не остается ни одного незнакомого листика. А вот осень пришла — и заботливый хозяин убирает свой урожай.

Листья, падая, шепчутся, прощаясь навек. У них ведь так всегда: раз ты оторвался от родимого царства, то и прощайся, погиб.

Я вспомнил опять Фацелию, и в осенний день сердце мое, как весной, наполнилось радостью, мне почудилось: я оторвался от нее, как лист, но я не лист, я человек. Может быть, для меня так и надо было: с этого отрыва, от этой утраты ее, может быть, началась моя настоящая близость со всем человеческим миром.

ДЕРЕВЬЯ В ПЛЕНУ

Дерево верхней своей мутовкой, как ладонью, забирало падающий снег, и такой от этого вырос ком, что вершина березы стала гнуться. И случилось, в оттепель падал опять снег и прилипал к тому кому, и ветка верхняя с комом согнула аркой все дерево, пока наконец вершина с тем огромным комом не по-

грузилась в снег на земле и этим не была закреплена до самой весны. Под этой аркой всю зиму проходили звери и люди изредка на лыжах. Рядом гордые ели смотрели сверху на согнутую березу, как смотрят люди, рожденные повелевать, на своих подчиненных.

Весной береза возвратилась к тем елям, и если бы в эту особенно снежную зиму она не согнулась, то потом и зимой и летом она оставалась бы среди елей, но раз уж согнулась, то теперь при самом малом снеге она наклонялась и в конце концов непременно каждый год аркой склонялась над тропинкой.

Страшно бывает в снежную зиму войти в молодой лес: да ведь и невозможно войти. Там, где летом шел по широкой дорожке, теперь через эту дорожку лежат согнутые деревья, и так низко, что только зайцу под ними и пробежать. Но я знаю одно простое волшебное средство, чтобы идти по такой дорожке, самому не сгибая спины. Я выламываю себе хорошую увесистую палочку, и стоит мне только этой палочкой хорошенько стукнуть по склоненному дереву, как снег валится вниз со всеми своими фигурами, дерево прыгает вверх и уступает дорогу. Медленно так я иду и волшебными ударами освобождаю множество деревьев.

ЖИВОЙ ДЫМОК

Вспомнилось, как вчера ночью в Москве я проснулся и по дыму в окне узнал время: был предрассветный час. Где-то из какого-то дома из чьей-то трубы выходил дымок, едва различимый в темноте и прямой, как колонна, дрожащая в мареве. И никого живого не было, только этот живой дымок был, и сердце мое живое волновалось, как этот дымок, и вся душа была вверх в полнейшей тишине. Так некоторое время, припав лбом к стеклу, я и побыл наедине с дымом в этот предрассветный час.

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ

Время, когда березки последнее свое золото ссыпают на ели и на уснувшие муравейники. Я замечаю даже блеск хвоинок на тропе в лучах заходящего

солнца и все иду, любуясь, иду без конца по лесной тропе, и лес мне становится таким же, как море, и опушка его, как берег на море, а полянка в лесу, как остров. На этом острове стоит тесно несколько елок, под ними я сел отдохнуть. У этих елок, оказывается, вся жизнь вверху. Там, в богатстве шишек, хозяйствует белка, клесты и, наверное, еще много неизвестных мне существ. Внизу же под елями, как на черном ходу, все мрачно, и только смотришь, как летит шелуха.

Если пользоваться умным вниманием к жизни и питать сочувствие ко всякой твари, можно и здесь читать увлекательную книгу: вот хотя бы об этих семечках елей, падающих вниз при шелушении шишек клестами и белками. Когда-то одно такое семечко упало под березой между ее обнаженными корнями. Елка, прикрытая от ожогов солнца и морозов березой, стала расти, продвигаясь между наружными корнями березы вниз, встретила там новые корни березы, и своих корней елке некуда девать. Тогда она подняла свои корешки поверх березовых, обогнула их и на той стороне впустила в землю. Теперь эта ель обогнала березу и стоит рядом с ней со сплетенными корнями.

ДВИЖЕНЬЕ

Цветущий луг возле бочага. Я прислонил велосипед к дереву, а сам сел на бревно, мне захотелось после движенья собраться с мыслями. Движенье так выводит из себя, что не скоро и соберешься. Не в том состоит победа над машиной, что научаешься баранкой вертеть, а в том, что при всяком движении сохраняешь свою внутреннюю тишину. Ведь чем тише сам, тем больше замечаешь и ценишь движенье жизни.

БОЛЬШАЯ ВОДА

Сказано у Гете недвусмысленно, что, созерцая природу, человек все лучшее, о чем он говорит, берет из себя. Но почему же, бывает, подходишь к большой

воде с такой мелкой душонкой, раздробленной еще больше какой-нибудь домашней ссорой, а взглянул на большую воду — и душа стала большой, и все простил великодушно?

ПАСТУШЬЯ СВИРЕЛЬ

Дни переходят в очень жаркие, но росы еще сильные, прохладные. Скотину стали выгонять рано и в полдень пригонять, спасать от слепней. Пастушья свирель имеет способность проникать в каждый дом и достигать каждой спящей души.

Сегодня мелодия проникла в меня, и я допустил для себя возможность удовлетворения жизнью совершенно простой, в которой настоящее добро выходило бы без всяких усилий, а прямо как непременное следствие жизни, которую ведешь для себя. А мое общение с человеком происходило бы в силу того, что хочется с человеком поговорить, хочется обласкать детей. Никаких подходов и загадов, все само собой должно выходить: внимания ждет человек, а не денег.

БЕДНАЯ МЫСЛЬ

Внезапно стало теплеть. Петя занялся рыбой, поставил в торфяном пруду сети на карасей и заметил место: против сети на берегу стояло около десяти маленьких, в рост человека, березок. Солнце садилось пухлое. Лег спать: рев лягушек, соловьи и все, что дает бурная «тропическая ночь».

Только бывает так, что, когда совсем хорошо, бедному человеку в голову приходит бедная мысль и не дает возможности воспользоваться счастьем тропической ночи. Пете пришло в голову, что кто-то, как в прошлом году, подсмотрел за ним и украл его сети. На рассвете он бежит к тому месту и действительно видит: там люди стоят на том самом месте, где он поставил сети. В злобе, готовый биться за сети с десятком людей, он бежит туда и вдруг останавливается и улыбается: это не люди — это за ночь те десять березок оделись и будто люди стоят.

ПОЮЩИЕ ДВЕРИ

Глядя на ульи с пчелами, летающими туда и сюда в солнечном свете: туда легкими, сюда обремененными цветочной пыльцой,— легко представляешь себе мир людей и вещей согласованных, вещей, обжитых до того, что они, как двери в «Старосветских помещиках», поют.

На пасеке я всегда вспоминаю старосветских помещиков, как они были для Гоголя: в смешных старичках с их поющими дверями Гоголю чудилась возможность гармонической и совершенной любви людей на земле.

CIRCULUS VITIOSUS

Когда-то я дивился, как не стыдно жить лысым, откуда берут они охоту и на что рассчитывают, расправляя нижние последние длинные волосы по всей лысине, примазывая их чем-то даже довольно прочно. Лысые, пузатые люди во фраках, старые девы с желтыми щеками, в бриллиантах и бархате. Как не стыдно всем им показываться при белом свете и рядиться в богатые одежды? Прошло два, три десятка лет, и мне пришлось зачесывать волосы свои наперед, и кто-то открыл однажды их и сказал: зачем вы закрываете, у вас такой правильный лоб, превосходная лысина. И вот я мало-помалу совершенно примирился с лысиной. Я со всеми примирился недостатками... Примирился даже с утратой своей юношеской Фацелии. Лысые, пузатые, желтые, больные не беспокоят моего воображения, и только не могу еще перешагнуть через бездарных. Но думаю, что и талант тоже, как лысина: может талант пройти, писать не захочется, и с этим тоже помиришься. Ведь не ты же сам создал свой талант, у тебя это выросло, как густые волосы, и он тоже, если так оставить, вылезет, как волосы: писатель «испишется». Не в таланте дело, а в том, кто управляет талантом. Вот уж этого утратить нельзя, эта утрата незаменима: это уж не лысина, не брюхо, это я сам. И пока «я сам» существует, нечего плакать об утраченном: ведь говорят: «снявши

голову, по волосам не плачут», значит — можно сказать и так: «была бы голова, а волосы вырастут».

РАССТАВАНИЕ И ВСТРЕЧА

Наблюдал я с восхищением начало потока. На одном холме стояло дерево — очень высокая елка. Капли дождя собирались с ветвей на ствол, укрупнялись, перескакивали на изгибах ствола и часто погасали в густых светло-зеленых лишайниках, одевающих ствол. В самом низу дерево было изогнуто, и капли из-под лишайников тут брали прямую линию вниз, в спокойную лужу с пузырями. Кроме этого, и прямо с веток падали разные капли, по-разному звучали.

На моих глазах маленькое озеро под деревом прорвало, поток под снегом понесся к дороге, ставшей теперь плотиной. Новорожденный поток был такой силы, что дорогу-плотину прорвало, и вода помчалась вниз по сорочьему царству к речке. Ольшаник у берега речки был затоплен, с каждой ветки в заводь падали капли и давали множество пузырей. И все эти пузыри, медленно двигаясь по заводи к потоку, вдруг там срывались и неслись по реке вместе с пеной.

В тумане то и дело показывались, пролетая, какие-то птички, но я не мог определить, какие это. Птички на лету пищали, но за гулом реки я не мог понять их писка. Они садились вдали на группу стоявших возле реки деревьев. Туда я направился узнать, какие это к нам гости так рано пожаловали из теплых краев.

Я услыхал песнь зяблика. Ушам своим не поверил, но скоро понял, что те птички, летевшие из тумана, те ранние гости — были все зяблики. Тысячи зябликов все летели, все пели, садились на деревья и во множестве рассыпались по зяби, и я в первый раз понял, что слово «зяблик» происходит от «зяби». Но самое главное при встрече с этими желанными птичками был страх,— что, будь их поменьше, я, думая о себе, очень возможно, и вовсе бы их пропустил.

«Так вот,— раздумывал я,— сегодня я пропущу зябликов, а завтра пропущу хорошего живого чело-

века, и он погибнет без моего внимания». Я понял, что в этой моей отвлеченности было начало какого-то основного большого заблуждения.

ДОЧЬ ФАЦЕЛИИ

Я потерял ее вовсе из виду, и с тех пор много лет прошло. Я до того утратил ее черты, что не мог бы по лицу узнать ее. И только вот одни глаза, похожие на две северные звездочки, это я бы, конечно, узнал.

И случилось однажды, я зашел в комиссионный магазин купить себе одну вещь. Мне удалось эту вещь найти и купить. С чеком в руке я стал в очередь. Рядом же была очередь вторая, из тех, у кого были только крупные деньги: в кассе не было разменных денег. Одна молодая женщина из той очереди попросила у меня разменять пять рублей: ей нужно было всего только лишь два рубля. У меня было мелких только два рубля, и я охотно предложил взять от меня эти два рубля...

Вероятно, она не поняла меня, что я желаю просто отдать ей, подарить деньги. А может быть, она была такая милая, что победила в себе чувство ложного стыда и хотела стать выше условных мелочей. К сожалению, протягивая деньги, я взглянул на нее и вдруг узнал те самые глаза, те самые две северные звездочки, как у Фацелии. В одно мгновенье это я успел через глаза заглянуть внутрь ее души и мне успело мелькнуть, что, может быть, это дочь «ее»...

Но денег от меня после такого заглядывания взять оказалось невозможным. А может быть, она только тут успела сообразить, что деньги я хочу ей, незнакомой, подарить.

Подумаешь, деньги-то какие, всего два рубля! Я протянул руку с деньгами.

— Нет! — сказала она.— Так взять я от вас не могу.

А я-то в ту минуту, узнавая те глаза, готов был отдать ей все, что у меня было, я готов был по одному ее слову побежать куда-то и принести ей еще и еще...

Умоляющим взглядом, как нищий из нищих, я поглядел и попросил:

— Возьмите же...

— Нет! — повторила она.

И когда у меня сделался вид совершенно несчастного, брошенного, измученного бездомьем человека, она что-то вдруг поняла, улыбнулась тою самой прежней своей улыбкой Фацелии и сказала:

— Мы сделаем так: вы у меня возьмете пять рублей и мне дадите два. Хотите?

С восторгом я взял у нее пять рублей и видел, что восторг мой она хорошо поняла и оценила.

СТАРАЯ ЛИПА

Думал о старой липе с такой морщинистой корой. Сколько времени она утешала старого хозяина и утешает меня, вовсе и не думая ничего о нас! Я смотрю на ее бескорыстное служение людям, и у меня, как душистый липовый цвет, распускается надежда: может, когда-нибудь и я вместе с ней процвету.

РАДОСТЬ

Горе, скопляясь в одной душе больше и больше, может в какой-то прекрасный день вспыхнуть, как сено, и все сгореть огнем необычайной радости.

ПОБЕДА

Друг мой, ни на севере, ни на юге нет тебе места, если сам поражен: вся природа побежденному человеку — поле, где была проиграна битва. Но если победа, если даже дикие болота одни были свидетелем твоей победы, то и они процветут необычайной красотой, и весна останется тебе навсегда, одна весна, слава победе.

ПОСЛЕДНЯЯ ВЕСНА

Быть может, эта весна моя последняя. Да, конечно, каждый молодой и старый, встречая весну, должен думать, что, может быть, это его последняя весна и больше он к ней никогда не вернется. От этой мысли радость весны усиливается в сто тысяч раз, и каждая мелочь, зяблик какой-нибудь, даже слово, откуда-то прилетевшее, являются со своими собственными лицами, со своим особенным заявлением на право существования и участия и для них тоже в последней весне.

БЛИЗКАЯ РАЗЛУКА

Осенью, конечно, все шепчет кругом о близкой разлуке, в радостный солнечный день к этому шепоту присоединяется задорное: хоть один, да мой! И я думаю, что, может быть, и вся наша жизнь проходит, как день, и вся мудрость жизненная сводится к тому же самому: одна только жизнь, единственная, как осенью единственный солнечный день, один день, а мой!

КУКУШКА

Кукушка во время моего отдыха на поваленной березе, не заметив меня, села где-то почти рядом и с каким-то придыханием, вроде того, как если бы нам сказать: — а ну-ка, попробую, что будет? — кукукнула.

— Раз! — сказал я, по старой привычке загадывая, сколько лет еще остается мне жить.

— Два!

И только она выговорила свое «ку» из третьего раза, и только собрался я сказать свое «три»...

— Кук! — выговорила она и улетела.

Свое три я так и не сказал. Маловато вышло мне жить, но это не обидно, я достаточно жил, а вот обидно, что если эти два с чем-то года будешь все собираться для какого-нибудь большущего дела, и вот соберешься, начнешь, а там вдруг «кук!»... Все кончится!

Так стоит ли собираться?

«Не стоит!» — подумал я.

Но, встав, бросил последний взгляд на березу — и сразу все расцвело в душе моей: эта чудесная упавшая береза для последней своей, для одной только нынешней весны раскрывает смолистые почки.

УЛЫБКА ЗЕМЛИ

В больших горах, как на Кавказе, всюду остались следы титанической борьбы и событий в жизни земной коры, похожие на страдания и гримасы ужаса на лице человеческом. Там прямо на глазах вода разрезает горы и падают камни и рассыпаются мало-помалу. Может быть, когда-то и у нас в Московской области тоже была такая борьба, только давно это прошло, и вода до того умерила стихии, что как будто здесь наконец-то земля улыбнулась зелеными лесистыми холмами.

Бродишь глазами по этим милым холмам и, вспоминая свое прошлое, иной раз подумаешь: «Нет, не хочу опять повторять, не хочу опять быть молодым!» И улыбнешься вместе с землей и чему-то обрадуешься.

СОЛНЦЕ В ЛЕСУ

Такой лес, что солнце не сразу и увидишь, только по огненным пятнам и стрелам догадаешься, что вон там оно спряталось за большим деревом и бросает оттуда в темный лес свои ранние утренние косые лучи...

С поляны сияющей входишь в темный лес, как в пещеру, но когда осмотришься,— до чего хорошо! Невозможно сказать, до чего прекрасно бывает в темном лесу в яркий солнечный день. Никто, я думаю, не удержится, чтобы не дать полную свободу своей привязанной разными заботами мысли. Тогда обрадованная мысль летает от одного солнечного пятна к другому, вдруг обнимет по пути на солнечной поляне елочку, стройную, как башенка, соблазнится, как девочка, ничего не понимающая, белизной березки,

спрячет в ее зеленых кудрях вспыхнувшее личико и помчится, вспыхивая в лучах, от поляны к поляне.

СТАРЫЙ СКВОРЕЦ

Скворцы вывелись и улетели, и давно уже их место в скворечнике занято воробьями. Но до сих пор на ту же яблоню прилетает в хорошее росистое утро старый скворец и поет.

Вот странно, казалось бы, все уже кончено, самка давно вывела, детеныши выросли и улетели... Для чего же старый скворец прилетает каждое утро на яблоню, где прошла его весна, и поет?

Удивляюсь скворцу, и под песню его косноязычную и смешную сам в какой-то неясной надежде, ни для чего, иногда тоже кое-что сочиню.

ПТИЧИК

Птичик, самый малый, сел на вершинный палец самой высокой ели, и, видно, он там недаром сел, тоже славил зарю; клюв его маленький раскрывался, но песня не достигала земли, и по всему виду птички можно было понять: дело ее — славить, а не в том, чтобы песня достигала земли и славила птичку.

ЦВЕТУЩИЕ ТРАВЫ

Как рожь на полях, так в лугах тоже зацвели все злаки, и когда злачинку покачивало насекомое, она окутывалась пыльцой, как золотым облаком. Все травы цветут и даже подорожники,— какая трава подорожник, а тоже весь в белых бусинках.

Раковые шейки, медуницы, всякие колоски, пуговки, шишечки на тонких стебельках приветствуют нас. Сколько их прошло, пока мы столько лет жили, а не узнать, кажется, все те же шейки, колоски, старые друзья. Здравствуйте, еще раз здравствуйте, милые!

РАСЦВЕТ ШИПОВНИКА

Шиповник, наверное, с весны еще пробрался внутрь по стволу к молодой осинке, и вот теперь, ког-

да время пришло осинке справлять свои именины, вся она вспыхнула красными благоухающими дикими розами. Гудят пчелы и осы, басят шмели, все летят поздравлять и на именинах роски попить и медку домой захватить.

СЫТЫЕ ПУЗЫРИ

Весь день дождь и парит. Синица звенит не как раньше — брачным голосом в теплом луче. Теперь под дождем она звенит непрерывно и даже как будто от этого похудела: такая тоненькая на ветке. Ворона не хочет даже подняться на дерево, токует прямо на дороге, кланяется, давится, хрипит, задыхается от желания.

Весна воды началась стремительно. Снег на полях и в лесу стал зернистым, можно ходить, продвигая ноги, как лыжи. Вокруг елей в лесу стоят маленькие спокойные озера. На открытых полянах торопливый дождь не дает на лужах вставать пузырям. Но в озерках под елками капли с сучьев падают тяжелые, и каждая, падая в воду, дает сытый, довольный пузырь. Я люблю эти пузыри, они мне напоминают маленьких детей, похожих одновременно и на отца и на мать.

РОДНОЙ САМОВАР

Бывает такая тишина, такая ясность в душе. Смотришь на человека всякого с таким вниманием, если красив — восхищаешься, если плох — пожалеешь. В любой вещи тогда чувствуешь душу создавшего ее человека.

Вот сейчас самовар ставлю, самовар, прослуживший мне тридцать лет,— и стараюсь, как бы самовар, так и быть уж на радости, пусть родной самовар, вскипая, слезу не пролил.

РИТМ

Есть в моей природе постоянное стремление к ритму. Бывает, встанешь рано, выйдешь на росу, радость

охватит, и тут решаешь, что надо *каждое* утро так выходить. Почему же каждое? Потому что волна идет за волной...

ВОДА

Никто в природе так не затаивается, как вода, и только перед большой и радостной зарей бывает так на сердце человека: притаишься, соберешься, и как будто сумел, достал себя из той глубины, где есть проток в мир всеобщего родства, зачерпнул там живой воды и вернулся в наш человеческий мир,— и тут навстречу тебе лучезарная тишь воды, широкой, цветистой, большой.

МОЛОДЫЕ ЛИСТИКИ

Ели цветут красными свечами и пылят желтой мучицей. У старого огромного пня я сел прямо на землю; пень этот внутри — совершенно труха и, наверное, рассыпался бы вовсе, если бы твердая крайняя древесина не растрескалась дощечками, как в бочках, и каждая дощечка не прислонилась бы к трухе и не держала бы ее. А из трухи выросла березка и теперь распустилась. И множество разных трав ягодных, цветущих снизу, поднимались к этому старому огромному пню.

Пень удержал меня, я сидел рядом с березкой, старался услышать шелест трепещущих листиков и не мог ничего услыхать. Но ветер был довольно сильный, и по елям приходила сюда лесная музыка волнами, редкими и могучими. Вот убежит волна далеко и не придет, и шумовая завеса упадет, откроется на короткую минуту полная тишина, и зяблик этим воспользуется: раскатится бойко, настойчиво. Радостно слушать его,— подумаешь, как жить хорошо на земле! Но мне хочется услышать, как шепчутся бледно-желтые ароматно-блестящие и еще маленькие листья моей березы. Нет! Они такие нежные, что только трепещутся, блестят, пахнут, но не шумят.

У СТАРОГО ПНЯ

Пусто никогда не бывает в лесу, и если кажется пусто, то сам виноват.

Старые умершие деревья, их огромные старые пни окружаются в лесу полным покоем, сквозь ветви падают на их темноту горячие лучи, от теплого пня вокруг все согревается, все растет, движется, пень прорастает всякой зеленью, покрывается всякими цветами. На одном только светлом солнечном пятнышке на горячем месте расположились десять кузнечиков, две ящерицы, шесть больших мух, две жужелицы... Вокруг высокие папоротники собрались, как гости, редко ворвется к ним самое нежное дыхание где-то шумящего ветра, и вот в гостиной у старого пня один папоротник наклонится к другому, шепнет что-то, и тот шепнет третьему, и все гости обменяются мыслями.

У РУЧЬЯ

Березки теперь давно оделись и утопают в высокой траве, а когда я снимал их, то была первая весна, и в снегу под этой березкой, темнея на голубом, начинался первый ручеек. С тех пор, пока разоделись березки и выросли под ними разные травы с колосками и шишечками и шейками разных цветов, много, много воды утекло из ручья, и сам ручей тот до того зарос в темно-зеленой густоте непроницаемой осокой, что не знаю, есть ли еще в нем теперь хоть сколько-нибудь воды. И так точно было со мной в это время; сколько воды утекло с тех пор, как мы расстались, и по виду моему никому не узнать, что ручей души моей все еще жив.

ПЕСНЯ ВОДЫ

Весна воды собирает родственные звуки, бывает, долго не можешь понять, что это: вода булькает, или тетерева бормочут, или лягушки урчат. Все вместе сливается в одну песню воды, и над ней согласно

всему блеет бекас божьим баранчиком, в согласии с водой вальдшнеп хрипит и таинственно ухает выпь: все это странное пенье птиц вышло из песни весенней воды.

ЭОЛОВА АРФА

Повислые под кручей частые длинные корни деревьев теперь под темными сводами берега превратились в сосульки и, нарастая больше и больше, достигли воды. И когда ветерок, даже самый ласковый, весенний, волновал воду и маленькие волны достигали под кручей концов сосулек, то волновали их, они качались, стуча друг о друга, звенели, и этот звук был первый звук весны, эолова арфа.

ПЕРВЫЙ ЦВЕТОК

Думал, случайный ветерок шевельнул старым листом, а это вылетела первая бабочка. Думал, в глазах это порябило, а это показался первый цветок.

НЕВЕДОМОМУ ДРУГУ

Солнечно-росистое это утро, как неоткрытая земля, неизведанный слой небес, утро такое единственное, никто еще не вставал, ничего никто не видал, и ты сам видишь впервые.

Допевают свои весенние песни соловьи, еще сохранились в затишных местах одуванчики, и, может быть, где-нибудь в сырости черной тени белеет ландыш. Соловьям помогать взялись бойкие летние птички — подкрапивники, и особенно хороша флейта иволги. Всюду беспокойная трескотня дроздов, и дятел очень устал искать живой корм для своих маленьких, присел вдали от них на суку просто отдохнуть.

Вставай же, друг мой! Собери в пучок лучи своего счастья, будь смелей, начинай борьбу, помогай солнцу! Вот слушай, и кукушка взялась тебе помогать. Гляди, лунь плывет над водой: это же не простой лунь, в это утро он первый и единственный, и вот сороки, сверкая росой, вышли на дорожку,— завтра так точно сверкать они уже не будут, и день-то будет

не тот,— и эти сороки выйдут где-нибудь в другом месте. Это утро единственное, ни один человек его еще не видел на всем земном шаре: только видишь ты и твой неведомый друг.

И десятки тысяч лет жили на земле люди, копили, передавая друг другу, радость, чтобы ты пришел, поднял ее, собрал в пучки ее стрелы и обрадовался. Смелей же, смелей!

И опять расширится душа: елки, березки,— и не могу оторвать своих глаз от зеленых свечей на соснах и от молодых красных шишек на елках. Елки, березки, до чего хорошо!

ВЕРХНЯЯ МУТОВКА

Утром лежал вчерашний снег. Потом выглянуло солнце, и при северном холодном ветре весь день носились тяжелые облака, то открывая солнце, то опять закрывая и угрожая...

В лесу же в заветрии как ни в чем не бывало продолжалась весенняя жизнь...

Какая восхитительная сказка бывает в лесу, когда со всех этажей леса свешиваются, сходятся, переплетаются ветви, еще не одетые, но с цветами-сережками или с зелеными длинными напряженными почками.

Жгутики зеленые черемухи, в бузине красная кашица с волосками, в ранней иве, из-под ее прежнего волосатого вербного одеяльца выбиваются мельчайшие желтенькие цветочки, составляющие потом в целом как бы желтого, только что выбившегося из яичной скорлупы цыпленка.

Даже стволы нестарых елей покрылись, как шерстью, зелеными хвоинками, а на самом верхнем пальце самой верхней мутовки явно показывается новый узел новой будущей мутовки...

Не о том я говорю, чтобы мы, взрослые, сложные люди, возвращались бы к детству, а к тому, чтобы в себе самих хранили бы каждый своего младенца, не забывали бы о нем никогда и строили жизнь свою, как дерево: эта младенческая первая мутовка у дерева всегда наверху, на свету, а ствол — это его сила, это мы взрослые.

ПШЕНИЧНОЕ ЗЕРНО

Теперь и шекспировская сила воображенья не́ подавляет меня как писателя: я хорошо знаю, что если б мне удалось без воображенья, а просто терпеливой раскопкой найти в себе крупинку такого, чем все люди живут, и об этом рассказать, то сам Шекспир, как брата, позвал бы меня в свой охотничий замок, и ему бы и в голову не пришло противопоставлять величайшую силу своего таланта пшеничному зерну моей веры в какого-то друга.

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ

Тут, на этой цветущей лесной поляне, давно когда-то жили: вон там, видно, обрыто было, там вырыто, там, наверно, дом стоял, здесь погреб, и на лужайке по густо-зеленому цвету полоски травы можно догадаться, что это была дорога, по которой ходил давно умерший человек.

Я иду этой полоской и чувствую, от чего-нибудь чувства мои и понимание до того могут перемениться, такое во мне может произойти, что того давно умершего человека я могу узнать в себе самом, и как шел он тогда по своей дороге, и как теперь в виде «я» идет по густо-зеленой траве.

И когда воскрес во мне самый тот человек, под огромным дубом я увидел по свежей зеленой траве темно-зеленое изображение другого, тоже огромного дерева. Чуть подумав об этом, я догадался, что другой дуб, росший долго вместе с этим, давно упал, давно рассыпался в прах и стал удобрением, создавшим густую зелень на свежей траве.

ВЕЧЕР ОСВЯЩЕНИЯ ПОЧЕК

Почки раскрываются, шоколадные с зелеными хвостиками, и на каждом зеленом клювике висит большая прозрачная светлая капля. Возьмешь одну почку, разотрешь между пальцами, и потом долго все пахнет тебе ароматной смолой березы, тополя или особенным воспоминательным запахом черемухи: вспомина-

ешь, как, бывало, забирался наверх по дереву за ягодками, блестящими, черно-лаковыми, и ел их горстями прямо с косточками, и почему-то от этого никогда ничего, кроме хорошего, не бывало.

Вечер теплый и такая тишина, что ждешь чего-то напряженно: должно же что-нибудь случиться в такой тишине. И вот, кажется, пришло: кажется, начинают шептаться между собой деревья: береза белая с другой березой белой издали перекликаются, осинка молодая стала на поляне, как зеленая свеча, находит себе такую же свечу, черемуха черемухе подает ветку с раскрытыми почками. И так, если с нами сравнить, мы звуками перекликаемся, а у них аромат: сейчас каждая порода окружена своим ароматом.

Когда начало темнеть, стали в темноте исчезать почки, но капли на них светились, и, даже когда ничего нельзя было понять в темной тесноте кустарников, капли светились, одни только капли да небо: капли брали у неба свой свет и светили нам в темном лесу.

Мне казалось, будто я весь собрался в одну смолистую почку и хочу раскрыться навстречу единственному неведомому другу, такому прекрасному, что при одном только ожидании его все преграды движению моему рассыпаются ничтожною пылью.

ЛЕСНОЙ РУЧЕЙ

Если хочешь понять душу леса, найди лесной ручей и отправляйся берегом его вверх или вниз. Я иду берегом своего любимого ручья самой ранней весной. И вот что я тут вижу, и слышу, и думаю.

Вижу я, как на мелком месте текущая вода встречает преграду в корнях елей, и от этого журчит о корни и распускает пузыри. Рождаясь, эти пузыри быстро мчатся и тут же лопаются, но большая часть их сбивается дальше у нового препятствия в далеко видный белоснежный ком.

Новые и новые препятствия встречает вода, и ничего ей от этого не делается, только собирается в струйки, будто сжимает мускулы в неизбежной борьбе.

Водная дрожь от солнца бросается тенью на ствол елки, на травы, и тени бегут по стволам, по травам, и в дрожи этой рождается звук, и чудится, будто травы растут под музыку, и видишь согласие теней.

С мелкоширокого плеса вода устремляется в узкую приглубь, и от этой бесшумной устремленности вот и кажется, будто вода мускулы сжала, а солнце это подхватывает, и напряженные тени струй бегут по стволам и по травкам.

А то вот большой завал, и вода как бы ропщет, и далеко слышен этот ропот и переплеск. Но это не слабость и не жалоба, не отчаяние, вода этих человеческих чувств вовсе не знает, каждый ручей уверен в том, что добежит до свободной воды, и даже если встретится гора, пусть и такая, как Эльбрус, он разрежет пополам Эльбрус, а рано ли, поздно ли — добежит...

Рябь же на воде, схваченная солнцем, и тень, как дымок, перебегает вечно по деревьям и травам, и под звуки ручья раскрываются смолистые почки, и травы поднимаются из-под воды и на берегах.

А вот тихий омут с поваленным внутрь его деревом; тут блестящие жучки-вертунки распускают рябь на тихой воде.

Под сдержанный ропот воды струи катятся уверенно и на радости не могут не перекликнуться: сходятся могучие струи в одну большую и, встречаясь, сливаются, говорят и перекликаются: это перекличка всех приходящих и расходящихся струй.

Вода задевает бутоны новорожденных желтых цветов, и так рождается водная дрожь от цветов. Так жизнь ручья проходит то пузырями и пеной, а то в радостной перекличке среди цветов и танцующих теней.

Дерево давно и плотно легло на ручей и даже позеленело от времени, но ручей нашел себе выход под деревом и быстриком, с трепетными тенями бьет и журчит.

Некоторые травы уже давно вышли из-под воды и теперь на струе постоянно кланяются и отвечают вместе и трепету теней, и ходу ручья.

Пусть завал на пути, пусть! Препятствия делают жизнь: не будь их, вода бы безжизненно сразу ушла в океан, как из безжизненного тела уходит непонятная жизнь.

На пути явилась широкая, приглубная низина. Ручей, не жалея воды, наполнил ее и побежал дальше, оставляя эту заводь жить своей собственной жизнью.

Согнулся широкий куст под напором зимних снегов и теперь опустил в ручей множество веток, как паук, и, еще серый, насел на ручей и шевелит всеми своими длинными ножками.

Семена елей плывут и осин.

Весь проход ручья через лес — это путь длительной борьбы, и так создается тут время. И так длится борьба, и в этой длительности успевают зародиться жизнь и мое сознание.

Да, не будь этих препятствий на каждом шагу, вода бы сразу ушла, и вовсе бы не было жизни-времени...

В борьбе своей у ручья есть усилие, струи, как мускулы, скручиваются, но нет никакого сомнения в том, что рано ли, поздно ли он попадет в океан к свободной воде, и вот это «рано ли, поздно ли» и есть самое-самое время, самая-самая жизнь.

Перекликаются струи, напрягаясь, у сжатых берегов, выговаривают свое: «рано ли, поздно ли». И так весь день и всю ночь журчит это «рано ли, поздно ли». И пока не убежит последняя капля, пока не пересохнет весенний ручей, вода без устали будет твердить: «Рано ли, поздно ли, мы попадем в океан».

По заберегам отрезана весенняя вода круглой лагункой, и в ней осталась от разлива щучка в плену.

А то вдруг придешь к такому тихому месту ручья, что слышишь, как на весь-то лес урчит снегирь и зяблик шуршит старой листвой.

А то мощные струи, весь ручей в две струи под косым углом сходится и всей силой своей ударяет в кручь, укрепленную множеством могучих корней вековой ели.

Так хорошо было, что я сел на корни и, отдыхая, слышал, как там внизу, под кручей, перекликались

уверенно могучие струи, они пе-ре-кли-кались в своем «рано ли, поздно ли».

В осиновой мелочи расплескалась вода, как целое озеро, и, собравшись в одном углу, стала падать с обрыва высотой в метр, и от этого стало бубнить далеко. Так Бубнило бубнит, а на озерке тихая дрожь, мелкая дрожь, и тесные осинки, опрокинутые там под водой, змейками убегают вниз беспрерывно и не могут убежать от самих себя.

Привязал меня ручей к себе, и не могу я отойти в сторону, скучно становится.

Вышел на какую-то лесную дорогу, и тут теперь самая низенькая трава, такая зеленая, сказать — почти ядовитая, и по бокам две колеи, переполненные водой.

На самых молодых березках зеленеют и ярко сияют ароматной смолой почки, но лес еще не одет, и на этот еще голый лес в нынешнем году прилетела кукушка: кукушка на голый лес — считается нехорошо.

Вот уже двенадцатый год, как я рано, неодетой весной, когда цветет только волчье лыко, анемоны и примулы, прохожу этой вырубкой. Кусты, деревья, даже пни мне тут так хорошо знакомы, что дикая вырубка мне стала как сад: каждый куст, каждую сосенку, елочку обласкал, и они все стали моими, и это все равно, что я их посадил, это мой собственный сад.

Из этого своего «сада» я вернулся к ручью и смотрел тут на большое лесное событие: огромная вековая ель, подточенная ручьем, свалилась со всеми своими старыми и новыми шишками, всем множеством веток своих легла на ручей, и о каждую ветку теперь билась струйка и, протекая, твердила, перекликаясь с другими: «рано ли, поздно ли...»

Ручей выбежал из глухого леса на поляну и в открытых теплых лучах солнца разлился широким плёсом. Тут вышел из воды первый желтый цветок, и, как соты, лежала икра лягушек, такая спелая, что через прозрачные ячейки просвечивали черные головастики. Тут же над самой водой носились во множестве голубоватые мушки величиной почти в блоху, и тут же падали в воду, откуда-то вылетали и падали,

и в этом, кажется, и была их короткая жизнь. Блестящий, как медный, завертелся на тихой воде жучок водяной, и наездник скакал во все стороны и не шевелил даже воду. Лимонница, большая и яркая, летела над тихой водой. Маленькие лужицы вокруг тихой заводи поросли травой и цветами, а пуховые вербочки на ранней иве процвели и стали похожи на маленьких цыплят в желтом пуху.

Что такое случилось с ручьем? Половина воды отдельным ручьем пошла в сторону, другая половина в другую. Может быть, в борьбе своей за веру в свое «рано ли, поздно ли» вода разделилась: одна вода говорила, что вот этот путь раньше приведет к цели, другая в другой стороне увидела короткий путь, и так они разошлись, и обежали большой круг, и заключили большой остров между собой, и опять вместе радостно сошлись и поняли: нет разных дорог для воды, все пути рано ли, поздно ли непременно приведут ее в океан.

И глаз мой обласкан, и ухо все время слышит: «рано ли, поздно ли», и аромат смолы тополей и березовой почки — все сошлось в одно, и мне стало так, что лучше и быть не могло, и некуда мне было больше стремиться. Я опустился между корнями дерева, прижался к стволу, лицо повернул к теплому солнцу, и тогда пришла моя желанная минута и остановилась, и последним человеком от земли я первый вошел в цветущий мир.

Ручей мой пришел в океан.

РЕКИ ЦВЕТОВ

Там, где тогда мчались весенние потоки, теперь везде потоки цветов.

И мне так хорошо было пройтись по этому лугу; я думал: «Значит, недаром неслись весной мутные потоки».

ЖИВЫЕ НОЧИ

Дня три или четыре тому назад произошел огромный и последний уступ в движении весны. Тепло и дожди обратили нашу природу в парник, воздух

насыщен ароматом молодых смолистых листов тополей, берез и цветущей ивы. Начались настоящие теплые *живые ночи.* Хорошо с высоты достижений такого дня оглянуться назад и ненастные дни ввести, как необходимые, для создания этих чудесных живых ночей.

ЖИВИТЕЛЬНЫЙ ДОЖДИК

Солнышко на восходе показалось и мягко закрылось, пошел дождь, такой теплый и живительный для растения, как нам любовь.

Да, этот теплый дождь, падающий на смолистые почки оживающих растений, так нежно касается коры, прямо тут же под каплями изменяющей цвет, что чувствуешь: эта теплая небесная вода для растений то же самое, что для нас любовь. И та же самая любовь, как и у нас, та же самая их вода — любовь — внизу обмывала, ласкала корни высокого дерева, и вот оно сейчас от этой любви — воды — рухнуло и стало мостом с одного берега на другой, а небесный дождь — любовь — продолжает падать и на поваленное дерево с обнаженными корнями, и от этой самой любви, от которой оно повалилось, теперь раскрываются почки и пахнут смолистыми ароматами, и будет оно цвести этой весной, как и все, цвести и давать жизнь другим...

ВОДА И ЛЮБОВЬ

Животным, от букашки до человека, самая близкая стихия — это любовь, а растениям — вода: они жаждут ее, и она к ним приходит с земли и с неба, как у нас бывает земная любовь и небесная...

ЧЕРЕМУХА

Сочувствуя поваленной березе, я отдыхал на ней и смотрел на большую черемуху, то забывая ее, то опять с изумлением к ней возвращаясь: мне казалось, будто черемуха тут же на глазах одевалась в свои прозрачные, сделанные как будто из зеленого шума,

одежды: да, среди серых, еще не одетых деревьев и частых кустов она была зеленая, и в то же время через эту зелень я видел сзади нее частые белые березки. Но когда я поднялся и захотел проститься с зеленой черемухой, мне показалось, будто сзади нее и не было видно березок. Что же это такое? Или это я сам выдумал, будто были березки, или... или черемуха оделась в то время, как я отдыхал...

ГЛОТОК МОЛОКА

Чашка с молоком стояла возле носа Лады, она отвертывалась. Позвали меня. «Лада,— сказал я,— надо поесть». Она подняла голову, забила прутом. Я погладил ее, от ласки жизнь заиграла в ее глазах. «Кушай, Лада»,— повторил я и подвинул блюдце поближе.

Она протянула нос к молоку и залакала. Значит, через мою ласку ей жизни прибавилось. И, может быть, именно эти несколько глотков молока решали борьбу в пользу жизни. Таким глотком молока и решается в мире дело любви.

ХОЗЯЙКА

Какая отличная хозяйка и мать эта Анна Даниловна: две комнаты в полном порядке, несмотря на то, что четверо маленьких и сама еще служит уборщицей в билетной кассе железной дороги. Вспоминаешь старую деревню, погруженную в навоз, неухоженных детей, пьяниц, расположившихся на бабьем труде... как будто на небо поднялся! Но когда я об этом сказал Анне Даниловне, она очень запечалилась и сказала мне, что очень тоскует по своей родине, все бы бросила и сейчас бы туда поехала.

— А вас, Василий Захарович,— спросил я мужа ее,— тоже тянет в деревню, на родину?

— Нет,— ответил он,— меня никуда не тянет.

Оказалось, он из Самарского края и единственный из своей семьи спасся в 1920 году от голода. Мальчиком он поступил в деревню в батраки к старику одному и ушел от старика без гроша. Только вот взял

себе в деревне Анну Даниловну и поступил рабочим на судоверфь.

— Почему же вас на родину не тянет? — спросил я его.

Он улыбнулся, чуть-чуть перемигнулся с женой и стеснительно сказал:

— Вот моя родина.

ЗАПОЗДАЛАЯ ВЕСНА

Цветут сначала ландыши, потом шиповники: всему есть свое время цвести. Но бывает, целый месяц пройдет с тех пор, как отцветут ландыши, а где-нибудь в самой черной лесной глуши цветет себе один и благоухает. И так очень редко, но бывает и с человеком. Бывает, где-то в затишье, в тени жизненной незнаемый человек; о нем думают: «отжил», и мимо пройдут. А он вдруг неожиданно выйдет, засветится и зацветет.

РОМАШКА

Радость какая! На лугу в лесу встретилась ромашка, самая обыкновенная «любит — не любит». При этой радостной встрече я вернулся к мысли о том, что лес раскрывается только для тех, кто умеет чувствовать к его существам родственное внимание. Вот эта первая ромашка, завидев идущего, загадывает: «любит — не любит?» «Не заметил, проходит, не видя: не любит, любит только себя. Или заметил... О, радость какая: он любит! Но если он любит, то как все хорошо: если он любит, то может даже сорвать».

ЛЮБОВЬ

Никаких следов того, что люди называют *любовью*, не было в жизни этого старого художника. Вся любовь его, все, чем люди живут для себя, у него было отдано искусству. Обвеянный своими видениями, окутанный вуалью поэзии, он сохранился ребенком, удовлетворяясь взрывами смертельной тоски и опьянением радостью от жизни природы. Про-

шло бы, может быть, немного времени, и он умер, уверенный, что такая и есть вся жизнь на земле...

Но вот однажды пришла к нему женщина, и он ей, а не мечте своей, пролепетал свое *люблю*.

Так все говорят, и Фацелия, ожидая от художника особенного и необыкновенного выражения чувства, спросила:

— А что это значит «люблю»?

— Это значит,— сказал он,— что, если у меня останется последний кусок хлеба, я не стану его есть и отдам тебе, если ты будешь больна, я не отойду от тебя, если для тебя надо будет работать, я впрягусь, как осел...

И он еще много насказал ей такого, что люди выносят из-за любви.

Фацелия напрасно ждала небывалого.

— Отдать последний кусок хлеба, ходить за больной, работать ослом,— повторила она,— да ведь это же у всех, так все делают...

— А мне этого и хочется,— ответил художник,— чтобы у меня было теперь, как у всех. Я же об этом именно и говорю, что наконец-то испытываю великое счастье не считать себя человеком особенным, одиноким и быть, как все хорошие люди.

1940

ЛЕСНАЯ КАПЕЛЬ

ДЕРЕВО

КОРЕНЬ

Вижу, как перед восходом солнца блестящий опускается на западе месяц — в этот раз настолько дальше вчерашнего, что так и не отразился в поло́е[1].

То солнце покажется, то закроется облаками, и думаешь: «Вот дождь пойдет», и все нет дождя. Постепенно теплеет.

Вчера горячие лучи солнца не совсем еще покончили с новым льдом, и он, тонкий, острый, остался широкой лентой у берегов, и синяя зыбь свободной воды тревожит его, и от этого звук получается похожим на тот, когда ребятишки по тонкому льду швыряют камешки: будто большой стаей птички-щебетуньи летят.

В некоторых местах поло́я от вчерашнего льда остался слой, подобный летней ряске: чайки плывут по нем, оставляя след за собой, но мыши, удравшие с берега от мальчишек, по такой ледяной кашице бегут, не проваливаясь.

Гляжу на единственное во всей пойме деревцо — вяз перед моим окном, вижу, как все перелетные птички присаживаются на него: зяблики, щеглы, зорянки, и все думаю и думаю о том дереве, на которое когда-то, измученный жизнью, присел, да так и

---

[1] П о л о́ е — талая вода на льду.

слился с ним, и корни того дерева стали моими корнями в родной земле. Так в своей перелетной жизни я и стал когда-то на свой корень.

БЕРЕЗЫ

Зимой березы таятся в хвойном лесу, а весной, когда листья развертываются, кажется, будто березы из темного леса выходят на опушку. Это бывает до тех пор, пока листва на березах не потемнеет и более или менее не сравняется с цветом хвойных деревьев. И еще бывает осенью, когда березки, перед тем как скрыться, прощаются с нами своим золотом.

ЛЕСНОЙ ШАТЕР

Столетние усилия дерева сделали свое: верхние ветви свои эта ель вынесла к свету, но нижние ветки — детки, сколько ни тащила их наверх матушка, остались внизу, сложились шатром, поросли зелеными бородами, и под этим непроницаемым для дождя и света шатром поселился...

— Кто там поселился?

Мы возвращались с охоты мимо этой ели. Лада что-то почуяла внутри нее и стала. Мы думали: «Выскочит или вылетит?»

Что-то шарахнулось и убежало. Что это было, так и не дознались.

ЕЛЬ И БЕРЕЗКА

Ель хороша только при сильном солнечном свете: тогда ее обычная чернота просвечивает самой густой, самой сильной зеленью. А березка мила и при солнце, и в самый серый день, и при дождике.

ХМЕЛЬ

Высокая ель над омутом до того умершая, что даже длинные бороды зеленых лишайников почернели, сжались, попадали. Эту ель облюбовал хмель,

стал по ней подниматься выше и выше,— и что он увидел с высоты, и что случалось в природе, пока он подымался?

ЖИЗНЬ НА РЕМЕШКЕ

Прошлый год, чтобы заметить место на вырубке, мы сломили молодую березку; она повисла почти только на одном узеньком ремешке коры. В нынешнем году я узнал то место, и вот удивление: березка эта висела зеленая, потому что, вероятно, ремешок коры подавал сок висящим сучьям.

ВОЛЧЬЕ ЛЫКО

Как только друг ушел от меня и я оглянулся вокруг себя, внимание мое остановил старый пень, весь истыканный пустыми еловыми шишками.

Тут дятел работал над ними всю зиму: вокруг пня толстым слоем лежали эти шишки, он их всю зиму таскал сюда и шелушил.

А из-под низу сквозь этот слой выбилось на свет, на свою вольную волюшку волчье лыко и сейчас расцвело маленькими малиновыми цветочками. Стебелек у этого самого первого весеннего цветка и вправду такой же крепкий, как лыко, и еще крепче: волчье лыко. Без ножа оторвать цветок от земли почти невозможно, и, пожалуй, этого и не надобно делать: цветок волчьего лыка издали пахнет чудесно, как гиацинт, но стоит его поднести к носу поближе, то запахнет так худо, хуже, чем волком. Смотрю на него сейчас и дивлюсь и по нем вспоминаю некоторых знакомых людей: издали очень хороши, а подойдешь поближе — запахнут как волки.

ПЕНЬ-МУРАВЕЙНИК

Есть старые пни в лесу, все покрытые, как швейцарский сыр, дырочками и сохранившие прочную свою форму... Если, однако, придется сесть на такой пень, то перегородки между дырочками, очевидно, разрушаются, и чувствуешь, что сам на пне немного осел. И когда почувствуешь, что немного осел, то вставай

немедленно: из каждой дырочки этого пня под тобой выползет множество муравьев, и ноздреватый пень окажется весь сплошным муравейником, сохранившим обличие пня.

ЗАРАСТАЮЩАЯ ПОЛЯНА

Лесная поляна. Вышел я, стал под березкой... Что делается! Елки, одна к другой, так сильно густели, и вдруг останавливались все у большой поляны. Там, на другой стороне поляны, были тоже ели и тоже остановились, не смея двинуться дальше. И так, кругом всей поляны, стояли густые высокие ели, каждая высылая впереди себя березку. Вся большая поляна была покрыта зелеными бугорками. Это было все наработано когда-то кротами и потом заросло и покрылось мохом. На эти взрытые кротами холмики падало семя и вырастали березки, а под березкой, под ее материнской защитой от мороза и солнца вырастала тенелюбивая елочка. И так, высокие ели, не смея открыто сами выслать своих малышей на полянку, высылали их под покровом березок и под их защитой переходили поляну.

Пройдет сколько-то положенных для дерева лет, и вся поляна зарастет одними елками, а березы-покровительницы зачахнут в тени.

ТРУПЫ ДЕРЕВЬЕВ

Трупы деревьев — это не то, что зловонные трупы животных. Вот береза упала и утонула в раковых шейках и заросла иван-да-марьей. Вся береста на ее старой коре от старости завернулась трубочками, и в каждой трубочке непременно живет кто-нибудь.

ЛЕСНАЯ КНИГА

Лесная книга дается только тем, кто хочет читать ее без всякой ощутимой пользы для себя или корысти, даже нужен тебе гриб или орех, и то будет мешать тебе, и не хватит внимания вникнуть в ход лесной жизни.

Лес молодой осиновый, подлесок ореховый, под орехами живет папоротник со сниткой, и третьим сожителем у них хвощ.

Надо учиться ходить в лесу, оглядывая деревья с самого низу и до верху, а то обыкновенно смотришь или вниз, или прямо перед собой, и что делается в верхнем этаже — не видишь.

Тра́вы такой росой обдаются, что им все равно как после дождя, и даже кусты в росе. До какого же лесного этажа хватает роса?

ДЕРЕВЬЯ НА СЛУЖБЕ

Во всех искусственных насаждениях, парках, бульварах деревья не только сами по себе, но и несут службу для человека, для чистоты его воздуха, для человеческого отдыха: тут человеку хорошо дышится, хорошо думается. В лесу же человеку приходится не только наслаждаться деревьями, а и учиться, да, человеку у деревьев учиться.

НА ТЯГЕ

Подсвистывая очень удачно рябчика в ожидании вальдшнепа, наметил вспомнить всю флору и фауну лесную, как встречалась она мне в личном моем опыте, выискивая постепенно сюжет, объединяющий всю экологическую многоярусность леса. Чудесно, например, что землеройка, попав в глубокую колею, вынуждена ночью бежать в ней до самой деревни. Она может встретиться и с полевкой, и с лисицей, и сова может броситься, и колесо телеги человеческой может раздавить.

ТЕМНЫЙ ЛЕС

Темный лес хорош в яркий солнечный день,— тут и прохлада и чудеса световые: райской птицей кажется дрозд или сойка, когда они, пролетая, пересекут солнечный луч; листья простейшей рябины в подлеске вспыхивают зеленым светом, как в сказках Шехерезады.

Чем ниже спускаешься чащей к речке, тем гуще заросли, тем больше прохлада, пока, наконец, в черноте теневой, между завитыми хмелем ольхами, не блеснет вода бочага и не покажется на берегу его влажный песок. Надо тихо идти: можно увидеть, как го́рлинка тут пьет воду. После на песке можно любоваться отпечатками ее лапок и рядом — всевозможных лесных жителей: вот и лисица прошла...

Оттого лес называется *темным,* что солнце смотрит в него, как в оконце, и не все видит. Так вот нельзя ему увидеть барсучьи норы и возле них хорошо утрамбованную песчаную площадку, где катаются молодые барсуки. Нор тут нарыто множество, и, по-видимому, все из-за лисы, которая поселяется в барсучьих норах и вонью своей, неопрятностью выживает барсука. Но место замечательное, переменить не хочется: песчаный холм, со всех сторон овраги, и все такой чащей заросло, что солнце смотрит и ничего видеть не может в свое небольшое окошко.

ЗВУКИ МАШИН

Когда ударит орудие на полигоне, нам в лесу кажется, будто где-то тут в ельнике глухарь взлетел. А когда захлопает на шоссе мотоцикл, в лесу — будто где-то рябчики порхают. Но когда по-настоящему громыхнет глухарь в лесу, уже знаешь: это глухарь. И птицы тоже, как мы, привыкают к звукам машин, и токующий тетерев под грохот заводимого трактора слышит, как подбирается к нему лисичка или подкрадывается охотник.

ЛЕСНОЕ КЛАДБИЩЕ

Выхватили на дрова полоску леса и почему-то не вывезли все, так и остались на вырубке поленницы, местами вовсе исчезнувшие в молодом осиннике с огромными светло-зелеными листьями или в частом ельнике. Кто понимает жизнь леса, нет ничего интересней таких вырубок, потому что лес — это книга за семью печатями, а вырубка — страница развернутой книги. После рубки соснового леса солнце сюда

ворвалось и выросли оттого гигантские травы, которые не давали прорастать семенам сосны и ели. Маленькие осинки, буйно густые и лопоухие, однако, побеждают даже траву и вырастают, несмотря ни на что. Когда осинник заглушит траву, тенелюбивая елка начинает расти в осиннике, обрастает его, и оттого ель обыкновенно сменяет сосну. На этой вырубке, однако, был смешанный лес, но самое главное, что тут были заболоченные моховые пятна, которые оживились и очень повеселели с тех пор, как лес был вырублен.

И вот на этой вырубке теперь можно было прочитать всю жизнь леса, во всем ее разнообразии: тут был и мох со своими голубыми и красными ягодами, красный мох и зеленый, мелкозвездчатый и крупный и редкие пятна белого ягеля, со вкрапленными в него красными брусничинами, ерник... Всюду, возле старых пней, на их черном фоне, ярко светились в солнечных лучах молоденькие сосны, и ели, и березки. Буйная смена жизни вселяла веселые надежды, и черные пни, эти обнаженные могилы прежних высоких деревьев, вовсе не удручали своим видом, как это бывает на человеческих кладбищах.

Дерево умирает по-разному. Вот береза, та гниет изнутри, так что долго принимаешь ствол ее белый за дерево. Между тем там внутри только труха. Эта древесинная губка напитана водой и довольно тяжелая: если такое дерево толкнуть и не оберечься, то верхние куски могут, падая, ушибить и даже убить. Часто видишь, березовый пень стоит, как букет: одна только береста остается белым воротником, одна она, смолистая, не гниет, а изнутри, на трухе — и цветы, и новые деревца. Ель и сосна после смерти роняют прежде всего кору, она сваливается вниз кусками, как одежда, и лежит грудой под деревом. Потом валится верхушка, сучья и наконец разваливается и самый пень.

Если всматриваться в подробности земного ковра, то руины какого-нибудь пня покажутся не менее живописны, чем руины дворцового и башенного быта. Множество цветов, грибов, папоротников спешат возместить собой распад когда-то великого дерева. Но

прежде всего и оно само, тут же возле пня, продолжается маленьким деревцом. Мох, ярко-зеленый, крупнозвездный, с частыми бурыми молоточками, спешит укрыть голые коленки, которыми дерево когда-то держалось в земле; на этом мху часто бывают гигантские красные в тарелку сыроежки. Светло-зеленые папоротники, красная земляника, брусника, голубая черника обступают развалины. Бывает, нитям ползущей клюквы понадобится зачем-то перебраться через пень; глядишь, вот и ее кроваво-красные ягоды на тонких нитях с мельчайшими листиками висят, чрезвычайно украшая развалины пня.

ВОДА

НЕРЛЬ

Река Нерль течет по болоту, и хорошо здесь только до тех пор, пока не ожил комар. Ее приток Кубря — веселая, соловьиная река. На одной, крутой, стороне ее — лес, такой же дикий, как на Нерли, на другой — пахотные поля. Нерль обросла ольхой и черемухой, и едешь по ней на лодке, как под зелеными сводами. И соловьев здесь так много, как и в больших усадебных садах черноземного края.

Мы ехали на своей лодочке; впереди нас сетью на небе были сережки, цветы неодетых деревьев: сережки ольхи, желтые цыплятки ранней ивы и еще разные бутоны и крупные, полураскрытые почки черемухи. Как грациозны и как стыдливы эти веточки неодетых деревьев, кажется, лучше застенчивых девушек!

В неодетом лесу при запоздалой весне все было видно насквозь: видны гнезда разных птиц, видны сами поющие птицы, соловьи с булькающими горлышками, зяблики, певчие дрозды, лесные голуби. И кукушка на виду куковала, и тетерев ходил, токуя, по суку, бормотал.

Хмель местами вовсе обвил ольху и черемуху, и одна зеленая ветвь, пробиваясь из-под хмеля, старого,

прошлогоднего, была похожа на Лаокоона, обвитого змеями.

Впереди плавали четыре кряковых селезня. Когда мы приблизились и хотели стрелять из винтовочки, три взлетели, а четвертый оказался подстрелом с перебитым крылом. Мы избавили бескрылую птицу от мучительной жизни, положили на нос лодки и пользовались ею, как передним планом при фотографировании речки.

ОТРАЖЕНИЯ

Снимал чудесные последние белые тропинки в лесу («черепок»). Бывает, тропинка обрывается, из-под нее показывается колея, наполненная водой, с отражениями деревьев; бывает, белая перерывается маленьким озером, бывает, и вовсе уходит под воду и оттуда, из глубины, сама виднеется среди огромного отраженного леса. Туда, на ту сторону этого моря, в моих сапогах нельзя перейти, нельзя и подойти к тому большому лесу, но к отражениям я подошел и даже могу их снимать. Больше! Вовсе не прибегая к самолету, не оглушая себя мотором, перед ясной лужицей талой воды я могу стоять и любоваться небольшим облаком подо мной.

НАЧАЛО ВЕСНЫ ВОДЫ

Нельзя сказать, чтобы я удалился так, что не слышно было города; все было слышно: и гудки электровоза, и стукотня всякая, но это было не важно, потому что у леса была своя тишина, очень действенная и увлекающая мое внимание к себе целиком: городского гула я вовсе не слышал.

Я шел, не замечая дождя, но он был. Я впервые догадался о дожде, когда пришел к молодому березняку: он стал чуть-чуть розовым от первой встречи с небесной водой, и большие серые капли висели на ветках, такие большие, почти как вербы.

Дошел до Черного моста, и тут оказалось, что ручей еще глубоко в сугробах и только лишь кое-где

виднеются воронки с водой. Так что сегодня я был свидетелем самого первого начала весны воды.

На обратном пути я этот сегодняшний выход на волю обдумывал, как выход к воде: перееду в этом году к реке, куда-нибудь в Кострому. Еще в моих планах было не связывать жизнь свою с каким-нибудь местом: и пусть Москва, пусть Загорск, пусть Кострома — на каждом месте должен быть я сам со своим водоемом, в который вбегают ручьи и реки тех мест.

ДОРОГА

Оледенелая, натруженная, набитая копытами лошадей и полозьями саней, занавоженная дорога уходила прямо в чистое море воды и оттуда, в прозрачности, показывалась вместе с весенними облаками, преображенная и прекрасная.

ОЗЕРКО

Вода или коварная, или ей в большом своем деле не до того: она плеснет на ходу и бежит, а, глядишь, после спада на лугу озерко осталось без всякого стока, и в озерке щука, в чистой мелкой воде большая рыбина среди луга, у всех на виду...

В ДЕБРЯХ ОЛЬХИ

Дебри затопленной ольхи, веточки с сережками у самой воды. Струйки всякого рода, прямые, круговые, задумчивые заводи с отражением веток, с сережками, борьба возле застрявших в развилинах деревьев льдин: тут струйки все сбираются на помощь друг другу, и шумят, и уносят белую дорогу уплывающих пузырей.

БОЧАГИ

С двух сторон глубокие омуты, а между ними столько песку нанесло, что на перекате даже и курица перейдет, и так в середине лета останутся одни бочаги, и сообщение между ними тайное и невидимое: ка-

жется, будто вода стоит в бочагах, а положишь палочку на воду — и она поплывет по течению.

РЕЧКИ ЧЕРНЫЕ И ГОЛУБЫЕ

В лесах я люблю речки с черной водой и желтыми цветами на берегах; в полях реки текут голубые и цветы возле них разные.

ПОДСОСЕННАЯ ЗАВОДЬ

Кубря — прозрачная, глубоководная со своими видимыми с берега чудесными подводными лесами, со своими широкими заводями — прекрасна, такой прекрасной реки я в жизни своей не видал. Иду тихо по берегу, разглядываю подводные чудеса и плавающих между зелеными растениями рыб. Бывает, эти растения показываются, как зеленый туман, сгрудившийся в облако, и начинаешь думать, что из этой массы, может быть, оформясь, и произошли все подводные дива.

Блюдца лилий и нити, идущие от них в глубину, так грациозны, что представляется, будто возникли они от удара тонкого музыкального пальца по клавишам фортепьяно. С одной переходишь глазами по всей реке, и кажется тогда, что все эти подводные растения с их чудесными рыбками вышли из музыки: песенка отзвучала когда-то, а они все тут остались.

Я переполнен счастьем, мне хочется открыть всем глаза на возможности для человека жить прекрасно, дышать таким солнечно-морозным воздухом, смотреть и слушать лилии, угадывать их музыку...

ЛЕСНЫЕ ГОСТИ

СЛОЖНАЯ ПРОСТОТА

Надо очень дорожить встречей с животными, делать записи даже и без лирического отклика. Я обыкновенно ищу в себе такого отклика,— он бывает побу-

дительным мотивом к писанию. Но случается, просто запишешь, например, что белка переходила по бревну, запишешь без всякого отношения к себе внутреннему,— и выходит, непонятно почему, тоже хорошо. В этом надо упражняться, потому что это уже не натурализм у меня, а что-то очень сложное в своей простоте.

ПУСТЫРЬ

Может быть, когда-то на этом пустыре сосны стояли и их срубили, и, может быть, после, пользуясь добром, оставленным в песке этими соснами, люди растили хлеба. Теперь следа не осталось тут человеческого: все поросло мохом и вереском, сухими цветами — бессмертниками, из-под ног с треском вылетают кузнечики — трескунки — на красных и голубых крылышках. Заслышав шорох, спрятался в куст черныш, в надежде, что авось мимо пройдет человек, очарованный пустынностью такой никому не нужной земли. Мы бы и прошли, но Лада почуяла и, как неживая, стала против куста... Мы стали по сторонам куста и прекрасную птицу взяли себе на обед.

ЛЕСНОЙ ОМУТ

Серая бабочка вроде большой моли свалилась и легла в омут на спину треугольником, и так, живая, была как бы распята своими крылышками на воде. Она беспрерывно шевелила ножками, от этого сама шевелилась, и все движение маленькой бабочки по всему омуту расходилось частыми кругами с мелкой волной.

Под бабочкой спокойно во множестве плавали головастики, несмотря на волну, как посуху носились наездники, завертывали свои петли на воде жучки-вертунки, а щуренок у камня в тени стал палочкой,— схватил бы, наверно, бабочку, но, вероятно, там, внизу, не понимал мелкой волны. Под водой, конечно, какая волна!

Но над водой эта мелкая непрерывная волна от бьющейся бабочки в тихом омуте как будто возбужда-

ла всеобщее внимание. Тут и смородина дикая свесила к самой воде свои крупные зеленые еще ягоды, и отцветшая мать-мачеха росой и водой подсвежала свои листы, и зеленый молодой хмель вьюном поднимался выше и выше на высокую сухую, покрытую длинными зелеными бородами ель, и там, внизу за камнями, куда не заходила волна от трепетной бабочки, опрокинулся весь лес с высоких берегов и до самого синего неба.

По-моему, щуренок рано или поздно вышел бы из своего оцепенения, обратил бы внимание на круги по всему бочагу. Но, глядя на бабочку, я вспомнил свою борьбу: тоже не раз приходилось лежать на спине и в отчаянии биться за свободу руками, ногами и всем, что ни попалось. Вспомнил время своей неволи, ударил по омуту камнем и такую в омуте поднял волну, что она подняла бабочку, выправила ее и помогла подняться ей на воздух. Так вот своя беда учит понимать и чужую.

ЗВЕРИ

Все бранятся зверем, хуже нет, когда скажут: «Вот настоящий зверь». А между тем у зверей этих хранится бездонный запас нежности. Сколько заложено в природе любви — можно видеть, когда дети зверей разлучаются с родной матерью и на место родной становится чужая.

Маленького слепого лисенка вынули из норы, дали воспитывать молочной кошке, и она вслепую любила его, и он ласкался к ней, как к родной матери.

Окотилась кошка, котят забросили, другая вскоре окотилась в том же лукошке, ей оставили одного. Тогда обе кошки стали кормить одного котенка: родная уйдет, лезет в лукошко чужая, как будто в молоке ее заключается повелительная сила, которая все чужое роднит. И не только волк, даже тигр будет с величайшей нежностью заглядывать в глаза, если человек выходит его и с малых лет станет ему вместо матери.

А у собак перед всеми зверьми особенная любовь к человеку. Характер этой любви такой же, как лю-

бовь слепцов к молочной матери. Собака, выхваченная из дикой жизни, сохранила, вероятно, чувство утраты всей матери-природы и на веру отдалась человеку, как матери. По собаке заметнее всего, какая возможность любви заложена в звере и вообще в дикой природе.

ОТРАЖЕНИЕ

Вода сегодня такая тихая, что кулик над водой и его отражение в воде были совершенно одинаковые: казалось, летели нам навстречу два кулика. Весной в первую прогулку Ладе разрешается гоняться за птичками. Она заметила двух летящих куликов,— они летели прямо на нее, скрытую от них кустиком. Лада наметилась. Какого кулика она избрала себе, настоящего, летящего над водой, или его отражение в воде? Оба были похожи между собой, как две капли воды.

Ладино дело, погоню за летящими куликами, я перевел на свое: погоню за своей какой-то птицей в моем словесном искусстве. Разве все мое дело не в том состоит, чтобы уберечься от погони за призраком?

Вот бедная Лада выбрала себе отражение и, наверно, думая, что сейчас поймает живого кулика, сделала мгновенно с высокого берега скачок и бухнула в воду.

ВОРОНЫ

Пробуя ружье, ранил ворону,— она отлетела немного и села на дерево. Другие вороны покружились над нею и улетели, но одна спустилась и села с ней рядом. Я подошел так близко, что всякая ворона непременно бы улетела. Но эта остается сидеть. Как бы теперь узнать, что это было: присела ворона к раненой по чувству связи с ней, как у нас у людей говорят: по дружбе или симпатии? Быть может, эта раненая ворона была дочерью и, как обыкновенно, мать прилетела к ребенку своему для защиты, как у Тургенева описана тетеревиха-матка: раненная, вся в крови прибежала на манок. Так постоянно бывает в куриной породе.

Но при мысли о хищной вороне является и такая неприятная мысль: вторая-то ворона, присевшая к раненой, быть может, чуяла кровь и, опьяненная мечтой о возможности близкого кровавого пира, села потеснее к обреченной на смерть вороне и уже по возникшему чувству собственности не хотела оставить ее в минуту опасности.

Но если в первом случае есть опасность антропоморфизма, перенесения на ворону человеческого чувства, то в этом последнем случае есть опасность вороно-морфизма, то есть, что если ворона, то уж непременно хищница.

БЕЛИЧЬЯ ПАМЯТЬ

Думаю о белках: понятно, если большой запас, ты помнишь о нем легко, но мы видим сейчас по следам, что вот здесь белка через снег пробилась в мох, достала спрятанные там с осени два ореха, тут же их съела, потом, отбежав десяток метров, опять нырнула, опять оставила в снегу скорлупу от двух-трех орехов и через несколько метров сделала третью полазку. Нельзя же предположить, что она чуяла орех через талый слой снега и обмерзлого льда. Значит, помнила с осени о двух орехах во мху в стольких-то сантиметрах от ели... Притом, помня, она могла не отмеривать сантиметры, а прямо на глаз с точностью определять: ныряла и доставала.

ЗЕМЛЕРОЙКА

Вдруг на моих глазах плотно убитая дождями и снегом листва на земле вздыбилась, отдельные листики стали на ребро, потом в другом месте послышался писк и показался хоботок и потом все животное величиной с наперсток — землеройка.

В новой траншее, прорытой нами вчера, оказалась землеройка. Это самое маленькое позвоночное, над которым все мы ходим в лесу, и может быть даже так, что под каждым шагом нашим в земле живет один или два зверька. Мехом своим землеройка напоминает

крота: мех короткий, ровный, плотный с синеватым отливом. На мышь совсем не похожа: рыльце хоботком, страшно живая, прыгает высоко в банке, дали червя — сразу съела. Петя стал рыть новую траншею, и когда показывался червяк, клал его землеройке в эмалированную кружку в 12 см высотой.

Было задумано испытать, сколько она может подряд съесть червей. После того на этой же землеройке мы хотели испытать, что она вообще может съесть: давали ей все. В заключение мы решили испробовать, правда ли, что солнечный прямой луч, как рассказывают, землеройку убивает. Так, убив подземное существо солнечным лучом, мы рассчитывали взвесить ее, смерить, как надо, исследовать внутренности, положить потом в муравейник и так очистить скелет. Да мало ли чего мы хотели? Еще хотели достать крота и посадить их вместе.

Но все наши замыслы так и остались неосуществленными: землеройка выпрыгнула через 12 см высоты на землю, а земля ей, как рыбе вода, и мгновенно исчезла.

Появление на свет этого необычайного зверька и его мгновенное исчезновение долго не отпускало мысль мою на свободу и все держало ее под землей, куда погружены корни деревьев.

ГУСЬ НА СОЛНЦЕ

Вернулось солнце. Гусь запускал свою длинную шею в ведро, доставал себе воду клювом, поплескивал водой на себя, почесывал что-то под каждым пером, шевелил подвижным, как на пружинке, хвостом. А когда все вымыл, все вычистил, то поднял вверх к солнцу высоко свой серебряный, мокро-сверкающий клюв и загоготал.

УТКА

Утка гуляет ночью, а перед зарей, до мороза, спешит к гнезду; если нужно уйти, то прикрывает чем-нибудь яйца. Когда найдешь неприкрытые, значит — она спугнута, и не успела. (Слышал, но не проверил.)

ТЕТЕРЕВА НА ТОКУ

Тетерева на току вызывают на бой, воинственно перекликаются, и тетерки на заре со всех сторон бегут к току. Если испугаешь тетерку и она взлетит, то и самец взлетает, но, я думаю, не потому, что ему тетерка нужна, а хлопанье ее крыльев — для него сигнал опасности.

ЛЕСНЫЕ ЖИЛИЩА

Мы нашли осинку со старым дятловым гнездом, которое сейчас облюбовала пара скворцов. Еще видели одно старое квадратное дупло, очевидно, *желны,* и узенькую длинную щелку на осине, из которой выскочила гаечка.

Нашли на елях два гайна [1], темные клубки прутьев, в которых снизу ничего не разглядишь. Оба гайна помещались на елках средней высоты, так что во всем большом лесе белки занимали средний этаж. Нам удалось также застать белку внизу и загнать ее невысоко на дерево. Белка была еще во всем зимнем меху.

Сарычи вились над вершинами деревьев, очевидно, тоже у гнезда. Караульный ворон чуть ли не за полкилометра от своего гнезда с криком совершал свой облет.

С необычайной быстротой промчалась тетерка и удачно сбила полет преследующего ее ястреба. Промахнувшись, он разочарованно уселся на сук дерева. У него была белая голова: по-видимому, это был кречет или сокол.

Дупла дятлов приходится искать точно так же, как и грибы: все время напряженно смотришь перед собой по сторонам, куда только хватает зрения, и все вниз и вниз, хотя дупла дятлов, конечно, вверху. Это оттого, что именно вот в это время дятлы начинают долбить себе гнезда и роняют светлую посорку на еще темную, не покрытую зеленью землю. По этим посоркам и узнаешь, какое дерево избрал себе дятел. По-видимому, ему не так-то легко выбрать себе подходя-

---

[1] Гайно — беличье гнездо.

щее дерево: постоянно видишь вблизи дупла, отработанного дятлом, брошенные наклевниши на этом дереве или на соседних. Замечательно, что огромное большинство найденных нами дупел располагалось непременно под осиновым грибком. Делается это, чтобы предохранить гнезда от дождя или гриб показывает дятлу выгодное ему, мягкое для долбления место,— мы пока решить не могли.

Интересно было дупло у верхушки небольшой распадающейся от гниения березы. Высота ее — метра четыре, одно дупло было у самого верха, другое делалось немного пониже, под грибком. Рядом с этим стволом дерева валялась его верхняя часть, трухлявая, насыщенная, как губка, водой. И самый ствол с дуплом плохо держался,— стоило чуть качнуть его, и он бы свалился. Но, может быть, долбежка была не для гнезда.

БЕРЕСТЯНАЯ ТРУБОЧКА

Я нашел удивительную берестяную трубочку. Весной, когда береста влажная, человек вырежет кусок ее для себя, тогда остальная береста по кругу начинает свертываться в трубочку. После, вместе с теплом, береста сохнет и все туже и туже закругляется. На следующую весну висят уже на березах трубочки, и так их бывает много, что не обращаешь внимания.

Но сегодня, выискивая дупло, я захотел посмотреть, нет ли чего в такой трубочке. В первой же трубочке я нашел хороший орех, так плотно прихваченный, что с трудом палочкой удалось его вытолкнуть. Вокруг берез не было орешников, и в трубочку орех не мог попасть «сам». По всей вероятности, это его белка спрятала, наверное, понимая, что трубка будет закрываться все крепче и орех не выпадет. Но мало ореха: снизу в трубочке под прикрытием ореха устроился паучишко и всю внутренность ее наполнил паутиной. После мне пришли догадки, что не белка воткнула орех, а ореховка, может быть, выкравшая его из гнезда белки.

ПОСРАМЛЕНИЕ ВОРА

Бьюшка, пока мы разводили машину, занялась двумя костями. Одна сорока, жертвуя собой, подскочила к носу собаки. Другая, когда Бьюшка кинулась на сороку, схватила кость и унесла. Всего было семь сорок, и после первой удачи они повели атаку на вторую кость, но теперь Бьюшка поняла их политику и грызла кость, как будто не обращая на сорок никакого внимания.

Но это состояние вооруженного мира длилось лишь до поры до времени. Одна сорока до того обнаглела, что забыла о сорочьей организации и за свой страх и риск подошла к морде Бьюшки. Она хотела обратить внимание на себя и в это мгновение выхватить кость.

Бьюшка, однако, замысел этот хорошо поняла и не только не бросилась на сороку, напротив, заметив ее косым глазом, освободила кость и на мгновение отвернула морду в сторону. Это самое мгновение сорока и улучила для нападения: она схватила кость и даже успела повернуться в противоположную сторону, успела ударить крыльями по земле так, что пыль полетела. И только бы, только бы еще одно мгновение, чтобы в воздух подняться, как вдруг Бьюшка схватила ее. Кость выпала.

Сорока рванулась и вырвалась, но весь радужный длинный узкий сорочий хвост остался у Бьюшки в зубах и торчал из пасти собаки длинным кинжалом.

Видел ли кто-нибудь сороку без хвоста? Знает ли, в какую смешную и невозможно жалкую птицу превращается эта блестящая воровка куриных и всяких яиц? Бесхвостая сорока села на ближайшее дерево, все другие прилетели к ней. И было видно по всему стрекотанью, по суете, что нет в сорочьем быту большей беды, большего срама, как лишиться сороке хвоста.

НА СВИСТОК

На свисток, кроме рябчика, прилетела та самая ореховка, которая сидела на четырех яйцах и теперь

вывела птенцов, безобразных, с огромными ртами. Для них надо много собирать пищи, вот она и юлит. Прилетели две местные гаечки, дупла которых мы никак не можем найти: придется как-нибудь проследить за ними. С большой высоты (просто удивительно, как он мог расслышать такой слабый звук) спустился ястреб-тетеревятник, парил на месте, разглядывая рябчика, и вдруг, заметив меня, бросился как угорелый.

Это были местные жители — ведь в большом, неизвестном лесу почти каждое существо живет на определенном клочке, и среди них только очень немногие мигрируют (если не считать сезонных перелетов).

САРЫЧ

Сарыч еще дремал на суке в полдерева. Бесшумно я подкатил к нему на велосипеде и стал для отдыха в ту самую позу, которую велосипедист принимает, беседуя с возлюбленной: она что-нибудь делает. Пусть полет огурцы, а он, опираясь — как «гусар на саблю» — на раму велосипеда, сверху ей улыбается. Сарыч, однако, учуял меня, перевернулся весь ко мне, опознал человека, опять перевернулся в прежнее положение и, улетая, развернул свои огромные крылья.

ТРИ НОРЫ

Сегодня возле барсучьей норы вспомнил три норы на Желтой круче в Кабардино-Балкарии. Там, разобрав следы на песке, прочитал я большую историю сожительства барсука, лисицы и дикого кота.

Нору выкопал барсук для себя, но в эту нору подвалили к нему в сожительство лисица и кот. Неопрятная лисица своей вонью скоро выжила барсука и кота. Барсук тогда выкопал себе нору повыше и поселился в ней вместе с котом, а вонючка лисица осталась в старой норе.

ЩУКА

В нашей ставной сети щука остановилась и так запуталась, что стояла неподвижная, как сук. И лягушка села на нее и так присосалась, что мы долго не могли ее оторвать от щуки даже палкой.

Так вот щука, на что уж подвижной, сильный, страшный хищник, и то — вот стоило ей только остановиться — и сейчас же лягушка насела. Оттого, вероятно, хищники в своих злодействах никогда не останавливаются.

КРОТ

Крот выкопал себе нору и отдал земле свои глаза, и вывернул себе лапы, чтобы удобней было копать, и стал жить по законам земли на всех правах подземного жителя. Но подкралась вода и залила кротовую родину. Для чего это нужно ей было, по какому закону и праву она подобралась к мирному жителю и выгнала его на свет?

Крот сделал перемычку, но под давлением воды перемычка распалась, он сделал вторую, потом третью; четвертую сделать не успел, вода хлынула, и он с большим трудом должен был выбраться, темный, слепой, в подсолнечный мир. Он плыл по широкой воде и не думал, конечно, и не мог допустить себе в голову какой-нибудь протест и крикнуть воде: «Ужо тебе», крикнуть, как Евгений Медному всаднику. Крот плыл в ужасе, но без протеста; это не он, а я за него, я, человек, сын похитителя огня, стал против коварной силы воды.

Это я, человек, взялся строить плотину против воды. И сошлось нас тут много, и вышла наша плотина великая, на славу.

А крот мой переменил хозяина и стал зависеть не от воды, а от человека.

СЛЕД БАРСУКА

На траве, седой от росы, был большой след, который я принимал за след человека. Мне до того хоте-

лось быть одному на охоте, что след другого человека меня испугал, как Робинзона. Но мало-помалу я догадался: это не человек, а барсук возвращался рано утром в нору из ночных своих похождений.

ПТИЦЫ

Молодой сарыч, огромно-нелепый и вялый, вылетел из чащи на поляну и неумело сел на самый нижний сук дерева.

Рябчики выпорхнули и расселись по елкам и березкам, маленькие — в воробья, а уже отлично летают, и сторожкие, совсем как большие. Мать близко сидит на березе, очень сдержанно и глухо дает им знать о себе, и когда издает звук, хвостик у нее покачивается.

КОРМЛЕНИЕ

Почти каждая птица появляется с червем в носу и, несмотря на это, пищит.

Сарыч, когда низко летит над лесом, иногда в это время почему-то кряхтит, не свистит, как обыкновенно, а именно кряхтит: этот звук у него, наверно, связан с кормлением детей.

Сегодня наблюдал, как гаечка, не выпуская червяка, присела на сучок отдохнуть и почесала в одно мгновение о сучок попеременно обе щеки.

ЗАКАТ

Весь день было переменно: то моросило, то прояснивало. В лесу, когда прояснивало, вспоминалась своя прежняя боль и как эту боль отпускало: лес теперь, казалось мне, был болен той же болезнью. Вдруг сорока крикнула совсем по-другому, похоже было на галку, и через этот крик впервые я понял родство между этими столь разными птицами. Дятел, как будто не веря перемене погоды, не стучал по стволу, как дятел, а как маленький ползунок, опрокинувшись, бегал по стволу и ронял вниз посорки. Как только погода утвердилась, дятел принялся за свою долбню.

Закат солнца был невидим, но после долго в облаках горело и светило в промежутках черных стволов.

НА ПЕСКЕ

Жарко и сухо. На Крючикове стоит береза, и под ней осыпается песок вниз в овраг. Корни из года в год обнажаются, и береза скоро вся упадет. Но много ли места нужно, чтобы птичке порадоваться! На песке возле корней та самая трясогузка, в образе которой еще в Древнем Египте художники представляли душу человеческую. И вот сейчас прилетел к трясогузке самец, распустил крылышки, надулся и петушком медленно, чиркая концами крыльев по песку, сделал круг полный и потоптал свою самочку.

ВОРОНА И КРЫСА

Видел по пути множество уток и пролетающих гусей. Еще видел, как пять ворон пытались схватить водяную крысу и та им все не давалась, и наконец одна ворона ухватила крысу за хвост и благополучно бы завладела ею, но другие вороны набросились, она растерялась, выронила крысу, и началась та же борьба.

Выслушав этот рассказ, наш егерь рассказал о таком же случае борьбы вороны с горностаем и как горностай впился в нее: ворона едва стряхнула, и поспешила на дерево, и все оттуда с опаской смотрела в сторону, где был горностай.

ВАЛЬДШНЕПЫ

Над муравейником на елке так странно тикала какая-то птица, и я по этому звуку, слышанному мной, но забытому, никак не мог догадаться, какая она. Трудно было и разглядеть в густоте, пришлось тихо стоять и ждать событий.

Но комары кусали, я взял ветку рябины, и как только махнул, рядом в осиннике, очень частом, всполыхнулась, застряла в короне дерева и едва выбилась какая-то птица.

Тогда я почему-то сразу догадался и вспомнил звук, издаваемый птицей-матерью на елке: это была семья вальдшнепов. Слышал и читал о том, что самка вальдшнепа при опасности подхватывает птенца и летит с ним. Сам не видал.

ПОД СНЕГОМ

Удалось слышать, как мышь под снегом грызла корешок.

ДЯТЕЛ

Видел дятла: летел короткий (хвостик у него ведь маленький), насадив себе на клюв большую еловую шишку. Он сел на березу, где у него была мастерская для шелушения шишек. Пробежав вверх по стволу с шишкой на клюве до знакомого места, он увидел, что в развилине, где у него защемляются шишки, торчала отработанная и несброшенная шишка, и новую шишку ему некуда было девать. И нельзя было ему, нечем было сбросить старую: клюв был занят.

Тогда дятел, совсем как сделал бы в его положении человек, новую шишку зажал между грудью своей и деревом, а освобожденным клювом быстро выбросил старую шишку, потом новую поместил в свою мастерскую и заработал.

Такой он умный, всегда бодрый, оживленный и деловой.

ПОСЛЕДНИЕ ЦВЕТЫ

Опять морозная ночь. Утром на поле увидел группу уцелевших голубых колокольчиков,— на одном из них сидел шмель. Я сорвал колокольчик, шмель не слетел, стряхнул шмеля, он упал. Я положил его под горячий луч, он ожил, оправился и полетел. А на раковой шейке точно так же за ночь оцепенела красная стрекоза и на моих глазах оправилась под горячим лучом и полетела. И кузнечики в огромном числе стали сыпаться из-под ног, а среди них были трескунки, взлетающие с треском вверх, голубые и ярко-красные.

СИЛАЧ

Земля, разрыхленная муравьиной работой, сверху покрылась брусникой, а под ягодой зародился гриб и, мало-помалу напирая своей упругой шляпкой, поднял вверх над собой целый свод с брусникой, и сам, совершенно белый, показался на свет.

БАРСУКИ

Поехал зимой около рождества на пойму за сеном, шевельнул вилами стог, а в нем барсук зимовал.

А то еще было: ребятишки собрались бить барсуков. Пустили в нору собаку. Барсучиха выбежала. Увидели ребятишки, что барсучиха тихо бегает, что можно догнать, не стали стрелять и бросились за ней. Догнали. Что делать? Ружья побросали у нор, палок в руках нет, голыми руками взять боязно. А между тем барсучиха нашла себе новый ход под землю и скрылась. Собака вытащила гнездо и барсучонка: порядочный, с хорошего щенка.

НОЧЕВКА ЗАЙЦА

Со мной шел маленький Миша по заячьему следу. Вчера моя собака пригнала этого зайца сюда к самому городу из далекого леса. Интересно было узнать, вернулся ли заяц на старое место в лес, либо на некоторое время остался жить здесь около людей в парке или хорошо заросшем овраге.

Обошли... Если он возвратился, то по третьему следу. Нашли третий. Я сказал: «По тому следу он возвратился к себе в старый лес». След был свеженький. Мише и представилось, что заяц только что прошел. «Где же он ночевал?» — спросил Миша.

На мгновение вопрос этот сбил меня с толку, но я опомнился и ответил: «Это мы ночуем, а заяц ночью живет: ночью он прошел здесь, а дневать ушел в лес, и там теперь он лежит, отдыхает. Это мы ночуем, а зайцы днюют, и им днем гораздо страшнее, чем нам ночью».

ЗАПОЗДАЛАЯ КРЯКВА

В крутых берегах, в густом ольшанике, речка сужалась до того, что ее можно было перескочить. Тут и от лесного тепла и от силы течения вода не замерзала, и тут задержалась и коротала последние деньки перед зимой запоздалая кряква. Не видя ее в густом ольшанике, мы услышали только шум взлета, крик, и выстрелить удалось, только когда она была высоко над ольхой. Одна из дробинок попала ей в крыло, которое сломалось, кряква полетела вниз головой, как бутылка.

Подстреленная в крыло кряква ищет обыкновенно спасенья в воде, ныряет и затаивается в корнях, высунув только свой темный незаметный носик. Случается, охотник из сил выбьется: вот же тут упала, сам видел, своими глазами, а найти никак не может.

То место, куда летела наша подбитая кряква, было как раз поворотное: речка отсюда повертывает, расширяясь на плесе, как пруд, и тут она на спокойном открытом месте замерзла, сохранив на поверхности вид совершенно прозрачной воды.

Падая на эту поверхность вниз головой, кряква собралась было нырнуть и вдруг ударилась. Лед не проломился от удара. Ошеломленная кряква поднялась и пошла на своих красных лапках. Бьюшка, увидев, бросилась за ней, но провалилась, вернулась, подумала и опять, растопыря лапы, раскорякой медленно пошла, пошла и добрала...

СОРОКА

Мы дожидались возвращения гончей и глядели на дальнюю опушку леса через поле, где долго гоняли лисицу. Лисица давно уже понорилась, а Трубач не возвращался. Вглядываясь в опушку леса, мы увидали в бинокль, что на одном дереве сидела сорока с опущенным хвостом. Тогда мы догадались, что она глядела куда-то вниз и что-то пережидала.

Подумали немного, и все стало ясно: там лежала внизу падаль, и, вероятно, кто-то над ней хозяйствовал, а сорока дожидалась, когда этот «кто-то» уйдет. Мы пошли туда, и, оказалось, правда: наш Трубач терзал дохлого барана.

СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛА

Тот ум, которым все живут в природе, перенимая его от предков: иные прямо в утробе матери, чтобы, выйдя на свет, прямо же встать на четыре ноги, протянуть губы к сосцам, иные наживают его в гнезде, чтобы потом без всякого ученья броситься вниз и полететь,— этот всеобщий и как бы задний ум всей природы встретился с умом передним, человеческим, в котором зарождаются всякие планы, и вот началась кутерьма у зверей: все мечутся в поисках своего прежнего логова, лежки, домика...

ПАУКИ

Дожди замучили. Мало обещает и нынешний вечер: солнце село в плотную синюю завесу. Долго я дожидался в надежде, что хоть под самый конец выглянет солнце и я усну с надеждой на долгожданное росистое утро, когда можно фотографировать орошенные сети пауков. Нет! Синяя завеса разорвалась, только уж когда солнце село, и тогда на синее вышла красная птица, а в другом месте сидел на коне красный человек.

Ночевал я вместе с хозяйским сыном Сережей в сенном сарае, у самой вырубки, на которой я наблюдаю жизнь лесных ткачей — тенетных пауков, с крестом на своем бочонке. Сверкала отдаленная молния, и через щелки сарая, сквозь мои закрытые веки, этот свет молнии начинал в моей голове нелепые повести. Так, между прочим, снилось мне, будто люди додумались использовать для чего-то паутину и, чтобы в ночное время заставить пауков работать, осветили леса прожекторами. Рано утром, до восхода, пришла к сараю мать Сережи Домна Ивановна и стала его будить:

— Молотить пора, вставай, Сережа!

— Работают ли пауки? — спросил я.

Хозяйка моя уже приучена и заинтересована моими наблюдениями. Через короткое время она отвечает:

— Плохо.

— Ну, плохо же,— говорю я,— верно, быть дождю, а ведь гумно-то у вас некрытое.

— Ничего не поделаешь,— ответила Домна Ивановна,— старой муки и на колобок не осталось, помолотим, сколько успеем, а там будет видно.

Сережа встал и пошел молотить.

Выйдя из сарая, я увидел в небе борьбу света с темными облаками, и впечатление оставалось такое, что солнце победит. А роса была уже сильная. Утро определилось серым, роса же обильная, так обыкновенно не бывает.

Я обрадовался росисто-серому утру и пошел снимать работу пауков в надежде, что солнце не будет мешать мне ореолами и при плохой погоде снимки с выдержкой выйдут у меня лучше моментальных солнечных. Когда же я пришел на вчерашнее место, то не только новых сетей, но не нашел и старых. Предполагаю, что сети за сутки просто истрепались, изодрала мошкара. По всей вероятности, пауки делают сети в предрассветный час. Но как раз ночью сегодня сверкала молния, и можно было ожидать ненастья.

И они не работали.

Впрочем, не было того, чтобы они совсем не работали: там и тут, в особенности на земле, виднелись сети, но это была ничтожная часть в сравнении с тем, что бывает в светозарное утро. Поглядев на эти сети немногих пауков, я подумал: значит, и пауки неодинаковы, есть поумней и поглупей.

После часовой борьбы за свет с тучами солнце, наконец, осилило.

Быть может, пауки и начали бы работу, но очень сильная была роса. Нет! Скорей всего еще в предрассветный час пауки уже предчувствовали ненастье.

У птиц тоже не было обычного оживления. Тетерева совершенно молчали. Вот это уж не обманывало. Журавли молчали на пойме. Ястреба — и то не так часто попадались, как обыкновенно. Потом стало чрезвычайно тихо, душно и раздумчиво, как бывает перед грозой. События в атмосфере нарастали с такой быстротой, что не только домой бежать, но успеть бы только найти для защиты от ливня хорошую ель.

И только я устроился, как грянула гроза и ливень. Но я такую нашел ель, что, будь целый день ливень, на меня бы и не капнуло. Как люблю я сидеть при сильном дожде под елкой и думать. Зверушки, птицы в это время точно так же сидят. Да, думать... Но самое замечательное, что можно и не думать, и еще больше, дойдешь до такого счастья, что скажешь себе: «Не думай, сиди так, пахнет хорошо, и слушай!» И вот сидишь и ничего совершенно не думаешь: только слышишь и чуешь. Так, вероятно, и зверушки сидят.

Дождь оказался бесконечным, я вылез из-под елки и пошел себе под дождем домой. В деревне был переполох, решительно все обманулись погодой и теперь с ругательством мокрые возвращались с работы. Увидев свою хозяйку, я сказал: «Вот видите, Домна Ивановна, пауки, оказывается, лучше нас понимают: только редкий вышел на работу из пауков, а у нас все обманулись». «А как же?» — ответила Домна Ивановна и впилась в меня своими глазами, маленькими, как муравьиные головки.

В деревне вечером очень пахло овинами. Оранжевая заря задержалась, и на ней долго оставались силуэты избушек, овинов, лозин. Под самый конец на луга пробрался белый, низкий, плотный туман, и потом началась сильно звездная ночь.

Тот украдчивый туман, что вчера выполз на луга, перед восходом солнца встал, и когда солнце взошло, быстро свернулся белой радугой и разошелся. Пала самая сильная матовая роса. Затоковали тетерева. На пойме закричали журавли. Паутины так много, что собака приходит слепая. На лугах все цветочки

связаны паутиной и непременно висит паучья ловчая сеть, в росе похожая на кружево. Особенно красивы эти зарошенные сети на фоне темных елок. Я начал снимать не только самые сети, но также и способ их прикрепления. Тончайший жемчуг росы на паутинках часто сиял на солнце радугой, и главное, что все эти удивительно красивые сложные сооружения, казалось, сами возникли из росы и солнца, как в сказке, и так получалось все, что, воистину, ни в сказке сказать, ни пером описать.

Вечером курятся овины и пахнет дымком почему-то особенно сильно, когда молодой месяц уходит за черный бор. Утром на восходе роса заливает травы и пахнет сладко хлебом из каждой избы. Колхозники дождались нови.

Серпик луны, довольно уже толстенький, несколько задержался над черным бором. Ночь была прохладная, звездная. Солнце же взошло не совсем чисто. Я пробовал снять его с лучами, стремящимися вверх из-за облака.

Обильная роса сразу обозначила все ловушки пауков и воздушные и наземные. Сегодня я разобрал, что наземные ловушки тоже не так просты, как кажутся, что обыкновенно они представляют из себя маленькие шатры, вершина которых прицеплена к соломинке или цветку.

Разглядывая первую воздушную ловушку, я добрался до телефонной станции; ловушка была устроена на ветке ивы, засохшей, потому что заяц обглодал ее кору; телефонная же станция заключалась в скорченном засохшем листике, окрученном паутиной, вероятно, чтобы не развертывался. Сам хозяин сидел внутри и не выходил даже на мои колебания сигнальной паутины, вероятно, боялся росы, которая вообще не дает ходу паукам.

Еще я видел такое же устройство на березе, подрезанной и засохшей, и делаю предположение, что пауки любят устраиваться на засохших растениях: чем-то удобней на них, может быть, и улов больше.

В елках жилище паука бывает под лапкой, часто перетянутой паутиной, чтобы хвоинки не пропускали дождя. Точно так же устроено и в можжевельниках.

До чего тяжела становится паутина с росой, что ветки можжевельника сгибаются аркой, а цветочки, притянутые пауками к строительству, иногда сгибаются до самой земли.

Иные пауки вышли, чтобы хватать добычу, иные строили сети, иные чинили поврежденные. Я выбрал себе одного средней величины. Его ловушка была между маленькой елкой и сосенкой. На другой стороне этой же елки, совсем по соседству, работал другой хозяин. У меня есть догадка, что пауки делают свои сети в предрассветный час, до росы. Мой же паук по какой-то причине не успел закончить свою сеть до росы и теперь продолжал. Роса, впрочем, еще не совсем сошла, так что я мог и наблюдать его работу и фотографировать.

В заутренний час были построены пауком все радиусы круга, и на них у концов обведено уже несколько кругов. Мне показалось, что радиусы сделаны из более тонкого материала, чем круги, но, возможно, это обманывала роса, сохранившаяся на кругах. За бо́льшую тонкость лучей-радиусов говорит еще то, что паутинный круг, покрытый росой, в центре своем кажется пустым, хотя, если присмотреться ближе, частые радиусы вовсе не обрываются, а сходятся в точку. В лупу я следил за работой на самом близком расстоянии. Почему-то паук не боялся меня и вообще относился ко мне приблизительно так же, как я к солнцу, которое тоже смотрело на мою работу, но не мешало. Собственно рабочих инструментов, как мне показалось, у паука было два — одной лапкой он притягивал ту паутину, к которой должна быть приставлена новая, другой подхватывал выпускаемую паутину и притютюкивал: тюк, и готово; и опять притягивается место прикрепления, и опять: тюк! — волшебно грациозный бросок, и вот радужным светом сверкает на солнце новая созданная часть ловушки. Иногда легкое дуновение ветерка колебало сеть, и паук не совсем точно на желаемом месте скреплял концы; иногда мельчайшее насекомое, пролетая, задевало, да и мало ли что еще: вероятно, и я тоже чуть-чуть колебал нити своим дыханием.

От всего этого работа получалась не совсем машинная, а как бы ручная, и как все делается в природе: ведь ни один листик на дереве не сложится точно с другим.

Я хотел фотографировать паука на самом близком расстоянии, допускаемом линзой, всего в восьми сантиметрах, но при этом чуть-чуть, вероятно, задел сеть. Паук мгновенно бросил работу и быстро убежал на свою телефонную станцию. Почему же он не принял моего толчка за те колебания, которые происходят, когда попадется в сеть насекомое? Вероятно, он это понимает.

С другой стороны той же елки работал другой хозяин, поменьше, но не строил вновь, а только чинил свою сеть. Что это близкое соседство двух пауков — случайное? Они сошлись тут потому, что по всем расчетам это самое удобное место для лова? Или, может быть, малый паук — самец?

Невольно я поддался не научному наблюдению, а, так сказать, *дачному* антропоморфизму и анимизму, которые приносят такой ужасный вред нашему пониманию мира как органического целого: довольно одному такому «дачнику», представляющему собой радиовещательную станцию, создать легенду, как миллионы приемников на сотни лет повторяют нелепую выдумку.

К легенде присоединяется какой-нибудь миф, и вот осел, возможно умнейшее животное, навсегда *осел*. Может быть, только через тысячелетия козел освободится от черта и осел от *«осла»*, и за все эти тысячелетия каждый отдельный, скажем, *личный* козел ведь непременно же должен из-за черта и осел из-за какого-то «осла» быть в жизни своего рода лишенцем.

А паук? Все соединяют с образом его кровопийцу, пузатого кулака. Содрогаются от одного только вида: пузатый и с такими длинными лапами. Возможно, далекие наши азиатские предки-кочевники гибли от скорпионов, и страх перешел на этих мирных артистов труда, охотников, влекущих за собой целый шар материалов для постройки своих ловушек.

Почему ласточки, уничтожающие тысячами драгоценных нам пчел, пользуются общей симпатией? Пото-

му ли, что они красивы? Какой вздор! Если всмотреться, то паук, работающий в росе и солнце, в тысячу раз красивей и умней ласточки, но дело в том, что всмотреться трудно!

Я не мог фотографировать против солнца и вместо этого с часами в руках следил за работой починки, прикидывая, во сколько времени паук может сделать сеть в четверть аршина диаметром. У меня получалось, что на это понадобится ему час-два: очень скоро работает.

Вернувшись к наблюдению за первым пауком, я увидел там, в центре ловушки, что-то большое и большую возню. Это попалась большая серая муха с зеленой головой, та «дурная муха», от укуса которой сильно вздувается кожа. Паук с неимоверным проворством опутывал ее паутиной и, сделав из нее совершенно неподвижную мумию, схватил ее ловко и быстро унес к себе на телефонную станцию под лапку ели.

Минут через пятнадцать, не более, он выпил из дурной мухи жизнь и вернулся заделывать дыры в сети, причиненные борьбой с большой мухой. Работа его была ритмически мерная. Я и снимал и любовался, вдумываясь и разрушая вековую неправду о пауках, сознавая радостно, что мне воистину за это прощается сорок моих грехов.

Между прочим, по соседству со мной работал тоже полезнейший дятел, доктор деревьев. Время от времени я обращал внимание на его долбню и удивлялся, какая же, значит, у него здоровенная шея, если может давать столь сильный толчок длинному клюву. Желна — эта черная птица с огненной головой — где-то неподвижно жалобно пищала. Ныл канюк. Драла горло сойка. Время от времени давали свои сигналы на пойме многочисленные журавли.

Солнце взошло чистое. Роса. Жаркий день. Муха и комар во всей силе, и это мне приходится замечать впервые, чтобы после Ильина дня гнус не уменьшался. На осине в десять утра застал глухаря. Вероятно, он с вечера клевал лист, заночевал, клевал поутру и задержался.

Сегодня наблюдал жизнь паука просто в сухом листе, который держался в воздухе на паутине; сигнальная паутина отсюда шла к ловушке, которая была под тяжестью росы так тяжела, что ветка можжевельника согнулась аркой.

Еще я видел гнездо паучье в живом еще, но скорченном листе, на обратной стороне которого были вздутия величиной в брусничину,— в них, наверно, и были заделаны яички.

Еще очень красива была сухая береза, вся сплошь покрытая сетями пауков-охотников. Я пробовал это снимать, но солнце давало ореол, а отклониться нельзя было из-за того, что сетки пауков становились неосвещенными.

Еще видел, как один паук, несмотря на росу, принялся доделывать сеть и устроил ее всю не более, как в полчаса. На моих глазах он поймал карамору и еще муху, а мошкары попадалось такое множество, что он не обращал на нее никакого внимания, а может быть, даже и был недоволен, потому что каждая немного надрывала сеть.

Читал с огорчением одну книгу, в которой паук изображается злостным хищником, кровопийцей, порождением мрака. Но как же так? Паук — живая рабочая тварь, плетет сети, ловит добычу... Какая же разница в таком случае с рыбаком! Спросил об этом Домну Ивановну, она возмутилась: «Какие глупости вам приходят в голову, рыбаки же дело делают». «Так и пауки же,— сказал я,— тоже дело делают: не будь их, нас бы совсем мухи заели». И рыбаки разве иначе живут? Совершенно так же ловят живую тварь, поедают, остатки продают, на выручку прикупают веревки, нитки, ткут новые сети, строят новые лодки, рождают новых рыбаков, выхаживают. И пауки так...

Домна Ивановна слушать меня не стала.

Сегодня солнце скорее прежнего расправилось с росой, и когда я захотел проверить ловушки, то не мог ничего увидеть ни на ветках, ни на земле. Вот только сейчас я наслаждался великой красотой этого сказочного царства, и вдруг оно все стало невидимо.

Как в поисках шапки-невидимки, я иногда задевал лицом или рукой паутину только для того, чтобы убедиться в существе невидимого паутинного царства. Единственное, что выдавало паутину,— это сам паук, особенно когда он был большой.

ДИЕТА

Я стоял на тяге там, где всю зиму лоси стояли и где каждая осинка была окольцована зубами лосей и каждое белое кольцо сложилось из длинных полосок шириной в лосиный зуб. Из сломанного сучка соседней березы время от времени собиралась самая светлая, самая чистая капля, и я ловил ее языком.

И думал я, что легче так жаждущему человеку от этих капель напиться, чем огромному лосю наесться полосками осиновой коры, шириной в зуб. И, конечно, неправильно, что мы столько едим. По возвращении домой устанавливаю себе подмаривающую диету и спанье на воздухе в спальном мешке.

ЦАПЛЯ

Ночью в избе стало очень душно. Я вышел на крыльцо и сел на лавочку. Звездное небо все было в облачных пятнах. Медведица без хвоста, Плеяды вовсе исчезли. Все двигалось и переменялось. То вдруг открывался хвост Медведицы, то закрывалась кастрюля. Вдали же играла зарница.

Чувство всей жизни по себе самому, свойственное мне в хорошие часы, охватило меня, и вдруг в эту минуту я услышал в небе знакомый мне — осенний, совершенно как человеческий — крик: «А!» Через полминуты крик этот повторился вдали много слабее, и еще ровно через такой же промежуток опять чуть слышно повторился еще раз. А потом я, вероятно, не слышал, а только по догадке понял направление полета цапли — оттуда все слышал и слышал это очень странное цаплино «А!».

Вскоре из хаоса определилась туча, сверкнула молния, пошел теплый летний дождь. Тогда в комнате стало возможно открыть все окна, потому что кома-

ры в дождь не влетают, и в прохладе под шумок так приятно стало дремать и понимать весь мир в себе самом.

ГОСТИ

Гости у нас были. От штабелей дров рядом (два года лежат в ожидании большой воды) пришла к нам трясогузка, просто из любопытства, только чтобы на нас поглядеть. Мы рассчитали, что нам этих дров хватило бы для отопления лет на пятьдесят — вот сколько их было! И за несколько лет лежки бесполезной на ветру, под дождями и на солнце дрова эти потемнели, многие штабеля наклонились друг к другу, некоторые живописно рассыпались. Множество насекомых развелось в гниющих дровах, и в громадном числе тут поселились трясогузки. Мы скоро открыли способ, как снимать этих маленьких птичек на близком расстоянии: если она сидит на той стороне штабеля и надо ее к себе подозвать, для этого надо показаться издали и тут же от нее спрятаться. Тогда трясогузка, заинтересованная, побежит по краешку штабеля и с уголка заглянет на тебя, и ты увидишь ее на том самом поленце, куда заранее навел аппарат.

Бывает очень похоже на игру в палочки-постукалочки, только там дети играют, а тут я, старый человек, играю с птичкой.

Прилетел журавль и сел на той стороне речки в желтом болоте среди кочек и стал, наклонившись, разгуливать.

Скопа, рыбный хищник, прилетела и, высматривая себе внизу добычу, останавливалась в воздухе, пряла крыльями.

Коршун, с круглой выемкой на хвосте, прилетел и парил высоко.

Прилетел болотный лунь, большой любитель птичьих яиц. Тогда все трясогузки вылетели из дров и помчались за ним, как комары. К трясогузкам вскоре присоединились вороны, сторожа своих гнезд. У громадного хищника был очень жалкий вид, этакая

махина и мчится в ужасе, улепетывает, удирает во все лопатки.

Слышалось «ву-ву» у витютней.

Неустанно куковала в бору кукушка.

Цапля вымахнула из сухих старых тростников.

Совсем рядом бормотал неустанно тетерев.

Болотная овсянка пикала и раскачивалась на одной тоненькой тростинке.

Землеройка пискнула в старой листве.

И когда стало еще теплей, то листья черемухи, как птички с зелеными крылышками, тоже, как гости, прилетели и сели, фиолетовая анемона пришла, волчье лыко и так дальше, пока не стали показываться в зеленых почках все этажи леса.

Еще была ранняя ива, и к ней прилетела пчела, и шмель загудел, и бабочка сложила крылышки.

Лисица, лохматая, озабоченная, мелькнула в тростниках.

Гадюка просыхала, свернувшись на кочке.

И казалось, этому чудесному времени не будет конца. Но сегодня, перепрыгивая с кочки на кочку в болоте, я что-то заметил в воде, наклонился и увидел там бесчисленное множество комариных жгутиков.

Пройдет еще немного, они окрылятся, выйдут из воды и станут ногами на воду, для них твердую, соберутся с духом, полетят и загудят. Тогда солнечный день станет серым от кровопивцев. Но эта великая армия охраняет девственность болотного леса и не дает дачникам использовать красоту этих девственных мест.

Пошла плотва. Приехали на лодке два рыбака. И когда мы сложились, чтобы уехать, тут же на нашем месте они развели костер, повесили котелок, поскоблили плотву и потом без хлеба хлебали уху и ели рыбу.

На этом единственном сухом местечке, наверно, и первобытный рыбак тоже разводил костры, и тут же стала наша машина. Когда же мы сняли и палатку, в которой у нас была кухня, то на место палатки прилетели овсянки что-то клевать. И это были наши последние гости.

ВРЕМЕНА ГОДА

Времена года любят капризничать, но, по существу, вернее их ничего нет на свете: весна, лето, осень, зима.

НАЧАЛО ВЕСНЫ СВЕТА

Восемнадцатого января утром было минус 20, а среди дня с крыши капало. Этот день весь с утра до ночи как бы цвел и блестел, как кристалл. Ели, засыпанные снегом, стояли как алебастровые и весь день сменяли цвет от розового до голубого. На небе долго провисел обрывок бледного месяца, внизу же, по горизонту, распределялись цвета. Все в этом первом дне весны света было прекрасно, и мы провели его на охоте. Несмотря на сильный мороз, зайцы ложились плотно и не в болотах, как им полагается ложиться в мороз, а на полях, в кустиках, в островках близ опушки.

РУБИНОВЫЙ ГЛАЗ

Морозная тишина. Вечереет. Темнеют кусты неодетого леса, будто это сам лес собирает к ночи свои думы. Через тьму кустов глядит солнце рубиновым глазом, через кусты этот красный глаз не больше человеческого.

ВЕСЕННИЙ МОРОЗ

Мороз и северная буря этой ночью ворвались в дело солнца и столько напутали: даже голубые фиалки были покрыты кристаллами снега и ломались в руках, и казалось, даже солнцу этим утром было стыдно в таком сраме вставать. Не легко было все поправить, но солнце весной не может быть посрамлено, и уже в восьмом часу утра на придорожной луже, открытой солнечным лучам, поскакали наездники.

ГОЛУБЫЕ ТЕНИ

Возобновилась тишина, морозная и светлая. Вчерашняя пороша лежит по насту, как пудра со свер-

кающими блестками. Наст нигде не проваливается и на поле, на солнце, держит еще лучше, чем в тени. Каждый кустик старого полынка, репейника, былинки, травинки, как в зеркало, глядится в эту сверкающую порошу и видит себя голубым и прекрасным. Я пробовал это снимать в логу, где много натоптала лисица.

МЕДЛЕННАЯ ВЕСНА

Ночью не было мороза. День сложился серый, но не теплый. Весна, конечно, движется: в пруду, еще не совсем растаявшем, лягушки высунулись, урчат вполголоса. И это похоже, будто вдали по шоссе катят к нам сотни телег. Продолжается пахота. Исчезают последние клочки снега. Но нет того парного тепла от земли, нет уюта возле воды. Нам этот ход весны кажется медленным, хотя весна все-таки ранняя. Неуютно кажется потому, что снега не было зимой, выпал он недавно, и теперь преждевременно открытая земля не по времени холодна. Орех цветет, но еще не пылит, птичка зацепит сережки, и еще нет дымка. Листва из-под снега вышла плотно слежалая, серая.

Вчера вальдшнеп воткнул нос в эту листву, чтобы достать из-под нее червяка; в это время мы подошли, и он вынужден был взлететь, не сбросив с клюва надетый слой листьев старой осины. Я успел его убить, и мы сосчитали: на клюве у него было надето десять старых осиновых листиков.

ДОРОГА В КОНЦЕ МАРТА

Днем слетаются на весеннюю дорогу кормиться все весенние птицы; ночью, чтобы не вязнуть до ушей в зернистом снегу, по дороге проходят звери. И долго еще по рыжей дороге, по навозу, предохраняющему лед от таяния, будет ездить человек на санях. Дорога мало-помалу делается плотиной для бегущих к ней весенних ручьев. Человек со своим мальчуганом ехал на санях, когда из ручьев на одной стороне дороги слилось целое озеро. С большой силой давила вода

на плотину, и, когда новый поток прибавил воды, плотина не выдержала, разломилась, и шумный поток пересек путь едущим на санях.

ПРИРОДНЫЕ БАРОМЕТРЫ

То дождик, то солнышко. Я снимал свой ручей, и когда промочил ногу и хотел сесть на муравьиную кочку (по зимней привычке), то заметил, что муравьи выползли и плотной массой, один к одному, сидели и ждали чего-то или приходили в себя перед началом работы. А несколько дней тому назад перед большим морозом тоже было очень тепло, и мы дивились, почему нет муравьев, почему береза еще не дает сока. После того хватил ночной мороз в 18 градусов, и теперь нам стало понятно: и береза и муравьи знали это по ледяной земле. Теперь же земля растаяла, и береза дала сок, и муравьи выползают.

ВЕСЕННИЙ РУЧЕЙ

Слушал на тяге воду. По луговой лощине вода катилась бесшумно, только иногда встречались струйка со струйкой, и от этого всплескивало. И, слушая, ожидая следующий всплеск, спрашивал я себя, отчего это? Может быть, там вверху снег, из-под которого вытекал ручей, время от времени обваливался, и это событие в жизни ручья здесь передавалось столкновением струек, а может быть... Мало что может быть! Ведь если только вникнуть в жизнь одного весеннего ручья, то окажется, что понять ее в совершенстве можно только, если понять жизнь вселенной, проведенной через себя самого.

ПЕРВЫЕ РУЧЬИ

Я услыхал легкий с голубиным гульканьем взлет птицы и бросился к собаке проверить, правда ли, что это прилетели вальдшнепы. Но Кента спокойно бегала. Я вернулся назад любоваться разливом и опять услышал на ходу тот же самый голубино-гулькающий звук. И еще и еще. Наконец я догадался не двигать-

ся больше, когда послышится этот звук. И мало-помалу звук стал непрерывным, и я понял, что где-то под снегом так поет самый маленький ручеек. Мне так это понравилось, что я пошел, прислушиваясь к другим ручьям, с удивлением узнавая по голосам их разные существа.

ЗАПОЗДАЛЫЙ РУЧЕЙ

В лесу тепло. Зеленеет трава: такая яркая среди серых кустов! Какие тропинки! Какая задумчивость, тишина! Кукушка начала первого мая и теперь осмелела. Бормочет тетерев и на вечерней заре. Звезды, как вербочки, распухают в прозрачных облаках. В темноте белеют березки. Растут сморчки. Осины выбросили червяки свои серые. Весенний ручей запоздал, не успел совсем сбежать и теперь струится по зеленой траве, и в ручей капает сок из поломанной ветки березы.

ВЕСНА ВОДЫ

Снег еще глубок, но так зернист, что даже заяц проваливается до земли и своим брюхом чешет снег наверху.

После дороги птицы перелетают кормиться на поля, на те места, где стало черно.

Все березы на дожде как бы радостно плачут, сверкая летят вниз капли, гаснут в снегу, отчего мало-помалу снег становится зернистым.

Последние хрустящие остатки льда на дороге — их называют черепками. И то ледяное ложе, по которому бежал поток, тоже размыло и размякло: под водой на этом желтом ложе заяц, перебегая на ту сторону ночью, оставил следы.

РУЧЕЙ И ТРОПИНКА

Вытаяла возле бора тропинка сухая, и рядом с ней шумит ручей: так вдоль опушки по солнцепеку и бегут, уходя вдаль, ручей и тропинка, а за ручьем на северном склоне среди хвойных деревьев лежит сибирский таежный нетронутый снег.

СВЕТЛАЯ КАПЕЛЬ

Солнце и ветер. Весенний свет. Синицы и клесты поют брачным голосом. Корка наста от лыжи, как стекло, со звоном разлетается. Мелкий березник на фоне темного бора в лучах солнца становится розовым. Солнечный луч на железной крыше создает нечто вроде горного ледника, из-под которого, как в настоящем леднике, струится вода рекой, и от этого ледник отступает. Все шире и шире темнеет между ледником и краем крыши полоса нагретого железа. Тоненькая струйка с теплой крыши попадает на холодную сосульку, висящую в тени на морозе. От этого вода, коснувшись сосульки, замерзает, и так сосулька утром сверху растет в толщину. Когда солнце, обогнув крышу, заглянуло на сосульку, мороз исчез, и поток из ледника сбежал по сосульке, стал падать золотыми каплями вниз, и это везде на крышах, и до вечера всюду в городе падали вниз золотые интересные капли.

Далеко еще до вечера стало морозить в тени, и хотя еще на крыше ледник все отступал и ручей струился по сосульке, все-таки некоторые капельки на самом конце ее в тени стали примерзать и чем дальше, тем больше. Сосулька к вечеру стала расти в длину. А на другой день опять солнце, и опять ледник отступает, и сосулька растет утром в толщину, а вечером в длину: каждый день все толще, все длиннее.

ОКЛАДНОЙ ТЕПЛЫЙ ДОЖДЬ

Большие зеленеют почки на липе перед моим окном, и на каждой почке светлая капля, такая же большая, как и почка. От почки к почке вниз по тонкому сучку скатывается капля, сливается с другой возле другой почки и падает на землю. А там выше по коре большого сука, будто река по руслу, бежит невидимо сплошная вода и по малым каплям и веточкам распределяется и заменяет упавшие капли. И так все дерево в каплях, и все дерево капает.

Полтора суток без перерыву лил дождь. Шоссейная дорога стала как в весеннюю распутицу. Я снял

ее и еще снимал тут около дороги крестики молодой сосны с крупными каплями дождя: верх крестика без капель я ставил на небо, а низ, обрамленный крупными каплями, держал на фоне темного леса, чтобы капли на темном светились.

СВЕТ КАПЕЛЕК

Ночью было очень тяжело возвращаться из леса, но никакая усталость не могла победить радостного сознания, что я был сегодня свидетелем начала буйной весны с цветами и пеньем птиц.

В неодетом лесу ранние ивы, как люстры, как грезы, виденья. Сморчки, примулы, анемоны, волчье лыко, освещенье почек, свет капелек на ветвях.

ПЕРЕД ВЕЧЕРОМ

Среди дня от жаркого ветра стало очень тепло, и вечером на тяге определилась новая фаза весны. Почти одновременно зацвела ранняя ива, и запел полным голосом певчий дрозд, и заволновалась поверхность прудов от лягушек, и наполнился вечерний воздух их разнообразными голосами. Землеройки гонялись перед вечером и в своей стихии в осиновой листве были нам так же недоступны, как рыба в воде.

ВРЕМЯ ПЧЕЛ ВЫСТАВЛЯТЬ

Бывает, остатки бледного истлевающего льда на лугу перекликаются днем с обрывками истлевающего в солнечных лучах бледного месяца.

Большой хищник, вернувшийся с юга, летел мне навстречу и, разглядев, кто я, вдруг круто повернул обратно.

Сороки слышали хруст льда под моими ногами и тревожно отзывались в глубине леса. Но и лед тоже трещал сам по себе, просто от солнца. Сороки в глубине леса понимали тот и этот треск и только на мой отзывались.

Лесные голуби начали гурковать.

Пожалуй, что пора и пчел выставлять.

НАСТ

Опять ясный день с солнечным морозом, и ручьи по колеям на дороге, и жаркий час на сугробах, в лесах, заваленных снегом.

Вылез, по брюхо утопая в сугробах, на лесную поляну, где пробегает мой любимый ручей. Нашел обнажение воды из-под снега возле берез и это снимал, как начало весны воды. Ночью мороз был так силен, что наст не везде проваливался, зато уж как провалишься, так здорово достается. Сейчас можно поутру забраться по насту глубоко в лес, и в полдень, когда разогреет, там в лесу и останешься, не вылезешь и будешь ждать ночного мороза, пока он не намостит.

ВЕСЕННЯЯ УБОРКА

Еще несколько дней, какая-нибудь неделя — и весь этот невероятный хлам в лесу природа начнет закрывать цветами, травами, зеленеющими мхами, тонкой молодой порослью. Трогательно смотреть, как природа заботливо убирает два раза в год свой желтый сухой и мертвый костяк: один раз весной она закрывает его от нашего глаза цветами, другой раз осенью — снегом.

Еще цветут орехи и ольхи, и их золотые сережки еще и сейчас дымятся от прикосновения птичек, но не в них теперь дело: они живут, но их время прошло. Сейчас удивляют и господствуют множеством своим и красотой синие цветики звездочкой. Изредка попадается, но тоже удивляет волчье лыко.

Лед растаял на лесной дороге, остался навоз, и на этот навоз, как будто чуя его, налетело из еловых и сосновых шишек множество семян.

ОРЕХОВЫЕ ДЫМКИ

Барометр падает, но вместо благодетельного теплого дождя приходит холодный ветер. И все-таки весна продолжает продвигаться. За сегодняшний день позеленели лужайки сначала по краям ручьев, потом по южным склонам берегов, возле дороги, и к вечеру зеленело везде на земле. Красивы были волнистые

линии пахоты на полях — нарастающее черное с поглощаемой зеленью. Почки на черемухе сегодня превратились в зеленые копья. Ореховые сережки начали пылить, и под каждой порхающей в орешнике птичкой взлетал дымок.

СЛЕДЫ РАДОСТИ

Ночью поехали в Териброво, вышли на глухарей в час ночи и под непрерывным дождем проходили в лесу бесплодно до восьми. Ни одна птичка не пикнула. При возвращении увидел осину с набухшими почками,— ту, которая в прошлый раз в темноте на морозе так пахла. А дождь шел до утра.

И встало серое утро, и лес, умытый в слезах радости или горя,— не поймешь. Но даже через стены дома слышалась птичка, и через это мы поняли, что не горе, а радость сверкала за окном на ветках березы.

ГРОЗА

К обеду поднялся очень сильный ветер, и в частом осиннике, еще не покрытом листьями, стволики стучали друг о друга, и это было тревожно слушать. Вечером началась гроза довольно сильная. Лада от страха забралась ко мне под кровать. Она вовсе обезумела, и это продолжалось у нее всю ночь, хотя гроза уже и прошла. Только утром в шесть часов я вытащил ее на двор и показал, какая хорошая, свежая утренняя погода. Тогда она быстро пришла в себя.

ОТЦВЕТАЕТ ЧЕРЕМУХА

По лопухам, по крапиве, по всякой зеленой траве рассыпались белые лепестки: отцветает черемуха. Зато расцвела бузина и под нею внизу земляника. Некоторые бутоны ландышей тоже раскрылись, бурые листья осин стали нежно-зелеными, взошедший овес зелеными солдатиками расставился по черному полю. В болотах поднялась высоко осока, дала в темную бездну зеленую тень, по черной воде завертелись жучки-вертунки, полетели от одного зеленого острова осоки к другому голубые стрекозы.





Иду белой тропой по крапивной заросли, так сильно пахнет крапивой, что все тело начинает чесаться. С тревожным криком семейные дрозды гонят дальше и дальше от своих гнезд хищную ворону. Все интересно: каждая мелочь в жизни бесчисленных тварей рассказывает о брачном движении всей жизни на земле.

СУКОВАТОЕ БРЕВНО

Пыльца цветущих растений так засыпала лесную речку, что в ней перестали отражаться береговые высокие деревья и облака. Весенний переход с берега на берег по суковатому бревну висит так высоко, что упадешь и расшибешься.

Никому он не нужен теперь, этот переход, речку можно переходить просто по камешкам. Но белка идет там и во рту несет что-то длинное. Остановится, поработает над этим длинным, может быть поест,— и дальше. В конце перехода я пугнул ее в надежде, что она выронит добычу и я рассмотрю, что это такое, или, может быть, она вскочит на осину. Белка, вспугнутая, действительно бросилась вверх по осине вместе с добычей, но не задержалась, а большим полетом с самой верхушки перелетела вместе с добычей на елку и там спряталась в густоте.

ОСИНОВЫЙ ПУХ

Снимал жгутики с осины, распускающие пух. Против ветра, солнца, как пушинки, летели пчелы, не разберешь даже — пух или пчела, семя ли растения летит для прорастания, или насекомое летит за добычей.

Так тихо, что за ночь летающий осиновый пух осел на дороги, на заводи, и все это словно снегом покрыто. Вспомнилась осиновая роща, где пух в ней лежал толстым слоем. Мы его подожгли, огонь метнулся по роще, и стало все черным.

Осиновый пух — это большое событие весны. В это время поют соловьи, поют кукушки и иволги. Но тут же поют уже и летние подкрапивнички.

Время вылета осинового пуха меня каждый раз, каждую весну чем-то огорчает: растрата семян тут,

кажется, больше даже, чем у рыб во время икрометания, и это подавляет меня и тревожит.

В то время, когда со старых осин летит пух, молодые переодеваются из своей коричневой младенческой одежды в зеленую, как деревенские девушки в годовой праздник показываются на гулянье то в одном наряде, то в другом.

В человека вошли все элементы природы, и если он только захочет, то может перекликнуться со всем существующим вне его.

Вот хотя бы эта сломленная, сброшенная ветром ветка осины — до чего же судьба ее нам трогательна: лежа на земле, на дороге, в колеях, выдерживая не один день на себе тяжесть телег, она все-таки живет, пушится, и ветер отрывает и несет ее семена...

Пашут трактором, а где нельзя — лошадью, сеют рядовой сеялкой, а где нельзя — из лукошка по-старинному, и любо смотреть в подробности их выполнения...

После дождя горячее солнце создало в лесу парник с одуряющим ароматом роста и тления: роста березовых почек и молодой травы и тоже ароматного, но по-другому, тления прошлогодних листьев. Старое сено, соломины, мочально-желтые кочки — все порастает зеленой травой. Позеленели и березовые сережки. С осин летят семена-гусеницы и виснут на всем. Вот совсем недавно торчала высоко прошлогодняя высокая густая метелка белоуса; раскачиваясь, сколько раз, наверное, она спугивала и зайца и птичку. Осиновая гусеница упала на нее и сломила ее навсегда, и новая зеленая трава сделает ее невидимой, но это еще не скоро, еще долго будет старый желтый скелет одеваться, обрастать зеленым телом новой весны.

Третий день уже сеет ветер осиной, а земля без устали требует все больше и больше семян. Поднялся ветерок, и еще больше полетело семян осиновых. Вся земля закрыта осиновыми червяками. Миллионы семян ложатся, и только немного из миллиона прорастет, и все-таки осинник вырастет вначале такой густой, что заяц, встретив его на пути, обежит.

Между маленькими осинками скоро начнется борьба корнями за землю и ветвями за свет. Осинник

начинает прореживаться и когда достигнет высоты роста человека, заяц тут начнет ходить глодать кору. Когда поднимется светолюбивый осиновый лес, под его пологом, прижимаясь робко к осинкам, пойдут теневыносливые елки, мало-помалу они обгонят осины, задушат своей тенью светолюбивое дерево с вечно трепещущими листьями...

Когда погибнет весь осиновый лес и на его месте завоет сибирский ветер в еловой тайге, одна осина где-нибудь в стороне на поляне уцелеет, в ней будет много дупел, узлов, дятлы начнут долбить ее, скворцы поселятся в дуплах дятлов, дикие голуби, синичка, белка побывает, куница. И, когда упадет это большое дерево, местные зайцы придут зимой глодать кору, за этими зайцами — лисицы: тут будет звериный клуб. И так, подобно этой осине, надо изобразить весь связанный чем-то лесной мир.

Я даже устал смотреть на этот посев: ведь я — человек и живу в постоянной смене горя и радости. Вот я утомлен, не надо мне этих осин, этой весны, вот мне кажется, даже самое «я» мое растворяется в боли, даже сама боль исчезнет,— нет ничего. Так на старом пне, опустив голову на руки, глаза в землю, сижу я, не обращая никакого внимания, что осиновые гусеницы осыпают меня. Ничего ни плохого, ни хорошего... Существую, как продолжение старого пня, осыпаемого семенами осины.

Но вот я отдохнул, с удивлением из необычно приятного моря спокойствия прихожу в себя, оглядываюсь и опять все замечаю и всему радуюсь.

РАДОСТЬ ПРИЛЕТА

Заметил на полях множество певчих дроздов; они слетали с полей на березы и пели: певчий гомон стоял в лесу. И это было, вероятно, с прилету.

НЕДОВОЛЬНАЯ ЛЯГУШКА

Даже вода взволновалась,— вот до чего взыгрались лягушки. Потом они вышли из воды и разбрелись по земле: вечером было,— что ни шаг, то лягушка.

В эту теплую ночь все лягушки тихонечко урчали, и даже те урчали, кто был недоволен судьбой: в такую-то ночь стало хорошо и недовольной лягушке, и она вышла из себя и, как все, заурчала.

ПЕРВЫЙ РАК

Гремел гром, и шел дождь, и сквозь дождь лучило солнце, и раскидывалась широкая радуга от края до края. В это время распускалась черемуха, и кусты дикой смородины над самой водой позеленели. Тогда из какой-то рачьей печуры высунул голову и шевельнул усом своим первый рак.

ЗВОНКОЕ УТРО

Звонкое радостное утро. Первая настоящая роса. Рыба прыгала. На горе токовали два раздутых петуха, и с ними было шесть тетерок. Один петух обходил всех вокруг, как у оленей ирвас обходит своих важенок. Встретив на пути другого петуха, он отгонял его, и опять обходил, и опять дрался. Вспыхнули в серых лесах ранние ивы — дерево, на котором цвет как желтые пуховые цыплята, и пахнет все медом.

СУДЬИ

На самом закате слышал трель дятла. До самого заката спорили на пойме три дятла — кто сильней всех даст трель. Журавль взялся судить и начал кричать, и другие тоже имели свои мнения и начали кричать, и каждый старался громче, и до того дошли судьи, что вовсе забыли о дятлах, которые смолкли перед вечерней зарей. Судьи заняты были только тем, чтобы им друг друга перекричать. Но вот пришел человек, запел, и стало понятным, из-за чего все стараются.

ЗАЯЧЬЯ ШЕРСТЬ

Снег встречается, как великая редкость. Белая, надранная в весенних боях при линьке заячья шерсть села на темную землю. Так много было зайцев этой

зимой, что везде видишь на осиновом сером листовом подстиле клоки белой заячьей шерсти.

Позеленевшая трава кривоколенцем загибалась среди осиновых стволов по серому осиновому подстилу между длинными желтыми соломинами и метелками белоуса. По этому первому зеленому пути вышел линяющий заяц, еще белый, но в клочьях.

ДВИЖЕНЬЕ ВЕСНЫ

После хвойных засеменились осины, все поляны завалены их гусеницами. Слежу, как зелень пробивается через солому и сено прошлого года. Слежу, как вяжут, вяжут зеленые ковры, больше и больше гудит насекомых.

НЕОДЕТАЯ ВЕСНА

Наша Кубря вышла из Ляхова болота под Переславлем и впадает в Нерль между селами Андриановым и Григоровым. А Нерль впадает в Волгу под Калязином. Кубря — наша любимая река, к берегам которой с великим трудом мы продвигаем неодетой весной свою машину «Мазай».

Тут Кубря выбежала из-под моста к шоссе и вскоре вспомнила: забыла что-то там, под мостом,— вроде того, как я иногда спохватываюсь, что забыл бумажник,— и вернулась другим следом почти рядом с первым, и, не добежав до моста, нашла у себя забытое, и опять побежала вперед.

Так по этому лугу она три раза прошла, два следа вперед, один след назад, и от этих поворотов на маленьком лугу возле самого леса вышло шесть берегов, густо поросших ольхой, и в этой путанице образовался тут полуостров с такой маленькой шейкой, что только «Мазаю» проехать. Рассказывают, что какой-то пьяница однажды так и не мог разобраться в излучинах речки, пошел напролом и утонул.

Мы же, хорошо зная это место, отлично проехали и так близко стали к воде, что «Мазай» отразился внизу в облаках среди безлиственно цветущих деревьев: сережки золотые ольхи качались над его кузовом,

серые червяки осины залезали в окошки и ранняя ива с соцветиями ярко-желтыми, похожими на маленьких цыплят, только что вылупившихся из яйца.

ЦВЕТУТ БЕРЕЗКИ

Когда старые березы цветут и золотистые сережки скрывают от нас наверху уже раскрытые маленькие листы, внизу на молодых везде видишь ярко-зеленые листики величиной в дождевую каплю, но все-таки весь лес еще серый или шоколадный,— вот тогда встречается черемуха и поражает: до чего же листья ее на сером кажутся большими и яркими. Бутоны черемухи уже готовы. Кукушка поет самым сочным голосом. Соловей учится, настраивается. Чертова теща и та в это время очаровательна, потому что не поднялась еще со своими колючками, а лежит на земле большой красивой звездой. Из-под черной лесной воды выбиваются и тут же над водой раскрываются ядовито-желтые цветы...

ВЕСЕННИЙ ПЕРЕВОРОТ

Днем на небе были на одной высоте «кошачьи хвосты», на другой — плыл огромный неисчислимый флот кучевых облаков. Мы не могли узнать, что наступает и что проходит: циклон или антициклон.

Вот теперь вечером все и сказалось: именно в этот вечер совершился долгожданный переворот, переход от неодетой весны к зеленеющей весне.

Случилось это так: мы шли в разведку в диком лесу. Остатки желтых тростников на кочках между елками и березками напоминали нам, какую непроницаемую для солнечных лучей, какую непроходимую глушь представляет собой этот лес летом и осенью. Но глушь эта нам была мила, потому что в лесу теплело и чувствовалась во всем весна. Вдруг блеснула вода, и мы с большой радостью узнали в этой воде Нерль. Мы пришли прямо на берег и будто попали сразу же в другую страну с теплым климатом: бурно кипела жизнь, пели все болотные птицы, бекасы, дупеля токовали, будто Конек-горбунок скакал в тем-

неющем воздухе, токовали тетерева, дали сигнал свой трубный почти возле нас журавли; словом, тут было все наше любимое, и даже утки сели против нас на чистую воду. И ни малейшего звука от человека: ни свистка, ни тутуканья мотора.

В этот час и совершился переворот, и начало все расти и распускаться.

СОЛНЕЧНАЯ ОПУШКА

На рассвете дня и на рассвете года все равно: опушка леса является убежищем жизни.

Солнце встает, и куда только ни попадет луч,— везде все просыпается, а там, внизу, в темных глубоких овражных местах, наверное, спят часов до семи.

У края опушки лен с вершок ростом и во льну — хвощ. Что это за диво восточное — хвощ-минарет, в росе, в лучах восходящего солнца!

Когда обсохли хвощи, стрекозы стали сторожкими и особенно тени боятся...

ВРЕМЯ

Ячмень сеют, когда молодой скворец голову в окошке показывает.

КРАСНАЯ СТРЕКОЗА

Обмерли на голубом цветке-колокольчике две спаренные красные стрекозы. Я положил их на песок под солнечный горячий луч. И они, оживленные солнцем, возвращенные солнцем к жизни, в первые миги оживания стали каждая думать лишь о себе: только бы освободиться. И разошлись и полетели каждая сама по себе.

КРАСНЫЕ ШИШКИ

Росы холодные и свежий ветер днем умеряют летний жар. И только потому еще можно ходить в лесу, а то бы теперь видимо-невидимо было слепней днем,

а по утрам и по вечерам комаров. По-настоящему теперь бы время мчаться обезумевшим от слепней лошадям в поле прямо с повозками.

В свежее солнечное утро иду я в лес полями. Рабочие люди спокойно отдыхают, окутываясь паром своего дыхания. Лесная лужайка вся насыщена росой холодной, насекомые спят, многие цветы еще не раскрывали венчиков. Шевелятся только листы осины, с гладкой верхней стороны листы уже обсохли, на нижней бархатная роса держится мелким бисером.

— Здравствуйте, знакомые елочки, как поживаете, что нового?

И они отвечают, что все благополучно, что за это время молодые красные шишки дошли до половины настоящей величины. Это правда, это можно проверить: старые пустые рядом с молодыми висят на деревьях.

Из еловых пропастей я поднимаюсь к солнечной опушке, по пути в глуши встречается ландыш, он еще сохранил всю свою форму, но слегка пожелтел и больше не пахнет.

ШМЕЛЬ И ЦВЕТОНОЖКА

Какая нежная цветоножка у раковой шейки, как трудно держать ей, как она обременена своим толстым цветком!

А вот когда на эту шейку, и так-то тяжелую, толстую, усядется огромной тяжести шмель, цветоножка поддастся, наклонится, шмель, встревоженный, рассерженно загудит, начнет опять устраиваться: цветоножка все гнется, он все жундит, пока она догнется до предела, покорится, он же всосется и замолчит.

СТРАДНАЯ ПОРА

У дятлов теперь в лесу совсем мало трелей, не до трелей теперь, когда собственной башкой, как балдой, и собственным носом, как долотом, весь день приходится гнезда долбить.

МОЙ ГРИБ

В грибном лесу одна полянка другой полянке руку подает через кусты, и когда эти кусты переходишь, на полянке тебя встречает твой гриб. Тут искать нечего: твой гриб всегда на тебя смотрит.

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

Бабочка, совсем черная, с тонкой белой каймой, сядет и становится, как моль,— треугольником. А то из этих же маленьких бабочек есть голубая, всем очень знакомая. Эта когда сядет на былинку, то делается как цветок. Пройдешь мимо и за бабочку ни за что не сочтешь, цветок и цветок: «анютины глазки».

ИВАН-ЧАЙ

Вот и лето настало, в прохладе лесной заблагоухала белая, как фарфоровая, «ночная красавица», и у пня стал на солнцепеке во весь свой великолепный рост красавец наших лесов — иван-чай.

БАЛ НА РЕКЕ

Желтые лилии раскрыты с самого восхода солнца, белые раскрываются часов в десять. Когда все белые распустятся, на реке начинается бал.

СЕНОКОС

В Териброве первым деревенским кузнечиком был парторг: он первый вколотил бабку в пень и стал молотком на этой бабке отбивать свою косу. Так этот звук начался и пошел теперь на все время покоса звенеть соединенно с кузнечиками...

Вот теперь везде в лесах, на полянах понемногу выкашивают, теперь в лесах везде люди, теперь уже в лесу сам с собой не поговоришь. А как этого иногда хочется! Ведь у писателя все, что каждый человек должен держать про себя, составляет главный материал, душу его дела: его «про себя» должно стать всеобщим достоянием. Чем больше писатель, тем в книге его больше этого «про себя» — валюты всей вещи. Вот в лесу именно тем особенно хорошо, что мож-

но упражняться сколько угодно в этих интимных диалогах. Бывает, так ведешь себя с цветком, с бабочкой, с жуком, сердечно беседуешь со шмелем, и если в это время всхрапнет где-нибудь лошадь, то весь вздрогнешь от мысли: нет ли где-нибудь с лошадью и человека, не подслушивает ли он сейчас твою интимную беседу со шмелем.

Теперь в лесах везде косят. Теперь не стоит вступать в интимную беседу с цветами, жуками и пчелами.

ВЕТЕР В ЛЕСУ

Ветрено, прохладно и ясно. В лесу «лес шумит», и через шум слышна яркая летняя песенка подкрапивника.

Лес шумит только вверху, в среднем ярусе, в молодом осиннике только дрожат и чуть слышно постукивают друг о друга нежные круглые листики. Внизу в травах полная тишина, и в ней, слышно, работает шмель.

Вспомнились чудаки Ф.: среди лета бросились дачу искать. Когда выезжают дачники из Москвы, все птицы на яйцах постятся, высиживают своих птенцов.

СУШЬ

Продолжается сушь великая. Речка пересохла совершенно, мостики деревьев, когда-то поваленных водой, остались, и тропинка охотников по уткам сохранилась на берегу, и на песочке свежие следы птиц и зверушек, по старой памяти приходящих сюда за водой. Они, правда, находят воду для питья кое-где в бочажках.

РОЖЬ НАЛИВАЕТ

Рожь наливает. Жара. По вечерам солнце косыми лучами ложится на рожь. Тогда каждая полоска ржи как перина: это вышло оттого, что воде между полосками было хорошо стекать. Так на перинке со скатами рожь выходит лучше. В лучах заходящего солнца теперь каждая полоска-перина так пышна, так привлекательна, что самому на каждую хочется лечь и поспать.

ВАРЕНЬЕ

Вернулся в десятом часу на ту холодную спящую лужайку, на которую сегодня пришел ранним утром. В солнечном огне все гудело в цветах, заваривалось, благоухало, как будто все вместе тут общими силами варили варенье.

ГОРЛИНКА

Мирный звук воркующей горлинки свидетельствует в лесу всем живущим: жизнь продолжается.

ЗАКАТ ГОДА

Для всех теперь только начало лета, а у нас закат года: деньки ведь уже убывают, и, если рожь зацвела, значит, по пальцам можно подсчитать, когда ее будут жать.

В косых утренних лучах на опушке ослепительная белизна берез белее мраморных колонн. Тут, под березами, еще цветет своими необыкновенными цветами крушина, боюсь, что плохо завязалась рябина, а малина сильная и смородина сильная, с большими зелеными ягодами.

С каждым днем теперь все реже и реже слышится в лесу «ку-ку», и все больше и больше нарастает сытое летнее молчание с перекличкой детей и родителей. Как редчайший случай — барабанная трель дятла. Услышишь вблизи, даже вздрогнешь и думаешь: «Нет ли кого?» Нет больше общего зеленого шума, вот и певчий дрозд — поет как хорошо, но поет он один-одинешенек... Может быть, эта песенка теперь и лучше звучит — впереди самое лучшее время, ведь это самое начало лета, через два дня семик. Но все равно, того чего-то больше уж нет, то прошло, начался закат года.

ОСИНКАМ ХОЛОДНО

В солнечный день осенью на опушке елового леса собрались молодые разноцветные осинки, густо одна к другой, как будто им там, в еловом лесу, стало холодно и они вышли погреться на опушку, как у нас в деревнях люди выходят на солнышко и сидят на завалинках.

ОСЕНЬ

В деревне овинный дух.

На утренней заре весело стучат гуськи — дубовые носки.

Гриб лезет и лезет.

О МУДРОСТИ

Слова мудрости, как осенние листья, падают без всяких усилий.

ОСЕННЯЯ РОСКА

Заосеняло. Мухи стучат в потолок. Воробьи табунятся. Грачи — на убранных полях. Сороки семьями пасутся на дорогах. Роски холодные, серые. Иная росинка в пазухе листа весь день просверкает...

ЛИСТОПАД

Вот из густых елок вышел под березу заяц и остановился, увидя большую поляну. Не посмел прямо идти на ту сторону и пошел кругом всей поляны от березки к березке. Вот он остановился, прислушался... Кто боится чего-то в лесу, то лучше не ходи, пока падают листья и шепчутся. Слушает заяц: все ему кажется, будто кто-то шепчется сзади и крадется. Можно, конечно, и трусливому зайцу набраться храбрости и не оглядываться, но тут бывает другое: ты не побоялся, не поддался обману падающих листьев, а как раз вот тут кто-то воспользовался и тебя сзади под шумок схватил в зубы.

ОСЕНЬ

Ехал сюда — рожь начинала желтеть. Теперь уезжаю обратно — эту рожь люди едят, и новая опять зеленеет. Тогда деревья в лесу сливались в одну зеленую массу, теперь каждое является само собой. И такая уж осень всегда. Она раздевает массу деревьев не сразу, каждому дает немного времени побыть и покрасоваться отдельно.

РОСА

С полей, с лугов, с вод поднялись туманы и растаяли в небесной лазури, но в лесу туманы застряли надолго. Солнце поднимается выше, лучи сквозь лесной туман проникают в глубину чащи, и на них там, в чаще, можно смотреть прямо и даже считать и фотографировать.

Зеленые дорожки в лесу все будто курятся, туман везде поднимается, вода пузырьками садится на листья, на хвоинки елок, на паучиные сети, на телеграфную проволоку. И по мере того как поднимается солнце и разогревается воздух, капли на телеграфной проволоке начинают сливаться одна с другой и редеть. Наверное, то же самое делается и на деревьях: там тоже сливаются капли.

И когда, наконец, солнце стало порядочно греть на телеграфной проволоке, большие радужные капли начали падать на землю. И то же самое в лесу хвойном и лиственном — не дождь пошел, а как будто пролились радостные слезы. В особенности трепетно-радостна была осина, когда упавшая сверху одна капля приводила в движенье чуткий лист, и так все ниже, все сильнее вся осина, в полном безветрии сверкая, дрожала от падающей капели.

В это время и некоторые высоконастороженные сети пауков пообсохли, и пауки стали подтягивать свои сигнальные нити. Застучал дятел по елке, заклевал дрозд на рябине.

ВЕТРЕНЫЙ ДЕНЬ

Этот свежий осенний ветер умеет нежно разговаривать с охотником, как сами охотники часто болтают между собой от избытка радостных ожиданий. Можно говорить и можно молчать: разговор и молчанье легкие у охотника. Бывает, охотник оживленно что-то рассказывает, но вдруг мелькнуло что-нибудь в воздухе, охотник посмотрел туда и потом: «А о чем я рассказывал?» Не вспомнилось, и — ничего: можно что-нибудь другое начать. Так и ветер охотничий осенью постоянно шепчет о чем-то и, не досказав одно, переходит к другому: вот донеслось бормотанье молодого тетерева и перестало, кричат журавли...

НАЧАЛО ОСЕНИ

Сегодня на рассвете одна пышная береза выступила из леса на поляну, как в кринолине, и другая, робкая, худенькая, роняла лист за листком на темную елку. Вслед за этим, пока рассветало больше и больше, разные деревья мне стали показываться по-разному. Это всегда бывает в начале осени, когда после пышного и общего всем лета начинается большая перемена и деревья все по-разному начинают переживать листопад.

Я оглянулся вокруг себя. Вот кочка, расчесанная лапками тетеревей. Раньше, бывало, непременно в ямке такой кочки находишь перышко тетерева или глухаря, и если оно рябое, то знаешь, что копалась самка, если черное — петух. Теперь в ямках расчесанных кочек лежат не перышки птиц, а опавшие желтые листики. А то вот старая-престарая сыроежка, огромная, как тарелка, вся красная, и края от старости завернулись вверх, и в это блюдо налилась вода, и в блюде плавает желтый листик березы.

ВСХОДЫ

Двойное небо, когда облака шли в разные стороны, кончилось дождем на два дня, и дождь кончился ледянистыми облаками. Но солнце засияло поутру, не обращая внимания на этот заговор неба, и я поспешил идти на охоту с камерой. Выходила из-под земли посеянная рожь солдатиками; каждый из этих солдатиков был в красном до самой земли, а штык зеленый, и на каждом штыку висела громадная, в брусничину, капля, сверкавшая на солнце то прямо, как солнце, то радужно, как алмаз. Когда я прикинул к глазу визирку камеры и мне явилась картина войска в красных рубашках с зелеными ружьями и сверкающими у каждого солдатика отдельными солнцами,— восторг мой был безмерный. Не обращая никакого внимания на грязь, я улегся на живот и пробовал на разные лады снять эти всходы.

Нет, оказалось, моими средствами нельзя было снять: ведь красные рубашки солдатиков непременно должны были выйти темными и слиться с землей, а

брусничины росы при большой диафрагме выйдут только передние, если же сильно задиафрагмировать и поставить на постоянный фокус, то они выйдут слишком мелкими. Не все возьмешь камерой, но не будь камеры, не лег бы я в грязь и на живот и не заметил бы, что всходящие ржинки похожи на красных солдатиков с зелеными ружьями.

ОСЕННИЙ РАССВЕТ

Есть осенние одуванчики, они много меньше летних, и крепче их, и не по одному сидят на ножке, а часто штук по десяти. Я снимал их. Стрекозы все привесились и уснули. Еще много снимал белое солнце, которое ныряло в облаках, то показываясь, то исчезая.

Никогда не надо упускать случая снимать в лесу резкий луч света. Хорошо бы добиться, чтобы выходила на снимке сказка росы. На фоне бересты снимал плаунки в два и в три рожка, те самые, на которых бывает известная «мучка-плывучка».

И так во все это росистое утро радость прыгала во мне, и не смущала печаль человеческая. Чего мне и вправду смущаться, если так рано, что все горюны еще спят. Когда же они проснутся и загорюют, обсохнет роса, и тогда я еще успею печаль их принять к сердцу. Горюны всего мира, не упрекайте меня!

ПАРАШЮТ

В такой тишине, когда без кузнечиков в траве в своих собственных ушах пели кузнечики, с березы, затертой высокими елями, слетел медленно вниз желтый листик. Он слетел в такой тишине, когда и осиновый листик не шевелился. Казалось, движенье листика привлекло внимание всех, и все ели, березы и сосны со всеми листиками, сучками, хвоинками и даже кусты, даже трава под кустами дивились и спрашивали: «Как мог в такой тишине стронуться с места и двигаться листик?» И, повинуясь всеобщей просьбе узнать, сам ли собой сдвинулся листик, я пошел к нему и узнал. Нет, не сам собой сдвинулся листик: это паук, желая спуститься, отяжелил его и сделал своим парашютом: на этом листике опустился небольшой паучишко.

РЯБИНА КРАСНЕЕТ

Утро малоросистое. Вовсе нет паутин на вырубках. Очень тихо. Слышно желну, сойку, дрозда. Рябина очень краснеет, березки начинают желтеть. Над скошенной травой изредка перелетают белые, чуть побольше моли, бабочки.

ЗАВОДЬ

Среди обгорелых от лесного пожара в прошлом году деревьев сохранилась одна небольшая осинка на самом краю высокого яра, против нашей Казенной заводи. Возле этой осинки летом стог поставили, и теперь осенью от времени он стал желтым, а осинка ярко-красной, пылающей. Далеко видишь этот стог и осинку и узнаешь нашу заводь, где сомов столько же, сколько в большом городе жителей, где по утрам шелеспер, страшный хищник, выбрасывается на стаю рыбок и так хлещет хвостом по воде, что рыбки перевертываются вверх брюхом, и хищник их поедает.

Мелкой рыбицы (мальков) так много в воде, что от удара весла впереди часто выскакивает наверх целая стайка, будто кто-то ее вверх подбросил. На удочку рыба уже плохо берется, а сомы по ночам идут на лягушку, только лягушек в этом году по случаю сухмени очень мало, так же мало и пауков, и этими красными осенними днями в лесу вовсе нет паутины.

Несмотря на морозы, на Кубре еще встречаются цветущие лилии, а маленьких мелких цветочков, похожих на землянику, на воде целые поляны, как белые скатерти. Лилии белые лежали на блюдах зеленых, и грациозные ножки их в чистой воде так глубоко виднелись, что если достать их, смериться, то, пожалуй, нас и двух на них не хватило бы.

ПЕРВЫЙ МОРОЗ

Ночь прошла под большой чистой луной, и к утру лег первый мороз. Все было седое, но лужи не замерзали. Когда явилось солнце и разогрело, то деревья и травы обдались такой сильной росой, такими светящимися узорами глянули из темного леса ветки елей, что





на эту отделку не хватило бы алмазов всей нашей земли.

Особенно хороша была сверкающая сверху донизу королева —сосна. Молодой собакой прыгала в груди моей радость.

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ

Осень длится, как узкий путь с крутыми заворотами. То мороз, то дождь, и вдруг снег, как зимой, метель белая с воем, и опять солнце, опять тепло и зеленеет. Вдали, в самом конце, березка стоит с золотыми листиками: как обмерзла, так и осталась, и больше уже ветер с нее не может сорвать последних листов,— все, что можно было, сорвал.

Самая поздняя осень — это когда от морозов рябина сморщится и станет, как говорят, «сладкой». В это время самая поздняя осень до того сходится близко с самой ранней весной, что по себе только и узнаешь отличие дня осеннего и весеннего — осенью думается:«Вот переживу эту зиму и еще одной весне обрадуюсь».

Тогда думаешь, что и все так в жизни непременно должно быть: надо поморить себя, натрудить, и после того можно и радоваться чему-нибудь. Вспомнилась басня «Стрекоза и Муравей» и суровая речь муравья: «Ты все пела — это дело, так поди же попляши». А ранней весной точно в такой же день ждешь радости без всяких заслуг; придет весна, ты оживешь в ней и полетишь, как стрекоза, вовсе не раздумывая о муравье.

БЫСТРИК

Вот полянка, где между двумя ручьями я недавно белые грибы собирал. Теперь она вся белая: каждый пень накрыт белой скатертью, и даже красная рябина морозом напудрена. Большой и спокойный ручей замерз, а маленький быстрик все еще бьется.

ЗВЕЗДНАЯ ПОРОША

Вчера вечером порошило из ничего, как будто это со звезд падали снежинки и сверкали внизу при электричестве, как звезды. К утру из этого сложилась по-

рошка чрезвычайно нежная: дунь — и нет ее. Но этого было довольно, чтобы отметился свежий заячий след. Мы поехали и зайцев поднимали.

Сегодня приехал в Москву и сразу узнал: на мостовой лежит та же самая звездная пороша, и такая легкая, что когда сел воробей и потом вскоре поднялся, то от крыльев его взлетела целая туча звездочек, а на мостовой без них осталось далеко заметное темное пятно.

ДЕРЕВЬЯ В ЛЕСУ

Снежная пороша. В лесу очень тихо и так тепло, что только вот не тает. Деревья окружены снегом, ели повесили громадные тяжелые лапы, березы склонились, и некоторые даже согнулись макушками до самой земли и стали кружевными арками. Так вот и у деревьев, как у людей: ни одна елка не склонится ни под какой тяжестью, разве что сломится, а береза чуть что — и склоняется. Ель царствует со своей верхней мутовкой, а береза плачет.

В лесной снежной тишине фигуры из снега стали так выразительны, что странно становится: «Отчего,— думаешь,— они ничего не скажут друг другу, разве только меня заметили и стесняются?» И когда полетел снег, то казалось, будто слышишь шепот снежинок, как разговор между странными фигурами.

КРИСТАЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Закончили охоту на зайцев: начались двойные следы, заяц гонялся за зайцем. День весь сверкал кристаллом от зари до зари. Среди дня солнце значительно пригревало, ветерок покачивал ветки деревьев, и оттого падали фигурки, рассыпались в воздухе пылью, и эта мельчайшая пыль снова взлетала и сверкала на солнце искорками.

Верхняя мутовка высокой ели, как ваза, собирала внутрь себя снег больше, больше, пока наконец этот ком не скрыл в себе даже тот высокий палец ели, на который весенней порой на вечерней заре садится птичка-невеличка и поет свою песенку.

СУМЕРКИ

На ясном небе стрела за стрелой показались кошачьи хвосты, и температура повысилась до минус 15. К вечеру небо закрылось. Закачались от ветра высокие ели, теряя разом все свои подарки. Внизу же под ними — засыпанные снегом елочки, похожие на какие-то безобидные, задумчивые существа, смутились.

РОЖДЕНЬЕ МЕСЯЦА

Небо чистое. Восход роскошный в тишине. Мороз минус 12. Трубач по белой тропе гонит одним чутьем.

Весь день в лесу был золотой, а вечером заря горела в полнеба. Это была северная заря, вся малиново-блестящая, как в елочных игрушках бывало, в бомбоньерках с выстрелом, особая прозрачная бумага, через которую посмотришь на свет, и все бывает окрашено в какой-нибудь вишневый цвет. Однако на живом небе было не одно только красное: посредине шла густо-синяя стрельчатая полоса, ложась на красном, как дирижабль, а по краям разные прослойки тончайших оттенков, дополнительных к основным цветам.

Полный расцвет зари продолжался какие-нибудь четверть часа. Молодой месяц стоял против красного на голубом, будто он увидел это в первый раз и удивился.

СЛЕДЫ ЧЕЛОВЕКА

МОЙ ДОМ

Люблю следы человека в природе, когда он идет босой ногой между деревьями: след одного, другого, и вот складывается извилистая тропинка на зеленой траве, на мхах и на выступающих корнях деревьев, среди папоротников, между соснами, вниз и по кладочкам через ручей, и опять круто вверх, поднимаясь по корням деревьев, как по лесенке.

Эх, дорогие мои, только вспомнить свою тропинку, есть о чем рассказать: походила, походила моя нога по лесам, и по степям, и по горам, и дом мой был везде, где мне удавалось хорошо сочинять свои сказки.

МЕД

Кончились майские холода, стало тепло, и зажухла черемуха. Зато наметились бутоны рябины и расцветает сирень. Зацветет рябина, и кончится весна, а когда рябина покраснеет, кончится лето, и тогда осенью мы откроем охоту и до самой зимы будем на охоте встречаться с красными ягодами рябины.

Сказать, какой именно запах у черемухи, невозможно: не с чем сравнить, и не скажешь. В первый раз, когда весной я понюхаю, мне вспоминается детство, мои родные, и я думаю о них, что ведь и они тоже нюхали черемуху и не могли, как и я, сказать, чем она пахнет. И деды, и прадеды, и те, что жили в то время, когда пелась былина о полку Игореве и много еще раньше, в совсем забытые времена,— все была черемуха, и пел соловей, и было множество разных трав, и цветов, и певчих птиц, и связанных с ними разных чувств и переживаний, составляющих наше чувство родины. В запахе одной только черемухи соединяешься со всем прошлым. И вот она отцветает. В последний раз я хочу поднести цветы к себе — в последней и напрасной надежде понять наконец-то, чем все-таки пахнет черемуха. С удивлением чувствую, что цветы пахнут медом. Да, вот я вспомнил, перед самым концом своим цветы черемухи пахнут не собой, как мы привыкли, а медом, и это говорит мне, что недаром были цветы... Пусть они теперь падают, но зато сколько же собрано меду!

ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

На больших лесных полянах после человека, бывает, остается рябина, смородина, и тоже на густой зеленой траве узнаешь по угольку, по кирпичику, что жил когда-то здесь человек. Когда же уверишься, что действительно жил человек, то как будто в шуме ветра издалека начинают доноситься слова, даже совсем близко шепнут тебе. Тогда вспомнишь своих родных и умер-

ших друзей, одних пожалеешь, что не дожили и ничего нового не знают, других — кондовых — хорошо, что не дожили!

ЦВЕТЫ

Иван-да-марья всегда собираются вместе в такую тесноту, что я вспоминаю, глядя на эти цветы, прежних мужиков, как они тогда беззаветно плодились и теснились на своих клочках и по всей необъятной стране вопили: «Земли, земли!»

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Какая трава, какая роса! Расцвела в полную силу черемуха, зацветают вишенки, летит осиновый пух. Вот великое переселение лесов, вот пример безжалостной силы числа: сколькомиллионная часть этих пушинок посеется и вырастет.

СТАРЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Как хочется жить на земле, где старые деревья видели моего деда и прадеда еще маленькими... Впрочем, хочется видеть эти деревья, но никак не дедов и прадедов — елецких купцов.

АВТОМОБИЛЬ

Бывало, по деревне в шляпе пройдешь, и за одну только шляпу тебя назовут барином. Теперь же в автомобиле приедешь — и только гражданин. Это оттого, что машина в деревне считается вещью государственной, и прежде всего подумают, что ты приехал по казенным делам.

Мне случилось однажды приехать на собственной машине, и когда в деревне узнали, что машина собственная и что я сам писатель, то тут же решили: «Ну, значит, подарил Максим Горький».

С автомобилем и всякими благами в расчете на личное к себе почтение в деревне можно сильно просчитаться. Люди теперь привыкли к тому, что автомобиль не собственный, а связан с положением.

Я живо помню, как, например, в старое время генеральский чин от самого генерала разливался на вещи: генеральский мундир, генеральские туфли, ордена продолжали действовать после смерти генерала на генеральшу и генеральских детей. Даже теперь, после революции, встречаешь иногда липу в бурьяне, и колхозники говорят: «Тут жил генерал!»

Теперь почитают, конечно, должность, но положения из должности никакого не получается, человек остается таким, как и все. Казалось бы, положение писателя, старого, известного, как мое,— иное дело. Но нет! Сегодня сын пошел прописываться к председателю сельсовета, и он сказал, что сегодня ему некогда, а завтра он свободен весь день. «Хочешь,— сказал он,— сам приходи, хочешь — пришли старика». Признаюсь, что «пришли старика» меня чуть-чуть покоробило, но, подумав, я улыбнулся и с удовольствием расстался со своим генеральским положением.

ГЕКТОР И АНДРОМАХА

Рано утром на велосипеде я поехал на Вифанский пруд, остановился передохнуть и одуматься на пляже, где в непосредственной близости друг к другу в трусиках и без трусиков купаются загорские мужчины и женщины. Они все знают друг друга, и тем самым устраняется необходимость церемониться: знакомство обеспечивает благопристойность; и, конечно, ничего, можно купаться здесь и вовсе без трусиков.

Хорошо иногда побывать в людных местах, когда на них нет никого. Тогда люди не сбивают мысль, и в то же время ты не в пустыне: что ни услышишь, на что ни кинешь взгляд, все имеет отношение к людям. Вот на том месте, где вчера еще вечером столько пересидело людей, чтобы раздеться и броситься в воду, в эту ночь слепой крот из своей темной норы выбросил глину, и она сложилась округлым холмиком, как девственная грудь.

Слышна иволга — золотая птица непрерывно поет, это значит — у людей начинает рожь наливать и скоро тоже начнет золотиться. Вот раскрываются желтые лилии, и слышно издали — люди идут купаться. И опять

я возвращаюсь к свежему холмику, вырытому кротом на том месте, где сидели вчера, быть может, прелестные девушки. Будь я отец, непременно я обратил бы внимание своего мальчика на этот очаровательный холмик из глины и рассказал бы ему что-нибудь поучительное из жизни кротов и людей...

Голоса приблизились. Показался военный, молодой человек, очень бравый, со своим годовичком на руках. Вот она, новая Россия, новая страна, обновленный народ. Никогда раньше в старой России нельзя было видеть молодого военного с младенцем на руках: младенца раньше всегда тащила бедная женщина. Но мало того, вот рядом с Гектором идет его Андромаха, без всякого стеснения, может быть, даже с гордостью, выставляя свой беременный живот.

Здравствуй, племя молодое, незнакомое!

Солнце больше пригревает, после желтых лилий мало-помалу начинают раскрываться на воде белые. Слышатся молодые женские голоса. Приходят две молодые стройные комсомолки. Что делать? Мне приходится отодвинуться несколько дальше, к мужскому пляжу: они-то не стесняются, но, к сожалению, я воспитан в приличии условного умеренного аскетизма, и с этой точки зрения как-то неловко находиться от купальщиц так близко. Но не могу же я глаз своих оторвать от красавца Гектора, его годовичка, Андромахи, не могу не заметить того, чем гордится эта женщина, не могу оторвать глаз от чистейших прекрасных форм молодых девушек.

Но вот опять мое условное аскетическое воспитание преодолевает, и я отвожу глаза. Нет! От этих форм никуда не уйдешь. В том же свете я вижу холмик из глины, сложенный кротом на месте, где люди купаются. К этой мертвой будто бы глине я присоединяю свое человеческое творчество и, представляя себя отцом, говорю:

— Сын мой, посмотри, полюбуйся на этих купальщиц, на этот холмик, сложенный за ночь кротом, подумай о том, что даже кроты стремятся создать совершенные формы: храни же ты, человек, чистый взгляд, чтобы обладать совершенной красотой.

ВЗЯТОК

Приходил пчеловод Саня, предложил перевести моих пчел на веранду — теперь уже не замерзнут.

— Мы теперь, — сказал я,— скоро сами будем, как пчелы.

— И доведут! — живо ответил Саня.

Я думал, он в недобром смысле сказал, а он, оказалось, думал о пчеле совсем по-другому.

— Собственность,— сказал Саня,— теперь уже, можно сказать, исчезла. Еще немного, и мы тоже, как пчелы, будем за взяток стоять, не собственность будет нашей целью, а «взяток».

С этим я не мог не согласиться и не пожелать от души, чтобы у людей на первом месте была не собственность, а взяток, то есть личное участие в создании общественного блага.

Между тем в те годы, когда все началось, я не раз содрогался от мысли, что со временем мы будем, как пчелы. Наверное, это происходило от страха перед тем, что заставят для взятка бросить свой талант: я смешивал талант свой с собственностью и оттого был заодно с собственниками и боялся общественного улья.

ДЕТИ

Коля, мальчик парторга,— с серыми глазами,— природный мужчина. Он редко смеется, всегда в нем самостоятельная мысль и стойкость в доведении всякого поручения до конца. Лида, сестра его, когда карие глаза заблестят, то этим весь глаз заполняется, щеки вспыхивают, всегда готова подпрыгнуть, застыдившись, обхватить дерево, спрятать в нем вспыхнувшее лицо. Природная женщина.

САЛО

Вспомнил Зою с подругой — девочками в Москве в голодное время. Вышли они из дому, видят — у ног большой сверток, посмотрели — сало! Сообразили — сало было опущено на веревочке из форточки, и ве-

ревка оборвалась. Они взяли сало и решили: если бедные люди — отдать, а если богатые и дурные, то съесть. К сожалению, сало потеряли бедные люди, и пришлось отдать.

КОРОВИЙ ПРАЗДНИК

Маячила мне корова впереди на улице, и странно мне было, что корова прыгает. И догадка явилась: «Уж не выгоняют ли коров, не Егорьев ли день?» От мечты своей отдаленной стал приходить в себя и определяться во времени, и так мало-помалу пришел в себя и убедился, что правильно: по веселой корове узнал, что сегодня действительно чудесный коровий праздник — Егорьев день.

ГЛУБОКИЙ ФОКУС

Солнечный день с легким утренником. Сажусь в машину и еду в Торбеевское охотхозяйство.

Снимал мостик в солнечных лучах: был когда-то настоящий мост, но развалился, остались столбы, и теперь не на все, а только на два перекинули жерди, прибили поручни и ходят. Сняв с этой стороны, я перешел по мостику на другую сторону и стал дожидаться человека, чтобы снять мост с человеком и потом сравнить, как же лучше, с человеком или без человека. И вот треснуло в кустах что-то,— идет! Нет, это треснул лед под лучами. И пошло и пошло стрелять во всех сторонах. А человек с котомкой на спине пришел бесшумно...

Снимал скворцов, поющих везде и всеми голосами.

Снимал чудесные лужи на дороге с оторочками из белых кружев.

Снимал опушки березовые и самые березы — до того белые в лучах утреннего солнца, что эта белизна принималась, как свойство жизни, как цвет лица, как девичий стыд.

Осиновые же опушки не были так ярки, как березовые, зато были они теплее и глубже, на них было множество птиц, бегающих по земле и распевающих на деревьях, певчих и всяких дроздов и скворцов. Треск льдинок под моими ногами был далеко слышен

птицам, и они не улетали, а только издали вытягивали шеи навстречу мне.

Снимал сережки ольхи над водой, истлевающий лед на дорогах.

Снимал в тени лесных густых, но неодетых деревьев нагромождение льдин на маленьком ручье. Дно этого ручья было ледяное и от лесной темной воды желтое, и видно, что дно это стало уже мягкое: этой ночью заяц переходил вброд этот ручей, и от его лапок на желтом дне оставались следы.

Еще снимал я освещенный ярко старый, очень морщинистый пень, наверху которого, как на столе, росла елочка. Снимая, и несколько раз, этот пень с елочкой, я ставил глубокий фокус, чтобы вышла и окружающая эту пару (пень и елку) обстановка. Родственное внимание, открывающее мне в лесу такие сюжеты, было в это время тоже на таком глубоком фокусе, что, снимая этот старый пень с молоденькой елкой, я вспомнил старого Грига, как он однажды, вернувшись из горной прогулки, увидел на пороге своего дома маленькую девочку, и с тех пор до смерти не расставался с ней, и сочинял для нее песенки.

ЧЕЛОВЕК В ЛЕСУ

Смотрел на рыбака, плывущего на лодке в тростниках. Водяные курочки, тростники, вода и отраженные в ней деревья, и весь мир, и все вокруг как бы ставило вопрос, и в этой фигуре плывущего человека всем им был ответ: вот плывет он, о ком вы спрашиваете и ждете, это ваш собственный Разум плывет.

СУДЬЯ НА ОХОТЕ

Мой приятель, народный судья, с вечера отправился в болота на уток и остался там у реки до утреннего обратного перелета птиц на плеса. С вечера ему удалось только раз выстрелить по крякве, потому что в тишине и сырости дым после выстрела непроницаемым небом лег на плес, и он даже не знал — осталась утка убитой на плесе или же улетела. Вскоре после

того густой туман побежал с берегов и закрыл народного судью на всю ночь. Ему этот лежащий на болотах туман был непроницаем; тускло виднелись редкие самые большие звезды, потом на некоторое время все скрылось небесное, как самое солнце нам скрывается в пасмурный день. Ночь лунная и звездная красовалась над этим белым одеялом, плотно покрывшим болота Дубны. Перед самым рассветом, когда холоднеет, народный судья озяб и проснулся. Но не сразу решился он подняться, ему думалось, правый бок его лежал на сене, так было ему тепло сравнительно с левым. Он попробовал перевернуться, но в этот момент понял, что лежит в воде правым боком: вода кажется ему теплым сеном сравнительно с холодеющим в предрассветный час воздухом.

В это время по тропинке на холме я шел под звездами к чуть белеющему востоку и думал о судье, закрытом от меня белым одеялом тумана: думал я, что если не случится в этот час перемены, то судье уток не стрелять этим утром. Я не завидовал судье, утиному охотнику, и со всей радостью шел с собакой на дупелиную высыпку.

ЗНАКОМЫЙ БЕКАС

Жил у нас под Загорском бекас, до того известный всем, что я однажды в гнезде у него нашел футлярчик от пенсне и догадался об охотнике: это, наверное, мой знакомый судья. Встретив его сегодня на улице, я передал ему футлярчик.

ДЕНИС

Денис Алексеев — колхозник; когда приезжаешь к нему, сует мне в автомобиль гуся или пару уток. В этом отношении он чувствует свое превосходство над человеком, имеющим собственный автомобиль: тот должен расходоваться, у того все купленное, а это *свое*. Этим он, с одной стороны, утверждает свое превосходство натурального хозяина, с другой — это, конечно, подарок, свидетельство вольных, непокупаемых отношений между людьми.

Вот было, Денис однажды привел мне гончую, и я заплатил ему двести рублей. Собака не годилась. Я отвез ему назад, и он мне сказал, что деньги истратил, но скоро продаст гусей и принесет.

— А может быть,— сказал он,— гусями возьмете?

— Можно,— ответил я,— и гусями.

— Хорошо,— сказал он,— я вам представлю гусей.

Прошел год и еще год, и все сроки прошли. Денис гусей не доставил. На третью осень приезжаю к нему на охоту, и оказывается, злое предчувствие не обмануло меня: Денис помер. И когда я уезжал, старуха его вынесла мне гуся и две курицы и все уговаривала меня взять хоть это, и повторяла на все лады, что покойник строго-настрого наказывал ей долг свой гусями отдать.

ЭХО

Первое мое впечатление от колхозника Ш. было очень хорошее, и разговор был деловой. Но я проговорился, и ему открылось, что я тот самый писатель-охотник, о котором он много наслышался. Тогда он бросил рассказывать о хозяйстве и повел меня к себе показывать охотничье ружье. Он рассказывал много невероятного о своих охотах в Сибири на медведей, потом перешел на рысей, что будто бы на его родине в Усть-Сысольске рыси бросаются на человека — прямо с дерева на горло. А когда я усомнился, то прибавил еще, что у них все охотники для защиты от рысей ходят с железными воротниками. Услыхав этот вздор, я понес свой: что в наших лесах есть муравей, от укуса которого... Я сказал, что для защиты от его укуса надо носить железный футляр на особенно чувствительном месте. На этот мой рассказ он прибавил свой, что будто, когда к медведю подходишь, то сердце столь сильно бьется, что в лесу слышно эхо.

— Неужели же вы сами слышали эхо своего сердца?

— У меня самого от медведя сердце не бьется — себя не слышно, и я не трус, но у товарищей слышу постоянно: так в лесу и перекатывается...

ЩУКА

Мы ехали по реке, поравнялись с молодым человеком в белом картузе; он был чрезвычайно взволнован, бормотал сам с собой, ругался. И когда мы с воды спросили берег: «В чем дело?..» — молодой человек очень обрадовался и все рассказал: на рогатку ему попалась большая щука, и он ее почти вытянул, но вдруг леска оборвалась, и щука исчезла в воде. Что же делать,— простился: это бывает со всеми... Но вот радость: эта щука всплывает брюхом вверх, и ветерок медленно гонит ее к берегу. Дождался, схватил, а она как хватит, вырвалась, и вот уже час прошел, больше не показывается.

— Вы как же ее схватили? — спросил Петя.

— Обеими руками за брюхо.

— Ну вот, щук, что ли, вам никогда не приходилось держать: надо было пальцами впиться в глаза.

— Знаю, что в глаза, да ведь она была мертвая, она плыла брюхом вверх.

— Мало ли что плыла, с ними надо ухо востро держать, бдительность нужна, товарищ.

Но рыбаку было не до шуток; вспомнив, наверное, как глушили рыбу ручными гранатами, он ответил с ожесточением: «Бомбами их, чертей, надо глушить!»

МАСТЕРСКАЯ ДЯТЛА

ЛОДОЧКА

Золотая сеть солнечных зайчиков на речном перекате. Темно-синие стрекозы в тростинках и елочках хвоща. И у каждой стрекозы есть своя хвощовая елочка или тростинка, слетит с нее и опять возвращается домой на свой хвощ.

Очумелые, млявые вороны вывели и теперь отдыхают.

Листик, самый маленький, на паутине спустился к реке и вот крутится, вот крутится!

Так и еду на своей лодочке вниз по реке и думаю о природе; мне природа теперь — некое неведомое в своем начале, Данное, из которого очень недавно вышел и сам человек и начал свое создавать из этого Данного,— создавать вторую природу.

ДВЕ РАДОСТИ

Мы так радуемся грибу, когда его находим, что, кажется, и он с нами радуется. То вырос гриб сам в лесу, и мы так его находим в свой праздничный день, а то вырастает гриб шампиньон, нами посеянный в подвале и выхоженный. Там — радуешься тому, что само выросло и досталось нам даром, здесь— радуемся тому, что сами вырастили. Там — гриб сам, здесь— мы сами.

Гриб растет только до того времени, пока его не найдут: после этого он делается предметом потребления. Так точно и писатель растет... Одну книгу возьмут, и опять из той же подземной грибницы, пользуясь теплым дождиком, надо расти, пока не придет и не откроет тебя потребитель и не срежет тебя под корешок. В молчании под сенью листьев и хвой совершается творчество.

МАСТЕРСКАЯ ДЯТЛА

Мы бродили весною в лесу и наблюдали жизнь дупляных птиц, дятлов, сов. Вдруг в той стороне, где у нас раньше было намечено интересное дерево, мы услышали звук пилы. То была, как нам говорили, заготовка дров из сухостойного леса для одного стекольного завода. Мы побоялись за наше дерево, поспешили на звук пилы, но было поздно. Вокруг пня срезанной осины лежало множество пустых еловых шишек: это все дятел ошелушил за долгую зиму, собирал, носил на эту осину, закладывал между двумя сучками и долбил. Осина эта была мастерской дятла.

Два старика, единоличники, только и занимались тем, что круглый год пилили лес. И вид у стариков был, как у старых грешников, осужденных на вечную заготовку дров.

— Вы вроде дятла,— сказали мы и указали на шишки его мастерской.

— Это вам за грехи, старые проказники,— и мы указали им на срезанную осинку.

— Вам велено резать сухостойные деревья, а вы что сделали?

— Дятел дырки наделал,— ответили грешники,— мы поглядели и, конечно, спилили.

Стали все вместе осматривать дерево. Оно было совсем свежее, и только на небольшом пространстве,— не было метра в длину,— внутри ствола прошел червяк. Дятел, очевидно, выслушал осину, как доктор, понял пустоту, оставляемую червем, и приступил к операции извлечения червя. Пока он долбил свою дырку, червяк прошел выше: дятел ошибся. И третий раз и четвертый... Нетолстый ствол осины походил на свирель с клапанами: семь дырок сделал хирург-дятел и только на восьмой захватил червяка, вытащил и спас осину. Мы вырезали этот кусок, как замечательный экспонат для музея.

— Видите,— сказали мы старикам,— это лесной доктор, он спас осину.

Старики подивились. Один из них даже нам подмигнул и сказал:

— Так и у нас в нашей работе, может быть, тоже не одни пустые шишки.

Я же все перевел на себя, как писателя, и подумал: «И у меня тоже не одни пустые слова».

СТИЛЬ

Друг мой, из мирообъемлющей страсти рождается стиль художника, и только это имея и зная в себе, учись сдерживать ее и выговаривать осторожно, и так родится твой стиль художника из личной твоей всепожирающей потребности, а не из простой выучки мастерству.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

По насыпи женщины шли за дровами в лес, а другие уже несли хворост. Женщины устали, но где-то и для них был май и все прекрасное, только не говорили они о мае. «Моя печка все принимает,— говорила одна женщина другой,— в моей печке все горит».

Нет, не осенью по слякоти несли женщины дрова, а в мае среди начинающих зеленеть деревьев и первых цветов, и они были рады маю. Но если бы они могли заглянуть внутрь меня, идущего в будний день наслаждаться маем, больше! — посвятившего жизнь этому чему-то, что́ у всех между прочим... просто сказка. Вот оно что значит сказка: это то, что показывается нам «между делом».

ВЕЧНОЕ ПЕРО

Можно сделаться большим художником, имея вовсе даже небольшой талант. Для этого в написанном надо уметь находить вечные строки (в том смысле, как говорят «вечное перо»). По этим удавшимся вечным строкам надо строить новое произведение, искать в новом, что удалось. Так, восходя все больше и больше, надо насыщать свои произведения «вечными» строчками, вечно стремясь к совершеннейшему. И, работая всю жизнь, как я указываю, можно чувствовать себя довольно уверенным. Большинство же работают неуверенно, исходя из таланта, пишут, «как бог дал». Они очень скоро исписываются, мелькнув в обществе «королями сезона» — «бог дал, бог и взял».

РОДСТВЕННОЕ ВНИМАНИЕ

Чтобы описать дерево, скалу, реку, мотылька на цветке или в корнях дерева живущую землеройку, нужна жизнь человека, и не для сравнения и очеловечения дерева, камня или животного нужна жизнь человека, а как внутренняя сила движения, как мотор в автомобиле. Нужно самому автору в таланте своем дожить до того, чтобы все это до крайности далекое стало близким и возможным для человеческого понимания.

УТРАТА

Я шел сегодня с тем утренним восторгом в душе, который ищет себе предмета для воплощения и обыкновенно быстро находит в чем-нибудь: может быть, сарыч тяжело и неохотно слетит с влажного дерева, может быть, наградят тебя ели обилием урожая светло-зеленых своих шишек, может быть, заметишь — красный тугой грибок лезет, оглянешься — там другой, третий, и по всей поляне все грибы и грибы...

Я бросился на грибы, собрал их и дальше пошел, не отводя глаз от земли. Я был теперь связан определенной целью исканья грибов, я был весь целиком этим поглощен и больше не мог ничего открывать в природе.

МЫСЛЬ

Сегодня мороз небольшой, корки не было, и мы, утомленные, только к восьми часам вернулись с гона. Когда измученное тело начинает отдыхать, то мысли приходят в голову все радостные. Мысль тогда понимаешь как явление отдыха тела. И это объясняет, почему мои книги имеют успех в санаториях.

Запомнить, что зимой на рассвете ели бывают совсем черные в снегу.

МЕЛЬНИЦА ДОН КИХОТА

Когда я читаю о Рыцаре Печального Образа, как он с копьем наперевес мчится к мельнице, я всегда вхожу в положение мельницы: ведь это случайность, каприз автора пустить ее в ход как раз в то время, когда мчался на нее Дон Кихот. Если бы дело происходило в безветренный день, то ведь очень возможно, что рыцарь проломал бы ей крылья и лишил бы на некоторое время население возможности обмолотить свое зерно.

Я вхожу в положение мирной, беззащитной, всем необходимой мельницы.

В ТРЕТЬЯКОВКЕ

Утро — яркое, после обеда — жара. Смотрел еще раз Левитана и узнавал в его пейзаже без человека самого Левитана: кла́ди в лесу через ручей и нет че-

ловека, и в то же время чувствуешь, что как бы прозрачной невидимой тенью проходит по этим кладям человек, и этот человек есть сам Левитан. Близко мне, но сумрачно и односторонне, не хватает радости: чтобы виден был человек вне себя от радости, с бесконечно расширенной душой.

СКАЗКА

Сказка — это момент устойчивости в равновесии духа и тела. Сказка — это связь с приходящим и уходящим. Я обдумываю сказку о строительстве Беломорского канала и смотрю на Каменный мост. Его заканчивают, и теперь ясно видно, что всякое строительство, здание ли это, в котором будут жить, мост ли, по которому будут ходить,— есть поглощение будущим настоящего, и эпоха усиленного строительства в истории есть создание будущего. Мое дело в строительстве — писать свою сказку. Смотрю на строителей моста и обещаю эту весну мобилизоваться: да не будет у меня места ни в деревне, ни в городе, мое место там, где созидается моя сказка.

МОЙ СТОЛ

Стол мой запущен, он похож на лес: контуры рисуют умственного работника, а в деталях хаос, ничего не понять никому, кроме самого хозяина. Так выходит в лесу ежик, перебирает листву: он все знает. И так я за своим столом.

СЛОВО И СЕМЯ

На опушке разговорился с пашущим колхозником о том, что как неправильно в природе устроено: сколько надо выбросить даром семян, чтобы вышел осинник.

— Впрочем, и у людей так же бывает,— сказал я.— Взять хотя бы нас, писателей: сколько слов пропадает, пока из одного что-нибудь вырастает.

— Значит,— заключил мои слова колхозник,— если даже писатели сеют пустыми словами, можно ли спрашивать нам с осины?

МЕТЕЛЬ

Бывает в душе как будто метель, мысли летят, летят, и никак ни одну не поймаешь, и в то же время нет ни малейшей тоски, и вся эта метель мыслей в душе совершается как бы при солнечном свете. Из этого внутреннего мира, где никак теперь невозможно поймать мысль, чтобы ею заняться, я выглядываю, наконец, в мир внешний и вижу, что там тоже при полном солнечном свете по серебряному насту тоже перебегают струйки поземки-метелицы.

Необычно прекрасным кажется мир, когда он соответственно продолжает и бесконечно расширяет и усиливает мир внутренний. Я узнаю сейчас весну света по теням: дорога моя примята санями, правая сторона ее — голубая тень, левая — ярко-серебряная. Сам же идешь по санному углублению, и кажется тебе, что так можешь идти бесконечно.

РАСШИРЕНИЕ ДУШИ

В прикосновении с чем-нибудь новым, невиданным душа ширится, и кажется, ты смотришь на все первым глазом, и вот этим я в свое время широко пользовался: ездил в новые невиданные края и схватывал и питался. «Корень жизни» написан мною исключительно по первому глазу и потому удался.

В этой способности захватывать в себя мир при помощи первого глаза есть предел емкости: после трех месяцев всасывания в себя чего-то нового у меня способность эта прекращается и смотреть ни на что больше вовсе не хочется. Потому-то вначале так боишься пропускать даром минуты: ты знаешь, что время ограничено, задержат тебя по-пустому — и ты навсегда пропустишь.

Мне однажды привелось пробыть на Кавказе больше трех месяцев, ежедневно принимая в себя боль-

шую дозу сильных впечатлений, и после того плыть три дня по морю. И вот до чего я был перегружен впечатлениями, что за три дня езды при совершенном безветрии от всего Черного моря сохранился во мне какой-то не очень большой голубой круг.

ЛИЧНОЕ

Если я занимаюсь дома в часы отдыха каким-нибудь любительством: собака там есть у меня любимая, или птица, или там что-нибудь есть — маленький коврик, который я каждое утро прячу под матрац, а вечером на ночь расстилаю с любовью для своей босой ноги у кровати, и множество всего другого интимно-личного, как у всех, в том числе, конечно, разные мечтанья, желанья, почти беспредметные — так вот, если люблю все это, ценю, невольно придаю какое-то всему этому живому личному особенное значение, то как вдруг все это унизится, и, мало того, стыдно станет за все, когда это личное, бесполезное вдруг предстанет перед глазами общества. И пусть перед этим объективным глазом все мое личное явится, как никому не нужный хлам плюшкинской кладовой,— не в этом дело, а страшно, что ты сам заражаешься этим общим судом, и тебе самому становится стыдно, что ты в такое время занимаешься подобной ерундой. Первый росток личности всегда находится под угрозой: росток еще не окреп.

Так вот, сколько раз, прочитав злобную заметку о своих книгах, проникался я этим самоуничижающим чувством к своей плюшкинской литературной кладовой и сколько раз восстанавливался во всем том своем хозяйстве, когда друзья подавали свой голос за мой хлам.

ДОВЕРИЕ К СЕБЕ

Мало-помалу определяется, что не так уж очень надо гоняться за материалами: довольно взглянуть, и можно писать. Я это понимаю как рост доверия к себе самому. Много изучают и проверяют себя при научной работе, но в искусстве самое главное — доверие

к себе, к своему первому взгляду. Только надо помнить всегда, что эта простота восприятия и это доверие к себе обретаются сложнейшим трудом.

КЛАД ЧЕЛОВЕКА

Из черноты омутов овражьих, сырых, темноподвальных этажей леса через ольху, повитую хмелем, и крапиву выбираешься наверх к цветущему лугу с бабочками, обставленному громадными сверкающими волнами древесных кущ. Тогда знаешь наверняка, всем своим существом понимаешь вокруг, какие это огромные несобранные богатства, перед которыми ничто все догадки о кладах Ивановой ночи. Напротив, случайно вспомнив о кладах, поражаешься бедности и какой-то низменности человеческого воображения. Вот они — без всякой чертовщины прямо перед тобой лежат несобранные человеком богатства. Не под землей они где-нибудь, а тут вот прямо перед тобой лежат: поди и возьми! Обрадованный, стоишь перед ними и дивишься человеку, не протянувшему еще руки к этим подлинным богатствам, к этому истинному счастью. Сказать бы, открыть, но как скажешь, чтобы тебе не ответили славой, не уничтожили бы всего счастья, приписав его личным особенностям.

СВОЯ МЫСЛЬ

К скольким тысячам вопросов служит ключом это значение, что в творчестве работает только своя мысль, и она одна определяет основную силу творчества. И как это вышло, что я только на 65-м году жизни своей об этом наконец-то догадался. Это значит, однако, что душа моя и теперь продолжает жить и развиваться. Знать-то, конечно, знаешь, но мысль тогда лишь годится для творчества, когда она своя мысль, а своей она становится, когда делается душевной мыслью. Пусть мысль миллионы раз высказывалась, но когда она является как душевная мысль, она всегда бывает новая мысль: это своего рода личное ее возрождение. Вот поймать этот поток личного возрождения мысли и значит — вступить на творческий путь. Это чудесное и случилось со мной, когда я впервые взялся за перо.

ПРЕДКИ

Счастье старости состоит в том постоянном обогащении, когда думаешь о прошлом: люди встают мертвые, и одни тут же ложатся в могилу свою, другие впервые только и показываются в своем настоящем значении, становятся понятными.

У стены темных елей багряные осины и темные золотые березки сами собой расположились в тот особенный порядок, как часто располагаются скалы в горах, облака, а также пятна времени на обоях в комнате и особенно волнистые линии вокруг сучков, на деревянных стенах, о которых говорил еще Леонардо. Фигуры, возникающие в облаках, в скалах, в лесах, в комнатах из пятен и сучков, часто дают нам образы давно умерших полузабытых людей. Месяц в облаках был однажды в таком сочетании, что показалось лицо моего двоюродного брата, и так выразительно, что я в первый раз в жизни своей понял истинный смысл этого умершего человека.

ГОЛОД ЧЕЛОВЕКА

Красотой природы насыщаешься, как пищей: тебе дано столько-то вместить и больше не можешь. Но если ты сумеешь это выразить, то рано или поздно придет человек другой и на твое прибавит свое, а после другого третий, дальше, дальше: человек в красоте ненасытим.

ВЫХОД НА ВОЛЮ

Все серое, дорога рыжая, на окнах первые слезы весны. Я вышел из дому, и как только вступил в лес, душа моя расширилась, и я вышел в большой мир.

Глядя на огромное дерево, я думал о малейшем корешке его под землей, об этом почти волоске с головкой, укрытой чехликом, пробивающем себе извилистый путь в почве в поисках пищи. Да, вот именно это чувство какого-то огромного целого, в котором ты определяешь сейчас назначение твоего личного корешка, и есть именно то, что я почувствовал в лесу, когда вошел в него и обрадовался. И радость моя была похожа совсем на радость при восходе солнца.

Но какое же это трепетное чувство! Сколько раз я пытался проследить его возникновение и овладеть им

навсегда, как ключами счастья, и так и не мог. Знаю, что это расширение души происходит после какого-нибудь стеснения, как результат неясной мучительной борьбы с пошлостью; я знаю, что мои книги являются свидетельством многих одержанных мною побед, но я вовсе не уверен в том, что, когда явится какое-нибудь последнее стеснение, вроде какого-нибудь рака желудка, я выйду на волю и в этой великой борьбе.

Знаю еще, что когда является этот выход на волю, то необычайно усиливается родственное внимание. Так вот я, радостно сливаясь сейчас со всей жизнью, в то же время не упускаю из виду одну маленькую, движущуюся впереди меня черную головку на белом снегу. Дорога, по которой я иду, наезжена розвальнями; внизу рыжее корыто, выбитое копытами, края корыта плоские, белые, твердые,— это широко вытерто грядками розвальней, и по этим краям хорошо идти. Так я иду по такой боковинке и знаю, что за извилиной дороги по рыжему корыту от меня птица бежит, ее голова мне видна на фоне белой стороны дороги, и по голове я догадываюсь, что птица эта очень красивая, с голубыми крыльями сойка. Когда выпрямилась дорога, я увидел, что рядом с сойкой бежали от меня красный снегирь и два поползня.

ОБРАЗ

Почему это равняется настоящему открытию, если даже общеизвестную мысль, о чем люди говорят повседневно, удается высказать образами? Не потому ли это бывает иногда, что люди, повторяя мысль, утрачивают смысл ее и вновь узнают, когда мысль является в образе?

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ТРОН

В художественной вещи красота красотой, но сила ее заключается в правде: может быть бессильная красота (эстетизм), но правда бессильная не бывает.

Были люди сильные и смелые, и великие артисты были, и великие художники, но суть русского человека — не в красоте, не в силе, а в правде. Если же весь даже люд, вся видимость пропитается ложью, то для основного человека культуры это не будет основой, и

он знает, что эта ложь есть дело врага и непременно пройдет.

Не в красоте, а только в правде великие художники черпали силу для своих великих произведений, и это наивно-младенческое преклонение перед правдой, бесконечное смирение художника перед величием правды создало в нашей литературе наш реализм; да, в этом и есть сущность нашего реализма: это подвижническое смирение художника перед правдой.

СЛУЖБА СВОБОД

В состав свободы входит способность *служить:* я служу свободе, я не потребляю ее, и моя служба приводит к накоплению моей свободы в том смысле, что если я захочу чего-нибудь, то и могу достать. И так точно жил скупой рыцарь, только у него в сундуках было золото, а у меня в моих папках слова.

ИГРА

Никакими полезностями не интересуюсь, но ценности собираю, и они через меня становятся полезными для других. Тешит именно то, что только через меня, собирающего их вполне бескорыстно, они становятся полезными, что я, вовсе не думая о пользе себе и другим, собираю, и только через мою игру они становятся полезными людям. Значит, есть путь на земле — жить играя.

ПИСАТЕЛЬ — ЖИВОПИСЦУ

До полудня из «кошачьих хвостов» светило солнце. После обеда теплый мелкий дождик-парун. Так чудесно это все складывается для урожая. До обеда снимал возле Глинкова маленькую речку в черемухе еще в полном цвету; снимал папоротники с загнутыми колечком верхушками, мать-мачеху, группы желтых цветов в реке. Поедом ели меня комары, но тут же пели соловьи прямо над ухом, горлинки ворковали, иволги перекликались, надрывались лесные голуби. Не только снимал, но даже и записывал в книжечку,

потому что мне было хорошо, и линии моего опыта в жизни иногда сходились, и от этого рождалась мысль.

Но так же точно работает и живописец над своими этюдами,— не было бы ничего удивительного видеть живописца, работающего в болоте. Почему же на писателя в этом положении странно смотреть? Вероятно, потому, что писатель в общем понимании есть благополучный художник и живет в кабинете.

ЛЮФТ

Смотрю, как один казах режет барана, а другой казах (акын) поет стихи о том же, о том, что казах режет горло барану. Я никак не могу себе представить, чтобы акын одновременно и резал барана и пел. По-моему, для того, чтобы петь о баране, у поэта должна быть еще какая-то пустота, вроде как «люфт» в рулевом рычаге машины.

Освобождающая от прямого действия пустота непременно входит в состав души поэта, все равно как на мельничном колесе непременно должны быть пустые ящики, в которые льется вода. Льется чужая жизнь в пустоты поэтического колеса и тут принимается, как своя собственная, и этот миг пребывания чужого в своем порождает не менее полезное действие, чем тоже очень кратковременное наполнение пустой ячейки турбины.

МОЯ ОХОТА

Некоторые приписывают мой хороший вид питанью и воздуху: «Вы прекрасно выглядите, наверное, по своему обыкновению, в лесу живете. Как охота?» Я всегда вежливо отвечаю, что лес и охота — самые лучшие условия для здоровья... Мой лес! Моя охота! Если бы только побывали они в болотных комариных лесах, часами бы погуляли под песни слепней! И тоже — охота моя! Внешней обыкновенной охотой я скрываю, оправдываю в глазах всех мою внутреннюю охоту. Я охотник за своей собственной душой, которую нахожу, узнаю то в еловых молодых шишках, то в белке, то в папоротнике, на который через лесное окошко упал солнечный луч, то на поляне, сплошь

покрытой цветами. Можно ли за этим охотиться? Можно ли кому-нибудь об этом прямо сказать? Прямо никто не поймет, конечно, но когда имеешь цель: убить куропатку, тогда под предлогом куропатки можно описывать и охоту свою за той прекрасной душой человека, которая частью приходится и на меня.

И вид мой хороший («прекрасно выглядите») происходит не от воздуха болотных лесов и не от питанья: оно самое обыкновенное. Я надеждой живу и радостью своих находок, и я имею возможность этим питаться, потому что более или менее хорошо подготовился на тот случай, если на вопрос мой кукушке о том, сколько мне жить, она, не докончив свое «ку-ку», ответит мне «кук» и улетит.

ЦВЕТОСОЗИДАЮЩАЯ СИЛА

Отдыхая в машине, гляжу на лес, засыпанный снегом, расцвеченный лучами заходящего солнца, и мне возвращается старая душевная мысль о том, что удержать эту красоту можно только красками и что тут в красках все дело. И мне вспомнилось одно подслушанное определение: пространство — это цветосозидающая сила...

БОЛЬШЕ ТРЕХ

Один в лесу, или вдвоем, или втроем, а когда на охоте нас больше трех, то это так много, и тогда можно быть опять как один. Вот почему город — убежище не только коллективного, но всего личного, творческого.

БОРЬБА ЗА ПРЯМУЮ

Перед окном моим весь еще не залитый круг луга ровно покрыт проталинами, лужицами и белыми снежными кружками, и все эти пятна, белые, синие и желтые, рассекает белая полоска, уходящая вдаль. Невозможна в природе такая прямая полоска, увидишь — и сразу догадаешься, что это зимняя тропа человека. Но вот и на небе вижу — такая же ровная прямая разделяет одни облака от других. Смотришь

на такую прямую почти суеверно: только человек бы мог провести, но какой же там в облаках человек!

И вдруг из-за облаков на синее выплывает самолет, и все становится понятным: эту прямую на небе оставил за собой человек. Так на земле и на небе идет борьба за прямую.

ВРАГ

Слышу, треплется где-то какой-то мотор, но я в мыслях своих так далек от моторов, что не различаю — от самолета это звук, или от автомобиля, или пришел он через окно какой-нибудь фабрики, слышу — треплется звук, а спроси — и не скажу. Так и с людьми бывает: видишь, знаешь, лицо знакомое и весь знаком, а имя не вспомнишь: треплется какой-то человек. И какой это ужас: он подходит к тебе, улыбается, разговаривает, как очень близкий человек, и ты с ним тоже улыбаешься, шутишь. Но вдруг он побледнел: он понял. И я побледнел: вижу всего насквозь, а не могу назвать. «Да вы просто не узнаете меня»,— говорит он жестким голосом. И тут — о счастье! — я вспомнил. «А если узнали, то назовите»,— требует он. И я спокойно говорю: «Какой вы странный, и как вас-то мне и не узнать». Так один раз я спасся, а был один случай: я не узнал, он же догадался, что я его не узнал. И стал моим врагом.

ЕЩЕ ВРАГ

Ходил в баню. Показалось, будто П. вошел и сел около меня. Я не стал на него смотреть, а то, боюсь, будет меня ругать за сына. Ухожу, а он за мной. Сажусь у крана. Он садится возле. Долго моемся рядом. Неловко. Встаю и тихонечко удираю в другую комнату.

«Ну, думаю, отделался, враг за мной не пойдет».

Не тут-то было: враг идет вслед за мной с шайкой, мочалкой и мылом. И опять рядом садится. «Ну, думаю, наверное, теперь он меня бить будет». На всякий случай переставил шайку к правой руке, чтобы схватить ее вовремя, крепко взял ее за ушки и ре-

шился, наконец решился: поднял глаза на врага и замер... Враг оказался не П., и настолько не враг, что попросил меня потереть ему спину.

Так вот сколько бывает случаев возникновения страха и неприязни к человеку только из-за того, что не хочешь глаз поднять и посмотреть на него.

Сколько раз так бывало со мной: собрался врага шайкой хватить, а вместо этого намыливаешь мочалку и трешь ему спину.

ЧИТАТЕЛИ

Вечером девушки наши привезли мне из Москвы покрышки для машины. На электричке их хотели оштрафовать и стали составлять протокол. Но какой-то военный («весь осыпанный ромбами»), услыхав, что шины для Пришвина, вдруг вскочил и стал говорить, что Пришвина — писателя — он читал и готов ручаться за него, и если надо — заплатит штраф. Тогда и кондуктор, составлявший протокол, остановился и пробормотал: «Я, кажется, тоже что-то читал», и, обещая сейчас вернуться, вышел и больше не возвращался.

АНТЕЙ

Есть тайны кельи отшельника, которые они все огулом относят к искушениям «дьявола». Такие же тайны есть и у всякого настоящего писателя. Одна из этих тайн — это, что я лучше всех. Другая состоит в унизительных обидах: там-то не упомянули, там обошли... От этих ночных келейных мыслей чувствуешь себя деревом с гнилой сердцевиной. А когда явится утренняя бодрость, открываешь окно, слышишь бормотание тетеревов, клики скворцов, видишь напряженные соком шоколадные ветки берез, серые гусеницы зацветающих осин, то, напротив, чувствуешь себя победителем всего в себе мелкого и по себе понимаешь, почему возрождался Антей, прикасаясь к земле.

1940

КЛАДОВАЯ СОЛНЦА

Сказка-быль.



I

В одном селе, возле Блудова болота, в районе города Переславль-Залесского, осиротели двое детей. Их мать умерла от болезни, отец погиб на Отечественной войне.

Мы жили в этом селе всего только через один дом от детей. И, конечно, мы тоже вместе с другими соседями старались помочь им, чем только могли. Они были очень милые. Настя была как Золотая Курочка на высоких ножках. Волосы у нее, ни темные, ни светлые, отливали золотом, веснушки по всему лицу были крупные, как золотые монетки, и частые, и тесно им было, и лезли они во все стороны. Только носик один был чистенький и глядел вверх.

Митраша был моложе сестры на два года. Ему было всего только десять лет с хвостиком. Он был коротенький, но очень плотный, лобастый, затылок широкий. Это был мальчик упрямый и сильный.

«Мужичок в мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе.

«Мужичок в мешочке», как и Настя, был весь в золотых веснушках, а носик его, чистенький тоже, как у сестры, глядел вверх.

После родителей все их крестьянское хозяйство досталось детям: изба пятистенная, корова Зорька, телушка Дочка, коза Дереза, безыменные овцы, куры, золотой петух Петя и поросенок Хрен.

Вместе с этим богатством досталась, однако, детишкам бедным и большая забота о всех живых су-

ществах. Но с такой ли бедой справлялись наши дети в тяжкие годы Отечественной войны! Вначале, как мы уже говорили, к детям приходили помогать их дальние родственники и все мы, соседи. Но очень что-то скоро умненькие и дружные ребята сами всему научились и стали жить хорошо.

И какие это были умные детишки! Если только возможно было, они присоединялись к общественной работе. Их носики можно было видеть на колхозных полях, на лугах, на скотном дворе, на собраниях, в противотанковых рвах: носики такие задорные.

В этом селе мы, хотя и приезжие люди, знали хорошо жизнь каждого дома. И теперь можем сказать: не было ни одного дома, где бы жили и работали так дружно, как жили наши любимцы.

Точно так же, как и покойная мать, Настя вставала далеко до солнца, в предрассветный час, по трубе пастуха. С хворостиной в руке выгоняла она свое любимое стадо и катилась обратно в избу. Не ложась уже больше спать, она растопляла печь, чистила картошку, заправляла обед и так хлопотала по хозяйству до ночи.

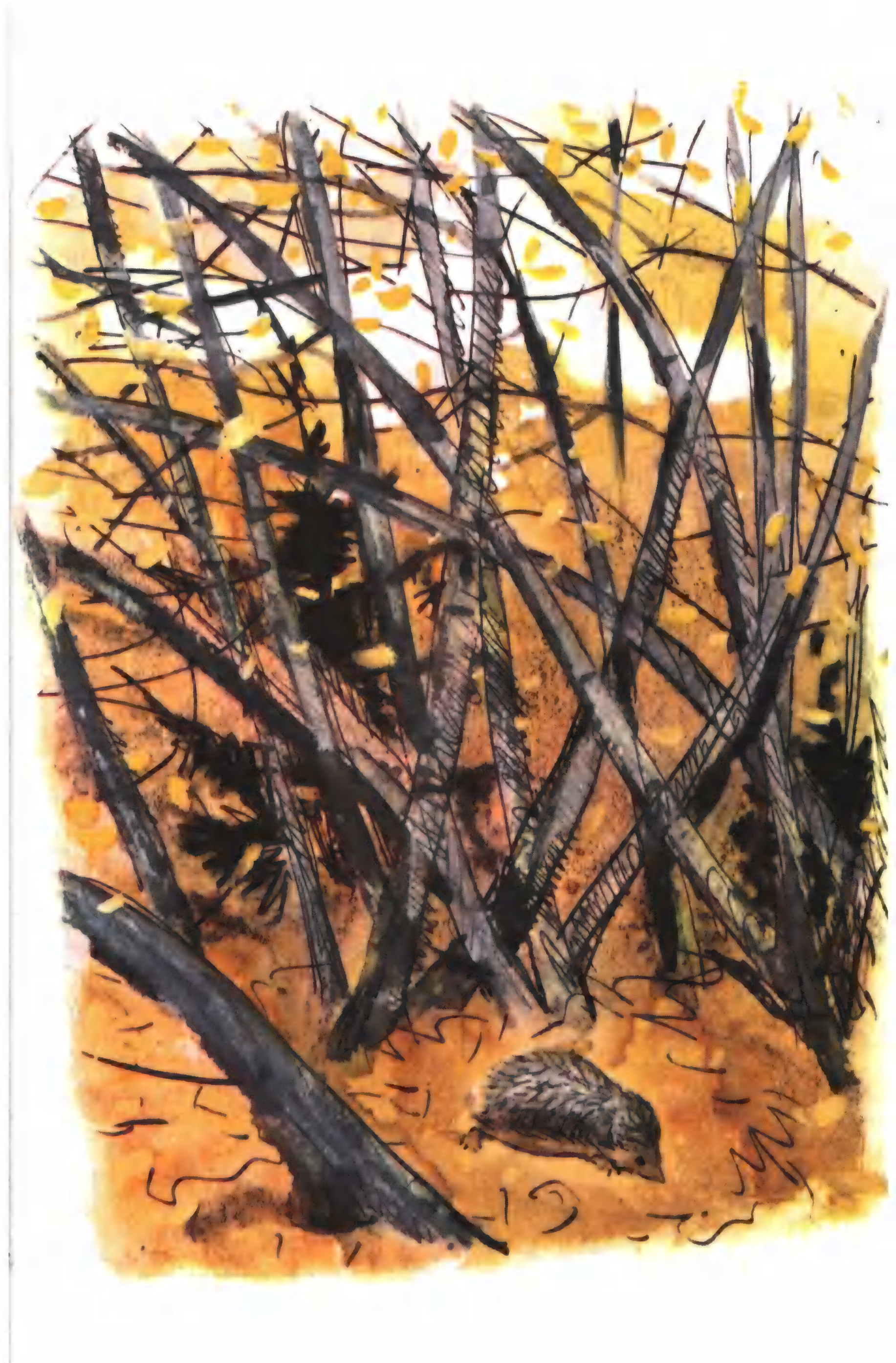
Митраша выучился у отца делать деревянную посуду: бочонки, шайки, лохани. У него есть фуганок, ладило[1] длиной больше чем в два его роста. И этим ладилом он подгоняет дощечки одну к другой, складывает и обдерживает железными или деревянными обручами.

При корове двум детям не было такой уж нужды, чтобы продавать на рынке деревянную посуду, но добрые люди просят, кому — шайку на умывальник, кому нужен под капели бочонок, кому — кадушечку солить огурцы или грибы, или даже простую посудинку с зубчиками — домашний цветок посадить.

Сделает, и потом ему тоже отплатят добром. Но, кроме бондарства, на нем лежит и все мужское хозяйство и общественное дело. Он бывает на всех собраниях, старается понять общественные заботы и, наверно, что-то смекает.

---

[1] Ладило — бондарный инструмент.





Очень хорошо, что Настя постарше брата на два года, а то бы он непременно зазнался и в дружбе у них не было бы, как теперь, прекрасного равенства. Бывает, и теперь Митраша вспомнит, как отец наставлял его мать, и вздумает, подражая отцу, тоже учить свою сестру Настю. Но сестренка мало слушается, стоит и улыбается... Тогда «Мужичок в мешочке» начинает злиться и хорохориться и всегда говорит, задрав нос:

— Вот еще!

— Да чего ты хорохоришься? — возражает сестра.

— Вот еще! — сердится брат.— Ты, Настя, сама хорохоришься.

— Нет, это ты!

— Вот еще!

Так, помучив строптивого брата, Настя оглаживает его по затылку. И как только маленькая ручка сестры коснется широкого затылка брата, отцовский задор покидает хозяина.

— Давай-ка вместе полоть,— скажет сестра.

И брат тоже начинает полоть огурцы, или свеклу мотыжить, или картошку полоть.

II

Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растет в болотах летом, а собирают ее поздней осенью. Но не все знают, что самая-самая хорошая клюква, *сладкая,* как у нас говорят, бывает, когда она перележит зиму под снегом.

Этой весной снег в густых ельниках еще держался и в конце апреля, но в болотах всегда бывает много теплее: там в это время снега уже не было вовсе. Узнав об этом от людей, Митраша и Настя стали собираться за клюквой. Еще до свету Настя задала корм всем своим животным. Митраша взял отцовское двуствольное ружье «тулку», манки на рябчиков и не забыл тоже и компас. Никогда, бывало, отец его, направляясь в лес, не забудет этого компаса. Не раз Митраша спрашивал отца:

— Всю жизнь ты ходишь по лесу, и тебе лес известен весь, как ладонь. Зачем же тебе еще нужна эта стрелка?

— Видишь, Дмитрий Павлович,— отвечал отец,— в лесу эта стрелка тебе добрей матери: бывает, небо закроется тучами и по солнцу в лесу ты определиться не можешь, пойдешь наугад — ошибешься, заблудишься, заголодаешь. Вот тогда взгляни только на стрелку — и она укажет тебе, где твой дом. Пойдешь прямо по стрелке домой, и тебя там покормят. Стрелка эта тебе верней друга: бывает, друг твой изменит тебе, а стрелка неизменно всегда, как ее ни верти, все на север глядит.

Осмотрев чудесную вещь, Митраша запер компас, чтобы стрелка в пути зря не дрожала. Он хорошо, по-отцовски, обернул вокруг ног портянки, вправил в сапоги, картузик надел такой старый, что козырек его разделился надвое: верхняя корочка задралась выше солнца, а нижняя спускалась почти до самого носика. Оделся же Митраша в отцовскую старую куртку, вернее же, в воротник, соединяющий полосы когда-то хорошей домотканой материи. На животике своем мальчик связал эти полосы кушаком, и отцовская куртка села на нем, как пальто, до самой земли. Еще сын охотника заткнул за пояс топор, сумку с компасом повесил на правое плечо, двуствольную «тулку» — на левое и так сделался ужасно страшным для всех птиц и зверей.

Настя, начиная собираться, повесила себе через плечо на полотенце большую корзину.

— Зачем тебе полотенце? — спросил Митраша.

— А как же? — ответила Настя.— Ты разве не помнишь, как мама за грибами ходила?

— За грибами! Много ты понимаешь: грибов бывает много, так плечо режет.

— А клюквы, может быть, у нас еще больше будет.

И только хотел сказать Митраша свое «вот еще!», вспомнилось ему, как отец о клюкве сказал, еще когда собирали его на войну.

— Ты это помнишь,— сказал Митраша сестре,—

как отец нам говорил о клюкве, что есть палестинка[1] в лесу.

— Помню,— ответила Настя,— о клюкве говорил, что знает местечко и клюква там осыпучая, но что он о какой-то палестинке говорил, я не знаю. Еще помню, говорил про страшное место Слепую елань[2].

— Вот там, возле елани, и есть палестинка,— сказал Митраша.— Отец говорил: идите на Высокую гриву, и после того держите на север, и, когда перевалите через Звонкую борину, держите все прямо на север, и увидите — там придет вам палестинка, вся красная, как кровь, от одной только клюквы. На этой палестинке еще никто не бывал!

Митраша говорил это уже в дверях. Настя во время рассказа вспомнила: у нее от вчерашнего дня остался целый, нетронутый чугунок вареной картошки. Забыв о палестинке, она тихонечко шмыгнула к загнетке и опрокинула в корзинку весь чугунок.

«Может быть, еще и заблудимся,— подумала она.— Хлеба у нас взято довольно, есть бутылка молока, и картошка, может быть, тоже пригодится».

А брат в это время, думая, что сестра все стоит за его спиной, рассказывал ей о чудесной палестинке и что, правда, на пути к ней Слепая елань, где много погибло и людей, и коров, и коней.

— Ну, так что это за палестинка? — спросила Настя.

— Так ты ничего не слыхала?! — схватился он.

И терпеливо повторил ей уже на ходу все, что слышал от отца о не известной никому палестинке, где растет сладкая клюква.

III

Блудово болото, где и мы сами не раз тоже блуждали, начиналось, как почти всегда начинается большое болото, непроходимою зарослью ивы, ольхи и других кустарников. Первый человек прошел эту приболотицу с топором в руке и вырубил проход для дру-

---

[1] Палестинкой называют в народе какое-нибудь отменно приятное местечко в лесу.

[2] Елань — топкое место в болоте, все равно что прорубь на льду.

гих людей. Под ногами человеческими после осели кочки, и тропа стала канавкой, по которой струилась вода. Дети без особого труда перешли эту приболотицу в предрассветной темноте. И когда кустарники перестали заслонять вид впереди, при первом утреннем свете им открылось болото, как море. А впрочем, оно же и было, это Блудово болото, дном древнего моря. И как там, в настоящем море, бывают острова, как в пустынях — оазисы, так и в болотах бывают холмы. У нас в Блудовом болоте эти холмы песчаные, покрытые высоким бором, называются боринами. Пройдя немного болотом, дети поднялись на первую борину, известную под названием Высокая грива. Отсюда, с высокой пролысинки, в серой дымке первого рассвета чуть виднелась борина Звонкая.

Еще не доходя до Звонкой борины, почти возле самой тропы, стали показываться отдельные кроваво-красные ягоды. Охотники за клюквой поначалу клали эти ягоды в рот. Кто не пробовал в жизни своей осеннюю клюкву и сразу бы хватил весенней, у него бы дух захватило от кислоты. Но деревенские сироты знали хорошо, что такое осенняя клюква, и оттого, когда теперь ели весеннюю, то повторяли:

— Какая сладкая!

Борина Звонкая охотно открыла детям свою широкую просеку, покрытую и теперь, в апреле, темно-зеленой брусничной травой. Среди этой зелени прошлого года кое-где виднелись новые цветочки белого подснежника и лиловые, мелкие, и частые, и ароматные цветочки волчьего лыка.

— Они хорошо пахнут, попробуй, сорви цветочек волчьего лыка,— сказал Митраша.

Настя попробовала надломить прутик стебелька и никак не могла.

— А почему это лыко называется волчьим? — спросила она.

— Отец говорил,— ответил брат,— волки из него себе корзинки плетут.

И засмеялся.

— А разве тут есть еще волки?

— Ну как же! Отец говорил, тут есть страшный волк Серый помещик.

— Помню. Тот самый, что порезал перед войной наше стадо.

— Отец говорил: он живет на Сухой речке в завалах.

— Нас с тобой он не тронет?

— Пусть попробует,— ответил охотник с двойным козырьком.

Пока дети так говорили и утро подвигалось все больше к рассвету, борина Звонкая наполнялась птичьими песнями, воем, стоном и криком зверьков. Не все они были тут, на борине, но с болота, сырого, глухого, все звуки собирались сюда. Борина с лесом, сосновым и звонким на суходоле, отзывалась всему.

Но бедные птички и зверушки, как мучились все они, стараясь выговорить какое-то общее всем, единое прекрасное слово! И даже дети, такие простые, как Настя и Митраша, понимали их усилие. Им всем хотелось сказать одно только какое-то слово прекрасное.

Видно, как птица поет на сучке, и каждое перышко дрожит у нее от усилия. Но все-таки слова, как мы, они сказать не могут, и им приходится выпевать, выкрикивать, выстукивать.

— Тэк-тэк! — чуть слышно постукивает огромная птица Глухарь в темном лесу.

— Шварк-шварк! — дикий Селезень в воздухе пролетел над речкой.

— Кряк-кряк! — дикая утка Кряква на озере.

— Гу-гу-гу...— красивая птичка Снегирь на березе.

Бекас, небольшая серая птичка с носом длинным, как сплющенная шпилька, раскатывается в воздухе диким барашком. Вроде как бы «жив, жив!» кричит кулик Кроншнеп. Тетерев там где-то бормочет и чуфыркает. Белая Куропатка, как будто ведьма, хохочет.

Мы, охотники, давно, с детства своего, и различаем, и радуемся, и хорошо понимаем, над каким словом все они трудятся и не могут сказать. Вот почему мы, когда придем в лес ранней весной на рассвете и услышим, так и скажем им, как людям, это слово:

— Здравствуйте!

И как будто они тогда тоже обрадуются, как будто они тогда тоже подхватят чудесное слово, слетевшее с языка человеческого.

И закрякают в ответ, и зачуфыркают, и зашваркают, и затэтэкают, стараясь всеми голосами своими ответить нам:

— Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!

Но вот среди всех этих звуков вырвался один — ни на что не похожий.

— Ты слышишь? — спросил Митраша.

— Как же не слышать! — ответила Настя.— Давно слышу, и как-то страшно.

— Ничего нет страшного. Мне отец говорил и показывал: это так весной заяц кричит.

— А зачем?

— Отец говорил: он кричит: «Здравствуй, зайчиха!»

— А это что ухает?

— Отец говорил: это ухает выпь, бык водяной.

— И чего он ухает?

— Отец говорил: у него есть тоже своя подруга, и он ей по-своему тоже так говорит, как и все: «Здравствуй, выпиха».

И вдруг стало свежо и бодро, как будто вся земля сразу умылась, и небо засветилось, и все деревья запахли корой своей и почками. Вот тогда как будто над всеми звуками вырвался, вылетел и все покрыл особый, торжествующий крик, похожий, как если бы все люди радостно в стройном согласии могли закричать:

— Победа, победа!

— Что это? — спросила обрадованная Настя.

— Отец говорил: это так журавли солнце встречают. Это значит, что скоро солнце взойдет.

Но солнце еще не взошло, когда охотники за сладкой клюквой спустились в большое болото. Тут еще совсем и не начиналось торжество встречи солнца. Над маленькими корявыми елочками и березками серой мглой висело ночное одеяло и глушило все чудесные звуки Звонкой борины. Только слышался тут тягостный, щемящий и нерадостный вой.

— Что это, Митраша,— спросила Настенька, ежась,— так страшно воет вдали?

— Отец говорил,— ответил Митраша,— это воют на Сухой речке волки, и, наверно, сейчас это воет волк Серый помещик. Отец говорил, что все волки на Сухой речке убиты, но Серого убить невозможно.

— Так отчего же он страшно воет теперь?

— Отец говорил: волки воют весной оттого, что им есть теперь нечего. А Серый еще остался один, вот и воет.

Болотная сырость, казалось, проникала сквозь тело к костям и студила их. И так не хотелось еще ниже спускаться в сырое, топкое болото.

— Мы куда же пойдем? — спросила Настя.

Митраша вынул компас, установил север и, указывая на более слабую тропу, идущую на север, сказал:

— Мы пойдем на север по этой тропе.

— Нет,— ответила Настя,— мы пойдем вот по этой большой тропе, куда все люди идут. Отец нам рассказывал, помнишь, какое это страшное место — Слепая елань, сколько погибло в нем людей и скота. Нет, нет, Митрашенька, не пойдем туда. Все идут в эту сторону,— значит, там и клюква растет.

— Много ты понимаешь! — оборвал ее охотник.— Мы пойдем на север, как отец говорил, там есть палестинка, где еще никто не бывал.

Настя, заметив, что брат начинает сердиться, вдруг улыбнулась и погладила его по затылку. Митраша сразу успокоился, и друзья пошли по тропе, указанной стрелкой, теперь уже не рядом, как раньше, а друг за другом, гуськом.

IV

Лет двести тому назад ветер-сеятель принес два семечка в Блудово болото: семя сосны и семя ели. Оба семечка легли в одну ямку возле большого плоского камня... С тех пор уже лет, может быть, двести эти ель и сосна вместе растут. Их корни с малолетства сплелись, их стволы тянулись вверх рядом к свету, стараясь обогнать друг друга. Деревья разных пород боролись между собой корнями за питание, сучьями — за воздух и свет. Поднимаясь все выше, толстея стволами, они впивались сухими сучьями в живые

стволы и местами насквозь прокололи друг друга. Злой ветер, устроив деревьям такую несчастную жизнь, прилетал сюда иногда покачать их. И тогда деревья так стонали и выли на все Блудово болото, как живые существа, что лисичка, свернувшаяся на моховой кочке в клубочек, поднимала вверх свою острую мордочку. До того близок был живым существам этот стон и вой сосны и ели, что одичавшая собака в Блудовом болоте, услыхав его, выла от тоски по человеку, а волк выл от неизбывной злобы к нему.

Сюда, к Лежачему камню, пришли дети в то самое время, когда первые лучи солнца, пролетев над низенькими корявыми болотными елочками и березками, осветили Звонкую борину, и могучие стволы соснового бора стали как зажженные свечи великого храма природы. Оттуда сюда, к этому плоскому камню, где сели отдохнуть дети, слабо долетело пение птиц, посвященное восходу великого солнца.

Было совсем тихо в природе, и дети, озябшие, до того были тихи, что тетерев Косач не обратил на них никакого внимания. Он сел на самом верху, где сук сосны и сук ели сложились как мостик между двумя деревьями. Устроившись на этом мостике, для него довольно широком, ближе к ели, Косач как будто стал расцветать в лучах восходящего солнца. На голове его гребешок загорелся огненным цветком. Синяя в глубине черного грудь его стала переливать из синего на зеленое. И особенно красив стал его радужный, раскинутый лирой хвост.

Завидев солнце над болотными жалкими елочками, он вдруг подпрыгнул на своем высоком мостике, показал свое белое, чистейшее белье подхвостья, подкрылья и крикнул:

— Чуф, ши!

По-тетеревиному «чуф» скорее всего значило «солнце», а «ши», вероятно, было у них наше «здравствуй».

В ответ на это первое чуфыканье Косача-токовика далеко по всему болоту раздалось такое же чуфыканье с хлопаньем крыльев, и вскоре со всех сторон сюда стали прилетать и садиться вблизи Лежачего камня десятки больших птиц, как две капли воды похожих на Косача.

Затаив дыхание, сидели дети на холодном камне, дожидаясь, когда и к ним придут лучи солнца и обогреют их хоть немного. И вот первый луч, скользнув по верхушкам ближайших, очень маленьких елочек, наконец-то заиграл на щеках у детей. Тогда верхний Косач, приветствуя солнце, перестал подпрыгивать и чуфыкать. Он присел низко на мостике у вершины елки, вытянул свою длинную шею вдоль сука и завел долгую, похожую на журчание ручейка песню. В ответ ему тут где-то вблизи сидящие на земле десятки таких же птиц,— тоже каждый петух,— вытянув шею, затянули ту же самую песню. И тогда будто довольно уже большой ручей с бормотаньем побежал по невидимым камешкам.

Сколько раз мы, охотники, выждав темное утро, на зябкой заре с трепетом слушали это пение, стараясь по-своему понять, о чем поют петухи. И когда мы по-своему повторяли их бормотанья, то у нас выходило:

Круты перья,
Ур-гур-гу,
Круты перья
Обор-ву, оборву.

Так бормотали дружно тетерева, собираясь в то же время подраться. И когда они так бормотали, случилось небольшое событие в глубине еловой густой кроны. Там сидела на гнезде ворона и все время таилась там от Косача, токующего почти возле самого гнезда. Ворона очень бы желала прогнать Косача, но она боялась оставить гнездо и остудить на утреннем морозе яйца. Стерегущий гнездо ворона-самец в это время делал свой облет и, наверно встретив что-нибудь подозрительное, задержался. Ворона в ожидании самца залегла в гнезде, была тише воды, ниже травы. И вдруг, увидев летящего обратно самца, крикнула свое:

— Кра!

Это значило у нее:

— Выручай!

— Кра! — ответил самец в сторону тока в том смысле, что еще неизвестно, кто кому оборвет круты перья.

Самец, сразу поняв, в чем тут дело, спустился и сел на тот же мостик, возле елки, у самого гнезда, где Косач токовал, только поближе к сосне, и стал выжидать.

Косач в это время, не обращая на самца вороны никакого внимания, выкликнул свое, известное всем охотникам:

— Кар-кар-кекс!

И это было сигналом ко всеобщей драке всех токующих петухов. Ну и полетели во все-то стороны круты перья! И тут, как будто по тому же сигналу, ворона-самец мелкими шагами по мостику незаметно стал подбираться к Косачу.

Неподвижные, как изваяния, сидели на камне охотники за сладкой клюквой. Солнце, такое горячее и чистое, вышло против них над болотными елочками. Но случилось на небе в это время одно облако. Оно явилось как холодная синяя стрелка и пересекло собой пополам восходящее солнце. В то же время вдруг ветер рванул еще раз, и тогда нажала сосна, и ель зарычала.

В это время, отдохнув на камне и согревшись в лучах солнца, Настя с Митрашей встали, чтобы продолжать дальше свой путь. Но у самого камня довольно широкая болотная тропа расходилась вилкой: одна, хорошая, плотная тропа, шла направо, другая, слабенькая,— прямо.

Проверив по компасу направление троп, Митраша, указывая слабую тропу, сказал:

— Нам надо по этой на север.

— Это не тропа! — ответила Настя.

— Вот еще! — рассердился Митраша.— Люди шли,— значит, тропа. Нам надо на север. Идем, и не разговаривай больше.

Насте было обидно подчиниться младшему Митраше.

— Кра! — крикнула в это время ворона в гнезде. И ее самец мелкими шажками перебежал ближе к Косачу на полмостика.

Вторая круто-синяя стрелка пересекла солнце, и сверху стала надвигаться серая хмарь.

«Золотая Курочка» собралась с силами и попробовала уговорить своего друга.

— Смотри,— сказала она,— какая плотная моя тропа, тут все люди ходят. Неужели мы умней всех?

— Пусть ходят все люди,— решительно ответил упрямый «Мужичок в мешочке».— Мы должны идти по стрелке, как отец нас учил, на север, к палестинке.

— Отец нам сказки рассказывал, он шутил с нами,— сказала Настя.— И, наверно, на севере вовсе и нет никакой палестинки. Очень даже будет глупо нам по стрелке идти: как раз не на палестинку, а в самую Слепую елань угодим.

— Ну ладно,— резко повернул Митраша.— Я с тобой больше спорить не буду: ты иди по своей тропе, куда все бабы ходят за клюквой, я же пойду сам по себе, по своей тропке, на север.

И в самом деле пошел туда, не подумав ни о корзине для клюквы, ни о пище.

Насте бы надо было об этом напомнить ему, но она так сама рассердилась, что, вся красная, как кумач, плюнула вслед ему и пошла за клюквой по общей тропе.

— Кра! — закричала ворона.

И самец быстро перебежал по мостику остальной путь до Косача и со всей силой долбанул его. Как ошпаренный метнулся Косач к улетающим тетеревам, но разгневанный самец догнал его, вырвал, пустил по воздуху пучок белых и радужных перышек и погнал и погнал далеко.

Тогда серая хмарь плотно надвинулась и закрыла все солнце с его живительными лучами. Злой ветер очень резко рванул. Сплетенные корнями деревья, прокалывая друг друга сучьями, на все Блудово болото зарычали, завыли, застонали.

V

Деревья так жалобно стонали, что из полуобвалившейся картофельной ямы возле сторожки Антипыча вылезла его гончая собака Травка и точно так же, в тон деревьям, жалобно завыла.

Зачем же надо было вылезать собаке так рано из теплого, належанного подвала и жалобно выть, отвечая деревьям?

Среди звуков стона, рычания, ворчания, воя в это утро у деревьев иногда выходило так, будто где-то горько плакал в лесу потерянный или покинутый ребенок.

Вот этот плач и не могла выносить Травка и, заслышав его, вылезала из ямы в ночь и в полночь. Этот плач сплетенных навеки деревьев не могла выносить собака: деревья животному напоминали о его собственном горе.

Уже целых два года прошло, как случилось ужасное несчастье в жизни Травки: умер обожаемый ею лесник, старый охотник Антипыч.

Мы с давних лет ездили к этому Антипычу на охоту, и старик, думается, сам позабыл, сколько ему было лет, все жил, жил в своей лесной сторожке, и казалось — он никогда не умрет.

— Сколько тебе лет, Антипыч? — спрашивали мы.— Восемьдесят?

— Мало,— отвечал он.

— Сто?

— Много.

Думая, что он это шутит с нами, а сам хорошо знает, мы спрашивали:

— Антипыч, ну брось свои шутки, скажи нам по правде: сколько же тебе лет?

— По правде,— отвечал старик,— я вам скажу, если вы вперед скажете мне, что есть правда, какая она, где живет и как ее найти.

Трудно было ответить нам.

— Ты, Антипыч, старше нас,— говорили мы,— и ты, наверно, сам лучше нас знаешь, где правда.

— Знаю,— усмехался Антипыч.

— Ну скажи.

— Нет, пока жив я, сказать не могу, вы сами ищите. Ну, а как умирать буду, приезжайте, я вам тогда на ушко перешепну всю правду. Приезжайте!

— Хорошо, приедем. А вдруг не угадаем, когда надо, и ты без нас помрешь?

Дедушка прищурился по-своему, как он всегда щурился, когда хотел посмеяться и пошутить.

— Деточки, вы,—сказал он,— не маленькие, пора бы самим знать, а вы все спрашиваете. Ну, ладно уж, когда помирать соберусь и вас тут не будет, я Травке своей перешепну. Травка! — позвал он.

В хату вошла большая рыжая собака с черным ремешком по всей спине. У нее под глазами были черные полоски с загибом вроде очков. И от этого глаза казались очень большими, и ими она спрашивала: «Зачем позвал меня, хозяин?»

Антипыч как-то особенно поглядел на нее, и собака сразу поняла человека: он звал ее по приятельству, по дружбе, ни для чего, а просто так, пошутить, поиграть. Травка замахала хвостом, стала снижаться на ногах все ниже, ниже и, когда подползла так к коленям старика, легла на спину и повернула вверх светлый живот с шестью парами черных сосков. Антипыч только руку протянул было, чтобы погладить ее, она как вдруг вскочит и лапами на плечи — и чмок и чмок его: и в нос, и в щеки, и в самые губы.

— Ну, будет, будет,— сказал он, успокаивая собаку и вытирая лицо рукавом.

Погладил ее по голове и сказал:

— Ну будет, теперь ступай к себе.

Травка повернулась и вышла на двор.

— То-то, ребята,— сказал Антипыч.— Вот Травка, собака гончая, с одного слова все понимает, а вы, глупенькие, спрашиваете, где правда живет. Ладно же, приезжайте. А упустите меня, Травке я все перешепну.

И вот умер Антипыч. Вскоре после этого началась Великая Отечественная война. Другого сторожа на место Антипыча не назначили, и сторожку его бросили. Очень ветхий был домик, старше много самого Антипыча, и держался уже на подпорках. Как-то раз без хозяина ветер поиграл с домиком, и он сразу весь развалился, как разваливается карточный домик от одного дыхания младенца. В один год высокая трава иван-чай проросла через бревнышки, и от всей избушки остался на лесной поляне холмик, покрытый красными цветами. А Травка переселилась в карто-

фельную яму и стала жить в лесу, как и всякий зверь.

Только очень трудно было Травке привыкать к дикой жизни. Она гоняла зверей для Антипыча, своего великого и милостивого хозяина, но не для себя. Много раз случалось ей на гону поймать зайца. Подмяв его под себя, она ложилась и ждала, когда Антипыч придет, и, часто вовсе голодная, не позволяла себе есть зайца. Даже если Антипыч почему-нибудь не приходил, она брала зайца в зубы, высоко задирала голову, чтобы он не болтался, и тащила домой. Так она и работала на Антипыча, но не на себя: хозяин любил ее, кормил и берег от волков. А теперь, когда умер Антипыч, ей нужно было, как и всякому дикому зверю, жить для себя. Случалось, не один раз на жарком гону она забывала, что гонит зайца только для того, чтобы поймать его и съесть. До того забывалась Травка на такой охоте, что, поймав зайца, тащила его к Антипычу и тут иногда, услыхав стон деревьев, взбиралась на холм, бывший когда-то избушкой, и выла, и выла...

К этому вою давно уже прислушивается волк Серый помещик...

VI

Сторожка Антипыча была вовсе не далеко от Сухой речки, куда несколько лет тому назад, по заявке местных крестьян, приезжала наша волчья команда. Местные охотники проведали, что большой волчий выводок жил где-то на Сухой речке. Мы приехали помочь крестьянам и приступили к делу по всем правилам борьбы с хищным зверем.

Ночью, забравшись в Блудово болото, мы выли по-волчьи и вызвали ответный вой всех волков на Сухой речке. И так мы точно узнали, где они живут и сколько их. Они жили в самых непроходимых завалах Сухой речки. Тут давным-давно вода боролась с деревьями за свою свободу, а деревья должны были закреплять берега. Вода победила, деревья попадали, а после того и сама вода разбежалась в болоте. Мно-

гими ярусами были навалены деревья и гнили. Сквозь деревья пробилась трава, лианы плюща завили частые молодые осинки. И так создалось крепкое место, или даже, можно сказать по-нашему, по-охотничьи, волчья крепость.

Определив место, где жили волки, мы обошли его на лыжах и по лыжнице, по кругу в три километра, развесили по кустикам на веревочке флаги, красные и пахучие. Красный цвет пугает волков, и запах кумача страшит, и особенно боязливо им бывает, если ветерок, пробегая сквозь лес, там и тут шевелит этими флагами.

Сколько у нас было стрелков, столько мы сделали ворот в непрерывном кругу этих флагов. Против каждых ворот становился где-нибудь за густой елочкой стрелок.

Осторожно покрикивая и постукивая палками, загонщики взбудили волков, и они сначала тихонько пошли в свою сторону. Впереди шла сама волчица, за ней — молодые переярки, и сзади, в стороне, отдельно и самостоятельно,— огромный лобастый матерый волк, известный крестьянам злодей, прозванный Серым помещиком.

Волки шли очень осторожно. Загонщики нажали. Волчица пошла на рысях. И вдруг...

Стоп! Флаги!

Она повернула в другую сторону и там тоже:

Стоп! Флаги!

Загонщики нажимали все ближе и ближе. Старая волчица потеряла волчий смысл и, ткнувшись туда-сюда, как придется, нашла себе выход и в самых воротцах была встречена выстрелом в голову всего в десятке шагов от охотника.

Так погибли все волки, но Серый не раз бывал в таких переделках и, услыхав первые выстрелы, махнул через флаги. На прыжке в него было пущено два заряда: один оторвал ему левое ухо, другой — половину хвоста.

Волки погибли, но Серый за одно лето порезал коров и овец не меньше, чем резала их раньше целая стая. Из-за кустика можжевельника он дожидался, когда отлучатся или уснут пастухи. И, определив нуж-

ный момент, врывался в стадо, и резал овец, и портил коров. После того, схватив себе одну овцу на спину, мчал ее, прыгая с овцой через изгороди, к себе, в недоступное логовище на Сухой речке. Зимой, когда стада в поле не выходили, ему очень редко приходилось врываться в какой-нибудь скотный двор. Зимой он ловил больше собак в деревнях и питался почти только собаками. И до того обнаглел, что однажды, преследуя собаку, бегущую за санями хозяина, загнал ее в сани и вырвал ее прямо из рук хозяина.

Серый помещик сделался грозой края, и опять крестьяне приехали за нашей волчьей командой. Пять раз мы пытались его зафлажить, и все пять раз он у нас махал через флаги. И вот теперь, ранней весной, пережив суровую зиму в страшном холоде и голоде, Серый в своем логове дожидался с нетерпением, когда же наконец придет настоящая весна и затрубит деревенский пастух.

В то утро, когда дети между собой поссорились и пошли по разным тропам, Серый лежал, голодный и злой. Когда ветер замутил утро и завыли деревья возле Лежачего камня, он не выдержал и вылез из своего логова. Он стал над завалом, поднял голову, подобрал и так тощий живот, поставил единственное ухо на ветер, выпрямил половину хвоста и завыл.

Какой это жалобный вой! Но ты, прохожий человек, если услышишь и у тебя поднимется ответное чувство, не верь жалости: воет не собака, вернейший друг человека,— это волк, злейший враг его, самой злобой своей обреченный на гибель. Ты, прохожий, побереги свою жалость не для того, кто о себе воет, как волк, а для того, кто, как собака, потерявшая хозяина, воет, не зная, кому же теперь, после него, ей послужить.

VII

Сухая речка большим полукругом огибает Блудово болото. На одной стороне полукруга воет собака, на другой — воет волк. А ветер нажимает на деревья и разносит их вой и стон, вовсе не зная, кому он слу-

жит. Ему все равно, кто воет, дерево, собака — друг человека, или волк — злейший враг его,— лишь бы он выл. Ветер предательски доносит волку жалобный вой покинутой человеком собаки. И Серый, разобрав живой стон собаки от стона деревьев, тихонечко выбрался из завалов и с настороженным единственным ухом и прямой половинкой хвоста поднялся на взлобок. Тут, определив место воя возле Антиповой сторожки, с холма прямо на широких махах пустился в том направлении.

К счастью для Травки, сильный голод заставил ее прекратить свой печальный плач или, может быть, призыв к себе нового человека. Может быть, для нее, в ее собачьем понимании, Антипыч вовсе даже не умирал, а только отвернул от нее лицо свое. Может быть, она даже и так понимала, что весь человек— это и есть один Антипыч со множеством лиц. И если одно лицо его отвернулось, то, может быть, скоро ее позовет к себе опять тот же Антипыч, только с другим лицом, и она этому лицу будет так же верно служить, как тому...

Так-то скорее всего и было: Травка воем своим призывала к себе Антипыча.

И волк, услыхав эту ненавистную ему собачью «молитву» о человеке, пошел туда на махах. Повой она еще каких-нибудь минут пять, и Серый схватил бы ее. Но, «помолившись» Антипычу, она почувствовала сильный голод, она перестала звать Антипыча и пошла для себя искать заячий след.

Это было в то время года, когда ночное животное, заяц, не ложится при первом наступлении утра, чтобы весь день в страхе лежать с открытыми глазами. Весной заяц долго и при белом свете бродит открыто и смело по полям и дорогам. И вот один старый русак после ссоры детей пришел туда, где они разошлись, и тоже, как они, сел отдохнуть и прислушаться на Лежачем камне. Внезапный порыв ветра с воем деревьев испугал его, и он, прыгнув с Лежачего камня, побежал своими заячьими прыжками, бросая задние ножки вперед, прямо к месту страшной для человека Слепой елани. Он еще хорошенько не вылинял и оставлял следы не только на земле, но еще развешивал зимнюю

шерсточку на кустарнике и на старой, прошлогодней высокой траве.

С тех пор как заяц на камне посидел, прошло довольно времени, но Травка сразу причуяла след русака. Ей помешали погнаться за ним следы на камне двух маленьких людей и их корзины, пахнущей хлебом и вареной картошкой.

Так вот и стала перед Травкой задача трудная — решить: идти ли ей по следу русака на Слепую елань, куда тоже пошел след одного из маленьких людей, или же идти по человеческому следу, идущему вправо, в обход Слепой елани.

Трудный вопрос решился бы очень просто, если бы можно было понять, который из двух человечков понес с собой хлеб. Вот бы поесть этого хлебца немного и начать гон не для себя и принести зайца тому, кто даст хлеб.

Куда же идти, в какую сторону?..

У людей в таких случаях является раздумье, а про гончую собаку охотники говорят: собака скололась.

Так и Травка скололась. И, как всякая гончая в таком случае, начала делать круги с высоко поднятой головой, с чутьем, направленным и вверх, и вниз, и в стороны, и с пытливым напряжением глаз.

Вдруг порыв ветра с той стороны, куда пошла Настя, мгновенно остановил быстрый ход собаки по кругу. Травка, постояв немного, даже поднялась вверх на задние лапы, как заяц...

С ней было так однажды еще при жизни Антипыча. Была у лесника трудная работа в лесу по отпуску дров. Антипыч, чтобы не мешала ему Травка, привязал ее у дома. Рано утром, на рассвете, лесник ушел. Но только к обеду Травка догадалась, что цепь на другом конце привязана к железному крюку на толстой веревке. Поняв это, она стала на завалинку, поднялась на задние лапы, передними подтянула себе веревку и к вечеру перемяла ее. Сейчас же после того с цепью на шее она пустилась на поиски Антипыча. Больше полусуток истекло времени с тех пор, как Антипыч прошел, след его простыл и потом был смыт мелким моросливым дождиком, похожим на росу. Но тишина весь день в лесу была такая, что за день ни

одна струйка воздуха не переместилась и тончайшие пахучие частицы табачного дыма из трубки Антипыча повисали в неподвижном воздухе с утра и до вечера. Поняв сразу, что по следам найти невозможно Антипыча, сделав круг с высоко поднятой головой, Травка вдруг попала на табачную струю воздуха и по табаку мало-помалу, то теряя воздушный след, то опять встречаясь с ним, добралась-таки до хозяина.

Был такой случай. Теперь, когда ветер порывом сильным и резким принес в ее чутье подозрительный запах, она окаменела, выждала. И когда ветер опять рванул, стала, как и тогда, на задние лапы по-заячьи и уверилась: хлеб или картошка были в той стороне, откуда ветер летел и куда ушел один из маленьких человечков.

Травка вернулась к Лежачему камню, проверила запах корзины на камне с тем, что ветер нанес. Потом она проверила след другого маленького человечка и тоже заячий след. Можно догадываться, она так и подумала:

«Заяц-русак пошел прямым следом на дневную лежку, он где-нибудь тут же, недалеко, возле Слепой елани, и лег на весь день и никуда не уйдет. А тот человечек с хлебом и картошкой может уйти. Да и какое же может быть сравнение — трудиться, надрываться, гоняя для себя зайца, чтобы разорвать его и сожрать самому, или же получить кусок хлеба и ласку от руки человека и, может быть, даже найти в нем Антипыча».

Поглядев еще раз внимательно в сторону прямого следа на Слепую елань, Травка окончательно повернулась в сторону тропы, обходящей Слепую елань с правой стороны, еще раз поднялась на задние лапы, уверясь, вильнула хвостом и рысью побежала туда.

VIII

Слепая елань, куда повела Митрашу стрелка компаса, было место погибельное, и тут на веках немало затянуло в болото людей и еще больше скота. И уж, конечно, всем, кто идет в Блудово болото, надо хорошо знать, что это такое Слепая елань.

Мы это так понимаем, что все Блудово болото, со всеми огромными запасами горючего, торфа, есть кладовая солнца. Да, вот именно так и есть, что горячее солнце было матерью каждой травинки, каждого цветочка, каждого болотного кустика и ягодки. Всем им солнце отдавало свое тепло, и они, умирая, разлагаясь, в удобрении передавали его, как наследство, другим растениям, кустикам, ягодкам, цветам и травинкам. Но в болотах вода не дает родителям-растениям передать все свое добро детям. Тысячи лет это добро под водой сохраняется, болото становится кладовой солнца, и потом вся эта кладовая солнца, как торф, достается человеку в наследство.

Блудово болото содержит огромные запасы горючего, но слой торфа не везде одинаковой толщины. Там, где сидели дети у Лежачего камня, растения слой за слоем ложились друг на друга тысячи лет. Тут был старейший пласт торфа, но дальше, чем ближе к Слепой елани, слой становился все моложе и тоньше.

Мало-помалу, по мере того как Митраша продвигался вперед по указанию стрелки и тропы, кочки под его ногами становились не просто мягкими, как раньше, а полужидкими. Ступит ногой как будто на твердое, а нога уходит и становится страшно: не совсем ли в пропасть уходит нога? Попадаются какие-то вертлявые кочки, приходится выбирать место, куда ногу поставить. А потом и так пошло, что ступишь, а у тебя под ногой от этого вдруг, как в животе, заурчит и побежит куда-то под болотом.

Земля под ногой стала как гамак, подвешенный над тинистой бездной. На этой подвижной земле, на тонком слое сплетенных между собой корнями и стеблями растений, стоят редкие, маленькие, корявые и заплесневелые елочки. Кислая болотная почва не дает им расти, и им, таким маленьким, лет уже по сто, а то и побольше... Елочки-старушки не как деревья в бору, все одинаковые: высокие, стройные, дерево к дереву, колонна к колонне, свеча к свече. Чем старше старушка на болоте, тем кажется чуднее. То вот одна голый сук подняла, как руку, чтобы обнять тебя на ходу, а у другой палка в руке и она ждет тебя, чтобы хлопнуть, третья присела зачем-то, четвер-

тая стоя вяжет чулок, и так все: что ни елочка, то непременно на что-то похожа.

Слой под ногами у Митраши становился все тоньше и тоньше, но растения, наверно, очень крепко сплелись и хорошо держали человека, и, качаясь и покачивая все далеко вокруг, он все шел и шел вперед. Митраше оставалось только верить тому человеку, кто шел впереди его и оставил даже тропу после себя.

Очень волновались старушки елки, пропуская между собой мальчика с длинным ружьем, в картузе с двумя козырьками. Бывает, одна вдруг поднимется, как будто хочет смельчака палкой ударить по голове, и закроет собой впереди всех других старушек. А потом опустится, и другая колдунья тянет к тропе костлявую руку. И ждешь — вот-вот, как в сказке, полянка покажется, и на ней избушка колдуньи с мертвыми головами на шестах.

Черный ворон, стерегущий свое гнездо на борине, облетая по сторожевому кругу болото, заметил маленького охотника с двойным козырьком. Весной и у ворона тоже является особый крик, похожий на то, как если человек крикнет горлом и в нос: «Дрон-тон!» Есть непонятные и неуловимые нашим ухом оттенки в основном звуке, и оттого мы не можем понять разговор воронов, а только догадываемся, как глухонемые.

— Дрон-тон! — крикнул сторожевой ворон в том смысле, что какой-то маленький человек с двойным козырьком и ружьем близится к Слепой елани и что, может быть, скоро будет пожива.

— Дрон-тон! — ответила издали на гнезде ворон-самка.

И это означало у нее:

— Слышу и жду!

Сороки, состоящие с воронами в близком родстве, заметили перекличку воронов и застрекотали. И даже лисичка после неудачной охоты за мышами навострила ушки на крик ворона.

Митраша все это слышал, но ничуть не трусил,— что ему было трусить, если под его ногами тропа человеческая: шел такой же человек, как и он,— значит, и он сам, Митраша, мог по ней смело идти. И, услыхав ворона, он даже запел:

Ты не вейся, черный ворон,
Над моею головой.

Пение подбодрило его еще больше, и он даже смекнул, как ему сократить трудный путь по тропе. Поглядывая себе под ноги, он заметил, что нога его, опускаясь в грязь, сейчас же собирает туда, в ямку, воду. Так и каждый человек, проходя по тропе, спускал воду из мха пониже, и оттого на осушенной бровке, рядом с ручейком тропы, по ту и другую сторону, аллейкой вырастала высокая сладкая трава белоус. По этой, не желтого цвета, как всюду было теперь, ранней весной, а скорее цвета белого, траве можно было далеко впереди себя понять, где проходит тропа человеческая. Вот Митраша увидел: его тропа круто завертывает влево, и туда идет далеко, и там совсем исчезает. Он проверил по компасу, стрелка глядела на север, тропа уходила на запад.

— Чьи вы? — закричал в это время чибис.

— Жив, жив! — ответил кулик.

— Дрон-тон! — еще уверенней крикнул ворон.

И кругом в елочках затрещали сороки.

Оглядев местность, Митраша увидел прямо перед собой чистую, хорошую поляну, где кочки, постепенно снижаясь, переходили в совершенно ровное место. Но самое главное: он увидел, что совсем близко, по той стороне поляны, змеилась высокая трава белоус — неизменный спутник тропы человеческой. Узнавая по направлению белоуса тропу, идущую не прямо на север, Митраша подумал: «Зачем же я буду повертывать налево, на кочки, если тропа — вот рукой подать — виднеется там, за полянкой?»

И он смело пошел вперед, пересекая чистую полянку.

— Эх, вы!— бывало, говорил нам Антипыч, когда мы провалимся в болото, придем домой грязные, мокрые.— Ходите вы, ребята, одетые и обутые.

— А то как же? — спрашивали мы.

— Ходили бы,— отвечал он,— голенькие и разутые.

— Зачем же голенькие и разутые?

А он то-то над нами покатывался.

Так мы ничего и не понимали, чему смеялся старик.

Теперь только, через много лет, приходят в голову слова Антипыча, и все становится понятным; обращал к нам Антипыч эти слова, когда мы, ребятишки, задорно и уверенно посвистывая, говорили о том, чего еще вовсе не испытали.

Антипыч, предлагая ходить нам голенькими и разутыми, только не договаривал: «Не знавши броду, не лезьте в воду».

Так вот и Митраша. И благоразумная Настя предупреждала его. И трава белоус показывала направление обхода елани. Нет! Не знавши броду, оставил выбитую тропу человеческую и прямо полез в Слепую елань. А между тем тут-то вот именно, на этой полянке, вовсе прекращалось сплетение растений, тут была елань, то же самое, что зимой в пруду прорубь. В обыкновенной елани всегда бывает видна хоть чуть-чуть водица, прикрытая белыми прекрасными купавами, водяными лилиями. Вот за то эта елань называлась Слепою, что по виду ее было невозможно узнать.

Митраша по елани шел вначале лучше, чем даже раньше по болоту. Постепенно, однако, нога его стала утопать все глубже и глубже, и становилось все труднее и труднее вытаскивать ее обратно. Тут лосю хорошо, у него страшная сила в длинной ноге, и, главное, он не задумывается и мчится одинаково и в лесу и в болоте. Но Митраша, почуяв опасность, остановился и призадумался над своим положением. В один миг остановки он погрузился по колено, в другой миг ему стало выше колена. Он еще мог бы, сделав усилие, вырваться из елани обратно. И надумал было он повернуться, положить ружье на болото и, опираясь на него, выскочить. Но тут же, совсем недалеко от себя, впереди, увидел высокую белую траву на следу человеческом.

— Перескочу,—сказал он.

И рванулся.

Но было уж поздно. Сгоряча, как раненый,— пропадать — так уж пропадать,— на авось, рванулся еще,

и еще, и еще. И почувствовал себя плотно охваченным со всех сторон по самую грудь. Теперь даже и сильно дыхнуть ему нельзя было: при малейшем движении его тянуло вниз, он мог сделать только одно: положить плашмя ружье на болото и, опираясь на него двумя руками, не шевелиться и успокоить поскорее дыхание. Так он и сделал: снял с себя ружье, положил его перед собой, оперся на него той и другой рукой.

Внезапный порыв ветра принес ему пронзительный Настин крик:

— Митраша!

Он ей ответил.

Но ветер был с той стороны, где Настя. И уносил его крик в другую сторону Блудова болота, на запад, где без конца были только елочки. Одни сороки отозвались ему и, перелетая с елочки на елочку с обычным их тревожным стрекотанием, мало-помалу окружили всю Слепую елань и, сидя на верхних пальчиках елок, тонкие, носатые, длиннохвостые, стали трещать, одни вроде:

— Дри-ти-ти!

Другие:

— Дра-та-та!

— Дрон-тон! — крикнул ворон сверху.

И очень умные на всякое поганое дело сороки смекнули о полном бессилии погруженного в болото маленького человечка. Они соскочили с верхних пальчиков елок на землю и с разных сторон начали прыжками свое сорочье наступление.

Маленький человечек с двойным козырьком кричать перестал. По его загорелому лицу, по щекам блестящими ручейками потекли слезы.

IX

Кто никогда не видал, как растет клюква, тот может очень долго идти по болоту и не замечать, что он по клюкве идет. Вот взять ягоду чернику,— та растет, и ее видишь: стебелечек тоненький тянется вверх, по стебельку, как крылышки, в разные стороны зеленые маленькие листики, и у листиков сидят мелким горошком чернички, черные ягодки с синим пушком. Так же

брусника, кровяно-красная ягода, листики темно-зеленые, плотные, не желтеют даже под снегом, и так много бывает ягоды, что место, кажется, кровью полито. Еще растет в болоте голубика кустиком, ягода голубая, более крупная, не пройдешь, не заметив. В глухих местах, где живет огромная птица глухарь, встречается костяника, красно-рубиновая ягода кисточкой, и каждый рубинчик в зеленой оправе. Только у нас одна-единственная ягода клюква, особенно ранней весной, прячется в болотной кочке и почти невидима сверху. Только уж когда очень много ее соберется на одном месте, заметишь сверху и подумаешь: «Вот кто-то клюкву рассыпал». Наклонишься взять одну, попробовать и тянешь вместе с одной ягодинкой зеленую ниточку со многими клюквинками. Захочешь — и можешь вытянуть себе из кочки целое ожерелье крупных кровяно-красных ягод.

То ли что клюква — ягода дорогая весной, то ли что полезная и целебная и что чай с ней хорошо пить, только жадность при сборе ее развивается страшная. Одна старушка у нас раз набрала такую корзину, что и поднять не могла. И отсыпать ягоду или вовсе бросить корзину тоже не посмела. Да так и померла возле полной корзины.

А то бывает, женщина нападет на ягоду и, оглядев кругом — не видит ли кто,— приляжет к земле на болото и ползет.

Вначале Настя срывала с плети каждую ягодку отдельно, за каждой красненькой наклонялась к земле. Но скоро из-за одной ягодки наклоняться перестала: ей больше хотелось.

Она стала уже теперь догадываться, где не одну-две ягодки можно взять, а целую горсточку, и стала наклоняться только за горсточкой. Так она ссыпает горсточку за горсточкой, все чаще и чаще, а хочется все больше и больше.

Бывало, раньше дома часу не поработает Настенька, чтобы не вспомнился брат, чтобы не захотелось с ним перекликнуться. А вот теперь он ушел один неизвестно куда, а она и не помнит, что ведь хлеб-то у нее, что любимый брат там где-то, в темном болоте, голодный идет. Да она и о себе самой забыла и пом-

нит только о клюкве, и ей хочется все больше и больше.

Из-за чего же ведь и весь сыр-бор загорелся у нее при споре с Митрашей: именно, что ей захотелось идти по набитой тропе. А теперь, следуя ощупью за клюквой, куда клюква ведет, туда и она, Настя незаметно сошла с набитой тропы.

Было только один раз вроде пробуждения: она вдруг поняла, что где-то сошла с тропы. Повернула туда, где, показалось, проходила тропа, но там тропы не было. Она бросилась было в другую сторону, где маячили два дерева сухие с голыми сучьями — там тоже тропы не было. Тут-то бы, к случаю, и вспомнить ей про компас, как о нем говорил Митраша, и своего-то брата, своего любимого, вспомнить, что он голодный идет, и, вспомнив, перекликнуться с ним...

И только-только бы вспомнить, как вдруг Настенька увидела такое, что не всякой клюквеннице достается хоть раз в жизни своей увидеть...

В споре своем, по какой тропке идти, дети одного не знали, что большая тропа и малая, огибая Слепую елань, обе сходились на Сухой речке и там, за Сухой, больше уже не расходясь, в конце концов выводили на большую Переславскую дорогу. Большим полукругом Настина тропа огибала по суходолу Слепую елань. Митрашина тропа шла напрямик возле самого края елани. Не сплошай он, не упусти из виду траву белоус на тропе человеческой, он давным-давно бы уже был на том месте, куда пришла только теперь Настя. И это место, спрятанное между кустиками можжевельника, и было как раз той самой палестинкой, куда Митраша стремился по компасу.

Приди сюда Митраша голодный и без корзины, что бы ему было тут делать, на этой палестинке кроваво-красного цвета?

На палестинку пришла Настя с большой корзиной, с большим запасом продовольствия, забытым и покрытым кислой ягодой.

И опять бы девочке, похожей на Золотую Курочку на высоких ножках, подумать при радостной встрече с палестинкой о брате своем и крикнуть ему:

— Милый друг, мы пришли!

Ах, ворон, ворон, вещая птица! Живешь ты, может быть, сам триста лет, и кто породил тебя, тот в яичке своем пересказал все, что он тоже узнал за свои триста лет жизни. И так от ворона к ворону переходила память о всем, что было в этом болоте за тысячу лет. Сколько же ты, ворон, видел и знаешь, и отчего ты хоть один раз не выйдешь из своего вороньего круга и не перенесешь на своих могучих крыльях весточку о погибающем брате?!

Ты бы, ворон, сказал им...

— Дрон-тон! — крикнул ворон, пролетая над самой головой погибающего человека.

— Слышу,— тоже в таком же «дрон-тон» ответила ему на гнезде ворониха,— только успей, урви чего-нибудь, пока его совсем не затянуло болото.

— Дрон-тон! — крикнул второй раз ворон-самец над девочкой, ползающей почти рядом с погибающим братом по мокрому болоту. И это «дрон-тон» у ворона значило, что от этой ползающей девочки вороновой семье, может быть, еще больше достанется.

На самой середине палестинки не было клюквы. Тут выдался холмистой куртинкой частый осинник, и в нем стоял рогатый великан лось. Посмотреть на него с одной стороны — покажется, он похож на быка, посмотреть с другой — лошадь и лошадь: и стройное тело, и стройные ноги, сухие, и мурло с тонкими ноздрями. Но как выгнуто это мурло, какие глаза и какие рога! Смотришь и думаешь: а может быть, и нет ничего — ни быка, ни коня, а так складывается что-то большое, серое, в частом сером осиннике. Но как же складывается из осинника, если вот ясно видно, как толстые губы чудовища пришлепнулись к дереву и на нежной осинке остается узкая белая полоска: это чудовище так кормится. Да почти и на всех осинках виднеются такие загрызы. Нет, не видение в болоте эта громадина. Но как понять, что на осиновой корочке и лепестках болотного трилистника может вырасти такое большое тело? Откуда же у человека при его могуществе берется жадность даже к кислой ягоде клюкве?

Лось, обирая осинку, с высоты своей спокойно глядит на ползущую девочку.

Ничего не видя, кроме своей клюквы, ползет она и ползет к большому черному пню. Еле передвигает за собой корзинку, вся мокрая и грязная, прежняя Золотая Курочка на высоких ножках.

Лось ее и за человека не считает: у нее все повадки обычных зверей, на каких он смотрит равнодушно, как мы на бездушные камни.

А большой черный пень собирает в себя лучи солнца и сильно нагревается. Вот уже начинает вечереть, воздух и все кругом охлаждается. Но пень, черный и большой, еще сохраняет тепло. На него выползли из болота и припали к теплу шесть маленьких ящериц; четыре бабочки-лимонницы, сложив крылышки, припали усиками; большие черные мухи прилетели ночевать. Длинная клюквенная плеть, цепляясь за стебельки трав и неровности, оплела черный теплый пень и, сделав на самом верху несколько оборотов, спустилась по ту сторону. Ядовитые змеи-гадюки в это время года стерегут тепло, и одна, громадная, в полметра длиной, вползла на пень и свернулась колечком на клюкве.

А девочка тоже ползла по болоту, не поднимая вверх высоко головы. И так она приползла к горелому пню и дернула за самую плеть, где лежала змея. Гадина подняла голову и зашипела. И Настя тоже подняла голову.

Тогда-то наконец Настя очнулась, вскочила, и лось, узнав в ней человека, прыгнул из осинника и, выбрасывая вперед сильные, длинные ноги-ходули, помчался легко по вязкому болоту, как мчится по сухой тропинке заяц-русак.

Испуганная лосем, Настенька изумленно смотрела на змею: гадюка по-прежнему лежала, свернувшись колечком в теплом луче солнца. Насте представилось, будто это она сама осталась там, на пне, и теперь вышла из шкуры змеиной и стоит, не понимая, где она.

Совсем недалеко стояла и смотрела на нее большая рыжая собака с черными ремешками на спине. Собака эта была Травка. И Настя даже вспомнила ее: Антипыч не раз приходил с ней в село. Но кличку собаки вспомнить она не могла верно и крикнула ей:

— Муравка, Муравка, я дам тебе хлебца!

И потянулась к корзине за хлебом. Доверху корзина была наполнена, и под клюквой был хлеб.

Сколько же времени прошло, сколько клюквинок легло с утра до вечера, пока огромная корзина наполнилась? Где же был за это время брат голодный и как она забыла о нем, как она сама забыла себя и все вокруг?

Она опять поглядела на пень, где лежала змея, и вдруг пронзительно закричала:

— Братец, Митраша!

И, рыдая, упала возле корзины, наполненной клюквой.

Вот этот пронзительный крик и долетел тогда до елани, и Митраша это слышал и ответил, но порыв ветра тогда унес крик в другую сторону.

X

Тот сильный порыв ветра, когда крикнула бедная Настя, был еще не последним перед тишиной вечерней зари. Солнце в это время проходило вниз через толстое облако и выбросило оттуда на землю золотые ножки своего трона.

И тот порыв был еще не последним, когда в ответ на крик Насти закричал Митраша.

Последний порыв был, когда солнце погрузило как будто под землю золотые ножки своего трона и, большое, чистое, красное, нижним краешком своим коснулось земли. Тогда на суходоле запел свою милую песенку маленький певчий дрозд-белобровик. Несмело возле Лежачего камня на успокоенных деревьях затоковал Косач-токовик. И журавли прокричали три раза, не как утром — «победа», а вроде как бы:

— Спите, но помните: мы вас всех скоро разбудим, разбудим, разбудим!

День кончился не порывом ветра, а последним легким дыханием. Тогда наступила полная тишина, и везде стало все слышно, даже как пересвистывались рябчики в зарослях Сухой речки.

В это время, почуяв беду человеческую, Травка подошла к рыдающей Насте и лизнула ее в соленую от

слез щеку. Настя подняла было голову, поглядела на собаку и так, ничего не сказав ей, опустила голову обратно и положила ее прямо на ягоду. Сквозь клюкву Травка явственно чуяла хлеб, и ей ужасно хотелось есть, но позволить себе покопаться лапами в клюкве она никак не могла. Вместо этого, чуя беду человеческую, она подняла высоко голову и завыла.

Мы как-то раз, помнится, давным-давно тоже так под вечер ехали, как в старину было, лесной дорогой на тройке с колокольчиком. И вдруг ямщик осадил тройку, колокольчик замолчал, и, вслушиваясь, ямщик нам сказал:

— Беда!

Мы сами что-то услыхали.

— Что это?

— Беда какая-то: собака воет в лесу.

Мы тогда так и не узнали, какая была беда. Может быть, тоже где-то в болоте тонул человек, и, провожая его, выла собака, верный друг человека.

В полной тишине, когда выла Травка, Серый сразу понял, что это было на палестинке, и скорей, скорей замахал туда напрямик.

Только очень скоро Травка выть перестала. И Серый остановился переждать, когда вой снова начнется.

А Травка в это время сама услышала в стороне Лежачего камня знакомый тоненький и редкий голосок:

— Тяв, тяв!

И сразу поняла, конечно, что это тявкала лисица по зайцу. И то, конечно, она поняла — лисица нашла след того же самого зайца-русака, что и она понюхала там, на Лежачем камне. И то поняла, что лисице без хитрости никогда не догнать зайца и тявкает она, только чтобы он бежал и морился, а когда уморится и ляжет, тут-то она и схватит его на лежке. С Травкой после Антипыча так не раз бывало при добывании зайца для пищи. Услыхав такую лисицу, Травка охотилась по волчьему способу: как волк на гону молча становится на круг и, выждав ревущую по зайцу собаку, ловит ее, так и она, затаиваясь, из-под гона лисицы зайца ловила.

Выслушав гон лисицы, Травка точно так же, как и мы, охотники, поняла круг пробега зайца: от Лежачего камня заяц бежал на Слепую елань и оттуда на Сухую речку, оттуда долго полукругом на палестинку и опять непременно к Лежачему камню. Поняв это, она прибежала к Лежачему камню и затаилась тут в густом кусту можжевельника.

Недолго пришлось Травке ждать. Тонким слухом своим она услыхала недоступное человеческому слуху чвяканье заячьей лапы по лужицам на болотной тропе. Лужицы эти выступили на утренних следах Насти. Русак непременно должен был сейчас показаться у самого Лежачего камня.

Травка за кустом можжевельника присела и напружинила задние лапы для могучего броска и, когда увидела уши, бросилась.

Как раз в это время заяц, большой, старый, матерый русак, ковыляя еле-еле, вздумал внезапно остановиться и, даже привстав на задние ноги, послушать, далеко ли тявкает лисица.

Так вот одновременно сошлись: Травка бросилась, а заяц остановился.

И Травку перенесло через зайца.

Пока собака выправлялась, заяц огромными скачками летел уже по Митрашиной тропе прямо на Слепую елань.

Тогда волчий способ охоты не удался: до темноты нельзя было ждать возвращения зайца. И Травка своим собачьим способом бросилась вслед зайцу и, взвизгнув заливисто, мерным, ровным собачьим лаем наполнила всю вечернюю тишину.

Услыхав собаку, лисичка, конечно, сейчас же бросила охоту за русаком и занялась повседневной охотой на мышей... А Серый, наконец-то услышав долгожданный лай собаки, понесся на махах в направлении Слепой елани.

XI

Сороки на Слепой елани, услыхав приближение зайца, разделились на две партии: одни остались при маленьком человечке и кричали:

— Дри-ти-ти!

Другие кричали по зайцу:

— Дра-та-та!

Трудно разобраться и догадаться в этой сорочьей тревоге. Сказать, что они зовут на помощь,— какая тут помощь! Если на сорочий крик придет человек или собака, сорокам же ничего не достанется. Сказать, что они созывают своим криком все сорочье племя на кровавый пир? Разве что так...

— Дри-ти-ти! — кричали сороки, подскакивая ближе и ближе к маленькому человечку.

Но подскочить совсем не могли: руки у человечка были свободны. И вдруг сороки смешались, одна и та же сорока то дрикнет на «и», то дрикнет на «а».

Это значило, что на Слепую елань заяц подходит.

Этот русак уже не один раз увертывался от Травки и хорошо знал, что гончая зайца догоняет и что, значит, надо действовать хитростью. Вот почему перед самой еланью, не доходя маленького человека, он остановился и возбудил всех сорок. Все они расселись по верхним пальчикам елок, и все закричали по зайцу:

— Дра-та-та!

Но зайцы почему-то этому крику не придают значения и выделывают свои скидки, не обращая на сорок никакого внимания. Вот почему и думается иной раз, что ни к чему это сорочье стрекотанье и так это они, вроде как и люди, иногда от скуки в болтовне просто время проводят.

Заяц, чуть-чуть постояв, сделал свой первый огромный прыжок, или, как охотники говорят, свою скидку,— в одну сторону, постояв там, скинулся в другую и через десяток малых прыжков — в третью и там лег глазами к своему следу на тот случай, что если Травка разберется в скидках, придет и к третьей скидке, так чтобы можно было вперед увидеть ее...

Да, конечно, умен, умен заяц, но все-таки эти скидки — опасное дело: умная гончая тоже понимает, что заяц всегда глядит в свой след, и так исхитряется взять направление на скидках, не по следам, а прямо по воздуху, верхним чутьем.





И как же, значит, бьется сердчишко у зайчишки, когда он слышит — лай собаки прекратился, собака скололась и начала делать у места скола молча свой страшный круг...

Зайцу повезло на этот раз. Он понял: собака, начав делать свой круг по елани, с чем-то там встретилась, и вдруг там явственно послышался голос человека и поднялся страшный шум...

Можно догадаться,— заяц, услыхав непонятный шум, сказал себе что-нибудь вроде нашего: «Подальше от греха» — и, ковыль-ковыль, тихонечко вышел на обратный след к Лежачему камню.

А Травка, разлетевшись на елани по зайцу, вдруг в десяти шагах от себя глаза в глаза увидела маленького человечка и, забыв о зайце, остановилась как вкопанная.

Что думала Травка, глядя на маленького человечка в елани, можно легко догадаться. Ведь это для нас все мы разные. Для Травки все люди были как два человека — один Антипыч с разными лицами и другой человек — это враг Антипыча. И вот почему хорошая, умная собака не подходит сразу к человеку, а становится и узнает, ее это хозяин или враг его.

Так вот и стояла Травка и глядела в лицо маленького человека, освещенного последним лучом заходящего солнца.

Глаза у маленького человека были сначала тусклые, мертвые, но вдруг в них загорелся огонек, и вот это заметила Травка.

«Скорее всего, это Антипыч»,— подумала Травка.

И чуть-чуть, еле заметно вильнула хвостом.

Мы, конечно, не можем знать, как думала Травка, узнавая своего Антипыча, но догадываться, конечно, можно. Вы помните, бывало ли с вами так? Бывает, наклонишься в лесу к тихой заводи ручья и там, как в зеркале, увидишь — весь-то, весь человек, большой, прекрасный, как для Травки Антипыч, из-за твоей спины наклонился и тоже смотрится в заводь, как в зеркало. И так он прекрасен там, в зеркале, со всею природой, с облаками, лесами, и солнышко там внизу тоже садится, и молодой месяц показывается и частые звездочки.

Так вот точно, наверно, и Травке в каждом лице человека, как в зеркале, виделся весь человек Антипыч, и к каждому стремилась она броситься на шею, но по опыту своему она знала: есть враг Антипыча с точно таким же лицом.

И она ждала.

А лапы ее между тем понемногу тоже засасывало; если так дальше стоять, то и собачьи лапы так засосет, что и не вытащишь. Ждать больше нельзя.

И вдруг...

Ни гром, ни молния, ни солнечный восход со всеми победными звуками, ни закат с журавлиным обещанием нового прекрасного дня — ничто, никакое чудо природы не могло быть больше того, что случилось сейчас для Травки в болоте: она услышала слово человеческое — и какое слово!

Антипыч, как большой, настоящий охотник, назвал свою собаку вначале, конечно, по-охотничьи — от слова *травить,* и наша Травка вначале у него называлась Затравка; но после охотничья кличка на языке оболталась, и вышло прекрасное имя Травка. В последний раз, когда приходил к нам Антипыч, собака его называлась еще Затравка. И когда загорелся огонек в глазах маленького человека, это значило, что Митраша вспомнил имя собаки. Потом омертвелые, синеющие губы маленького человека стали наливаться кровью, краснеть, зашевелились. Вот это движение губ Травка заметила и второй раз чуть-чуть вильнула хвостом. И тогда произошло настоящее чудо в понимании Травки. Точно так же, как старый Антипыч в самое старое время, новый молодой и маленький Антипыч сказал:

— Затравка!

Узнав Антипыча, Травка мгновенно легла.

— Ну, ну! — сказал Антипыч.— Иди ко мне, умница!

И Травка в ответ на слова человека тихонечко поползла.

Но маленький человек звал ее и манил сейчас не совсем от чистого сердца, как думала, наверно, сама Травка. У маленького человека в словах не только дружба и радость была, как думала Травка, а тоже таился и хитрый план своего спасения. Если бы он мог

пересказать ей понятно свой план, с какой радостью бросилась бы она его спасать. Но он не мог сделать себя для нее понятным и должен был обманывать ее ласковым словом. Ему даже надо было, чтобы она его боялась, а то если бы она его не боялась, не чувствовала хорошего страха перед могуществом великого Антипыча и по-собачьи со всех ног бросилась бы ему на шею, то неминуемо болото бы затащило в свои недра человека и его друга — собаку. Маленький человек просто не мог быть сейчас великим человеком, какой мерещился Травке. Маленький человек принужден был хитрить.

— Затравушка, милая Затравушка! — ласкал он ее сладким голосом.

А сам думал:

«Ну, ползи, только ползи!»

И собака, своей чистой душой подозревая что-то не совсем чистое в ясных словах Антипыча, ползла с остановками.

— Ну, голубушка, еще, еще!

А сам думал:

«Ползи только, ползи».

И вот понемногу она подползла. Он мог бы уже и теперь, опираясь на распластанное на болоте ружье, наклониться немного вперед, протянуть руку, погладить по голове. Но маленький хитрый человек знал, что от одного его малейшего прикосновения собака с визгом радости бросится на него и утопит.

И маленький человек остановил в себе большое сердце. Он замер в точном расчете движения, как боец в определяющем исход борьбы ударе: жить ему или умереть.

Вот еще бы маленький ползок по земле, и Травка бы бросилась на шею человека, но в расчете своем маленький человек не ошибся: мгновенно он выбросил свою правую руку вперед и схватил большую, сильную собаку за левую заднюю ногу.

Так неужели же враг человека так мог обмануть?

Травка с безумной силой рванулась, и она бы вырвалась из руки маленького человека, если бы тот, уже достаточно выволоченный, не схватил другой рукой ее за другую ногу. Мгновенно вслед за тем он лег жи-

вотом на ружье, выпустил собаку и на четвереньках сам, как собака, переставляя опору-ружье все вперед и вперед, подполз к тропе, где постоянно ходил человек и где от ног его по краям росла высокая трава белоус. Тут, на тропе, он поднялся, тут он отер последние слезы с лица, отряхнул грязь с лохмотьев своих и, как настоящий большой человек, властно приказал:

— Иди же теперь ко мне, моя Затравка!

Услыхав такой голос, такие слова, Травка бросила все свои колебания: перед ней стоял прежний, прекрасный Антипыч. С визгом радости, узнав хозяина, кинулась она ему на шею, и человек целовал своего друга и в нос, и в глаза, и в уши.

Не пора ли сказать теперь уж, как мы сами думаем о загадочных словах нашего старого лесника Антипыча, когда он обещал перешепнуть свою правду собаке, если мы сами его не застанем живым? Мы думаем, Антипыч не совсем в шутку об этом сказал. Очень может быть, тот Антипыч, как Травка его понимает, или, по-нашему, весь человек в древнем прошлом его, перешепнул своему другу-собаке какую-то свою большую человеческую правду, и мы думаем: эта правда есть правда вековечной суровой борьбы людей за любовь.

XII

Нам теперь остается уже не много досказать о всех событиях этого большого дня в Блудовом болоте. День, как ни долог был, еще не совсем кончился, когда Митраша выбрался из елани с помощью Травки. После бурной радости от встречи с Антипычем деловая Травка сейчас же вспомнила свой первый гон по зайцу. И понятно: Травка — гончая собака, и дело ее — гонять для себя, но для хозяина Антипыча поймать зайца — это все ее счастье. Узнав теперь в Митраше Антипыча, она продолжала свой прерванный круг и вскоре попала на выходной след русака и по этому свежему следу сразу пошла с голосом.

Голодный Митраша, еле живой, сразу понял, что все спасение его будет в этом зайце, что если он

убьет зайца, то огонь добудет выстрелом, и, как не раз бывало при отце, испечет зайца в горячей золе. Осмотрев ружье, переменив подмокшие патроны, он вышел на круг и притаился в кусту можжевельника.

Еще хорошо можно было видеть на ружье мушку, когда Травка завернула зайца от Лежачего камня на большую Настину тропу, выгнала на палестинку, направила его отсюда на куст можжевельника, где таился охотник. Но тут случилось, что Серый, услыхав возобновленный гон собаки, выбрал себе как раз тот самый куст можжевельника, где таился охотник, и два охотника, человек и злейший враг его, встретились. Увидев серую морду от себя в пяти каких-то шагах, Митраша забыл о зайце и выстрелил почти в упор.

Серый помещик окончил жизнь свою без всяких мучений.

Гон был, конечно, сбит этим выстрелом, но Травка дело свое продолжала. Самое же главное, самое счастливое был не заяц, не волк, а что Настя, услыхав близкий выстрел, закричала, Митраша узнал ее голос, ответил, и она вмиг к нему прибежала. После того вскоре и Травка принесла русака своему новому, молодому Антипычу, и друзья стали греться у костра, готовить себе еду и ночлег.

Настя и Митраша жили от нас через дом, и когда утром заревела у них на дворе голодная скотина, мы первые пришли посмотреть, не случилось ли какой беды у детей. Мы сразу поняли, что дети дома не ночевали и скорее всего заблудились в болоте. Собрались мало-помалу и другие соседи, стали думать, как нам выручить детей, если они еще только живы. И только собрались было рассыпаться по болоту во все стороны — глядим: а охотники за сладкой клюквой идут из леса гуськом, и на плечах у них шест с тяжелой корзиной, и рядом с ними Травка, собака Антипыча.

Они рассказали нам во всех подробностях обо всем, что с ними случилось в Блудовом болоте. И всему у нас поверили: неслыханный сбор клюквы был нали-

цо. Но не все могли поверить, что мальчик на одиннадцатом году жизни мог убить старого хитрого волка. Однако несколько человек из них, кто поверил, с веревкой и большими санками отправились на указанное место и вскоре привезли мертвого Серого помещика. Тогда все в селе на время бросили свои дела и собрались, и даже не только из своего села, а даже из соседних деревень. Сколько тут было разговоров! И трудно сказать, на кого больше глядели,— на волка или на охотника в картузе с двойным козырьком. Когда переводили глаза с волка, говорили:

— А вот смеялись, дразнили «Мужичок в мешочке»!

И тогда незаметно для всех прежний «Мужичок в мешочке» правда стал переменяться, и за следующие два года войны вытянулся, и какой из него парень вышел — высокий, стройный. И стать бы ему непременно героем Отечественной войны, да вот только война-то кончилась.

А Золотая Курочка тоже всех удивила в селе. Никто ее в жадности, как мы, не упрекал, напротив, все одобряли, и что она благоразумно звала брата на торную тропу, и что так много набрала клюквы. Но когда из детдома эвакуированных ленинградских детей обратились в село за посильной помощью больным детям, Настя отдала им всю свою целебную ягоду. Тут-то вот мы, войдя в доверие девочки, узнали от нее, как мучилась она про себя за свою жадность.

Нам остается теперь сказать еще несколько слов о себе: кто мы такие и зачем попали в Блудово болото. Мы — разведчики болотных богатств. Еще с первых дней Отечественной войны работали над подготовкой болота для добывания в нем горючего — торфа. И мы дознались, что торфа в этом болоте хватит для работы большой фабрики лет на сто. Вот какие богатства скрыты в наших болотах! А многие до сих пор только и знают об этих великих кладовых солнца, что в них будто бы черти живут: все это вздор, и никаких нет в болоте чертей.

1945

РАССКАЗЫ



НЕРЛЬ

I

Мы ждали это 14 марта, но 12-го вечером появились признаки, что событие совершится, может быть, в эту же ночь, и потому я побежал в аптеку за сулемой и карболкой, а жена пошла в сарай за соломой. Когда я вернулся, солома была уже в кухне, я опрыскал ее сулемой, уложил в углу, и весь этот угол отгородил бревном и, чтобы не откатывалось, прибил к стене гвоздями. Наша Кэт знала цель этих приготовлений по прошлому разу, дожидалась спокойно и, как только я кончил работу, шагнула через бревно и свернулась в углу на соломе.

Мы не ошиблись: в эту ночь Кэт родила нам шесть щенков: три сучки и три кобелька. Все три сучки были поменьше кобельков и вышли совершенно в мать, в немецкую легавую с большими кофейными пятнами на белом и по белому частый крап. У одной на макушке, на белой лысинке, была одна копейка, у другой — две копейки, третья сучка была без копейки, просто с белой полоской на темени, и заметно была поменьше и послабее сестер. А кобельки вышли в отца, Тома; пятна были несколько потемнее, у двух почему-то на белом пока не было крапу, а третий был значительно крупнее других, весь в пятнах, крапе, таком частом, что казался весь темным, и вообще был тяжел и дубоват. *Дубец* — мелькнуло слово у меня в

голове, я поймал его и вспомнил охоты свои по выводкам на речке Дубец. Слово мелькнуло недаром, я очень удачно охотился на Дубце, и мне показалось — неплохо будет в память этих охот назвать новую собаку Дубцом. Да и пора вообще бросить трафаретные клички и давать свои собственные, местные, ведь каждый ручеек, каждый пригорок на земле получил свое название без помощи греческой мифологии.

Из этого помета я решил себе оставить кобелька и сучку. Название для сучки мне сейчас же пришло в голову, как только мелькнул Дубец. Я назову ее Нерлью, потому что на болотистых берегах этой речки прошлый год много нашел гнездовых дупелей.

Но я не знаю, мне кажется, было что-то больше охоты на этой странной и капризной реке. Она такая извилистая, что местами от излучины до излучины через разделяющий их берег можно было веслом достать. Я плыву на челноке по течению, правлю веслом, чтобы не уткнуться в болотистый берег, подгребаю, завертываю. Впереди виднеется церковь, и кажется очень недалеко, но вдруг река завертывает в противоположную сторону, церковь исчезает, и через долгое время, когда я снова завертываю, село оказывается от меня много дальше, чем было вначале. Слышно, где-то молодой пастух учится играть на берестяной трубе, звуки то сильнее, то тише, но слышны мне — все тот же пастух, та же мелодия, те же ошибки. К обеду я подплываю, но село оказывается не близко от берега, мне идти туда незачем. Я отдыхаю на берегу. Пастух перестал. А потом я удаляюсь вперед по реке, и пастух опять меня преследует до самого вечера. Только уже когда садилось солнце, мне была милость: река выпрямилась, увела меня от села далеко, и в крутых лесных берегах пение птиц перебило оставшееся в ушах воспоминание неверной мелодии. Вода очень быстрая несет меня, только держи крепче весло в руке. Я не пропускаю глазами проплывающую в воде щуку, голубую стрекозу на траве, букет желтых цветов, семью куликов на гнилом краю затонувшего челнока, сверкающий в лучах вечернего солнца широкий лист водяного растения, на трепетной

струе поклоны провожающих меня тростинок. Какой бесплодный день на реке и какое очарование: никогда не забуду и не перестану любить.

Дикая Нерль, я воплощу твое имя в живую собачку, для которой великим счастьем на земле будет с любовью смотреть на человека, даже когда он запутается в излучинах своей жизни.

II

Со времени рождения моих щенков я устроился обедать в кухне: очень удобно во время еды с высоты стола наблюдать и раздумывать о судьбе этих маленьких животных. Там, внизу, кишит пестрый мир слепцов, и вечно глядят на меня поверх них глаза матери, стараясь проникнуть в меня и узнать судьбу, но я тоже не волен, я не знаю еще, в кого удастся мне воплотить имена Нерль и Дубец. Я же понимаю, что вес и форма не все для рабочей собаки, в собаке должно быть прежде всего то, что мы условились называть умом, а это сразу узнать в слепом потомстве красавицы Кэт невозможно. Моя рабочая собака прежде всего должна быть умная, ведь даже слабость чутья вполне возмещается пониманием моего руководства, и с такой собакой больше дичи убьешь, чем с чутьистой, но глупой.

Так я обедаю, ужинаю, чай пью и думаю о своем, и беседую с женой, и глаз не отвожу от гнезда. А если читаю газету, то слышу, как спящие видят сны: в жизни едва рот умеют открыть, а там во сне на кого-то уже по-настоящему лают собачками. Но я бросаю газету, когда они просыпаются и начинается у них интересная борьба за существование. Тогда каждый щенок пускает в ход свою силу, ум, проворство, хитрость в борьбе за обладание задними, самыми молочными сосцами. Как только этот спящий пестрый клубок маленьких собачек пробуждается, все они бросаются в атаку на сосцы. Лезут друг на друга, одни проваливаются и там залегают под тяжестью верхних, неудачники скатываются вниз, мелькая розовыми, как у поросят, животами, оправляются, снова взбираются.

Можно бы, конечно, разделить слабых и сильных, кормить их отдельно. Но как узнать действительно слабых и сильных? Сегодня лучшее достается сильным мускулами, завтра сильный умом перехватил добычу у большого и сосет на первой позиции. Я сдерживаю в себе жалость к более слабым на вид и, пока не найду своей Нерли, не позволю себе вмешаться в дело природы.

Тот чумазый щенок, который помог мне выдумать кличку Дубец, в первые же дни настолько окреп, что теперь сразу всех расшвыривает, захватывает самую лучшую заднюю сиську, ложится бревном, не обращает никакого внимания, что на нем лежат другие в два яруса, и знай только почвякивает. А хуже всех маленькой сучке, у которой на темени белая лысинка без копейки, ей достаются только самые верхние сосцы-пуговки, и, верно, она никогда не наедается.

В собачьем понимании мы, конечно, настоящие боги: сидят боги за столом, как на Олимпе, едят, обсуждают судьбу своих собак. А мы каждый день спорим с женой. Женщина жалеет маленькую собачку, говорит мне, что она самая изящная, вся в мать, и нам непременно надо вмешаться в дело природы и не дать ей захиреть. Жалость помогает ей открывать новые и новые прелести в любимой собачке и соблазнять ими меня. Мне и с одной женой трудно бороться за свой план, но однажды на помощь ей к нашему Олимпу присоединяется новая богиня жалости. Это была одна наша знакомая, хрупкая телом, но сильная. Она вмиг поняла другую женщину, и обе стали просить у меня за слабое животное. Я очень уважаю эту Анну Васильевну, мне пришлось пустить в ход все мои силы.

— Не бросайтесь жалостью,— говорил я,— поберегите ее для людей, подумайте, что другие просто морят ненужных щенков, а я имею план выбрать себе друга, уважая законы природы. Мы часто губим добро неумной жалостью.

Анна Васильевна попробовала стать на мою разумную точку зрения:

— Да ведь она же больших денег стоит, вы погубите не только собачку в своем опыте, но и деньги.

Я не поверил искренности Анны Васильевны, когда она, бессребреница, заговорила о деньгах, и ответил решительно, чтобы нам больше не спорить и начать о другом:

— Не нужны мне деньги, и пусть собачка погибнет, берегите свое для людей; там, в этом мире...

Я указал вниз на борьбу за сосцы:

— Там не боятся погибели, там смерть принимают как жалость природы.

Мы сели обедать молча. Жена подала Анне Васильевне постное: грибы и кисель. Я очень люблю постное, мои говяжьи котлеты приобретают особенный вкус, когда вокруг постятся. Я ем говяжьи котлеты и стою за посты.

Я извинился перед Анной Васильевной за свои котлеты и, чтобы смягчить резкость своих слов перед этим, стал рассказывать о множестве исцеленных желудков во время постов.

Когда мы доедали последнее блюдо, маленькие животные, там, внизу, насосались молока, стали позевывать, укладываться друг на друга, пока наконец не сложились в свою обыкновенную сонную пирамидку. Для тепла и покоя мы прикрываем их сверху моей старой охотничьей курткой, а мать наконец-то освобождается, отправляется в другой угол к миске с овсянкой, приправленной бульоном из костей. Кэт справляется со своим блюдом скорее, чем мы с одним своим третьим, возвращается к гнезду и укладывается возле щенков.

Но, конечно, спор, не доведенный до конца, течение мысли, остановленное насилием, в глубине нас продолжается, и, благодаря этой неуемности мысли, появляется вдруг как бы чудом вне нас повод для продолжения спора и заключения.

Мы говорили о полезном значении постов для здоровья, а в то же время все смотрели в гнездо. И вот под курткой начинается какое-то движение, тихое, осторожное, показывается голова с белой лысинкой и наконец вся она, та самая, слабая, изящная сучка, из-за которой весь сыр-бор загорелся. Все остальные щенки спят крепко и взлаивают. Нет никакого сомнения, что маленькая сучка задумала нечто свое. Снача-

ла, однако, мы думали, что это она, как все щенки, отходит немного в сторону от гнезда, чтобы освободиться от пищи. Но сучка, выбравшись из-под куртки, ковыляет по соломе прямо к матери, сосет из задней сиськи, наливается, засыпает у нее под лопаткой, сытая и в тепле, гораздо лучше, чем под моей охотничьей курткой. Нас всех, конечно, это поразило: ведь только что спорили о жалости, и все обошлось само собой, сучка сыта.

— Вот, дорогая Анна Васильевна,— сказал я, торжествуя победу,— вы же сами не раз мне говорили, что в тяжелой борьбе за кусок хлеба вы завоевали себе нежданное счастье, какое не снится сытым и обеспеченным, что вы благословляете за это даже тех, кто хотел вам причинить зло. Как же должно благодарить меня это маленькое животное, что я не позволил вам его прикармливать и вызвал простую догадку в ее крошечной, только что прозревшей головке!

III

В другой раз, вечером того же самого дня, когда наши щенки пробудились и начали атаку, маленькая сучка с белой лысинкой в этой борьбе не участвовала. А утром я нашел ее не под курткой, а под лопаткой у матери. Мы очень обрадовались и, не решаясь только за одно это признать ее Нерлью, смеясь, пока стали называть ее Анной Васильевной, которую очень любили. Через несколько дней, когда наша новая маленькая Анна Васильевна очень поправилась, мы заметили, что она гораздо тверже других щенят начала наступать ножками, и появилась у нее новая особенность: она стала бродить по гнезду, совершая путешествие в уголки, все более и более далекие от матери. Все другие щенки знают только два положения: спать и бороться между собою за сосцы. Анна Васильевна догадалась исключить из своей жизни грубую борьбу за существование, силы ее с каждым днем прибывали, и мы вполне понимаем с женой и очень радуемся, что освобожденную энергию она использует для любознательности. И так спокойно было изо

дня в день, погружаясь в природу собак, понимать свою жизнь, свои достижения; ведь тоже почему-то приходилось много бродить.

Пределом путешествий Анны Васильевны было бревно высотой в четыре вершка. Для маленькой тут кончались все путешествия: она могла только поставить передние лапки на бревно и отсюда заглядывать на простор всего пола, как мы любуемся далью полей. Туда, в эту даль, уходила мать к своей миске, что-то делала там и возвращалась обратно. Анна Васильевна стала дожидаться матери на бревне, а когда она возвращается и ложится, обнимает лапками ее нос, полизывает губы, узнавая мало-помалу вкус бульонной овсянки. И вот однажды, когда Кэт перешагнула через бревно, Анна Васильевна с высоты барьера вгляделась в нее, лакающую бульон, и стала сильно скулить. Мать бросила еду, вернулась, опрокинула дочь носом с барьера и, наверное, думая, что она не может освободиться от пищи, стала ей делать обыкновенный массаж живота языком. Дочь скоро успокоилась, мать вернулась к еде. Но как только Кэт удалилась, Анна Васильевна поднялась на барьер и принялась еще больше скулить. Мать оглядывается, не может понять, переводит глаза на меня и начинает тоже скулить.

В глазах ее: «не понимаю ничего, помоги, добрый хозяин».

Я говорю ей:

— Пиль!

Это значит разное, смотря по тону, каким говорится; теперь это значило: «не обращай внимания, принимайся за еду и не балуй собачку». Мать принимается лакать, а дочь, обиженная невниманием матери, делает вгорячах рискованное движение, переваливается через барьер и раскорякой бежит прямо к миске.

Нам было очень забавно смотреть на мать и дочь у одной миски: Кэт, вообще не очень крупная собака с превосходным розовым выменем, вдруг стала огромным животным, и рядом с ней точно такая, с теми же кофейными пятнами, с тем же крапом, с таким же на две трети обрезанным хвостом и во время еды с длинненькой шейкой, крошечная Анна Васильевна,

стоит и тоже пробует делать, как мать. Но скоро оказывается, ей мало, чтобы лизать край миски, она поднимается на задние ноги, передние свешиваются за край. Ей, наверно, думается, что это вроде барьера, что стоит приналечь, переброситься, и тогда откроется вся тайна миски. Она делает такое же рискованное движение, как только что было на бревне, и вдруг переваливается в миску с бульонной овсянкой.

Кэт уже довольно много отъела, и Анне Васильевне в миске было неглубоко. Скоро она вываливается оттуда без помощи матери, вся, конечно, покрытая желтоватой овсянкой. Потом она раскорякой бежит обратно, начинает скулить у бревна. В это время случилось, пробудился Дубец и, услыхав какой-то визг за бревном, сам ковыляет туда. А маленькая Анна Васильевна в это время была уже сама на бревне и вдруг — здравствуйте: перевалилась прямо к Дубцу за барьер. Дубец понюхал ее, лизнул — очень понравилось.

Но что всего удивительней было нам, это когда на другой день из-под куртки вылезла Анна Васильевна, вслед за ней высунул здоровенную башку и Дубец, поплелся за ней к барьеру, перевалил через барьер, проковылял к миске, втяпался в нее передними лапами и залакал. После того оказалось, что первое путешествие Анны Васильевны в миску в мире маленьких собачек означало то же самое, что в нашей человеческой жизни открытие новой страны. За Колумбом, известно, все повалили в Америку, а у собак — в миску. Маленькая сучка с белой лысинкой научила Дубца, и потому что он такой громадный и на нем есть что полизать, когда он выгваздывается в овсянке, то первыми припали к нему обе сучки с копейкой на лысинке и с двумя копейками. Обе эти сучки скоро поняли все и тоже стали путешествовать к миске. Но долго еще два больших белых без крапу и с розовыми рыльцами кобелька держались отдельно от веселого общества и ничего не знали об открытии Америки. Нам пришлось поднести дикарей к тарелке и насильно, уткнув их носы в молоко, держать там, пока не поймут и не хлебнут. И голос наш, призывавший: «тю-тю-тю», первая поняла Нерль, и Дубец пустился

бежать по примеру её, потом вслед за Дубцом бежали и сестры ее, сучки с копейкой и двумя копейками на лысинках, и под конец согласились дружные дикари с розовыми рыльцами. А когда однажды во время нашего обеда собачья публика пробудилась и тоже захотела обедать и Нерль, почувствовав голод, бросила скулящих сестер и братьев, подбежала к Олимпу и стала теребить богов за штаны и за юбку, то нам не оставалось никакого сомнения, что маленькая изящная собачка с белой пролысинкой была именно наша задуманная Нерль.

1926

РОМКА

П е р в а я с т о й к а. Мой легавый щенок называется Ромул, но я больше зову его Ромой или просто Ромкой, а изредка величаю его Романом Василичем.

У этого Ромки скорее всего растут лапы и уши. Такие длинные у него выросли уши, что, когда вниз посмотрит, так и глаза закрывают, а лапами он часто что-нибудь задевает и сам кувыркается.

Сегодня был такой случай: поднимался он по каменной лестнице из подвала, зацепил своей лапиной полкирпича, и тот покатился вниз, считая ступеньки. Ромушка этому очень удивился и стоял наверху, спустив уши на глаза. Долго он смотрел вниз, повертывая голову то на один бок, то на другой, чтобы ухо отклонилось от глаза и можно было смотреть.

— Вот штука-то, Роман Василич,— сказал я,— кирпич-то вроде как живой, ведь скачет!

Рома поглядел на меня умно.

— Не очень-то заглядывайся на меня,— сказал я,— не считай галок, а то он соберется с духом, да вверх поскачет, да тебе даст прямо в нос.

Рома перевел глаза. Ему, наверное, очень хотелось побежать и проверить, отчего это мертвый кир-

пич вдруг ожил и покатился. Но спуститься туда было очень опасно: что, если там кирпич схватит его и утянет вниз навсегда в темный подвал?

— Что же делать-то,— спросил я,— разве удрать?

Рома взглянул на меня только на одно мгновение, и я хорошо его понял, он хотел мне сказать:

«Я и сам подумываю, как бы удрать, а ну как я повернусь, а он меня схватит за прутик?» [1].

Нет, и это оказывается невозможным, и так Рома долго стоял, и это была его первая стойка по мертвому кирпичу, как большие собаки постоянно делают, когда носом почуют в траве живую дичь.

Чем дольше стоял Ромка, тем ему становилось опасней и страшней: по собачьим чувствам выходит так, что чем мертвее затаится враг, тем ужаснее будет, когда он вдруг оживет и прыгнет.

«Перестою», — твердит про себя Ромка.

И чудится ему, будто кирпич шепчет:

— Перележу.

Но кирпичу можно хоть сто лет лежать, а живому песику трудно, устал и дрожит.

Я спрашиваю:

— Что же делать-то, Роман Василич?

Рома ответил по-своему:

— Разве брехнуть?

— Вали,— говорю,— лай!

Ромка брехнул и отпрыгнул. Верно, со страху ему показалось, будто он разбудил кирпич и тот чуть-чуть шевельнулся. Стоит, смотрит издали,— нет, не вылезает кирпич. Тихонечно подкрадывается, глядит осторожно вниз: лежит.

— Разве еще раз брехнуть!

Брехнул и отпрыгнул.

Тогда на лай прибежала Кэт, Ромина мать, впилась глазами в то место, куда лаял сын, и медленно, с лесенки на лесенку, стала спускаться. На это время Ромка, конечно, перестал лаять, доверил это дело матери и сам глядел вниз много смелее.

Кэт узнала по запаху Роминой лапы след на страшном кирпиче, понюхала его: кирпич был совер-

---

[1] Хвост у пойнтера называется по-охотничьи прутом.

шенно мертвый и безопасный. Потом, на случай, она постепенно обнюхала все, ничего не нашла подозрительного и, повернув голову вверх, глазами сказала сыну:

— Мне кажется, Рома, здесь все благополучно.

После того Ромул успокоился и завилял прутиком. Кэт стала подыматься, он нагнал мать и принялся теребить ее за ухо.

Раннее утро. Солнце еще не встало, в низинах туман. По седой зелени мокрого луга пишет узоры мой быстрый Ромка.

Мы перешли небольшое ржаное польцо́, обрамленное болотным кустарником, утопающим в цветущих травах. Рожь буреет. Луговые цветы в этот год благодаря постоянным дождям необычайно ярки и пышны. Мне их не хочется называть, до того обыкновенны эти названия и так мало говорит каждое в отдельности.

...А когда мы вышли опять на край ржаного поля, то голубые васильки, проглядывающие в аквамарине стеблей, обласкали меня больше, чем звезды ночною порой.

Ромка-пылесос. С поля возили клевер, и мне показалось неудобным стрелять. Ромка сидел двое суток без дела и одурел от скуки. Он выдумал превратить свой нос в пылесос — он так это делает: к тонкой щелке между половицами прижмет ноздрю и остальную часть носа туго пришлепнет, так, что тянется только из щелки, и тянет, и тянет в себя содержимое подполья. Обнюхав одно место, переходит к другому и оставляет на первом мокрый отпечаток своего пятачка.

Мне надоело слушать этот пылесос, пришлось под вечер пройти с ним на болото.

Чудовище в ромашках. Я вышел на суходол и пустил Ромку на широкие круги. Вдруг из куста выскакивает кошка,— не только за свисток схватиться, но даже крикнуть я не успел, как Ромка ринулся.

Я нашел их на поляне: кошка сидела сгорбившись, готовясь к смертельному прыжку, выражение кошки — самое страшное, какое только может быть на свете; так, иной слабейший из людей, в последнем отчаянии чуя смерть, говорит: «Не боюсь, потому что моя смерть будет и смертью твоей!»

Перед этим чудовищем в ромашках Ромка стал неподвижно с налитыми кровью глазами. Я свистнул. Я крикнул. Он медленно перевел глаза на меня. Я потряс в воздухе плетью. Он медленным обходом куста перешел ко мне. А как исчезла кошка, я не видал.

...Ромка такой видный, такой большой, что лошади его пугаются и бросаются в сторону.

ЯРИК

Однажды я лишился своей легавой собаки и охотился *по бродкам,* значит, росистым утром находил следы птиц на траве и по ним добирал, как собака, и не могу наверно сказать, но мне кажется, я немного и чуял.

В то время верст за тридцать от нас ветеринарному фельдшеру удалось повязать свою замечательную ирландскую суку с кобелем той же породы, та и другая собаки были из одного бывшего помещичьего имения. И вот однажды в тот самый момент, когда жить стало особенно трудно, один мой приятель доставил мне шестинедельного щенка-ирландца. Я не отказался от подарка и выходил себе друга. Натаска без ружья мне доставляет иногда наслаждение не меньшее, чем настоящая охота с ружьем. Помню, раз было... На вырубке вокруг старых черных пней было множество высоких, елочкой, красных цветов, и от них вся вырубка казалась красной, хотя гораздо больше тут было иван-да-марьи, цветов наполовину синих, наполовину желтых, во множестве тут были тоже и белые ромашки с желтой пуговкой в сердце, звонцы, синие колокольчики, лиловое кукушкино платье,— каких, каких цветов не было, но от красных

елочек, казалось, вся вырубка была красная. А возле черных пней еще можно было найти переспелую и очень сладкую землянику. Летним временем дождик совсем не мешает, я пересидел его под елкой, сюда же в сухое место собрались от дождя комары, и как ни дымил я на них из своей трубки — собаку мою, Ярика, они очень мучили. Пришлось развести *грудок,* как у нас называют костер, дым от еловых шишек повалил очень густой, и скоро мы выжили комаров и выгнали их на дождик. Но не успели мы с комарами расправиться, дождик перестал. Летний дождик — одно только удовольствие.

Пришлось все-таки под елкой просидеть еще с полчаса и дождаться, пока птицы выйдут кормиться и дадут по росе свежие следы. Когда по расчету это время прошло, мы вышли на красную вырубку, и, сказав:

— Ищи, друг! — я пустил своего Ярика.

Ярику теперь пошло третье поле. Он проходит под моим руководством высший курс ирландского сеттера, третье поле — конец ученью, и если все будет благополучно, в конце этого лета у меня будет лучшая в мире охотничья собака, выученный мной ирландский сеттер, неутомимый и с чутьем на громадное расстояние.

Часто я с завистью смотрю на нос своего Ярика и думаю: «Вот если бы мне такой аппарат, вот побежал бы я на ветерок по цветущей красной вырубке и ловил бы и ловил интересные мне запахи».

Но не чуткие мы и лишены громадного удовольствия. Мы постоянно спрашиваем: «Как ваше зрение, хорошо ли вы слышите?», но никто из нас не спросит: «Как вы чуете, как у вас дела с носом?» Много лет я учу охотничьих собак. Всегда, если собака причует дичь и поведет, испытываю большое радостное волнение и часто думаю: «Что же это было бы, если бы не Ярик, а я сам чуял дичь?»

— Ну, ищи, гражданин! — повторил я своему другу.

И он пустился кругами по красной вырубке.

Скоро на опушке Ярик остановился под деревьями, крепко обнюхал место, искоса, очень серьезно

посмотрев на меня, пригласил следовать: мы понимаем друг друга без слов. Он повел меня за собой очень медленно, сам же уменьшился на ногах и очень стал похож на лисицу.

Так мы пришли к густой заросли, в которую пролезть мог только Ярик, но одного его пустить туда я бы не решился: один он мог увлечься птицами, кинуться на них, мокрых от дождя, и погубить все мои труды по обучению. С сожалением хотел было я его отозвать, но вдруг он вильнул своим великолепным, похожим на крыло, хвостом, взглянул на меня; я понял, он говорил:

— Они тут ночевали, а кормились на поляне с красными цветами.

— Как же быть? — спросил я.

Он понюхал цветы: следов не было. И все стало понятно: дождик смыл все следы, а те, по которым мы шли, сохранились, потому что были под деревьями.

Оставалось сделать новый круг по вырубке до встречи с новыми следами после дождя. Но Ярик и полукруга не сделал, остановился возле небольшого, но очень густого куста. Запах тетеревов пахнул ему на всем ходу, и потому он стал в очень странной позе, весь кольцом изогнулся и, если бы хотел, мог во все удовольствие любоваться своим великолепным хвостом. Я поспешил к нему, огладил и шепотом сказал:

— Иди, если можно!

Он распрямился, попробовал шагнуть вперед, и это оказалось возможно, только очень тихо. Так, обойдя весь куст кругом, он дал мне понять:

— Они тут были во время дождя.

И уже по самому свежему следу, по роске, по видимому глазом зеленому бродку на седой от капель дождя траве повел, касаясь своим длинным пером на хвосте самой земли.

Вероятно, они услышали нас и тоже пошли вперед, я это понял по Ярику, он мне по-своему доложил:

— Идут впереди нас и очень близко.

Они все вошли в большой куст можжевельника, и тут Ярик сделал свою последнюю *мертвую* стойку. До сих пор ему еще можно было время от времени раскрывать рот и хахать, выпуская свой длинный розовый язык, теперь же челюсти были крепко стиснуты, и только маленький кончик языка, не успевший вовремя вобраться в рот, торчал из-под губы, как розовый лепесток. Комар сел на розовый кончик, впился, стал наливаться, и видно было, как темно-коричневая, словно клеенчатая, тюпка на носу Ярика волновалась от боли и танцевала от запаха, но убрать язык было невозможно: если открыть рот, то оттуда может сильно хахнуть и птиц испугать.

Но я не так волновался, как Ярик, осторожно подошел, ловким щелчком скинул комара и полюбовался на Ярика сбоку: как изваянный стоял он с вытянутым в линию спины хвостом-крылом, а зато в глазах собралась в двух точках вся жизнь.

Тихонько я обошел куст и стал против Ярика, чтобы птицы не улетели за куст невидимо, а поднялись вверх.

Мы так довольно долго стояли, и, конечно, они в кусту хорошо знали, что мы стоим с двух сторон. Я сделал шаг к кусту и услышал голос тетеревиной матки, она квохнула и этим сказала детям:

— Лечу, посмотрю, а вы пока посидите.

И со страшным треском вылетела.

Если бы на меня она полетела, то Ярик бы не тронулся, и если бы даже просто полетела над ним, он не забыл бы, что главная добыча сидит в кусту и какое это страшное преступление бежать за взлетевшей птицей. Но большая серая, почти в курицу птица вдруг кувыркнулась в воздухе, подлетела почти к самомуЯрикову носу и над самой землей тихонько полетела, маня его криком:

— Догоняй же, я летать не умею!

И, как убитая, в десяти шагах упала на траву и по ней побежала, шевеля высокие красные цветы.

Этого Ярик не выдержал и, забыв годы моей науки, ринулся...

Фокус удался, она отманила зверя от выводка и, крикнув в кусты детям:

— Летите, летите все в разные стороны,— сама вдруг взмыла над лесом и была такова.

Молодые тетерева разлетелись в разные стороны, и как будто слышалось издали Ярику:

— Дурак, дурак!

— Назад! — крикнул я своему одураченному другу.

Он опомнился и, виноватый, медленно стал подходить.

Особенным, жалким голосом я спрашиваю:

— Что ты сделал?

Он лег.

— Ну, иди же, иди!

Ползет виноватый, кладет мне на коленку голову, очень просит простить.

— Ладно,— говорю я, усаживаясь в куст,— лезь за мной, смирно сиди, не хахай: мы сейчас с тобой одурачим всю эту публику.

Минут через десять я тихонько свищу, как тетеревята:

— Фиу, фиу!

Значит:

— Где ты, мама?

— Квох, квох,— отвечает она, и это значит: иду!

Тогда с разных сторон засвистело, как я:

— Где ты, мама?

— Иду, иду,— всем отвечает она.

Один цыпленок свистит очень близко от меня, я ему отвечаю, он бежит, и вот я вижу: у меня возле самой коленки шевелится трава.

Посмотрев Ярику в глаза, погрозив ему кулаком, я быстро накрываю ладонью шевелящееся место и вытаскиваю серого, величиною с голубя, цыпленка.

— Ну, понюхай,— тихонько говорю Ярику.

Он отвертывает нос: боится хамкнуть.

— Нет, брат, нет,— жалким голосом прошу я,— понюхай-ка!

Нюхает, а сам, как паровоз.

Самое сильное наказание.

Вот теперь я уже смело свищу и знаю, непремен-

но прибежит ко мне матка: всех соберет, одного не хватит — и прибежит за последним.

Их всех, кроме моего, семь; слышу, как один за другим, отыскав мать, смолкают, и когда все семь смолкли, я, восьмой, спрашиваю:

— Где ты, мама?

— Иди к нам,— отвечает она.

— Фиу, фиу: нет, ты веди всех ко мне.

Идет, бежит, вижу, как из травы то тут, то там, как горлышко бутылки, высунется ее шея, а за ней везде шевелит траву и весь ее выводок.

Все они сидят от меня в двух шагах, теперь я говорю Ярику глазами:

— Ну, не будь дураком!

И пускаю своего тетеревенка.

Он хлопает крыльями о куст, и все хлопают, все вздымаются. А мы из куста с Яриком смотрим вслед улетающим, смеемся:

— Вот как мы вас одурачили, граждане!

СИНИЙ ЛАПОТЬ

Через наш большой лес проводят шоссе с отдельными путями для легковых машин, для грузовиков, для телег и для пешеходов. Сейчас пока для этого шоссе только лес вырубили коридором. Хорошо смотреть вдоль по вырубке: две зеленые стены леса и небо в конце. Когда лес вырубали, то большие деревья куда-то увозили, мелкий же хворост — грачевник — собирали в огромные кучи. Хотели увезти и грачевник для отопления фабрики, но не управились, и кучи по всей широкой вырубке остались зимовать.

Осенью охотники жаловались, что зайцы куда-то пропали, и некоторые связывали это исчезновение зайцев с вырубкой леса: рубили, стучали, гомонили и распугали. Когда же налетела пороша и по следам можно было разгадать все заячьи проделки, пришел следопыт Родионыч и сказал:

— Синий лапоть весь лежит под кучами грачевника.

Родионыч — в отличие от всех охотников — зайца называл не «косым чертом», а всегда «синим лаптем»; удивляться тут нечему: ведь на черта заяц не более похож, чем на лапоть, а если скажут, что синих лаптей не бывает на свете, то я скажу, что ведь и косых чертей тоже не бывает.

Слух о зайцах под кучами мгновенно обежал весь наш городок, и под выходной день охотники во главе с Родионычем стали стекаться ко мне.

Рано утром, на самом рассвете, вышли мы на охоту без собак: Родионыч был такой искусник, что лучше всякой гончей мог нагнать зайца на охотника. Как только стало видно настолько, что можно было отличить следы лисьи от заячьих, мы взяли заячий след, пошли по нему, и, конечно, он привел нас к одной куче грачевника, высокой, как наш деревянный дом с мезонином. Под этой кучей должен был лежать заяц, и мы, приготовив ружья, стали все кругом.

— Давай,— сказали мы Родионычу.

— Вылезай, синий лапоть! — крикнул он и сунул длинной палкой под кучу.

Заяц не выскочил. Родионыч оторопел. И, подумав, с очень серьезным лицом, оглядывая каждую мелочь на снегу, обошел всю кучу, и еще раз по большому кругу обошел: нигде не было выходного следа.

— Тут он,— сказал Родионыч уверенно.— Становитесь на места, ребятушки, он тут. Готовы?

— Давай! — крикнули мы.

— Вылезай, синий лапоть! — крикнул Родионыч и трижды пырнул под грачевник такой длинной палкой, что конец ее на другой стороне чуть с ног не сбил одного молодого охотника.

И вот — нет, заяц не выскочил.

Такого конфуза с нашим старейшим следопытом еще в жизни никогда не бывало; он даже в лице как будто немного опал. У нас же суета пошла, каждый стал по-своему о чем-то догадываться, во все совать свой нос, туда-сюда ходить по снегу и так, затирая все следы, отнимать всякую возможность разгадать проделку умного зайца.

И вот, вижу, Родионыч вдруг просиял, сел, довольный, на пень поодаль от охотников, свертывает себе папироску и моргает, вот подмаргивает мне и подзывает к себе.

Смекнув дело, незаметно для всех подхожу к Родионычу, а он мне показывает наверх, на самый верх засыпанной снегом высокой кучи грачевника.

— Гляди,— шепчет он,— синий-то лапоть какую с нами штуку играет.

Не сразу на белом снегу разглядел я две черные точки — глаза беляка — и еще две маленькие точки—черные кончики длинных белых ушей. Это голова торчала из-под грачевника и повертывалась в разные стороны за охотниками: куда они, туда и голова...

Стоило мне поднять ружье — и кончилась бы в одно мгновение жизнь умного зайца. Но мне стало жалко: мало ли их, глупых, лежит под кучами!..

Родионыч без слов понял меня. Он смял себе из снега плотный комочек, выждал, когда охотники сгрудились на другой стороне кучи, и, хорошо наметившись, этим комочком пустил в зайца.

Никогда я не думал, что наш обыкновенный заяц-беляк, если он вдруг встанет на куче, да еще прыгнет вверх аршина на два, да объявится на фоне неба,— что наш же заяц может показаться гигантом на огромной скале!

А что стало с охотниками! Заяц ведь прямо к ним с неба упал. В одно мгновение все схватились за ружья — убить-то уж очень было легко. Но каждому охотнику хотелось раньше другого убить, и каждый, конечно, хватил, вовсе не целясь, а заяц живехонький пустился в кусты.

— Вот синий лапоть! — восхищенно сказал ему вслед Родионыч.

Охотники еще раз успели хватить по кустам.

— Убит! — закричал один, молодой, горячий.

Но вдруг, как будто в ответ на «убит», в дальних кустах мелькнул хвостик: этот хвостик охотники почему-то всегда называют «цветком».

Синий лапоть охотникам из дальних кустов только своим «цветком» помахал.

ЕЖ

Раз я шел по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа; он тоже заметил меня, свернулся и затукал: тук-тук-тук. Очень похоже было, как если бы вдали шел автомобиль. Я прикоснулся к нему кончиком сапога; он страшно фыркнул и поддал своими иголками в сапог.

— А, ты так со мной! — сказал я. И кончиком сапога спихнул его в ручей. Мгновенно еж развернулся в воде и поплыл к берегу, как маленькая свинья, только вместо щетины на спине были иголки. Я взял палочку, скатил ею ежа в свою шляпу и понес домой.

Мышей у меня было много, я слышал — ежик их ловит, и решил: пусть он живет у меня и ловит мышей.

Так, положил я этот колючий комок посреди пола и сел писать, а сам уголком глаза все смотрю на ежа. Недолго он лежал неподвижно: как только я затих у стола, ежик развернулся, огляделся, туда попробовал идти, сюда и выбрал себе наконец место под кроватью и там совершенно затих.

Когда стемнело, я зажег лампу и — здравствуйте! Ежик выбежал из-под кровати. Он, конечно, подумал на лампу, что это луна взошла в лесу: при луне ежи любят бегать по лесным полянкам. И так он пустился бегать по комнате, представляя, что это лесная полянка. Я взял трубку, закурил и пустил возле луны облачко. Стало совсем как в лесу: и луна, и облака, а ноги мои были как стволы деревьев и, наверное, очень нравились ежу, он так и шнырял между ними, понюхивая и почесывая иголками задник у моих сапог.

Прочитав газету, я уронил ее на пол, перешел в кровать и уснул.

Сплю я всегда очень чутко. Слышу — какой-то шелест у меня в комнате, чиркнул спичкой, зажег свечу и только заметил, как еж мелькнул под кровать. А газета лежала уже не возле стола, а посредине комнаты. Так я и оставил гореть свечу и сам не сплю, раздумывая: «Зачем это ежику газета понадобилась?» Скоро мой жилец выбежал из-под кровати

и прямо к газете, завертелся возле нее, шумел, шумел и наконец ухитрился: надел себе как-то на колючки уголок газеты и потащил ее, огромную, в угол.

Тут я и понял его: газета ему была как в лесу сухая листва, он тащил ее себе для гнезда, и оказалось, правда, в скором времени еж весь обернулся газетой и сделал себе из нее настоящее гнездо. Кончив это важное дело, он вышел из своего жилища и остановился против кровати, разглядывая свечку — луну.

Я подпустил облака и спрашиваю:

— Что тебе еще надо?

Ежик не испугался.

— Пить хочешь?

Я встал. Ежик не бежит.

Взял я тарелку, поставил на пол, принес ведро с водой, и то налью воды на тарелку, то опять вылью в ведро, и так шумлю, будто это ручеек подплескивает.

— Ну, иди, иди,— говорю,— видишь, я для тебя и луну устроил, и облака пустил, и вот тебе вода.

Смотрю: будто сдвинулся вперед. А я тоже немного подвинул к нему свое озеро. Он двинется — и я двину, да так и сошлись.

— Пей,— говорю окончательно.

Он и залакал.

А я так легонько по колючкам рукой провел, будто погладил, и все приговариваю:

— Хороший ты малый, хороший!

Напился еж, я говорю:

— Давай спать.

Лег и задул свечу.

Вот не знаю, сколько я спал, слышу: опять у меня в комнате работа. Зажигаю свечу — и что же вы подумаете? Ежик бежит по комнате, и на колючках у него яблоко. Прибежал в гнездо, сложил его там и за другим бежит в уголок, а в углу стоял мешок с яблоками и завалился. Вот еж подбежал, свернулся около яблок, дернулся и опять бежит, на колючках другое яблоко тащит в гнездо.

Так вот и устроился у меня ежик. А сейчас я, как чай пить, непременно его к себе на стол и то молока ему налью на блюдечко — выпьет, то булочки дам — съест.

СОЧИНИТЕЛЬ

Наверху сошла с кустов роса и внизу под кустами блестит только в пазухе такого листка, где никогда и не просыхает. Коровы наелись и грудой стояли у болотного бочага. Подпасок Ванюшка лежал на кочках дугой. Не сразу и догадаешься, как вышла дуга; он, должно быть, лег на кочку головой, но, пока спал, кочка умялась, голова опустилась,— получился высокий живот, а голова и ноги внизу.

Я его давно знаю: ярко-рыжая голова, и на лице крупные веснушки одна к одной, глаза блестящие, чистые, как обсосанный леденец. Я давно его принял в Берендеево царство и, когда вижу, мимо ни за что не пройду. Мне сегодня удача, хочу с ним побыть и бужу маленького Берендея. Он открыл один глаз на мгновенье, вынул немного начатую полбутылку, протянул мне и опять уснул. Я стал трясти его и хохотать.

— Пей! — сказал он.— Вчера гулял на празднике, тебе захватил.

Когда он совсем пришел в себя, опохмелился, я вынул из сумки последний номер «Охотника» с моим рассказом и дал ему:

— Прочитай, Ваня, это я написал.

Он принялся читать. А я закрутил папиросу и занялся своей записной книжкой на пятнадцать минут, так уже замечено, что курится у меня ровно пятнадцать минут. Когда кончилась папироса, а пастух все читал, я перебил его вопросом:

— Покажи, много прочел?

Он указал: за четверть часа он прочел две с половиной строчки, а всего было триста.

— Дай сюда журнал,— сказал я,— мне надо идти, не стоит читать.

Он охотно отдал журнал со словами:

— Правда, не стоит читать.

Я удивился: таких откровенных и добродушных читателей как-то не приходилось встречать даже среди крестьян. Чуть ущемило, но больше понравилось. Он же зевнул и сказал:

— Если бы ты по правде писал, а то ведь, наверно, все выдумал?

— Не все,— ответил я,— но есть немного.

— Вот я бы так написал!

— Все бы по правде?

— Все. Вот взял бы и про ночь написал, как ночь на болоте проходит.

— Ну, как же?

— А вот как. Ночь. Куст большой, большой у бочага. Я сижу под кустом, а утята — свись, свись, свись.

Остановился. Я подумал — он ищет слов или дожидается образов. Вот очнулся, вынул жалейку и стал просверливать на ней седьмую дырочку.

— Ну, а дальше-то что? — спросил я.— Ты же по правде хотел ночь представить.

— А я же и представил,— ответил он,— все по правде. Куст большой, большой. Я сижу под ним, а утята всю ночь — свись, свись, свись.

— Очень уж коротко.

— Что ты, коротко,— удивился подпасок,— всю-то ночь напролет: свись, свись, свись.

Соображая этот рассказ, я сказал:

— Как хорошо!

— Неуж плохо,— ответил он.

И заиграл на дудочке, сделанной из волчьего дерева, тростника и коровьего рога.

СОДЕРЖАНИЕ

Ю. Козловский. Поэзия прозы 3

ИЗБРАННОЕ

В краю непуганых птиц. *(Очерки Выговского края.)* . . 15

Из книги «Календарь природы». Весна 171

Лесная капель

Фацелия. *(Поэма)* 269

Лесная капель 308

Кладовая солнца. *(Сказка-быль.)* 397

Рассказы

Нерль 441

Ромка 449

Ярик 452

Синий лапоть 457

Еж 460

Сочинитель 462

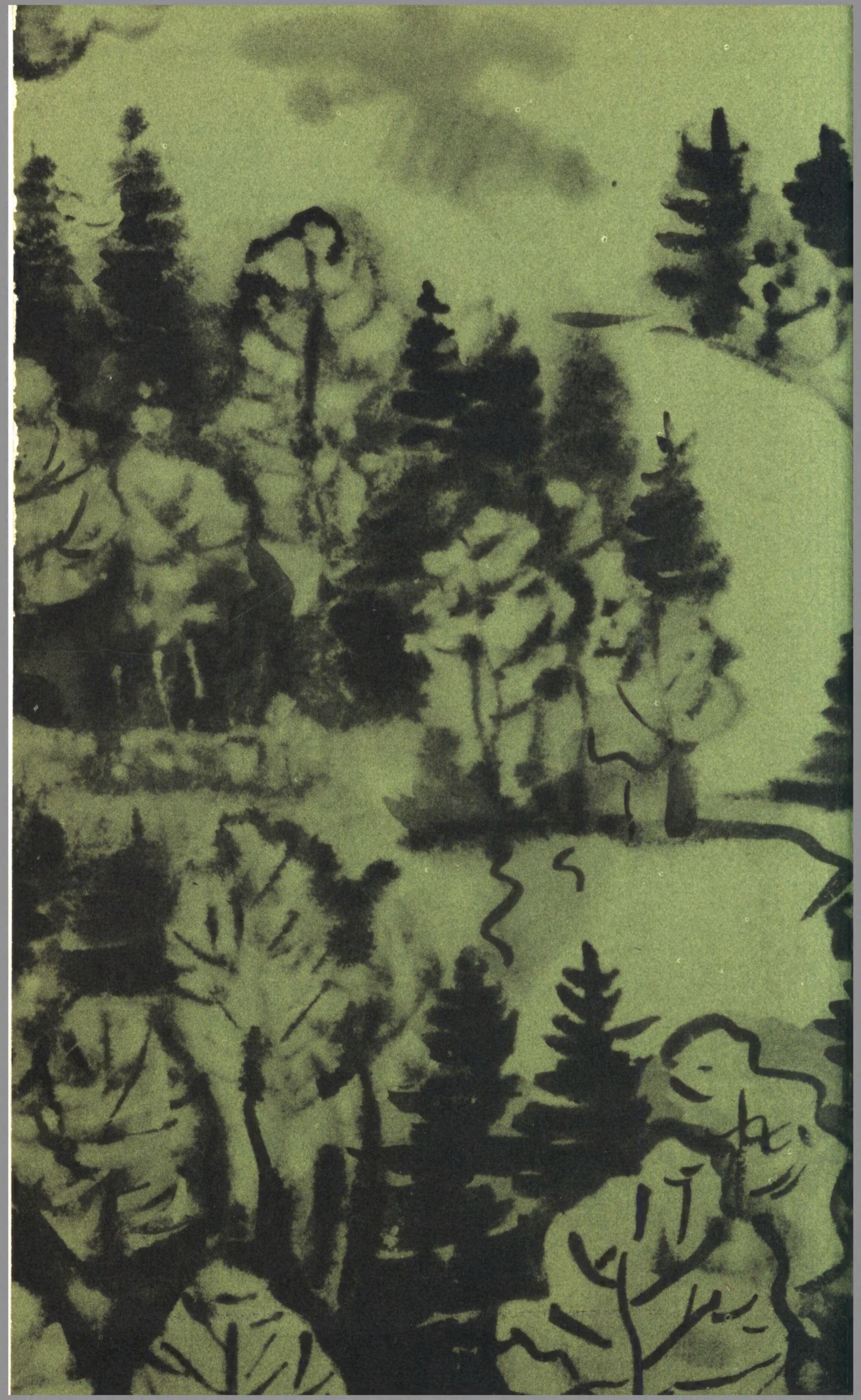
Михаил Михайлович
ПРИШВИН
ИЗБРАННОЕ
Оформление художника
Н. Н. Каминского
Художественный редактор
Ю. В. Львов
Технический редактор
К. И. Заботина

Сдано в набор 27/IX 1977 г. Подписано к печати 26/XI 1977 г. Бумага типогр. № 1. Формат 84×108[1]/32. Усл. печ. л. 25,30. Уч.-изд. л. 23,42. Тираж 500 000 (150 001—300 000) экз. Заказ № 2502. Цена 2 р. 30 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865 Москва, А-47, ГСП, улица «Правды», 24.

Отпечатано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий», Москва, Краснопролетарская, 16.

П $\frac{70302—86}{080(02)—77}$





2 р. 30 к.


М. ПРИШВИН
ИЗБРАННОЕ